Иностранная литература

2 1962

2 1962 Иностранная литература

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

СОДЕРЖАНИЕ

ПАВЕЛ КОГОУТ, ТАДЕУШ РУЖЕВИЧ — Помни! (Стихи) 4
ДЖОН СТЕЙНБЕК — Зима тревоги нашей (Роман. Продолжение) 5
ХЕСУС ЛОПЕС ПАЧЕКО — Стихи, запрещенные франкистской цензурой 52
ЖАК-СТЕФЕН АЛЕКСИС — Деревья-музыканты (Роман. Продолжение) 57
СТИХИ АФГАНСКИХ ПОЭТОВ МУХАММАД АРСАЛАН САЛИМИ — Любовь — источник жизни. АМИНУЛЛА ЗМАРИАЛАЙ — Слово к колонизаторам. ГУЛЬ ПАЧА УЛЬФАТ — Красота в лохмотьях. Привет весне 101
ЮМОРИСТИЧЕСКИЕ СТРАНИЦЫ
ЦВЕТАН СТОЯНОВ — Мы и Арчи . . . 105
ТЕОДОР МАЗИЛУ — Мария Попеску не хочет быть Марией Попеску. Ромео и Джульетта 166

КРИТИКА

ИВАН РУЖ — Горизонты открыты . . . 180
А. КАРЕЛЬСКИЙ — Если хочешь мира... . . 184
КАРЛО САЛИНАРИ — На путях к реализму . 194

2

ФЕВРАЛЬ

1962

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ»

Москва

КУЛЬТУРА И СОВРЕМЕННОСТЬ

ОБОЗРЕНИЕ ЗАРУБЕЖНОЙ ПРЕССЫ . . . 198

ПУБЛИЦИСТИКА

ВИКТОР ПЕРЛО — Великий план (Заметки американского экономиста) 204

ОЧЕРКИ

ИВАН КРЖИЖ ЯРОМИР ТОМЕЧЕК — История двух писем 211

ДНЕВНИКИ, ВОСПОМИНАНИЯ

АНРИ АЛЛЕГ — Бойцы в плену (Окончание). Страницы, написанные на свободе (Послесловие) 227

КАЛЕНДАРЬ «ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ»

БОРИС ПОЛЕВОЙ — Светлый талант (К 80-летию со дня рождения Марии Майеровой) 242

В. КАВЕРИН — О Диккенсе (К 150-летию со дня рождения) 244

НАШИ ГОСТИ

ДЖЕЙМС ОЛДРИДЖ — Главное — понимать свою эпоху 247

СРЕДИ КНИГ

ИЗДАНО В СССР

И. Волевич — Будущее зависит от нас. ◇ Г. Савин — Человек остается узником на свободе.. ◇ Валентина Дынник — Артюр Рембо на русском языке 250

ИЗДАНО ЗА РУБЕЖОМ

Стефана Димитрова — Огни новой жизни. ◇ Н. Башинджагян-Арутюнова — Братья мои — в боях. ◇ А. Старцев — Ценой потери 253

ИЗ ПУТЕВОГО АЛЬБОМА

А. ЖИТОМИРСКИЙ — На берегах Дуная . . 260

НА ВСЕХ ЯЗЫКАХ 269

ИЗ МЕСЯЦА В МЕСЯЦ

(ХРОНИКА) 271

КОРОТКО ОБ АВТОРАХ 237

На обложке рисунок вьетнамского художника НГУЕН ДО КУНГА «Преградить путь войне!»

Карандашом и тушью — А. РЕФРЕЖЬЕ 50

Скульптурная группа памятника Советской Армии в Софии сделана коллективом скульпторов во главе с профессором ИВАНОМ ФУНЕВЫМ.

Помни!

ПАВЕЛ КОГОУТ

ХОТЯ ДАВНО ТО БЫЛО...

Хотя давно то было,
но знакомо
глядит он на меня сквозь
сумрак лет.
Спешит он в танке
по дорогам грома
и пишет краскою на дымных
стенах дома:
«Проверено — мин нет!»

Дождями смыло те слова на доме,
на снимках выгорели гимнастерки.
Его лицо я не запомнил.
Но знаю верно:
то был Вася Теркин.

И нынче без него иду я
сквозь годы тревоги,
и вот, когда мне не хватает сил,
я думаю о нем. По всей моей
дороге
могу идти свободно —
он здесь был.

Я знаю: там — за горизонтом лет —
его я встречу вновь.
На целый свет,
от моря к морю,
оба честь по чести
мы красной краскою напишем
вместе:
«Проверено — мин нет!»

Перевод с чешского
Льва ОЗЕРОВА

■

ТАДЕУШ РУЖЕВИЧ

ТАНК-ПАМЯТНИК

Танк —
бронированный череп
на постаменте гранитном
в память людей сгоревших
высится в тихом сквере.

Любите цветы и зелень!

Здесь вот во время боя
из бронированной башни
вырвалось пламя живое
и крича
угасало.

Розы пылают,
рощи
в тишь золотую одеты.
Сияют названия улиц,
которые мы возвели.

Любите цветы и зелень!

И чтите живое пламя,
угасшее юным и чистым
за счастье этой земли!

Перевод с польского
ВЛ. БУРИЧА

■

ДЖОН СТЕЙНБЕК

Зима тревоги нашей

РОМАН

Перевод с английского
Н. ВОЛЖИНОЙ
и Е. КАЛАШНИКОВОЙ

ГЛАВА VII

Когда я проснулся, моя сонливая старушка Мэри уже встала и ушла, а в кухне закипал кофе и жарился бекон. До меня доносился их аромат. И какой день для воскресения из мертвых! Весь зеленый, голубой, золотистый. Лучшего, пожалуй, и не подберешь. Из окна спальни было видно, как все воскресает — трава, деревья. Подходящее время года отвели для этого праздника. Я надел халат, подаренный мне к рождеству, и домашние туфли — подарок ко дню рождения. Потом отыскал в ванной какую-ту страшно клейкую помаду, которую употребляет Аллен, и так насандалил ею волосы, что после щетки и гребня кожу у меня на голове стянуло, точно резиновой шапочкой.

Пасхальный завтрак — настоящая оргия, когда стол ломится от оладий, яиц и бекона, завивающегося на сковороде своими прожаренными краешками. Я подкрался к Мэри, шлепнул ее по обтянутому шелком заду и сказал:

— Kyrie eleison!*

— Ой! — сказала она.— Я не слышала, как ты подошел.— Потом оглядела мой узорчатый, турецкими огурцами, халат.— Тебе идет,— сказала она.— Почему ты его редко носишь?

— Когда же мне его носить? До сих пор все как-то некогда было.

— Правда, очень хорошо,— сказала она.

— И не удивительно. Ведь ты сама его выбирала. Неужели ребята спят и не чуют этих восхитительных запахов?

— Нет, нет. Они во дворе, прячут крашеные яйца. Интересно, что там мистер Бейкер задумал?

Продолжение. Начало в № 1.

* Господи помилуй *(греч.)*.

Такие резкие переходы всегда застигают меня врасплох.

— Мистер Бейкер, мистер Бейкер... А, да! Он, вероятно, задумал устроить мое будущее.

— Ты ему говорил? Про гаданье.

— Конечно нет, дорогая. Но, может, он сам догадался.—Потом я перешел на серьезный тон:— Слушай, ватрушка, ты ведь не сомневаешься в моих недюжинных финансовых способностях?

— Почему ты вдруг об этом спрашиваешь? — Она переворачивала оладьи на сковороде и, поддев одну ножом, так и застыла с вытянутой рукой.

— Мистер Бейкер считает, что я должен пустить в оборот деньги твоего брата.

— Ну, если мистер Бейкер...

— Стой, подожди. Я не хочу этого делать. Деньги твои, это твое обеспечение.

— Все-таки, милый, мистеру Бейкеру лучше знать.

— Я в этом не уверен. Мне известно только, что мой отец тоже так считал. И поэтому я работаю на Марулло.

— И все-таки мистер Бейкер...

— Ты положишься на мое суждение, родная?

— Да, конечно...

— Во всем?

— Ты опять дурачишься?

— Я совершенно серьезен — как никогда.

— Ну, допустим. Но сомневаться в мистере Бейкере?.. Ведь он... он...

— Он — мистер Бейкер. Мы послушаем, что нам предложат, а потом... Пусть эти деньги как лежали в банке, так и лежат.

Аллен ворвался в кухню, будто им выстрелили из рогатки.

— Марулло,— сказал он.— Мистер Марулло пришел. Он к тебе.

— Это еще зачем? — удивилась Мэри.

— Ну, пригласи его войти.

— Я приглашал. Он хочет поговорить с тобой во дворе.

— Итен, что это значит? Не выйдешь же ты в халате. Сегодня первый день пасхи.

— Аллен, скажи мистеру Марулло, что я не одет. Пусть зайдет попозже. Но если что-нибудь срочное и он хочет поговорить со мной с глазу на глаз, я впущу его с парадного хода.

Аллен исчез.

— Не представляю, что ему понадобилось? Может, лавку ограбили?

Аллен снова влетел в кухню.

— Пошел к парадному.

— Только чтобы он не вздумал портить тебе завтрак. Слышишь, милый?

Я прошел через весь дом и отпер парадную дверь. На крыльце стоял Марулло, нарядившийся к пасхальной мессе во все самое лучшее, а лучшее у него было: черный шевиотовый костюм и жилетка с пропущенной по ней массивной золотой цепочкой от часов. Черную шляпу он держал в руке, а сам улыбался вымученной улыбкой, точно собака, когда на нее прикрикнут.

— Входите.

— Нет,— сказал он.— Я только одно слово. Я слышал, что этот тип предлагал тебе заработать?

— Да?

— Я слышал, что ты выгнал его вон.

— Кто это вам доложил?

— Не скажу. Нельзя.— Он снова улыбнулся.

— Ну, так, собственно, что же? Вы намекаете, что зря я отказался?

Он шагнул вперед, взял мою руку и весьма церемонно тряхнул ее — вверх и вниз, вверх и вниз.

— Ты молодец,— сказал он.

— Может, просто он мне мало посулил?

— Шутишь? Ты молодец. Вот и все. Молодец.— Он полез в свой оттопыренный боковой карман и вытащил оттуда кулечек.— Вот, возьми.— Потом похлопал меня по плечу и, сам не свой от смущения, повернулся и быстро зашагал прочь. Его короткие ноги так и мелькали, из-под тугого крахмального воротничка выпирала багровая складка загривка.

— Ну, что он?

Я заглянул в кулек — разноцветная карамель в виде пасхальных яиц. У нас в лавке ее была целая стеклянная банка.

— Принес гостинец ребятам,— сказал я.

— Марулло? Принес гостинец? Быть не может.

— Тем не менее.

— С чего это он? Никогда с ним раньше этого не бывало.

— Наверно, от любви ко мне.

— Может быть, я не все знаю?

— Гусиная травка, на свете восемь миллионов вещей, которых мы оба с тобой не знаем.— Дети смотрели на нас во все глаза, стоя в дверях кухни. Я протянул им кулек.— Это вам, от одного вашего поклонника. Только не набрасывайтесь до завтрака.

Когда мы одевались, чтобы идти в церковь, Мэри сказала:

— Хотела бы я все-таки знать, в чем тут дело.

— Ты про Марулло? Должен тебе признаться, дорогая, что я тоже хотел бы это знать.

— Кулек дешевых карамелек...

— Это он, наверно, в простоте душевной.

— Не понимаю.

— Жена у него умерла. Родных — никого, один как перст. Надвигается старость. Может — ну, может, ему вдруг стало одиноко.

— Никогда он к нам не заходил. Попроси у него прибавки, пока ему одиноко. Мистера Бейкера ведь он не навещает. Мне даже как-то не по себе стало.

Я принарядился, как цвет полевой: строгая черная пара — мой черный похоронный костюм, белая рубашка, так сильно накрахмаленная, что она отбрасывала солнечные лучи солнцу прямо в лицо, и небесной синевы галстук-бабочка в скромный горошек.

Что она там затеяла, эта миссис Марджи Янг-Хант? Колдует на манер своей бабки? Откуда Марулло все узнал? Вернее всего так: мистер Бяккер — миссис Янг-Хант, а миссис Янг-Хант — мистеру Марулло. Я вам не верю, миссис Хант, я вас всегда подозревал. Не знаю сам я почему, но миссис Хант я не пойму. С этой белибердой в голове я прошелся по нашему саду в поисках каких-нибудь белых цветочков себе в петлицу по случаю пасхи. В закутке между углом фундамента и покатой дверью погреба есть у нас заветное местечко, где земля прогревается от соседства с котельной и доступна каждому лучику зимнего солнца. Там растут белые фиалки, пересаженные с кладбища, где они бурно разрослись на могилах моих предков. Я выбрал три крохотные львиные мордочки себе в петличку, нарвал ровно дюжину для моей любимой, вокруг положил их собственные бледно-зеленые листочки и туго обернул букетик понизу серебряной бумажкой от конфеты.

— Какая прелесть! — сказала Мэри.— Подожди, сейчас я приколю их и так пойду в церковь.

— Это первые, самые первые, белая моя птица. Я твой верный раб. Христос восстал из мертвых. Все прекрасно в божьем мире.

— Перестань, милый. Это ведь святое, не над чем тут потешаться.

— Что ты такое сделала со своими волосами?

— Нравится?

— Чудо, чудо! Всегда так причесывайся.

— А я боялась, тебе не понравится. Марджи сказала, что ты даже внимания не обратишь, а ты обратил! Ну, теперь я ей задам!— Она водрузила на голову настоящую вазу с цветами — ежегодное весеннее приношение Эостре.— Нравится?

— Чудо, чудо!

Затем начался осмотр младшего поколения — уши, носы, обувь. Все до мельчайших подробностей, вопреки их бурным протестам. Аллен так намазал волосы, что даже моргать не мог. Задники башмаков остались у него неначищенными, зато прядь волос он вымуштровал, не пожалев трудов, и она волной вздымалась над его лбом.

Наша Эллен самая что ни на есть девчонская девчонка. Все, что на виду, было у нее в полном порядке. Я решил повторить удачный ход.

— Эллен,— сказал я.— Ты как-то по-новому причесалась. Тебе очень к лицу. Мэри, дорогая, ты одобряешь?

— Она у нас начинает следить за своей наружностью,— сказала Мэри.

Семейная процессия двинулась по садовой дорожке к Вязовой улице. С Вязовой мы повернули на Порлок, где стоит наша церковь, наша старинная церковь с белой колокольней, целиком спертая у Кристофера Рена. Мы влились в полноводную реку, и теперь каждая женщина наслаждалась возможностью разглядывать шляпы других женщин.

— Я придумал модель пасхальной шляпки,— сказал я.— Простенький, открывающий лоб золотой терновый венец с настоящими рубиновыми капельками спереди.

— Итен! — строго сказала Мэри.— А вдруг тебя услышат!

— Н-да, пожалуй, этот фасон не будет иметь успех.

— Ты просто ужасен! — сказала Мэри, и я сам был о себе не лучшего мнения. Ужасен — это еще мягко сказано. И все же у меня мелькнула мысль: а если сделать мистеру Бейкеру комплимент по поводу его стрижки, как он к этому отнесется?

Наш семейный ручеек присоединился к другим ручьям и обменивался со всеми чинными приветствиями, а потом все эти ручьи в едином потоке стали вливаться в епископальную церковь святого Фомы.

Когда придет пора посвятить моего сына в тайны жизни (которые ему, несомненно, известны), не забыть бы проинформировать его о том, что такое женская прическа. Вооружившись добрым словечком о ней, он достигнет всего, чего только ни пожелает его блудливое маленькое сердечко. Впрочем, не мешает и предостеречь. Их можно толкать, колотить, валять, тормошить — все что угодно, только не портить им прическу. Усвоив этот урок, он будет кум королю.

Бейкеры поднимались по ступенькам как раз перед нами, и мы обменялись учтивыми приветствиями.

— Ждем вас к чаю.

— Да, непременно. Счастливых праздников.

— Неужели это Аллен? Какой он большой стал! И Мэри-Эллен тоже. Так вытянулись, что их просто не узнаешь.

В церкви, где ты рос, всегда есть что-то дорогое твоему сердцу. Я знаю все сокровенные уголки, мне знакомы все сокровенные запахи церкви святого Фомы. В этой купели я был окрещен, у этой ограды подошел к первому причастию, а сколько лет Хоули занимают свою скамью, одному богу известно, и это не просто риторическая фигура.

Меня, видимо, как следует пропитали благочестием, потому что я помню каждое свое нечестивое деяние, а их было много. И, вероятно, я смог бы показать все те места, где выцарапаны гвоздем мои инициалы. Когда мы с Дэнни Тэйлором прокалывали булавками буквы в молитвеннике, из которых слагалось одно самое что ни на есть непристойное слово, мистер Уилер поймал нас за этим занятием, и нам воздали по заслугам, но ему пришлось просмотреть все молитвенники и все сборники гимнов, чтобы убедиться, что ничего такого больше нигде нет.

Вот на этом сиденье возле аналоя однажды произошло нечто ужасное. В тот год я был служкой, ходил с крестом за священником и пел сочным дискантом. Как-то раз богослужение в нашей церкви совершал епископ — добродушный старичок, с голой, точно вареная луковица, головой, но в моих глазах озаренный ореолом святости. И вот, когда пение смолкло, я водрузил крест на место и, одурманенный экстазом, забыл защелкнуть медную перемычку, которая закрепляла его в гнезде. После второго поучения, к ужасу моему, тяжелый медный крест покачнулся и хрястнул по благостной лысой голове. Епископ повалился наземь, как прирезанная корова, а мне пришлось уступить свою должность мальчишке по фамилии Хилл, а по прозвищу Вонючка, который пел несравненно хуже. Он теперь антрополог, работает где-то на Западе. Этот случай убедил меня, что одних намерений — благих или дурных — недостаточно. Все зависит от везения или невезения, от судьбы или как там это называется.

Мы прослушали всю службу, и в конце ее нам возвестили, что Христос на самом деле восстал из мертвых. Всякий раз мурашки бегут у меня по спине от этих слов. Я с открытой душой подошел к причастию. Аллен и Мэри-Эллен у нас еще не конфирмовались, и под конец они начали вертеться во все стороны, так что пришлось смирить их железным взглядом, чтобы прекратить ерзанье. Когда в глазах у Мэри появляется суровость, она способна пробить даже броню юношеского зазнайства.

Потом мы вышли на солнце, и тут снова начались рукопожатия, приветствия и снова рукопожатия и поздравления с праздником. Те, с кем мы заговаривали при входе в церковь, еще раз выслушивали наши приветствия, и это было продолжением того же обряда, нескончаемого обряда подчеркнутой благовоспитанности, таящей безмолвную мольбу, чтобы тебя заметили и почтили.

— Добрый день. Как поживаете, как здоровье?

— Хорошо, благодарю вас. А как ваша матушка?

— Стареет, стареет. Ничего не поделаешь, где годы, там и болезни. Я ей передам, что вы о ней справлялись.

Сами по себе слова эти ничего не значат, они только проводники чувств. Что определяет наши действия — мысль? Или же они — результат чувств, а мысль только кое-когда помогает их осуществлению? Наше маленькое шествие по солнечной улице возглавлял мистер Бейкер, старавшийся не ступать на трещины в тротуаре; его мать, которая скончалась двадцать лет назад, могла не опасаться перелома спинного хребта. А рядом с ним, приноравливая свою походку к его неровным шагам, мелко перебирала ножками Амелия, миссис Бейкер,— эдакая птичка, маленькая, востроглазая, но ручная, питающаяся из кормушки.

Мой сын Аллен шел рядом со своей сестрой, и оба старательно делали вид, что не имеют друг к другу никакого отношения. По-моему, она его презирает, а он ее не выносит. Это может остаться у них на всю жизнь, но они научатся скрывать свои чувства в розовом облачке нежных слов. Дай им — каждому отдельно — их завтрак, моя сестра, жена моя: яйца вкрутую, огурчики, сандвичи с джемом и ореховой пастой, красные, пахнущие бочкой яблоки, и пусть идут в мир плодиться и размножаться.

Так Мэри и сделала. И, получив по свертку, они ушли каждый в свой обособленный тайный мирок.

— Ты довольна службой, дорогая?

— Да, очень. Мне в церкви всегда нравится. А ты... признаться, я часто теряюсь — верующий ты или нет. Правда, правда! Твои шуточки иной раз...

— Подвинь стул поближе, родная моя родинка.

— Надо обед разогревать.

— К чертовой бабушке твой обед.

— Вот, вот они, твои шуточки. Об этом я и говорю.

— Обед — не святыня. Будь на улице потеплее, посадил бы я тебя в лодку, выехали бы мы с тобой за волнорез и половили бы там рыбку.

— Сегодня нас ждут Бейкеры. Слушай, Итен, все-таки верующий ты или нет? Тебе самому-то это ясно? И почему ты даешь мне какие-то дурацкие прозвища? Хоть бы изредка называл по имени.

— Не хочу повторяться и надоедать тебе. Но в душе у меня твое имя гудит, как колокол. Верующий ли я? Что за вопрос! Разве так бывало, чтобы мне хотелось придираться к каждому блистательному слову в Никейском символе и разглядывать его со всех сторон, точно мину замедленного действия? Нет. Мне этого не нужно. Но удивительное дело, Мэри! Если бы душа и тело мое иссохли в неверии, как горох в погремушке, стоило бы мне услышать слова: «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях»,— и в желудке бы у меня похолодело, сердце в груди забилось, в голове вспыхнуло бы жаркое пламя.

— Ничего не понимаю.

— Умница. Я тоже не понимаю. Хорошо, скажем так: в младенчестве, когда косточки у человека еще мягкие и податливые, меня уложили в маленький епископальный крестообразный ящичек, и там тело мое сформировалось. Так удивительно ли, что я выклюнулся из этого ящичка, как цыпленок из скорлупы, приняв форму креста? Ты разве не замечала — ведь у цыплят тельце тоже в какой-то степени яйцевидное.

— Ты говоришь ужасные вещи — и даже детям.

— А они — мне. Эллен только вчера вечером спросила меня: «Папа, когда мы разбогатеем?» Но я не сказал того, что знаю: «Разбогатеем мы очень скоро, и ты, не умеющая сносить бедность, не сумеешь снести и богатство». Это истина. В бедности ее терзает зависть. В богатстве она, того и гляди, задерет нос. Деньги не излечивают болезни как таковой, а только изменяют ее симптомы.

— И так ты отзываешься о своих собственных детях. Что же ты обо мне скажешь?

— Скажу, что ты моя радость, моя прелесть, огонек в тумане жизни.

— Ты как пьяный. Будто и в самом деле выпил.

— Так оно и есть.

— Неправда. Я бы учуяла.

— Ты и чуешь, моя дорогая.

— Да что с тобой происходит?

— Ага! Значит, заметно! Да, происходит. Перелом, такой перелом, что все во мне разбушевалось к чертовой матери! До тебя докатывают только те валы, которые дальше всего от центра бури.

— Итен, я начинаю беспокоиться за тебя. Самым серьезным образом Ты стал какой-то дикий.

— Помнишь, сколько у меня наград?

— Орденов? С войны?

— Их давали за дикость, за одичание Не было на свете человека, менее склонного к смертоубийству, чем я. Но на фронте меня втиснули

в новый ящик. Время — каждая данная минута — требовало, чтобы я убивал человеческие существа, и я выполнял это требование.

— Тогда было военное время, и так было надо — за родину.

Время всегда бывает какое-то особое. Ему служишь, а свое упускаешь. Солдат я был что надо — решительный, находчивый, беспощадный. Словом, нечто весьма приспособленное к условиям военного времени. Но, может быть, мне удастся выказать не меньшую приспособленность и теперь, в наши дни.

— Ты меня к чему-то подготавливаешь?

— Да! Как это ни прискорбно. И мне самому слышатся извиняющиеся нотки в моих словах. Надеюсь, впрочем, что это обман слуха.

— Пойду накрывать на стол.

— После такого сокрушительного завтрака о еде и думать не хочется.

— Ну, хорошо, тогда перекуси тут чего-нибудь. Ты заметил, какая на миссис Бейкер была шляпа? Должно быть, привезена из Нью-Йорка.

— А что она сделала со своими волосами?

— Ты тоже обратил внимание? Они у нее почти лиловые.

— «Во свет язычникам и во славу народа изра-аилева».

— Что это Марджи вздумалось уехать в Монток в такое время года?

— Она же любит утренний воздух.

— Нет, рано вставать она не привыкла. Я ее всегда поддразниваю на этот счет. И все-таки очень странно, почему Марулло принес детям карамельные яйца?

— Ты связываешь эти два события? Марджи поднялась ни свет ни заря, а Марулло принес гостинец детям.

— Перестань дурачиться.

— Я не дурачусь. На сей раз я не дурачусь. Если рассказать тебе по секрету одну вещь, обещаешь молчать?

— Опять шуточки!

— Нет.

— Тогда обещаю.

— По-моему, Марулло собирается в Италию.

— Откуда ты знаешь? Он сам тебе говорил?

— Нет, не совсем. Но я сопоставляю кое-какие факты. Со-по-ставляю.

— Значит, ты остаешься в лавке один! Тебе надо кого-то в помощники.

— Сам справлюсь.

— Ты и так все сам делаешь. Придется взять помощника.

— Помни, это еще не наверняка, и пока надо все держать в секрете.

— Я не нарушаю своих обещаний.

— Но намекать будешь.

— Не буду, Итен. Честное слово!

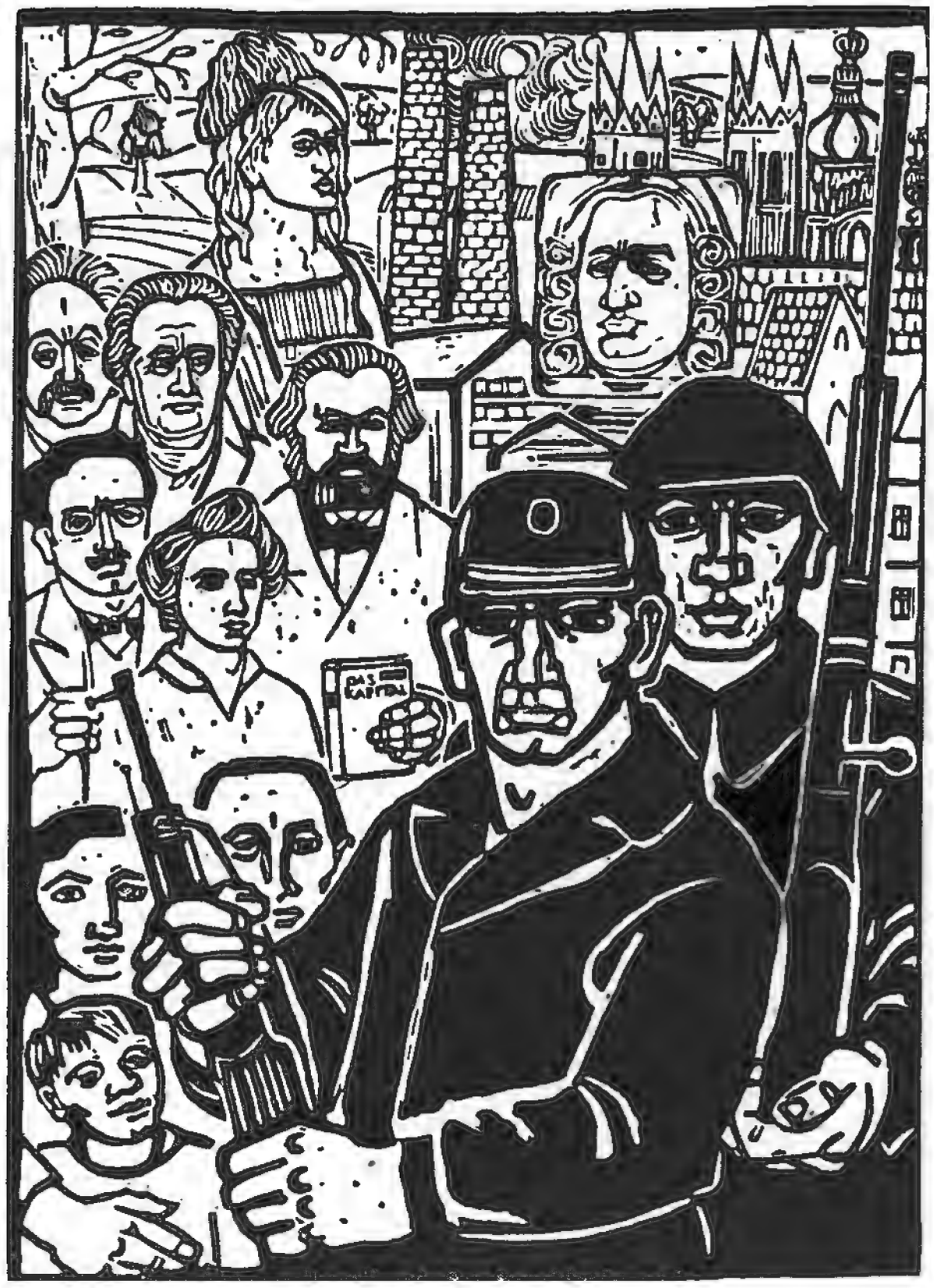
— Знаешь, кто ты? Милый маленький зайчик с цветочками на голове.

— Ну, похозяйничай в кухне сам. Я пойду приведу себя в порядок.

Когда она ушла, я развалился в кресле, и в ушах у меня послышался тайный глас: «Отпусти, господи, раба-а твоего с ми-иром!» И вот, клянусь вам, заснул! Сорвался с крутизны в темноту прямо здесь, в гостиной. Со мной это не часто случается. И, так как я думал о Дэнни Тэйлоре, Дэнни Тэйлор мне и приснился. Мы с ним были будто не маленькие и не большие, но уже взрослые, и мы бродили по ровному высохшему дну озера, где еще виднелся фундамент их старого дома и зияла яма погреба. Стояло, наверно, лето, самое его начало, потому что листья на деревьях были сочные, а трава сгибалась под собственной тяжестью. В такой день сам себя чувствуешь сочным и каким-то ошале-

БОРЮЩЕЕСЯ ИСКУССТВО

В этом номере мы публикуем несколько гравюр из книги «Наша жизнь — черным по белому», изданной в ГДР издательством «Дейчер милитерферлаг». В ней собраны гравюры на дереве и на линолеуме, созданные молодыми художниками ГДР, которые рассказывают о жизни страны, о ее буднях и праздниках, о мыслях и чувствах людей, об их планах и целях.



ГАБРИЭЛА МЕЙЕР-ДЕННЕВИЦ
Из цикла «Десять заповедей» социалистической морали».

МАРГРЕТ ХОЙЗЛЕР
«Играющие дети»

КЛАУС ВЕБЕР
«Половодье»

МАРГРЕТ ХОЙЗЛЕР
«Демонстрация»

ГЕРХАРД КЛАМПЕККЕЛЬ
«Сталевар»

ВЕРНЕР ШИНКО
«Рыбаки»

ВЕРНЕР ШИНКО
«Весна в деревне»

лым. Дэнни зашел за деревцо можжевельника, высокое, стройное, как колонна. Его голос звучал в моих ушах глухо и странно, будто из-под воды. Потом я очутился рядом с ним, а он вдруг начал таять и весь потек. Я пытался подхватывать его обеими руками, затирать кверху, как жидкий цемент, когда он переливается через край, и ничего не мог сделать. Самая суть Дэнни уходила у меня между пальцами. Говорят, будто сны наши длятся мгновение. Этот сон снился, снился мне без конца, и чем больше я хлопотал около Дэнни, тем быстрее и быстрее он таял.

Когда Мэри разбудила меня, я тяжело дышал от усталости.

— Весенняя лихорадка,— сказала она.— Это ее первый признак. В годы, когда девочки начинают формироваться, я столько спала, что мама наконец вызвала доктора Грейди. Она думала, это сонная болезнь, а я просто росла весной.

— У меня был кошмар среди бела дня. Врагу не пожелаю, чтобы ему такое снилось.

— Это предпраздничная суета всему виной. Вставай. Пойди причешись и умойся. У тебя усталый вид, милый. Ты здоров ли? Нам скоро выходить. Ты два часа спал. Наверно, организм этого потребовал. Как бы я хотела знать, что мистер Бейкер там задумал.

— Узнаешь, родная. И обещай мне, что ты будешь слушать внимательно, не пропустишь ни слова.

— А вдруг он захочет поговорить с тобой наедине? Деловым людям присутствие женщин только мешает.

— Ничего, пусть терпит. Я хочу, чтобы ты была при этом.

— Ты же знаешь, что у меня нет никакого опыта в делах.

— Знаю, но ведь речь пойдет о твоих деньгах.

Таких людей, как Бейкеры, знаешь только в том случае, если это дано тебе с колыбели. Приятельские и даже дружеские связи не то — они завязываются совсем по-другому. Я знаю Бейкеров потому, что Бейкеры и Хоули родом из одних мест, равны по крови, по жизненному опыту и прошлое у обеих семей схожее. Это сплачивает нас в нечто вроде клана, крепостной стеной и рвом отгороженного от чужаков. Когда мой отец потерял все свое состояние, меня не вытеснили совсем за пределы этого клана. Как член семьи Хоули, я все еще личность приемлемая и, вероятно, останусь таким в глазах Бейкеров до конца дней своих, потому что они чувствуют наше родство. Но я бедный родственник. Патриции без денег мало-помалу перестают быть патрициями. Без денег мой сын Аллен потеряет связь с Бейкерами, а его сын будет для них чужаком, несмотря на свое имя, на своих предков. Мы теперь землевладельцы без земельных угодий, полководцы без войск, всадники на своих на двоих. Нам не уцелеть. Может быть, оттого со мной и произошла такая перемена? Я не гонюсь и никогда не гнался за деньгами ради денег. Но без них разве удержишься в той категории, существовать в которой мне привычно и удобно? Все это, вероятно, образовалось в тех темных глубинах моего сознания и поднялось оттуда на поверхность не как мысль, а как твердое убеждение.

— Милости просим! — сказала миссис Бейкер.— Очень рада вас обоих видеть. Вы нас совсем забыли, Мэри. Какой сегодня чудесный день, правда? Вам понравилась служба? По-моему, среди священников не часто встречаются такие интересные мужчины.

— Редко мы с вами стали видеться,— сказал мистер Бейкер.— А я ведь помню, как ваш дед, сидя вот в этом самом кресле, рассказывал, что подлые испанцы потопили «Мэйн». Он даже расплескал тогда свой чай, который, собственно, только назывался чаем. Старый Шкипер

Хоули если и подливал его в ром, то самую малость. Крутой был человек, многие даже считали его самодуром.

Как я заметил, такой прием сначала ошеломил Мэри, а потом она расцвела. Ведь ей было невдомек, что я произвел ее в богатые наследницы. Репутация денежного человека котируется высоко, почти так же, как и сами деньги.

Подергивая головой, миссис Бейкер разливала чай по чашкам — прозрачным и хрупким, точно лепестки магнолии, и единственной частью ее тела, не подверженной тику, была рука с чайником.

Мистер Бейкер задумчиво помешивал ложечкой.

— Сам не знаю, что я больше люблю — чай или церемонию чаепития,— сказал он.— Мне доставляют удовольствие любые церемонии, даже нелепые.

— Я вас понимаю,— сказал я.— Сегодня утром меня охватило такое чувство покоя в церкви, потому что служба не грозила никакими неожиданностями. Знаешь каждое слово заранее, до того, как его произнесут.

— Во время войны, Итен... Послушайте и вы, сударыни, вряд ли вам приходилось наблюдать что-либо подобное. Во время войны я был направлен в военное министерство, советником министра. Мы довольно долго прожили в Вашингтоне.

— Мне там ужасно не нравилось! — сказала миссис Бейкер.

— Так вот, министерство созвало гостей на чай, устроило пышный прием, человек на пятьсот. Первой дамой была жена генерала с пятью звездочками, а следующая за ней — жена генерал-лейтенанта. Хозяйка — супруга министра — попросила даму с пятью звездочками разливать чай, а трехзвездную — кофе. И представьте, первая отказалась, ибо — привожу ее доподлинные слова: «Каждому известно, что у кофе все преимущества перед чаем». Слыхали что-нибудь подобное? — Он усмехнулся.— А кончилось тем, что все преимущества оказались на стороне виски.

— Такой суматошный город! — сказала миссис Бейкер.— Люди приезжают, не успеют осмотреться, создать какой-то жизненный уклад, и уже надо ехать в другое место.

Мэри рассказала, как ее пригласили однажды в один ирландский дом в Бостоне, где воду грели в круглых бочонках на открытом очаге и разливали по чашкам оловянными половниками.

— И ведь они его не заваривают, а кипятят,— сказала она.— От такого чая лак со стола сойдет.

Каждому серьезному разговору или предприятию предшествует ритуал говорения, и чем щекотливее вопрос, тем длиннее и легковеснее эти обрядовые бормотанья. Каждый из собеседников должен добавить от себя перышко или цветной лоскуток. Если б Мэри и миссис Бейкер не готовились принять участие в серьезном деле, они давно нашли бы общий язык. Мистер Бейкер уже удобрил вином землю нашей беседы, то же самое сделала моя Мэри, и она была так оживлена, ее так радовала любезность наших хозяев. Теперь надлежало внести свою лепту и нам с миссис Бейкер, и я почувствовал, что приличия ради мне следует выступить последним.

Дождавшись своей очереди, миссис Бейкер, так же как и другие, почерпнула вдохновение в чайнике.

— А помните, сколько раньше было всяких сортов чая? — с живостью проговорила она.— И в каждом доме свой рецепт. Кажется, не было на свете такой былинки, листочка и цветка, который не пускали бы на чай. А теперь остались только два сорта — индийский да китайский, и китайский не всегда найдешь. Помните? Пили и рябину, и настой из ромашки, из апельсинового цвета и листа, и... и кэмбрик.

— А что такое кэмбрик? — спросила Мэри.

— Пополам — кипяток и горячее молоко. Дети его очень любят. И совсем другой вкус, чем просто у разбавленного молока.— Миссис Бейкер отделалась.

Пришла моя очередь, и я рассчитывал обойтись двумя-тремя обдуманно-бессмысленными фразами о так называемом «Бостонском чаепитии»*, но не всегда у нас получается так, как мы предполагаем. Неожиданности выскакивают, не спрашивая нашего разрешения.

— Я заснул после церкви,— донесся до меня мой собственный голос,— и увидел во сне Дэнни Тэйлора. Сон был ужасный. Вы помните Дэнни?

— Бедняга,— сказал мистер Бейкер.

— Когда-то он был мне ближе, чем брат. В семье я рос один, без братьев. Да в некотором отношении наша близость была поистине братской. Я, конечно, так не поступаю, но мне бы следовало стать сторожем брату моему Дэнни.

Мэри была явно недовольна, что я нарушил рисунок застольной беседы. И отомстила мне, как могла.

— Итен дает ему деньги. По-моему, этого не следует делать. Он все равно их пропивает.

— Ну, помилуйте! — сказал мистер Бейкер.

— Следует — не следует... как знать. Но этот сон был настоящий кошмар. И много ли я ему даю? Кое-когда по доллару. А что сделаешь на доллар? Только напьешься и больше ничего. Если бы дать ему сразу крупную сумму, может, он вылечился бы.

— А кто на такое решится? — воскликнула Мэри.— Это все равно что убить его. Как вы считаете, мистер Бейкер?

— Бедняга,— сказал мистер Бейкер.— И ведь из такой хорошей семьи! У меня душа болит, когда я вижу, до чего он дошел. Но Мэри права. С деньгами он совсем сопьется и уложит себя в гроб.

— Он и без того спивается. Но я для него не опасен. У меня крупных сумм нет.

— Тут важен принцип,— сказал мистер Бейкер.

Миссис Бейкер подбавила с чисто женской кровожадностью:

— Самое подходящее ему место — в лечебнице, где за ним был бы надлежащий уход.

Все трое остались не довольны мной. Нечего мне было отклоняться от «Бостонского чаепития».

Странно, почему это человеческий мозг вдруг затевает возню, игру в жмурки, в прятки, когда ему следовало бы засекать каждую мелочь, отыскивая проход в минном поле тайных замыслов и скрытых препятствий. Я понимал, что такое дом Бейкеров и дом Хоули, мне были понятны их темные стены и портьеры, траурные фикусы, не видавшие солнца, портреты, гравюры и воспоминания о прежних временах в виде морских раковин, фарфора и резьбы по дереву, в виде штофных тканей — всего того, что навязывает этим домам чувство реальности и незыблемости существования. Форма стульев меняется в зависимости от моды и понятий об удобстве, но гардеробы и книжные шкафы, столы обеденные и письменные — это связь с добротным прошлым. Хоули — больше чем семья. Хоули — это дом. Потому-то бедняга Дэнни так цеплялся за тот луг, где когда-то стоял дом Тэйлоров. Без этого луга нет семьи, а скоро не останется даже имени. Тон, голоса, скрытая в них воля тех троих, что сидели рядом со мной, поставили крест на Дэнни Тэйлоре. Некоторым людям, видимо, нужен дом, нужна семейная история, чтобы они уверовали в собственное существование, хотя, даже в самом лучшем случае,

---

* «Бостонским чаепитием» называют относящийся к декабрю 1773 года исторический эпизод, когда в знак протеста против налоговых обложений бостонцы потопили в море большую партию чая, привезенную английскими кораблями.

это не бог весть какая заручка. В бакалейной лавке я неудачник, простой продавец, дома — я Хоули. Значит, мне тоже не хватает уверенности в себе. Бейкер может протянуть руку помощи Хоули. Если же у меня не будет дома, на мне тоже поставят крест. Человек с человеком? Нет! Дом с домом. Я возмутился, что они вычеркнули Дэнни Тэйлора из списка живых, но ничего не мог тут поделать. И эта мысль подстегнула меня и закалила в моем решении. Бейкер решил подремонтировать Хоули для того, чтобы ему, Бейкеру, можно было примазаться к несуществующему наследству Мэри. Вот теперь я ступил на самый край минного поля. Сердце мое ожесточилось против столь бескорыстного благодетеля. Я чувствовал, как оно черствеет, настораживается и ярится. И по его приказу пришло ощущение фронта, выстроились законы обузданного бешенства, а первый из них таков: даже если ты в обороне, придай ей видимость нападения.

Я сказал:

— Мистер Бейкер, не стоит нам углубляться в историю. Вы видели, как мой отец медленно, но верно шел к потере того, чем мы, Хоули, были сильны. Я ничего не знаю, я был тогда на войне. Как это все случилось?

— О его намерениях ничего плохого не скажешь, но разбираться в обстановке он...

— Мой отец был человек не практический, что верно, то верно, но как это случилось?

— Да, знаете, времена были такие. Времена рискованнейших биржевых операций. Вот он и рисковал.

— Кто-нибудь руководил им в этих операциях?

— Он поместил деньги в устаревшие виды вооружений. Заказы были аннулированы, и у него все пропало.

— Вы жили тогда в Вашингтоне. Вы имели представление об этих заказах?

— Так, в общих чертах.

— Но все же имели и сами этих акций не покупали.

— Да, у меня их не было.

— А отец с вами советовался?

— Я был в Вашингтоне.

— Но вы знали, что он делает займы под владения Хоули и покупает на эти деньги акции.

— Да, знал.

— И не отговорили его?

— Я был в Вашингтоне.

— Но ваш банк не дал ему отсрочки по платежам.

— Банк иначе не может, Итен. Вы сами это знаете.

— Да, знаю. Но все-таки очень жаль, что он с вами не посоветовался.

— Не обвиняйте его, Итен.

— Не буду. Теперь мне все понятно. Да я, собственно, никогда его не обвинял, только не мог понять, как это произошло.

Вступительная часть, видимо, была заготовлена у мистера Бейкера заранее. Сбитый с позиции, он стал нащупывать возможность для нового хода. Он кашлянул, высморкался и утер нос бумажным платком, вынутым из плоской карманной пачки, вторым вытер глаза, третьим — очки. У каждого человека свой способ оттягивать время. Я знал одного, который тратил пять минут на то, чтобы набить и раскурить трубку.

Выждав, когда он снова приведет себя в полную готовность, я сказал:

— Я, кажется, не имею права просить вас о помощи от своего имени. Но вы сами заговорили о давних деловых связях между нашими семьями.

— Замечательные были люди,— сказал он.— И, как правило, умели великолепно разбираться в обстановке, консерваторы по духу...

— Но не окостенелые, сэр! Мне кажется, что, ступив на избранный путь, они с него не сворачивали ни при каких обстоятельствах.

— Это верно.

— Даже если надо было потопить судно противника или... поджечь?

— У них, разумеется, были соответствующие полномочия.

— Но, насколько мне известно, сэр, в 1801 году им пришлось держать ответ перед специальной комиссией, кого считать противником?

— После войны всегда происходит некоторое изменение установок.

— Да, конечно. Впрочем, я вспомнил все это не просто так, лишь бы поговорить. Сказать вам откровенно, мистер Бейкер, мне бы хотелось наверстать потерянное.

— Браво, Итен! Одно время я уже начинал подумывать, что вы утратили боевой дух семьи Хоули.

— Признаться, утерял. А может быть, просто не дал ему ходу в себе. Вы предлагали свою помощь. С чего мне начинать?

— Беда в том, что начинать надо с капитала.

— Это я знаю. Но если капитал будет, тогда что?

— Дамам это вряд ли интересно,— сказал он.— Может быть, мы с вами перейдем ко мне в кабинет? Дела — скучная материя.

Миссис Бейкер встала.

— А я как раз собиралась попросить Мэри, чтобы она помогла мне выбрать обои для нашей спальни. Образчики у меня наверху, Мэри.

— Я бы хотел, чтобы она...

Но, как и следовало ожидать, Мэри переметнулась на их сторону.

— В делах я профан,— сказала она,— а в обоях кое-что смыслю.

— Но ведь это касается тебя, дорогая.

— Я всегда все путаю, Итен. Что ты, не знаешь меня?

— А я без тебя, дорогая, пожалуй, еще больше запутаюсь.

Трюк с обоями, вероятно, придумал мистер Бейкер. Вряд ли его жена на самом деле их выбирает. Во всяком случае, ни одной женщине не могли бы понравиться те мрачные, с геометрическим рисунком, которыми была оклеена комната, где мы сидели.

— Итак,— сказал мистер Бейкер, когда они вышли,— где достать капитал. Вот ваша задача, Итен. Дом у вас не заложен. Возьмите ссуду под него.

— Ни в коем случае.

— Ну что ж, уважаю такую твердость, но ведь другого обеспечения у вас нет. Есть еще деньги Мэри. Сумма небольшая, но, как известно, деньга деньгу делает.

— Мне не хочется их трогать. Это гарантия ее благополучия.

— Они у вас на общем счету, лежат без пользы.

— Ну, а если, скажем, я решусь? Что вы имеете в виду?

— Вам известно, хотя бы приблизительно, какое состояние у ее матери?

— Нет, но, кажется, солидное.

Он старательно протер очки.

— То, что я скажу вам, должно остаться между нами.

— Ну конечно.

— Вы, слава богу, не из разговорчивых, это я знаю. Среди Хоули говорунов не было, разве только ваш отец. Так вот, мне, финансисту, известно, что Нью-Бэйтаун будет расти. У него есть все, что способствует росту,— гавань, взморье, внутренние воды. Стоит только начать, потом не остановишь. Добропорядочный делец обязан помогать развитию своего города.

— А также извлекать из этого выгоду.

— Это само собой.

— Почему же Нью-Бэйтаун до сих пор не развивался?

— Я думаю, вы сами это знаете. Замшели там, в муниципалитете. Живут в прошлом. Задерживают прогресс.

Мне всегда любопытно слушать, когда извлечение прибылей подают под филантропическим соусом. Если бы сорвать с позиции мистера Бейкера ее одежды — дальновидно-благодетельное «все для общества»,— она предстала бы в своем натуральном виде. Он и еще несколько человек — буквально наперечет — будут поддерживать теперешние городские власти до тех пор, пока не скупят или не возьмут под свой контроль все будущие мероприятия по благоустройству Нью-Бэйтауна. Потом они вышвырнут вон весь муниципалитет вместе с мэром, возведут на трон прогресс, и вот тогда-то станет явным, что им принадлежат все пути, которыми этот прогресс шествует к нам в город. Из чисто сентиментальных побуждений мистер Бейкер решил одарить меня небольшим кусочком общего пирога. Не знаю, входило ли в его намерения сообщать мне, как у них там все пойдет дальше, или же его «подхватило и занесло», но намеченный график вдруг выскочил среди каких-то пустых фраз. Выборы в муниципалитет назначены на седьмое июля. К этому времени группа дальновидных граждан должна будет взять штурвал прогресса в свои руки.

Вряд ли найдется на свете человек, который не любит давать советы. Поскольку я все-таки продолжал оказывать некоторое сопротивление, наставник мой начинал все больше и больше горячиться и вдаваться в подробности.

— Хорошо, сэр, подумаю,— сказал я.— То, что для вас проще простого, для меня головоломка. И, конечно, мне надо посоветоваться с Мэри.

— Вот это, по-моему, зря,— сказал он.— Женский пол стал у нас слишком уж деятельный.

— Но ведь наследство-то ее.

— Вы скорее угодите ей, если преподнесете сюрпризом солидный куш. Им так больше нравится.

— Боюсь показаться вам неблагодарным, мистер Бейкер. Но я тяжелодум. Мне надо как следует все обмозговать. Вы слышали, что Марулло собирается в Италию?

Взгляд у него сразу стал настороженный.

— Совсем?

— Нет, на время.

— Надо думать, он позаботится, чтобы место осталось за вами, на случай если с ним что-нибудь приключится. Годы его не молодые. Завещание есть?

— Не знаю.

— Смотрите! Нагрянет свора итальянской родни, и вы окажетесь без работы.

Пришлось уйти под прикрытие спасительной неопределенности.

— Я столько от вас узнал, что всего сразу не прожуешь,— сказал я.— Но все-таки не согласились бы вы дать мне хотя бы общее представление о том, с чего все начнется?

— Могу сказать вам только одно: развитие города во многом зависит от транспорта.

— Ну что ж, трансконтинентальную линию дотянут и до нас.

— И все-таки это слишком долгий путь! Те, кто нам нужен, крупные дельцы с крупными капиталами, предпочитают путешествовать по воздуху.

— А у нас нет аэропорта?

— Вот именно.

— И мало того — нет и места, где его выстроить, разве только срыть холмы вокруг города.

— Слишком дорогая затея. Не окупит себя.

— Тогда что же вы думаете предпринять?

— Итен, не обижайтесь и положитесь на меня во всем. Сейчас я ничего не могу вам сказать. Но обещаю, если деньги у вас будут, вы не прогадаете. Я имею в виду нечто совершенно конкретное, хотя тут еще требуются кое-какие уточнения.

— Я, может, этого и не заслуживаю.

— Старинные семьи должны держаться вместе.

— Марулло тоже входит в вашу группу?

— Нет, что вы! У них там своя компания, они действуют самостоятельно.

— И, кажется, весьма успешно?

— Слишком успешно. Не нравится мне, что эти иностранцы пролезают буквально во все щели.

— Значит, ждать седьмого июля?

— Разве я это сказал?

— Нет, мне, наверно, так послышалось.

— Наверно.

И тут, покончив с обоями, вернулась Мэри. Мы сказали и проделали все, что положено по ритуалу, и медленно пошли домой.

— Как они мило нас приняли, лучшего и желать нельзя. Что он тебе говорил?

— Все то же самое. Чтобы я для начала пустил в оборот твои деньги, а я этого не хочу.

— Я знаю, милый, ты беспокоишься обо мне. Но, по-моему, будет очень глупо, если мы не воспользуемся его советом.

— Не лежит у меня к этому душа, Мэри. А вдруг он ошибается? Ты же останешься ни с чем.

— Слушай, Итен, если ты этого не сделаешь, так и знай, я сама к нему пойду со своими деньгами. Вот увидишь!

— Дай мне подумать. Я ни во что не хочу впутывать тебя.

— И не надо. Ведь счет в банке у нас общий. Помнишь, что вышло на картах?

— О господи! Опять эти карты!

— Да! Я им верю.

— Если я потеряю твои деньги, ты же меня возненавидишь.

— Нет. Мое богатство в тебе. Так Марджи нагадала.

— То, что Марджи нагадала, так мне в голову запало, что, покуда буду жить, буду в памяти хранить.

— Оставь свои шуточки.

— Может, это и не шуточки. Как бы богатство не повредило тихим радостям нашей нескладной жизни.

— Не понимаю, каким образом небольшие деньги могут чему-то повредить. Я не говорю о больших деньгах, а так... Чтобы хватало.

Я молчал.

— Ну, Итен!

Я сказал:

— О прекрасная принцесса! Не бывает так, чтобы денег хватало. Одно из двух: денег нет совсем или денег не хватает.

— Неправда.

— Нет, правда. Помнишь техасского миллиардера, который недавно умер? Он жил в гостиничном номере, с одним чемоданчиком. Не оставил после себя ни завещания, ни наследников, но при жизни денег ему не хватало. Чем человек богаче, тем ему больше и больше нужно.

Она сказала ироническим тоном:

— Да, это, наверно, великий грех, что мне хочется купить новые занавески в гостиную и поставить котел побольше, так чтобы четыре человека могли принять ванну в один и тот же день, а я вдобавок — и вымыть посуду.

— Я не о твоих грехах сокрушаюсь, дурочка, а отмечаю факт, закон природы.

— Мало же в тебе уважения к человеческой природе.

— Не к человеческой, дорогая моя Мэри, а к природе вообще. Белки запасают орехов в десять раз больше, чем им потребуется. У хомяка брюхо, того и гляди, лопнет, а он все сует и сует за щеки, будто в мешок. А сколько умные пчелки съедают меда и сколько они, умницы, его выделывают?

Когда Мэри теряется, чувствует себя сбитой с толку, она брызжет гневом, как спрут — чернильной жидкостью, и прячется в этом темном облаке.

— Противно слушать,— сказала она.— Хочется хоть немного порадоваться, так где там, разве ты дашь!

— Нет, родная, не радость меня страшит, а горечь неудовлетворенности, сумятица, чванство, зависть — все, что несут с собой деньги.

Бессознательно она, вероятно, боялась того же. Она так вся и ощетинилась, поискала, где у меня больное место, нашла и с вывертом всадила туда колючки слов:

— Вот, полюбуйтесь! Продавец из бакалейной лавки, ни гроша за душой, а разглагольствует о вреде богатства. Можно подумать, ты в любую минуту способен добыть кучу денег, стоит тебе только захотеть.

— И добуду.

— Каким образом?

— Вот в том и вся загвоздка.

— Ничего ты не можешь, а если бы мог, давно бы у тебя все было. Хвастовство — и больше ничего. Обычная твоя манера.

Желание причинить другому боль рождает в нас злобу. Лихорадка уже овладела мной. Свинские, исступленно-яростные слова поднимались во мне, как яд. Я ненавидел угрюмой ненавистью.

Мэри сказала:

— Смотри! Вон, вон там! Видел?

— Где? Что?

— Вон, мелькнуло под деревом — и прямо к нам во двор.

— Кто мелькнул? Мэри! Ну, говори! Что ты там увидела?

Я почувствовал, как она улыбнулась в темноте уму непостижимой женской улыбкой. Это называют мудростью, но тут дело, пожалуй, не в мудрости, а в том даре всепонимания, при котором и мудрость не нужна.

— Ничего ты не видела.

— Нет, видела — ссору... но она убежала.

Я обнял ее и повернул назад.

— Давай обойдем квартал, прежде чем домой.

Мы пошли туннелем ночи и больше ни о чем не говорили, да нам это и не требовалось.

ГЛАВА VIII

В детстве я с наслаждением преследовал и убивал мелкую живность, когда только мог. Кролики, белки, мелкие пташки, а позднее дикие утки и гуси валились наземь окровавленными комочками из костей, шерстки и перьев. В этом было какое-то остервенелое самоутверждение без примеси злобы, ненависти или чувства вины. Война отбила у меня аппетит к смертоубийству: так ребенок, объевшийся сладким, отворачи-

вается от еды. Ружейный выстрел уже не исторгал из моей груди вопля неистового счастья.

В эту первую весну к нам в сад повадилась пара кроликов. Больше всего им пришлись по вкусу красные гвоздики моей Мэри, и они начисто обгладывали их лепестки.

— Тебе придется покончить с ними,— сказала Мэри.

Я достал свою мелкокалиберную, всю жирную от смазки, нашел старые завалявшиеся патроны с дробью № 5, сел вечером на ступеньки заднего крыльца и, дождавшись, когда оба кролика оказались рядом, уложил их обоих с одного выстрела. Потом я похоронил пушистые останки под старой сиренью и почувствовал тоску где-то в желудке.

Я просто-напросто отвык от кровопролития. Привыкнуть человек может ко всему. К убийству, к ремеслу бальзамировщика и даже заплечных дел мастера. Привыкнешь — и дыба и клещи станут для тебя просто рабочим инструментом.

Когда дети легли спать, я сказал:

— Пойду погуляю немного.

Еще несколько дней назад Мэри стала бы допытываться — куда, зачем? — а сейчас только спросила:

— Поздно вернешься?

— Нет, не поздно.

— Я ждать не буду, мне спать хочется,— сказала она. Став на некий путь, моя Мэри, видимо, ушла по этому пути дальше меня. А я все еще терзался из-за кроликов. Может быть, это вполне естественно, когда человек, уничтоживший что-то, старается что-то создать и тем самым восстановить в себе равновесие? Не это ли послужило для меня толчком?

Я ощупью пробрался в зловонную конуру, где жил Дэнни Тэйлор. Рядом с его койкой горела на блюдечке свеча.

Дэнни был совсем плох — лицо изможденное, какое-то синее со свинцовым отливом. Меня чуть не стошнило — так дурно пахло в этой грязной комнате, где под грязным одеялом лежал давно не мывшийся человек. Глаза у него были открыты и тускло поблескивали. Я приготовился услышать горячечный бред. И меня потрясло, когда он заговорил внятно, голосом и тоном прежнего Дэнни Тэйлора.

— Зачем ты пришел, Ит?

— Я хочу помочь тебе.

— Будто ты не знаешь, что это бесполезно.

— Ты совсем болен.

— Думаешь, я сам этого не знаю? Еще как знаю, лучше вас всех.— Он потянулся за койку и достал оттуда бутылку «Старого лесничего», на две трети пустую.— Хочешь?

— Нет, Дэнни. А ведь это виски из дорогих.

— У меня есть друзья.

— Кто тебе его поднес?

— Не твое дело, Ит.— Он хлебнул из горлышка и сдержал отрыжку, хотя это далось ему нелегко. Лицо у него сразу порозовело. Он засмеялся.— Мой друг завел со мной деловой разговор, но я его околпачил. Он только-только собирался начать, а я уже скис. Ему, видно, невдомек было, как мне мало надо. А ты тоже с деловым разговором, Ит? Тогда я быстренько напьюсь до бесчувствия.

— Дэнни, ты меня любишь? Ве́ришь мне? Ну, хоть сколько-нибудь любишь?

— Конечно люблю, но если уж говорить начистоту, так я — пьянчуга, а пьянчуги больше всего любят виски.

— Если я достану тебе денег, ты будешь лечиться?

Больше всего меня пугало то, как быстро он пришел в себя, стал держаться свободно, просто — по-прежнему.

— Я мог бы сказать да, Итен. Но ты не знаешь, какой они народ, эти пьяницы. Деньги я возьму и пропью.

— Ну, а если я внесу их прямо в лечебницу?

— Тебе же объясняют. Отправлюсь я туда с самыми благими намерениями, а через несколько дней сбегу. На пьяниц полагаться нельзя, Ит. Никак ты этого не поймешь. Я и соглашусь и сделаю, как надо, а потом все равно сбегу.

— Дэнни, неужели тебе не хотелось бы избавиться от этого?

— Да кажется, нет. И ты, конечно, знаешь, чего мне хотелось бы.— Он снова поднес бутылку ко рту, и меня снова поразила быстрота действия алкоголя. Мало того, что он превратился в прежнего Дэнни, его восприятие, все его чувства так обострились, такая в них была ясность, что он читал у меня в мыслях. — Не обольщайся,— сказал он. — Это не надолго. Алкоголь сначала взбадривает, а потом действует угнетающе. Надеюсь, ты уйдешь и второй стадии не увидишь. Сейчас мне не верится, что так все и будет. Пока ты на взводе, ты в это не веришь.— И тут его глаза, влажные, блестящие при свете свечи, посмотрели мне в душу.— Итен, — сказал он.— Ты предлагаешь заплатить за меня в лечебнице. У тебя же нет таких денег, Итен.

— Достану. Мэри получила наследство после брата.

— И эти деньги ты дашь мне?

— Да.

— Даже если я говорю тебе: не верь пьяницам? Даже если я заранее предупрежу тебя, что деньги я соглашусь взять, но сердце тебе разобью?

— Ты и так разбиваешь мне сердце, Дэнни. Ты мне снился. Мы с тобой были как раньше — там, в вашей усадьбе. Помнишь?

Он поднял бутылку и сразу опустил ее со словами:

— Нет, нет, потом — не сейчас. Итен, не верь, не верь пьянице. Когда он... когда я страшен, когда я как труп, мой хитрый умишко втихомолку продолжает свою работу и работает против тебя. Вот сейчас, сию минуту, я тот самый, кто был твоим другом. Я тебе наврал, что скис. Скис-то я скис, но про бутылку все помню.

— Стой, я тебя перебью,— сказал я.— А не то тебе покажется... ты меня заподозришь. Кто принес тебе эту бутылку? Бейкер?

— Да.

— И хотел, чтобы ты подписал что-то.

— Да, но тут я скис.— Он хмыкнул и снова поднес бутылку ко рту, и при свете свечи я увидел в горлышке у нее совсем крохотный пузырек. Он глотнул одну каплю.

— Вот и об этом я хотел поговорить с тобой, Дэнни. Что ему понадобилось — ваш луг?

— Да.

— Почему ты до сих пор его не продал?

— По-моему, я говорил тебе. С ним я все еще джентльмен, хотя джентльменским мое поведение теперь не назовешь.

— Не продавай его, Дэнни. Не поступайся им.

— А тебе-то что? Почему не продавать?

— Из чувства гордости.

— Нет во мне прежней гордости, только чванство осталось прежнее.

— Нет, есть. Когда ты попросил у меня денег, тебе было стыдно. Разве это не гордость?

— Да нет. Я просто ловчил. Тебе же говорят, пьяницы — они хитрые. Ты сам был смущен, и ты сам решил, что я стыжусь просить. А я не стыдился. Просто захотел выпить.

— Не продавай его, Дэнни. Это ценнейший участок. Бейкер все знает. Иначе он не стал бы торговать его.

— А что в нем ценного?

— Это единственная ровная площадка вблизи города, где можно построить аэродром.

— Понятно.

— Если ты продержишься, Дэнни, вот тебе и начало новой жизни. Не поступайся им. Вылечишься, вернешься обратно, а в гнездышке у тебя яичко.

— Яичко без гнездышка. Может, лучше продать луг, деньги пропить, а когда... «Подымется ветер и ветку пригнет, птенец желторотый в траву упадет»,— сиплым голосом пропел он и засмеялся.— Тебе тоже понадобился наш луг, Итен? Ты за этим сюда пришел?

— Я хочу, чтобы ты выздоровел.

— Я и так здоров.

— Выслушай меня, Дэнни. Какой-нибудь голодранец волен поступать как ему угодно. Но ты не голодранец, у тебя есть нечто такое, чем весьма интересуется группа дальновидных граждан нашего города.

— Поместье Тэйлоров. Нет, я им не поступлюсь. Я тоже дальновидный.— Он с нежностью посмотрел на бутылку.

— Дэнни! Говорят тебе, это единственное место для аэропорта! Оно для них своего рода ключевая позиция. Им без него зарез! Или строить там или срывать холмы, а это обойдется чересчур дорого.

— Значит, они у меня в руках, и я их еще поманежу.

— Ты забываешь, Дэнни. Имущий человек — драгоценный сосуд. Я уже слышал разговоры, что гуманнее всего было бы поместить тебя в соответствующее заведение, где ты будешь под присмотром.

— Не посмеют.

— Посмеют! Да еще возведут это в добродетель. Ты же знаешь, как в таких случаях поступают. Судья — человек тебе известный — вынесет решение о твоей неправоспособности. Назначит опекуна, и я догадываюсь, кого именно. Все это обойдется недешево, твой земельный участок, разумеется, будет продан для покрытия расходов, и теперь ты догадайся, кто его купит.

Глаза у Дэнни блестели, и он слушал меня, раскрыв рот. Потом отвернулся.

— Ты хочешь взять меня на испуг, Итен, но время выбрал неподходящее. Приходи с утра, когда я лежу пластом и весь мир как зеленая блевотина. А сейчас — тройную силу придал мне сей штоф в моей руке.— Он взмахнул бутылкой, точно мечом, и глаза у него превратились в щелочки, блестевшие при свете свечи.— Я тебе разве не говорил, Ит? По-моему, говорил. У пьяниц совсем особенный ум — хитрый, злой.

— Но я же предупредил тебя, как все будет.

— Да, ты прав. Я с тобой согласен. Очень убедительно у тебя получилось. Но, вместо того чтобы напугать меня, ты разбудил во мне дьявола. Кто думает, что пьяница — существо беспомощное, тот болван. Пьяница — это существо особенное, и возможности у него тоже особенные. Я могу постоять за себя, и сейчас у меня просто руки чешутся схватиться с кем-нибудь.

— Молодец! Давно я хотел это услышать!

Он навел на меня бутылку и прицелился, будто на горлышке у нее была мушка.

— Дашь мне взаймы деньги Мэри?

— Да.

— Без гарантий?

— Да.

— Зная, что шансов получить их обратно — один против тысячи?

— Да.

— Пьяница способен на любую подлость, Ит. Не верю я тебе.— Он облизнул свои пересохшие губы.— И дашь деньги мне в руки?

— Когда прикажешь.

— Я же тебе говорил — нельзя давать.

— А я дам.

На этот раз он запрокинул голову, и со дна бутылки поднялся большой пузырек. Когда он отнял ее ото рта, глаза у него блестели еще ярче, но они были холодные и бесстрастные, как у змеи.— На этой неделе принесешь?

— Да.

— В среду?

— Да.

— А сейчас у тебя не найдется двух долларов?

Как раз столько при мне и было — долларовая бумажка и монеты в пятьдесят, двадцать пять центов, две по десять, пятицентовик и три пенни. Я ссыпал все это в его протянутую руку.

Он допил виски и швырнул бутылку на пол.

— Ты у меня в умных никогда не числился, Ит. Тебе известно, что даже первоначальный курс лечения обойдется около тысячи долларов?

— Ну и пусть.

— Игра интересная! Но это не шахматы, Ит, а покер. Я когда-то был хорошим покеристом, пожалуй, слишком хорошим. Ты делаешь ставку на то, что мой луг пойдет в обеспечение займа. И вторая твоя ставка, что такое количество виски — на тысячу-то долларов — убьет меня, а тебе свалится в руки аэропорт.

— Как тебе не стыдно, Дэнни!

— А мне ничего не стыдно. Я ведь тебя предупреждал.

— Неужели ты не веришь, что я действительно хочу тебе добра?

— Нет. Но я... я могу сделать так, чтобы все вышло, как ты хочешь. Ты помнишь меня мальчишкой, Ит. А я тебя разве не помню? В тебе судья еще в детские годы сидел. Ну, ладно. Я уже весь высох. Бутылка пустая. Ухожу. Так, значит, тысяча долларов.

— Хорошо.

— В среду, наличными.

— Принесу.

— Никаких обязательств, никаких расписок — ни-че-го. И не воображай, Ит, что я такой, как прежде. Вот эта моя подружка ведь камня на камне во мне не оставила. Ничего теперь нет — ни чести, ни совести. Посмеюсь я над тобой от всей души, и на большее не рассчитывай.

— Я об одном тебя прошу — начни, попробуй.

— Пообещать я могу, Ит. Но, надо думать, ты уже понял, чего стоят обещания пьяницы. Приноси деньги, приноси. Можешь остаться здесь, сколько пожелаешь. Мой дом — твой дом. А я ухожу. Итак, до среды, Ит.— Он встал с койки, сбросил одеяло на пол к стене и, пошатываясь, вышел из своей конуры. Молния у него на брюках была спущена.

Я посидел несколько минут один, глядя, как растет стеариновый наплыв на блюдце. Он говорил правду — все было верно, кроме одной вещи, на которую я и делал ставку. Не на столько же он изменился. Где-то среди этих обломков был Дэнни. Я не допускал мысли, чтобы он отрубил от себя этого Дэнни Тэйлора. Я любил Дэнни и был готов... на то, о чем он говорил. Был готов. Издали до меня донесся его резкий, пронзительный фальцет:

Лети же, корабль, быстрокрылою птицей
На всех парусах вперед!
Наш причц на борту — он душой веселится,
К родным берегам плывет.

Побыв так в полном одиночестве, я задул свечу и пошел домой. Вилли сидел в своей полицейской машине на Главной улице и еще не спал.

— Что-то вы повадились гулять, Ит,— сказал он.

— Да знаете, как бывает.

— Еще бы! Весна! И в сердце молодом волненье.

Мэри спала с улыбкой на губах, но, когда я тихонько лег рядом с ней, она шевельнулась, просыпаясь. Тоска где-то внутри по-прежнему терзала меня — холодная, сосущая тоска. Мэри повернулась на бок, прижала меня всего к своему пахнущему травой телу, и она стала нужна мне. Я знал, что мало-помалу тоска утихнет сама собой, но сейчас Мэри была нужна мне. Не знаю, проснулась ли она окончательно, может, и нет, но ей, даже сонной, было понятно, что мне нужно.

А потом сон у нее прошел, и она сказала:

— Ты, наверно, проголодался.

— Да, Елена Прекрасная.

— Чего тебе дать?

— Сандвич с луком — нет, два! Ржаной хлеб и с луком.

— Тогда мне тоже надо, не то задохнусь.

— Будто тебе самой не хочется!

— Конечно хочется.

Она сошла вниз и вскоре вернулась с сандвичами, картонкой молока и двумя стаканами.

Лук был свирепый.

— Мэри, краса,— начал я.

— Прожуй сначала.

— Ты правду тогда говорила, что не хочешь знать о моих делах?

— Д-да...

— Так вот. Я решил предпринять кое-что. Мне нужно тысячу долларов.

— Это по совету мистера Бейкера?

— До некоторой степени. Но там есть и моя идея.

— Ну что ж, выпиши чек.

— Нет, родная. Я хочу, чтобы ты взяла сама, причем наличными. И можешь обронить словечко в банке, что собираешься купить новую мебель, или ковры, или там не знаю что.

— Но я и не думала ничего покупать.

— Все равно.

— Секрет?

— Ты же сама так хотела.

— Да... правда. Так будет лучше. Да. Ой, какой лук едучий! А мистер Бейкер одобряет это?

— Он бы сам так действовал, если бы мог.

— Когда понадобятся деньги?

— Завтра.

— Не буду я есть этот лук. От меня и так, наверно, разит.

— Ты моя дорогая.

— Просто не дает мне покоя твой Марулло.

— Это почему же?

— Явился к нам в дом. Принес конфет.

— Неисповедимы пути господни.

— Перестань богохульствовать. Пасха еще не кончилась.

— Кончилась. Уже четверть второго.

— Ой-ой-ой! Спать, спать!

— Уснуть... а если сновиденья посетят?.. Шекспир.

— Тебе только бы шутить.

Но я не шутил. Тоска не проходила и все терзала меня, хоть я и не

думал о ее причинах и иногда даже спрашивал самого себя: почему я так терзаюсь? Человек привыкает ко всему, но на это нужно время. Когда-то давным-давно я работал на пороховом заводе, развозил нитроглицерин по цехам. Платили там очень хорошо, потому что нитроглицерин — коварная штука. Сначала я боялся шагу ступить, а через неделю, через две привык — работа как работа. Да чего уж больше, к должности продавца бакалейной лавки я и то притерпелся! Привычное всегда тебя тянет, а новизна, наоборот, отпугивает.

В темноте, вглядываясь в красные пятна, плывущие у меня перед глазами, я проверил в самом себе то, что было принято называть совестью, и не обнаружил в ней больного места. Потом меня заинтересовало, смог ли бы я уклониться от намеченного курса или повернуть на девяносто градусов по компасу, и выяснилось, что при желании смог бы, но желания такого не было.

Я существовал в каком-то новом измерении, в том-то и была вся прелесть. Точно у тебя вдруг заработали бездействовавшие до сих пор мускулы или ты паришь над землей, как в своих детских снах. Я часто переигрываю наново разные случаи, сцены, разговоры и каждый раз подмечаю все новые и новые подробности, ускользнувшие от меня на первом представлении.

Мэри находит странным приход Марулло к нам в дом с кулечком карамелек, а на ее чутье можно положиться. Я расценил этот визит как подношение мне — в уплату за мою неподкупность. Но вопрос Мэри заставил меня вдуматься в то, что раньше я оставил без внимания. Марулло выдал мне награду не за прошлое, он одаривал меня наперед. Я интересую Марулло постольку, поскольку могу быть полезен ему. Я перебрал в памяти его деловые наставления и наш разговор о Сицилии. Где-то, в какой-то момент он потерял веру в себя. Что-то ему от меня понадобилось, чего-то он от меня ждет. Есть способ проверить это. Попросить что-нибудь такое, в чем раньше было бы отказано, и, если на сей раз отказа не будет, значит, он чем-то сильно встревожен и лишился покоя. Отставим Марулло в сторону и займемся Марджи. Марджи — по этому модному когда-то имени можно судить о ее возрасте. «Марджи! Царица снов моих! Марджи! С тобой...»

Я переиграл сцены с Марджи на фоне красных пятен, плывущих по потолку, стараясь вспомнить все как было, ничего не присочиняя. Долгое время, может, года два, была такая миссис Янг-Хант, приятельница моей жены, к болтовне которой я не особенно прислушивался. Потом вдруг возникла Марджи Янг-Хант, а потом просто Марджи. Она, вероятно, заходила ко мне в лавку и до страстной пятницы, но я этого не помню. А в тот день она будто доложила о себе. До тех пор мы с ней, по всей вероятности, не замечали друг друга. Но с той самой пятницы она словно все время здесь — подталкивает, теребит. Что ей нужно? Неужели это всего лишь интрига женщины, не знающей, чем себя занять? Или она действует по какому-то плану? Впечатление такое, что она именно доложила мне о своей персоне, заставила опознать, приметить себя. Второе гадание она, вероятно, задумала без всякой задней мысли и рассчитывала обойтись набором профессионально гладких фраз. А потом что-то произошло, и все перевернулось. Мэри ничего такого ей не говорила, что могло бы настолько взвинтить ее, я тоже. Неужели про змею не выдумано? Если нет, тогда это самое простое и, пожалуй, самое правдоподобное объяснение. Может быть, она действительно наделена тонкой интуицией и способна проникать в чужие мысли. Тот факт, что она застигла меня в процессе моей метаморфозы, как будто и подтверждает это, но, может, тут было простое совпадение? Но что вдруг ни с того ни с сего погнало ее в Монток, почему она стакнулась с коммивояжером, выболтала все Марулло? Как-то не верится, что эта женщина

способна нечаянно о чем-то проболтаться. В одном из книжных шкафов у нас на чердаке есть биография... как его, Беринга? Нет, Баранова, Александра Баранова, русского губернатора Аляски в начале 1800 годов. Может быть, там говорится где-нибудь, что на Аляску ссылали за колдовство. Слишком уж невероятная история, такой не придумаешь. Надо полистать книжку. А не пробраться ли мне на чердак сейчас, подумал я, только бы не разбудить Мэри.

И тут я услышал, как скрипнули ступеньки нашей старой дубовой лестницы — одна, другая, третья... значит, это не осадка дома от перемены температуры. Наверно, Эллен опять ходит во сне.

Я, конечно, люблю свою дочь, но она у нас чересчур уж смышленая, будто такой на свет родилась, смышленая и завистливая, но привязчивая. Всегда в ней зависть к брату, а бывает так, что и ко мне. Я считаю, что сексуальные вопросы стали занимать ее слишком рано. Отцы, вероятно, всегда это чувствуют. Еще совсем малышкой она так интересовалась мужскими половыми органами, что нам становилось неловко. Потом она всем существом углубилась в тайну созревания. Ангельской девичьей кротости, о которой толкуют на страницах журналов, в ней не было и в помине. Дома у нас все кипело от ее нервозности, стены были пропитаны непокоем. Мне приходилось читать, что в средние века верили, будто в созревающих девушек вселяется нечистая сила, и я не берусь отрицать это. Одно время мы в шутку говорили, что у нас завелся домовой. Картины вдруг начинали срываться со стен, посуда разбивалась вдребезги. На чердаке слышался глухой стук, в подвале что-то громыхало. В чем было дело, неизвестно, но эти странности настолько меня интересовали, что я все время послеживал за Эллен, за ее таинственными появлениями и исчезновениями. Она была как ночной зверек, как кошка. Я убедился, что все эти шумы, стуки, грохот не имеют к ней никакого отношения, но все же в ее отсутствие ничего такого не случалось. Она могла сидеть неподвижно, вперив взгляд в пространство, когда домовой давал о себе знать, но без нее дело не обходилось.

В детстве я слышал, что давным-давно в старом доме Хоули жило привидение — дух одного из наших пуританско-пиратских предков, но, судя по отзывам, это было вполне порядочное привидение, ходило-бродило по всему дому и издавало стоны, как ему и полагалось. Ступеньки поскрипывали под его невидимой тяжестью, оно стучало в стены, предвещая чью-нибудь неминуемую смерть,— и все это с большим достоинством, по законам хорошего тона. У домового нрав был совсем другой — вредный, злобный, коварный и мстительный. Дешевые вещи ему под руку не попадались — только те, что подороже. Потом он вдруг исчез. Я, собственно, не очень-то в него верил. Он был предметом наших семейных шуток, но шутки шутками, а домовой домовым, и вот вам, пожалуйста,— картины с разбитым стеклом и черепки фарфоровой посуды.

Когда он перестал нас тревожить, Эллен начала ходить во сне — вот как сейчас. Я слышал ее медленные, но уверенные шаги вниз по лестнице. И в ту же минуту моя Мэри глубоко вздохнула и пробормотала что-то, и внезапно поднявшийся ветерок качнул тени листьев и веток на потолке.

Я тихонько встал с кровати и так же тихонько надел халат, ибо мне, как и всем, известно, что лунатиков пугать нельзя.

Из моих слов можно вывести, будто я плохо отношусь к своей дочери, а это неверно. Я люблю ее, но в то же время побаиваюсь, потому что многое в ней мне непонятно.

Если по нашей лестнице идти с краю, у самой стены, то ступеньки не скрипят. Я открыл это еще юнцом, когда возвращался домой после ночных гуляний, точно блудливый кот. И до сих пор пользуюсь своим открытием, если не хочу будить Мэри. Я вспомнил о нем и сейчас —

бесшумно спустился по лестнице, ведя пальцами по стене, чтобы не оступиться. С той стороны, где улица, в окно проникал тусклый узорчатый свет фонаря, сливающийся с полутьмой в глубине комнаты. Но Эллен я видел. От нее словно исходило сияние, может, потому, что на ней была белая ночная рубашка. Лицо ее оставалось в тени, но плечи и руки излучали свет. Она стояла перед застекленной горкой, где у нас хранятся семейные реликвии, сами по себе пустяковые: резные, нарваловой кости киты и вельботы с веслами и гарпунами, со всей командой и с гарпунщиком на носу; изогнутые моржовые клыки и бивни; маленькая модель «Прекрасной Адэр», корпус поблескивает лаком, а свернутые паруса и снасти — потемневшие от времени, пыльные. Есть там китайские вещицы, которые привозили с Востока старые шкиперы, опустошавшие китайские воды на своих китобойных судах: фигурки и безделушки черного дерева, слоновой кости — смеющиеся и серьезные божки, безмятежные и давно не мытые будды, цветы, вырезанные из розового кварца, мыльного камня и даже из нефрита — да, да, из настоящего нефрита,— и прелестные, совершенно прозрачные фарфоровые чашечки. Среди этих вещей, вероятно, есть и ценные — например, маленькие лошадки, хоть и грубо отесанные, а удивительно живые,— но это чистая случайность, не иначе. Мореходы, охотники за китами — где им было отличать хорошее от плохого? А может, я не прав? Может, все-таки отличали?

Эта горка всегда была для меня святыней, точно маски предков у римлян, точно лары и пенаты, а если заглянуть еще дальше — точно камни, упавшие с луны. У нас есть даже корень мандрагоры — ни дать, ни взять человечек, плод семени удавленника, есть и самая настоящая русалка, сшитая из двух половинок — туловище обезьянье, а хвост рыбий. С годами она довольно сильно облезла, вся сморщилась и на ней стали видны швы, но ее мелкие зубки по-прежнему поблескивают в оскале свирепой ухмылки.

Вероятно, в каждой семье есть свой талисман, символ преемственности, который вдохновляет, и утешает, и подбадривает поколение за поколением. Наш талисман, это — как бы сказать? — такой опалового цвета холмик то ли из кварца, то ли из яшмы или даже мыльного камня, круглый, четырех дюймов в диаметре, полутора — в вышину. И по нему идет бесконечно переплетающаяся извилина, и она будто непрестанно струится, бежит куда-то. Извилина живет, но у нее нет ни головы, ни хвоста, ни конца, ни начала. На ощупь камень не скользкий, а чуть шероховатый, как человеческая кожа, и всегда теплый. В него можно глубоко заглянуть, но насквозь он не просвечивает. Какой-нибудь старый моряк, одной крови со мной, привез этот камень из Китая. Он волшебный — его так приятно рассматривать, трогать, поглаживать пальцами, водить им по щеке. Этот странный талисман живет у нас за стеклом горки. В детстве, в юности, даже когда я стал взрослым мужчиной, мне разрешалось трогать его, брать в руки, но только не выносить из дому. И его цвет, его прожилки и фактура менялись вместе с переменами во мне самом. Однажды я представил себе, что это женская грудь, и она томила, жгла меня, мальчика. Потом он превратился в человеческий мозг и стал загадкой: что-то движется, плывет, но без истока, без устья — словно вопрос, замкнутый в самом себе, не требующий ответа, который исчерпал бы его, не знающий ни конца, ни начала обозримых границ.

В горку был вделан старинный медный замок, и в замке всегда торчал медный ключ.

Моя спящая дочка обеими руками держала волшебный камень, водила по нему пальцами, ласкала, как живое существо. Потом она прижала его к своей несформировавшейся груди, поднесла к щеке, по-

ниже уха, по-щенячьи ткнулась в него носом и чуть слышно замурлыкала что-то, похожее не столько на песенку, сколько на стон удовольствия и сладость томления. В ней чувствовалась какая-то губительная сила. Я было испугался — а вдруг она бросит его и разобьет или запрячет куда-нибудь, но тут же понял — в ее руках это мать, возлюбленный, ребенок.

Как же разбудить, не испугав? И вообще, зачем будят лунатиков? Из страха, как бы они сами не причинили себе вреда? Но я не слыхал, чтобы в таком состоянии с ними что-нибудь случалось, а вот когда их будят, это дело другое. Так зачем же нарушать ее сон? Ведь это не кошмар, мучительный, страшный, скорее всего она испытывает приятное чувство, и наяву таких ощущений у нее не будет. Кто дал мне право портить все это? Я тихонько отошел и сел в свое глубокое кресло — ждать, что будет дальше.

Полутьма комнаты искрилась блестками ослепительного света, и они порхали и кружились, точно комариный рой. На самом деле ничего такого, вероятно, не было, просто у меня рябило в глазах от усталости, но отделаться от этого впечатления мне не удавалось. А моя дочь Эллен действительно излучала сияние, и оно шло не только от белизны ее ночной рубашки, но и от самой кожи. В темной комнате нельзя было бы видеть ее лицо, а я его видел. И мне казалось, что оно у нее не как у маленькой девочки и не старообразное, а зрелое, с четкими, определившимися чертами. Даже губы ее, против обыкновения, были твердо сжаты.

Но вот Эллен твердой рукой положила талисман на прежнее место, затворила стеклянную дверцу и щелкнула медным ключом в замке. Потом она повернулась и, пройдя мимо моего кресла, стала подниматься по лестнице. Две вещи могли мне почудиться — первое, что поступь у нее была не как у девочки, а как у женщины, познавшей удовлетворение, и второе, что с каждым шагом сияние убывало в ней. Допустим, это все домыслы, плод моей фантазии, но за третье я ручаюсь: под ее ногами ступеньки не скрипели. Она, вероятно, шла у самой стены, там, где старая лестница молчит, не жалуется.

Выждав несколько минут, я пошел следом за ней и увидел, что она лежит в постели и спит, уютно укрывшись одеялом. Она дышала ртом, и лицо ее было лицо спящего ребенка.

Что-то вынудило меня снова сойти вниз и открыть горку. Я взял волшебный камень в руки. Он еще хранил тепло тела моей дочери. Как в детстве, я стал водить кончиками пальцев по бесконечно струящейся извилине и успокоился. Я почувствовал, что Эллен близка мне.

И вот не знаю, талисман ли связал ее со мной, с родом Хоули, или что другое.

ГЛАВА IX

В понедельник весна предательски вильнула назад, к зиме, разразившись холодным дождем и сырым, резким ветром, который сек молодую листву чересчур легковерных деревьев. Нахальных распутников воробьев, предававшихся блуду на газонах, ветер разогнал куда попало, и они сердитым чириканьем выражали неудовольствие по поводу капризов природы.

Я приветствовал мистера Рыжего Бейкера, который совершал свою утреннюю прогулку, помахивая хвостом на ветру. Старый мой знакомец, он жмурился от дождя. Я сказал:

— Мы можем казаться добрыми друзьями, но считаю своим долгом заметить вам, что отныне за нашими улыбками скрывается борьба,

непримиримое столкновение интересов.— Я сказал бы еще больше, но он спешил кончить свои дела и убраться под надежный кров.

Морфи появился минута в минуту. Может быть, он поджидал меня, наверно даже так.

— Ну и погодка,— сказал он; его дождевик из прорезиненного шелка то вздувался пузырем, то облеплял ему колени.— Вы, говорят, были вчера у моего хозяина с визитом?

— Мне понадобился его совет. Но меня и чаем угостили.

— Не сомневаюсь.

— Знаете, как бывает с советами. Они вас устраивают лишь в том случае, если совпадают с вашими собственными намерениями.

— Ищете, куда бы поместить капитал?

— Моей Мэри захотелось новую мебель. А когда женщине чего-нибудь хочется, она первым делом изображает свою затею как выгодное помещение капитала.

— Это не только женская черта,— сказал Морфи.— Я и сам такой. Деньги-то ее. Вот она и хочет поискать что-нибудь подходящее.

На углу Главной улицы, у входа в игрушечный магазин Раппа ветер сорвал жестяной рекламный щиток и гнал его по мостовой с таким грохотом и звоном, как будто произошла автомобильная катастрофа.

— Скажите, верно я слыхал, будто ваш хозяин собирается в Италию?

— Не знаю. Странно, что он до сих пор ни разу туда не съездил. Итальянцы такие горячие родственники.

— Зайдем, выпьем кофе?

— Мне еще нужно прибрать в лавке. После праздника с утра всегда много народу.

— Ладно уж, ладно. Не будьте мелочны. Личный друг мистера Бейкера может позволить себе не торопясь выпить чашку кофе.

Он это сказал не так ехидно, как оно выглядит на бумаге. Он умел говорить любые слова самым невинным и дружелюбным тоном.

За все эти годы я ни разу не пил утром кофе в «Фок-мачте» — вероятно, я один из всего города. Пить кофе в «Фок-мачте» — обычай, традиция, это все равно что клуб. Мы взгромоздились на табуреты у стойки, и мисс Линч — я вместе с ней ходил когда-то в школу — пододвинула нам чашки с кофе, ничего не расплескав. Рядом с каждой чашкой стоял крохотный сливочник, а два куска сахару в бумажных обертках она бросила вдогонку, словно игральные кости.

Мисс Линч — мисс Линч. «Мисс» уже стало частицей ее имени, частицей ее самой. Пожалуй, ей уже так и не удастся отделаться от этой частицы. Ее красный носик с каждым годом все красней, но это не алкоголизм, а хронический насморк.

— Доброе утро, Итен,— сказал она.— Что сегодня, какое-нибудь торжество?

— Это он меня затащил,— сказал я и, желая быть добрым, приба-вил: — Анни.

Она дернула головой, как от револьверного выстрела, но потом, поняв, в чем дело, улыбнулась и, поверите ли, стала совершенно такой же, как в пятом классе,— и красный носик, и все прочее.

— Приятно повидать тебя, Итен,— сказала она и высморкалась в бумажную салфетку.

— А я удивился, когда узнал,— сказал Морфи. Он снимал с сахара обертку. Его ногти блестели лаком.— Вот так, втемяшится тебе что-нибудь в голову, а там привыкнешь к этой мысли, и кажется, иначе и быть не может. Потом трудно поверить, что ты неправ.

— Не понимаю, о чем это вы.

— Я. пожалуй, и сам не понимаю. Черт бы побрал эти обертки. Почему не насыпать просто в сахарницу?

— Из экономии, должно быть, чтобы не брали слишком много.

— Разве что так. Я знал одного типа, он некоторое время только сахаром и питался. Пойдет в «Автомат», возьмет за десять центов чашку кофе, половину выпьет, а потом доверху добавляет сахаром. Все-таки хоть с голоду не умрешь.

И я, как всегда, подумал: не был ли этим типом сам Морфи—странный колючий человек без возраста, с наманикюренными ногтями. Он был как будто интеллигентным, об этом говорила его логика, ход его мыслей. Но язык у него был грубый, простецкий, с налетом вульгарности — язык человека из низов.

— Не потому ли вы пьете кофе с одним куском сахару? — спросил я.

Он ухмыльнулся.

— У каждого есть своя теория,— сказал он.— Самый распоследний голодранец разведет вам теорию, почему он попал в голодранцы. Едешь по дороге и вдруг упрешься в тупик, потому что считался с теорией, а не с дорожными знаками. Из-за этого самого и я, верно, дал маху насчет вашего хозяина.

Давно уж мне не случалось пить кофе не дома. Кофе был неважный. У него даже и вкуса кофе не было, только что горячий и черный — в последнем я убедился, пролив немножко на свою сорочку.

— Честное слово, не понимаю, о чем вы.

— Хочу сообразить, с чего это мне вообще втемяшилось в голову. Верно, вот с чего: ведь он говорит, что приехал сорок лет назад. Тридцать пять или тридцать семь — это может быть, но не сорок, нет.

— Я, должно быть, очень туп.

— Если сорок, это выходит тысяча девятьсот двадцатый год. Все еще не дошло? Знаете, когда работаешь в банке, нужно уметь сразу раскусить человека, он протянул чек, а ты уже знаешь, что это за птица. Вот и вырабатывается сноровка. Не приходится даже думать. Все само встает на место, но бывает, что и ошибешься. Может, он и в самом деле приехал в двадцатом. Может, я ошибся.

Я допил кофе.

— Пора, а то не успею прибрать в лавке,— сказал я.

— Вы меня перехитрили,— сказал Морфи.— Стали бы допытываться, ничего бы я вам не сказал. Но вы молчите, придется, значит, сказать. В двадцать первом году прошел первый чрезвычайный закон об иммиграции.

— Ну и что?

— В двадцатом он мог сюда приехать. В двадцать первом — едва ли.

— Ну и что?

— Значит — так подсказывает мне смекалка,— он приехал сюда после двадцать первого, но с черного хода. И, значит, он не ездит на родину потому, что не может получить документа на обратный въезд.

— Слава богу, что я не работаю в банке.

— А от вас бы там было больше проку, чем от меня. Я слишком много болтаю. Словом, если он едет, значит, я ошибся. Погодите, выйдем вместе. За кофе я плачу.

— Привет, Анни,— сказал я.

— Заходи, Ит. Ты никогда не заходишь.

— Зайду.

Когда мы переходили улицу, Морфи сказал:

— Вы не рассказывайте его макаронному святейшеству, что я прохаживался насчет его отношений с иммиграционными властями, ладно?

— Зачем я стану ему рассказывать?

— А зачем я вам рассказал? Что за драгоценности в этом футляре?

— Шляпа Рыцаря-храмовника. Перо пожелтело. Хочу спросить, не возьмут ли его в отбелку.

— Вы масон?

— Семейная традиция. Хоули были масонами еще до того, как Джордж Вашингтон стал Великим Магистром.

— Вот не знал этого про Вашингтона. А мистер Бейкер тоже масон?

— У Бейкеров это тоже традиция.

Мы уже вошли в переулок. Морфи полез в карман за ключом от боковой двери банка.

— Может, потому мы и отпираем сейф с такими церемониями, будто это заседание масонской ложи. Только что свечей нет. А так — форменное священнодействие.

— Морфи,— сказал я,— вы что-то сегодня ко всему придираетесь. Пасха не внесла мира в вашу душу.

— Увидим через неделю,— сказал он.— Нет, правда. Когда стрелка подходит к девяти, мы уже все стоим, обнажив голову, перед святая святых. А ровно в девять отец Бейкер преклонит колени, отопрет сейф, и мы все бьем земные поклоны Великому Богу Чистогана.

— Вы псих, Морфи.

— Может, я и псих. А, черт бы побрал этот замок! Его можно открыть чем угодно, только не ключом.— Он долго ворочал ключ в замке и пинал дверь ногами, пока наконец она не отворилась. Потом вытащил из кармана листок туалетной бумаги и затолкал его в замок.

Я едва удержался, чтобы не спросить: а это не рискованно?

Он ответил без моего вопроса:

— А то эта пакость захлопнется, когда не нужно. Понятно, после того, как откроют сейф, Бейкер сам проверяет все замки. Смотрите же, не проболтайтесь Марулло о моих подозрениях. С такими клиентами шутить не приходится.

— Ладно, Морфи,— сказал я и пошел через дорогу к своей двери и оглянулся, ища кота, который всегда норовил прошмыгнуть в лавку, но кота не было.

Внутри лавки все как будто изменилось, все было новым для меня. Я видел то, чего никогда не замечал раньше, и не видел того, что меня всегда огорчало и раздражало. Ничего удивительного. Взглянешь на мир другими глазами или даже сквозь другие очки — и сразу перед тобой другой, новый мир.

В уборной из-за неисправного вентиля все время подтекала вода. Марулло не спешил сменить вентиль: расход воды не контролировался, и ему было наплевать. Я прошел в передний угол лавки, где стояли старомодные весы с чашками, и взял оттуда двухфунтовую гирю. Эту гирю я подвесил к цепочке в уборной, поверх деревянной ручки. Вода полилась и стала литься, не переставая. Я снова вышел в помещение лавки и прислушался: было слышно, как вода бурлит и клокочет в унитазе. Этот звук не спутаешь ни с чем другим. Я отвязал гирю, положил на место и вернулся за прилавок. Моя паства на полках замерла в ожидании. Бедняги, им некуда было податься. Мне бросилась в глаза маска Мики Мауса, скалившая зубы с коробки в приделе, отведенном провизии для завтраков. Это мне напомнило про обещание, данное Аллену. Я нашел рогатую палку, которой достают товар с верхних полок, подцепил одну коробку, снес ее в кладовую и поставил там, где висел мой плащ. Вернувшись, я посмотрел на полку: оттуда точно так же скалил на меня зубы следующий Мики Маус.

Я пошарил за батареей консервных банок и вытащил серый холщовый мешочек с мелочью, потом, вспомнив что-то, стал шарить дальше,

пока не нащупал старый замасленный револьвер, валявшийся там с незапамятных времен. Это был «айвер-джонсон» 38 калибра, когда-то посеребренный, но серебро почти все стерлось. Я открыл барабан и увидел позеленевшие от времени патроны. Барабан, перемазанный загустевшим маслом, вращался туго. Я сунул предательскую и, вероятно, опасную игрушку в ящик под кассой, достал чистый фартук и подвязал его, обведя тесемки вокруг пояса и аккуратно заправив под отогнутый край.

Кому не случалось задумываться над решениями, поступками и замыслами сильных мира сего? Рождены ли они разумными побуждениями и добрыми намерениями, или же в них повинны порой случай, мечта, разыгравшаяся фантазия, сказки, которые мы все любим рассказывать себе? Я хорошо знаю, сколько времени длится игра, которую я веду в своем воображении,— она началась с того дня, когда Морфи перечислял мне условия успешного ограбления банка. Я долго обдумывал его слова с ребяческим удовольствием, в каком взрослые обычно не сознаются. Так началась игра, которая шла параллельно действительной жизни лавки, и все, что происходило на самом деле, словно бы естественно укладывалось в эту игру. Неисправный вентиль в уборной, маска Мики Мауса, которую просил Аллен, рассказ об отпирании сейфа. Возникали новые подробности и тоже легко находили себе место — например, туалетная бумага, засунутая в дверной замок. Игра постепенно расширялась, усложнялась, но до этого дня в ней участвовало только воображение. Гиря, привязанная к цепочке в уборной, была первой реальностью этого мысленного дивертисмента. Второй реальностью был старый револьвер. А теперь я занялся расчетом времени. Игра обретала точность.

Я до сих пор ношу при себе отцовский серебряный хронометр с толстыми стрелками и большими черными цифрами — вещь редкостная, если не по красоте, то по верности хода. Утром, прежде чем взяться за метлу, я сунул его в кармашек сорочки. И размерил время так, что без пяти девять уже успел распахнуть двери и чиркал метлой по тротуару. Удивительно, сколько грязи скапливается за субботу и воскресенье, а от дождя грязь намокла и превратилась в слякоть.

До чего же точный механизм наш банк, под стать отцовскому хронометру. Ровно без пяти девять со стороны Вязовой улицы показался мистер Бейкер. Гарри Робитт и Эдит Олден, вероятно, подстерегали его приход. Они сразу вынырнули из «Фок-мачты» и догнали его на полдороге.

— Доброе утро, мистер Бейкер,— окликнул я.— Доброе утро, Эдит. Доброе утро, Гарри.

— Доброе утро, Итен. Вам сегодня без шланга не управиться.— Они вошли в банк.

Я поставил метлу у входа, взял гирю с весов, подошел к кассе, выдвинул ящик и начал быструю, но методичную пантомиму. Прошел в уборную и подвесил гирю к цепочке. Подобрал фартук, заткнул полы за пояс, надел свой плащ, вышел на черный ход и осторожно приоткрыл дверь. Когда минутная стрелка хронометра коснулась двенадцати, на башне ратуши начали бить часы. Я отсчитал в уме восемь шагов через дорогу, потом еще двадцать. Я сделал движение рукой — не шевеля губами,— выждал десять секунд, сделал еще движение рукой. Все это я видел мысленно — руки мои делали определенные движения, а я считал: двадцать шагов, быстрых, но размеренных, потом еще восемь шагов. Я затворил дверь, снял плащ, опустил фартук, прошел в уборную, снял гирю с цепочки, прекратив этим спуск воды, подошел к кассе, выдвинул ящик, открыл шляпную коробку, потом опять закрыл и застегнул на ней ремень, вернулся к входной двери, взял метлу и посмотрел на часы. Было девять часов, две минуты и двадцать секунд; неплохо, но можно напрактиковаться так, чтобы все занимало меньше двух минут.

Я еще не кончил подметать тротуар, когда из «Фок-мачты» вышел Стони, старший констебль, и, перейдя улицу, направился ко мне.

— Доброе утро, Ит. Отпустите-ка мне поскорей полфунта масла, фунт бекону, бутылку молока и десяток яиц. У моей супружницы подобрались все припасы.

— Сию минуту, начальник. Как вообще жизнь? — Я раскрыл бумажный пакет и стал складывать туда нужные продукты.

— Спасибо, ничего,— сказал он.— Я заходил минут пять назад, да услышал, что вы в уборной.

— Наешься крутых яиц, вот и сидишь потом без конца.

— Что верно, то верно,— сказал Стони.— Это уж такое дело.

Сработало, значит.

Уже собравшись уходить, он спросил:

— Что с вашим дружком, Дэнни Тэйлором?

— Ничего не знаю. Опять он за свое?

— Да нет, вроде бы он в порядке, почистился даже. Я сижу в машине, а он подходит и просит засвидетельствовать его подпись.

— Для чего?

— Не имею понятия. На двух бумагах, но он держал их сложенными, так что я ничего не мог разглядеть.

— На двух бумагах?

— Точно. Он дважды расписался, и я дважды засвидетельствовал его подпись.

— Он не был пьян?

— По-моему, нет. Подстриженный, при галстуке.

— Хорошо, если так, начальник.

— Да, конечно. Бедняга. Все ведь они надеются на что-то. Ну, мне пора.— И он с места припустил галопом. У Стони жена на двадцать лет его моложе. Я снова взялся за метлу и стал сбрасывать комки грязи в водосточную канаву.

На душе у меня было погано. Может быть, всегда трудно в первый раз.

Я был прав насчет послепраздничного утра. Казалось, все в городе остались без провизии. А нам овощи и фрукты подвозят только после полудня, так что в лавке поживиться было почти нечем. Но даже с наличным товаром я только успевал поворачиваться.

Марулло явился около десяти и — удивительное дело! — стал мне помогать, взвешивать, завертывать, выбивать чеки в кассе. Давно уже он не прикладывал руки к торговле. С ним чаще всего бывало так: зайдет, посмотрит и скроется — точно лендлорд, мимоходом заглянувший в свое поместье. Но на этот раз он исправно трудился, помогая мне вскрывать коробки и ящики с вновь полученным товаром. Мне казалось, он чем-то встревожен и внимательно следит за мной, когда я отвернусь. У нас не было времени на разговоры, но я чувствовал на себе его взгляд. Я решил, что его смущает история со взяткой, от которой я отказался. Может быть, Морфи и прав. Есть такие люди — услышав, что кто-то поступил честно, они ищут бесчестных мотивов, заставивших его так поступить. «А какая ему от этого выгода» — излюбленное рассуждение тех, кто привык собственную жизнь разыгрывать, как партию в покер. Мне стало смешно от этой мысли, но я запрятал смешок поглубже, чтоб даже пузырька не поднялось на поверхность.

Около одиннадцати в лавку заглянула Мэри, прехорошенькая в новом платье из набивного ситца. Вид у нее был радостный и немножко взволнованный, как будто она только что совершила нечто приятное, но опасное — так оно и было на самом деле. Она подала мне конверт из плотной желтоватой бумаги.

— Я думала, может, тебе это понадобится,— сказала она. И улыбнулась Марулло, по-птичьи склонив набок головку, как она всегда улыбается людям, которые ей несимпатичны. А Марулло с самого начала не внушал ей симпатии, и доверия тоже. Я это объяснял инстинктивной неприязнью, которую всякая жена питает к хозяину мужа и к его секретарше.

Я сказал:

— Спасибо, родная. Ты очень внимательна. Жаль, я не могу сразу же пригласить тебя покататься на яхте по Нилу.

— Я вижу, что тебе некогда,— сказала она.

— Наверно, и у тебя в хозяйстве все подобралось.

— Конечно. Вот список. Захвати, когда пойдешь домой, ладно? Сейчас тебе некогда возиться с этим.

— Только не корми меня больше крутыми яйцами.

— Не буду, милый. Целый год не буду.

— Пасхальная сдоба тоже дает себя знать.

— Марджи просит, чтобы мы сегодня пообедали с ней в «Фок-мачте». Она огорчается, что ей никогда не удается угостить нас.

— Что ж, отлично,— сказал я.

— Она говорит, дома у нее слишком тесно.

— Разве?

— Я тебя отвлекаю от дела,— сказала она.

Глаза Марулло были прикованы к желтоватому конверту, который я держал в руке. Я сунул его под фартук и спрятал в карман брюк. Марулло сразу узнал банковский конверт. И я почувствовал, что он весь насторожился, точно терьер, учуявший крысу на городской свалке.

Мэри сказала:

— Я еще не поблагодарила вас за конфеты, мистер Марулло. Дети были в восторге.

— Я просто хотел поздравить с праздником,— сказал он.— А вы совсем по-весеннему.

— Да, и очень некстати. Видите, промокла. Я думала, дождя больше не будет, а он опять пошел.

— Возьми мой плащ, Мэри.

— Еще чего не хватало. Такой дождь ненадолго. А ты занимайся своими покупателями.

Народу в лавке все прибавлялось. Заглянул мистер Бейкер, но, увидя длинную очередь, не стал входить.

— Зайду попозже! — крикнул он мне.

А народ все шел и шел, вплоть до полудня, когда, как это обычно бывает, торговля сразу замерла. Люди завтракали. Движение на улице почти прекратилось. Впервые за это утро настала минута, когда никому ничего не было нужно. Я допил молоко из картонки, которую открыл было раньше. Все, что я брал в лавке, я записывал, и потом это вычиталось из моего жалованья. Марулло считал мне по оптовым ценам. Так выходило гораздо дешевле. Иначе мы не могли бы прожить на мое жалованье.

Марулло прислонился к прилавку и скрестил руки на груди, но ему стало больно; тогда он заложил руки в карманы, но это не спасло его от боли.

Я сказал:

— Спасибо, что помогли мне. Такого столпотворения никогда еще не бывало. Впрочем, это понятно — на одних остатках картофельного салата не проживешь.

— Ты хорошо работаешь, мальчуган.

— Я работаю, вот и все.

— Нет, не все. Ты умеешь привлечь покупателей. Они тебя любят.

— Они просто привыкли ко мне. Я ведь здесь спокон веку.— И тут мне пришло в голову пустить маленький, совсем крошечный пробный шарик: — Вы, наверно, ждете не дождетесь жаркого сицилийского солнца. Оно там очень жаркое. Я был в Сицилии во время войны.

Марулло отвел глаза в сторону.

— Я еще не решил окончательно.

— А почему?

— Уж очень много времени прошло — целых сорок лет. Я теперь там и не знаю никого.

— У вас же есть родные.

— Они меня не знают.

— С каким бы удовольствием я провел месяц в Италии, без винтовки и вещевого мешка. Правда, сорок лет — долгий срок. Вы в каком году приехали сюда?

— В тысяча девятьсот двадцатом. Давно, очень давно.

Кажется, Морфи попал в точку. Чутье у них, что ли, особое, у банковских служащих, таможенников и полицейских? Я решил пустить еще шар, чуть побольше. Я выдвинул ящик, достал револьвер и бросил его на прилавок. Марулло поспешно убрал руки за спину.

— Что это такое, мальчуган?

— Я хотел вам посоветовать — если у вас нет разрешения, выправьте, не откладывая. С актом Салливэна шутить не стоит.

— Откуда взялся этот револьвер?

— Все время здесь лежит.

— Я его никогда не видел. У меня не было револьвера. Он твой.

— Нет, не мой. Я его тоже никогда не видел раньше. Но принадлежит же он кому-то. А раз уж он есть, не мешало бы все-таки выправить разрешение. Вы уверены, что он не ваш?

— Говорят тебе, я его первый раз вижу. Я вообще не люблю оружия.

— Как странно. Мне казалось, члены мафии непременно должны любить оружие.

— При чем тут мафия? Ты что, хочешь сказать, что я член мафии?

Я прикинулся наивным.

— А разве не все сицилийцы состоят в мафии?

— Что за чушь! Я даже не знаю никого, кто бы там состоял!

Я бросил револьвер в ящик.

— Век живи, век учись! — сказал я.— Ну, мне он, во всяком случае, ни к чему. Отдать его разве Стони. Скажу, что случайно наткнулся на него на полке за товаром — так оно, кстати, и было.

— Делай с ним, что хочешь,— сказал Марулло.— Я его никогда в жизни не видел. Он мне не нужен. Он не мой.

— Ладно,— сказал я.— Отдам, и дело с концом.

Требуется целая куча бумаг, чтобы выправить разрешение по акту Салливэна — немногим меньше, чем для получения паспорта.

Моему хозяину стало явно не по себе. Все это были мелочи, но слишком уж много их накопилось за последнее время.

В лавку, идя в крутой бейдевинд с поставленными кливерами, вплыла престарелая мисс Эльгар, наследная принцесса Нью-Бэйтауна. Мисс Эльгар жила, отделенная от мира двойной стеклянной стеной с воздушной прослойкой. Ее привела в лавку необходимость купить десяток яиц. Она помнила меня маленьким мальчиком и, должно быть, не подозревала, что я за это время успел подрасти. Я видел, что она приятно удивлена моим умением считать и давать сдачу.

— Спасибо, Итен,— сказала она. Ее взгляд скользнул по кофейной мельнице и по Марулло с совершенно одинаковым интересом.— Как здоровье твоего батюшки, Итен?

— Хорошо, мисс Эльгар.

— Будь умницей, не забудь поклониться ему от меня.

— Слушаю, мэм. Непременно, мэм.— Я не собирался корректировать ее чувство времени. Говорят, она до сих пор каждое воскресенье аккуратно заводит стенные часы, хотя они давным-давно электрифицированы. А совсем не плохо жить вот так, вне времени, в бесконечном сегодня, которое никогда не станет вчера. Выходя, она благосклонно кивнула кофейной мельнице.

— Немножко того,— сказал Марулло, покрутив пальцем у виска.

— Для нее никто не меняется. Ни с кем ничего не происходит.

— Ведь твой отец умер. Почему ты не объяснишь ей, что он умер?

— Если ей даже объяснить, она тут же забудет. Она всегда справляется о здоровье отца. Только недавно перестала справляться о здоровье деда. Говорят, она с ним крутила, старая коза.

— Немножко того,— повторил Марулло. Но каким-то образом мисс Эльгар с ее смещенными представлениями о времени помогла ему восстановить свое душевное равновесие. Человек и проще и сложнее, чем кажется. И когда мы уверены, что правы, тут мы обычно и ошибаемся. Исходя из опыта и привычки, Марулло усвоил три подхода к людям: начальственный, льстивый и деловой. Вероятно, все три большей частью себя оправдывали в жизни и потому вполне устраивали его. Но на каком-то этапе своих отношений со мной он от первого отказался.

— Ты славный мальчуган,— сказал он.— И ты настоящий друг.

— Старый Шкипер — это мой дед — любил говорить: если хочешь сохранить друга, никогда не испытывай его.

— Умно сказано.

— Он был умный человек.

— Так вот, мальчуган: я раздумывал весь воскресный день, даже в церкви я раздумывал.

Я знал — или догадывался,— что у него нейдет из ума не принятая мной взятка, и я решил избавить его от долгих предисловий.

— Наверно, все о том щедром подарке.

— Ага.— Он восхищенно взглянул на меня.— А ты и сам умен.

— Видно, не очень, а то работал бы на себя, а не на хозяина.

— Ты здесь сколько времени — двенадцать лет?

— То-то и есть, что целых двенадцать лет. Не слишком ли долго, как вам кажется?

— И ты ни разу ни цента не положил в карман, ни разу не унес ничего домой, не записав в книжку.

— Честность — мой рэкет.

— Ты не шути. Я верно говорю. Я проверяю. Я знаю.

— Что же, прицепите мне медаль на грудь.

— Все воруют — кто больше, кто меньше, а ты нет. Я знаю.

— Может, я просто жду случая украсть уж все сразу.

— Брось свои шутки. Я верно говорю.

— Альфио, вам попался бриллиант. Не трите его слишком сильно, а то как бы не обнаружилась подделка.

— Хочешь, я возьму тебя в дело компаньоном?

— А капитал? Мое жалованье?

— Что-нибудь придумаем.

— Тогда я ничего не смогу украсть у вас, не обворовав самого себя.

Он весело засмеялся.

— Ты умен, мальчуган. Но ведь ты и так не крадешь.

— Вы не слыхали, что я сказал. Может, я задумал украсть все сразу.

— Ты честен, мальчуган.

— Вот я и говорю. Чем ты честней, тем меньше тебе верят. Знаете, Альфио, лучший способ скрыть свои настоящие побуждения, это говорить правду.

— Что ты там мелешь?

— Ars est celare artem *.

Он пошевелил губами, повторяя, и вдруг расхохотался.

— Ха-ха-ха! Hic erat demonstrandum **.

— Хотите выпить холодной кока-колы?

— Мне вредно — вот тут! — Он хлопнул себя по животу.

— Не так вы еще стары, чтоб возиться с больным желудком, ведь вам еще нет пятидесяти?

— Пятьдесят два, и желудок у меня в самом деле больной.

— Допустим,— сказал я.— Вы, значит, приехали сюда двенадцатилетним, если это было в двадцатом году. Рано же в Сицилии начинают учить латынь.

— Я был певчим в церкви.

— Я сам участвовал в церковном хоре — носил крест во время богослужения. Ну, как хотите, а я выпью. Альфио,— сказал я,— вы придумайте для меня способ вступить в дело, а тогда я погляжу. Но предупреждаю вас, денег у меня нет.

— Придумаем, придумаем.

— Но у меня будут деньги.

Он смотрел на меня в упор, как будто что-то притягивало его взгляд. И наконец сказал тихо:

— Io lo credo ***.

Чувство силы, если не славы, всколыхнулось во мне. Я открыл бутылку кока-колы и, поднеся ее к губам, посмотрел поверх стеклянного ствола прямо в глаза Марулло.

— Ты славный мальчуган,— сказал он и, пожав мне руку, направился к выходу.

Что-то вдруг толкнуло меня его окликнуть:

— Альфио, а как ваше плечо?

Он удивленно оглянулся.

— Теперь не болит,— сказал он. И пошел дальше, повторяя самому себе: — Теперь не болит.

Вдруг он вернулся, взволнованный.

— Надо тебе взять эти деньги.

— Какие деньги?

— Эти пять процентов.

— Зачем?

— Надо взять. Будешь мне выплачивать свой пай постепенно — сейчас немножко, потом еще немножко. Только требуй не пять, а шесть.

— Нет.

— Как это нет, если я говорю да?

— Мне это не нужно, Альфио. Я бы взял, если бы мне нужно было, но мне не нужно.

Он глубоко вздохнул.

Днем в лавку не так валил народ, как с утра, но все-таки дела было много. Не знаю отчего, но между тремя и четырьмя всегда наступает затишье, минут на двадцать или полчаса. Потом идет новая волна покупателей — трудовой люд по дороге с работы или хозяйки, спохватившиеся, что у них ничего нет на обед.

В час затишья явился мистер Бейкер. Он долго разглядывал сыры и колбасы за стеклом холодильника, дожидаясь, когда уйдут два за-

---

* Главное в искусстве — скрывать искусство *(лат.)*.

** Что и было продемонстрировано *(лат.)*.

*** Я тебе верю *(итал.)*.

мешкавшихся покупателя, оба из породы нерешительных, таких, которые сами не знают, чего хотят — возьмут одно, положат, возьмут другое, положат, и точно надеются, что нужная вещь сама вскочит им в руки и попросит купить ее.

Наконец они все-таки что-то купили и ушли.

— Итен,— сказал мистер Бейкер.— Вам известно, что Мэри взяла тысячу долларов?

— Да, сэр. Она меня предупредила об этом.

— А вам известно, зачем ей понадобились деньги?

— Еще бы, сэр. Она уже полгода толкует об этом. Вы же знаете женщин. На мебели разве что немного пообтерлась обивка, но с того дня, как она задумала купить новую, это уже старый хлам, на котором сидеть нельзя.

— А вы не считаете, что сейчас глупо тратить деньги на такие вещи? Я ведь вам вчера говорил, какие намечаются перспективы.

— Это ее деньги, сэр.

— Речь идет не о каких-нибудь рискованных спекуляциях, Итен. Речь идет об абсолютно надежном помещении капитала. С этой тысячей она бы через год и мебель купила и еще бы тысяча у нее осталась.

— Мистер Бейкер, я не могу запретить ей тратить ее собственные деньги.

— Но вы бы могли объяснить ей, вы бы могли ее урезонить.

— Мне как-то не пришло в голову.

— Это ответ в духе вашего отца. Это ответ слюнтяя. Я берусь помочь вам стать на ноги, но только в том случае, если вы не будете слюнтяем.

— Постараюсь, сэр.

— Вдобавок она еще, кажется, не хочет иметь дело с местными фирмами. Польстится на скидку где-нибудь на распродаже и уплатит все наличными. Да еще неизвестно, что ей там всучат. Здесь, может быть, обошлось бы и дороже, но по крайней мере есть с кого спросить, если что не так. Вы должны вмешаться, Итен. Заставьте ее положить деньги обратно. Или пусть доверит их лично мне. Она не прогадает.

— Эти деньги — ее наследство после брата, сэр.

— Знаю. Я попытался ее образумить, когда она пришла за ними. Она сделала голубые глаза и сказала, что хочет поехать, посмотреть. Как будто нельзя ездить и смотреть без тысячи долларов в кармане! Если у нее соображения не хватает, так вы-то должны соображать!

— Не разбираюсь я в этих делах, мистер Бейкер, привычки нет. Ведь у нас, с тех пор как мы поженились, никогда не было денег.

— Ну так советую вам разобраться, и как можно скорее, а то у вас их и не будет. У некоторых женщин пристрастие к мотовству все равно что наркомания.

— У Мэри нет такого пристрастия, сэр. Откуда?

— Нет, так будет. Стоит ей раз отведать крови — и она почувствует вкус к убийству.

— Мистер Бейкер, вы это не серьезно.

— Совершенно серьезно.

— Мэри — самая бережливая жена на свете, да ей и нельзя иначе.

Тут он неизвестно почему разбушевался.

— От вас я этого не ожидал, Итен. Если вы хотите чего-то добиться, прежде всего сумейте быть хозяином в собственном доме. Можете повременить с новой мебелью еще немного.

— Я-то могу, она не может.— Мне вдруг пришла в голову мысль, что у банкиров особое зрение на деньги, вроде рентгеновских лучей, и он сейчас видит конверт, лежащий в моем кармане.— Попробую ее уговорить, мистер Бейкер.

— Если она уже все не истратила. Где она сейчас, дома?
— Собиралась поехать автобусом в Риджхэмтон.
— Боже мой! Ну конечно, тысячи долларов как не бывало.
— Это ведь не весь ее капитал, сэр.
— Не в том дело. Без денег вам никуда нет хода.
— Деньга деньгу делает,— вполголоса сказал я.
— Именно. Зарубите это себе на носу, иначе вы — пропащий человек, так и будете всю жизнь торчать за прилавком.
— Мне очень жаль, что так случилось.
— Чем жалеть, лучше заставьте ее слушаться.
— Женщины чудной народ, сэр. Вы вчера говорили о том, как наживают деньги, и, может быть, ей показалось, что это очень легко.
— Так рассейте ее заблуждение, ведь, если у вас не с чего будет начинать, вам ни о каких деньгах и думать не придется.
— Не хотите ли выпить холодной кока-колы, сэр?
— Да, хочу.

Пить из бутылки он не умел, пришлось открыть пачку бумажных стаканчиков. Зато он сразу поостыл и теперь только глухо ворчал, как гром, замирающий в отдалении.

Вошли две негритянки из дома на перекрестке, и ему оставалось только залпом проглотить свою кока-колу и свое негодование.

— Так не забудьте поговорить с ней! — сердито рявкнул он и пошел из лавки. Я подумал, не оттого ли он так злится, что заподозрил подвох, но тут же откинул эту мысль. Нет, просто он чувствовал, что вышло не по его, а он к этому не привык, оттого и злится. Нетрудно прийти в ярость, когда ты советуешь, а твоих советов не слушают.

Эти негритянки — приятные покупательницы. На перекрестке живет целая колония цветных, очень славные люди. Они сюда ходят редко, потому что у них есть своя лавка, но иногда делают у нас кое-какие покупки для сравнения, чтобы выяснить, не слишком ли дорого обходится им расовая солидарность. Эти две не столько покупали, сколько приценивались, но я понимал, в чем дело,— и потом на них приятно было смотреть: красивые женщины, с такими длинными, стройными, прямыми ногами. Удивительно, как много значит для человеческого тела относительно сытое детство — да и для духа тоже.

Перед самым закрытием я позвонил Мэри по телефону.
— Я сегодня немного позже приду, пушинка.
— Не забудь, что мы обедаем с Марджи в «Фок-мачте».
— Я помню.
— На сколько ты запоздаешь?
— Минут на десять-пятнадцать. Хочу сходить посмотреть, как работает землечерпалка в гавани.
— Зачем это?
— Я подумываю, не купить ли ее.
— Фу!
— Принести тебе рыбки?
— Разве если попадется хорошая камбала. Больше теперь ничего не встретишь.
— Ладно. Ну, я пошел.
— Только не копайся, пожалуйста. Тебе еще нужно мыться, переодеваться. Все-таки ведь «Фок-мачта».
— Будь спокойна, моя прелесть, моя красавица. И влетело же мне от мистера Бейкера за то, что я позволил тебе истратить тысячу долларов.
— Ах он старый козел!
— Мэри, Мэри! У стен есть уши.
— Скажи ему, пусть он — сам знаешь что.

— Ну, где ему! Кроме того, он тебя считает дурочкой.
— Что-о?
— А меня — слюнтяем, размазней и еще чем-то в этом роде.

Она засмеялась своим переливчатым смехом, от которого у меня сладкие мурашки по сердцу бегут.

— Жду тебя, милый,— сказала она.— Жду-жду-жду...— А каково мужчине слышать такие слова! Повесив трубку, я стоял у телефона весь обмякший, раскисший от счастья — если так бывает. Я пробовал вспомнить, как я жил до Мэри, но память ничего не подсказывала, пробовал вообразить, как бы я жил без нее, но воображение рисовало только какую-то серую неопределенность в траурной рамке.

Солнце уже зашло за кромку холмов на западе, но большое пухлое облако вобрало его лучи и отбросило их на гавань, на волнорез, на морскую даль, и от этого гребешки волн заалели, как розы. У самого мола торчат из воды причальные сваи — тройные связки бревен, стянутые наверху железным обручем и стесанные в форме пилонов, чтобы лучше сдерживать зимой напор льда. И на всех неподвижно стояли чайки, большей частью самцы с ослепительно белой грудью и аккуратными серыми крыльями. Интересно, может, у каждого из них свое место, которое он может продавать или сдавать внаймы.

Несколько рыбачьих лодок были вытащены на берег. Я знаю всех рыбаков, знаю их с тех пор, как помню себя. Мэри оказалась права. Ничего у них не было, кроме камбалы. Я купил четыре штуки у Джо Логана и постоял возле него, покуда он разделывал их ножом, входившим в рыбью тушку легко, как в воду. Весной есть одна дежурная тема для беседы: скоро ли пойдет кумжа? Существует поговорка: «Сирень цветет — кумжа идет», но на эту примету положиться нельзя. Сколько я себя помню, всегда бывало так: или кумжа еще не пошла, или она уже прошла. А какая красивая эта рыбка, ладная, как форель, чистенькая, серебристая, как — как серебро. И пахнет хорошо. Так вот, кумжа не шла. Джо Логану не удалось поймать ни одной штуки.

— Что до меня, так я люблю морского окуня,— сказал Джо.— Смешно, когда говоришь «морской окунь», никто на него и смотреть не хочет, а назови его «морской курочкой» — покупатели прямо рвут из рук.

— Как ваша дочка, Джо?

— Да так, то вроде получше, а то опять словно тает. Горе мне с ней.

— Тяжело, конечно. Сочувствую вам.

— Если б хоть чем-нибудь можно было помочь...

— Я понимаю — бедная девочка. Вот бумажный мешок, Джо. Просто бросьте в него рыбку. Вы передайте дочке привет от меня, Джо.

Он впился в меня взглядом, точно надеялся выжать из меня что-то, какое-то лекарство.

— Ладно, Ит,— сказал он.— Передам.

За волнорезом работала землечерпалка, ее гигантский насос втягивал со дна ил и раковины и по трубе, уложенной на понтонах, гнал все на берег, за просмоленную черную загородку. На землечерпалке зажжены были и ходовые и якорные огни, и два красных шара на высоком шесте указывали, что работа производится. На палубе, опершись голыми локтями на поручни, стоял бледнолицый кок в белом колпаке и переднике, смотрел вниз, в растревоженную воду и время от времени сплевывал за борт. Ветер дул с моря. Он доносил вонь ила, и мертвых моллюсков, и полусгнивших водорослей, смешанную со сладким запахом яблочного пирога с корицей, который пекли на землечерпалке.

Маленькая яхта сверкнула парусами в последних отсветах зари, но розовую вспышку тотчас же погасила тень берега. Я повернул назад и, минуя старый яхт-клуб и здание Американского легиона с выкрашенными в темную краску пулеметами у входа, пошел налево.

На лодочной пристани еще работали несмотря на поздний час — смолили и красили лодки, готовя их к летнему сезону. Необычно поздняя весна задержала эту работу, и теперь нужно было спешно наверстывать упущенное.

Я обогнул лодочную пристань и через заросший сорняком пустырь дошел до конца гавани, а оттуда неторопливым шагом направился к хибарке Дэнни. Я шел и насвистывал старую песенку на тот случай, если Дэнни не расположен со мной встречаться.

Так оно, по-видимому, и было. Хибарка была пуста, но я мог бы дать голову на отсечение, что Дэнни где-то рядом — лежит в зарослях сорняков или прячется за одним из валяющихся кругом толстенных бревен. Не сомневаясь, что он вылезет, как только я уйду, я достал из кармана желтый конверт, стоймя пристроил его на грязной койке около стены и вышел из хибарки, только на минуту прервав свой свист, чтобы сказать вполголоса: «До свидания, Дэнни. Желаю удачи». Так, насвистывая, я и вернулся в город, прошел мимо нарядных особняков Порлока, вышел на Вязовую и наконец очутился у своего дома — старого дома Хоули.

Я застал мою Мэри храбро сражающейся с бурей. Вокруг нее свирепствовали ветры, плыли по волнам обломки крушений, а она, в туфельках и белой нейлоновой комбинации, управляла разбушевавшейся стихией, сохраняя выдержку и мужество. Только что вымытая голова, вся в навернутых на бигуди локонах, очень напоминала большой выводок колбасок-сосунков. Я не упомню, когда мы с ней последний раз обедали в ресторане. Нам это не по карману, и мы давно отстали от этой привычки. Вихрь, закруживший Мэри, прихватил стороной и детей. Она кормила их, умывала их, отдавала распоряжения, заменяла эти распоряжения другими. Посреди кухни стояла гладильная доска, и весь мой драгоценный гардероб, тщательно отутюженный, был развешан на спинках стульев. Мэри делала все дела сразу, поминутно подбегала к доске, чтобы провести утюгом по разложенному на ней платью. Дети от возбуждения почти не могли есть, но не смели ослушаться.

У меня пять так называемых выходных костюмов — совсем недурно для продавца бакалейной лавки. Я по очереди потрогал пиджаки на спинках стульев. Каждый костюм имел у нас свое название: синий — Старый, коричневый — Джордж Браун, серый — Дориан Грей, черный — Похоронный и Доббин.

— Какой мне надеть, мой ночничок?

— Ночничок? О-о!.. Погоди, обед не парадный, и сегодня понедельник. По-моему, Джорджа Брауна или Дориана, да, пожалуй, Дориана, это будет не парадно и в то же время достаточно парадно.

— И бабочку в горошек, да?

— Конечно.

Вмешалась Эллен.

— Папа! Нельзя тебе надевать бабочку! Ты слишком старый.

— Вовсе нет. Я молодой, веселый и легкомысленный.

— Над тобой будут смеяться. Очень рада, что я с вами не иду.

— Я тоже очень рад. С чего это тебе вздумалось записать меня в старики?

— В старики не в старики, но для бабочки ты стар.

— Ты противная маленькая доктринерка.

— Ну, если тебе хочется, чтобы все смеялись, пожалуйста.

— Да, мне именно этого хочется. Мэри, тебе разве не хочется, чтобы все смеялись?

— Не приставай к папе, ему нужно еще принять душ. Сорочку я приготовила, лежит на кровати.

Аллен сказал:
— Я уже написал половину сочинения.
— Тем лучше, потому что летом я тебя приставлю к делу.
— К какому делу?
— Будешь работать со мной в лавке.
— Ну-у! — Его явно не воодушевляла эта перспектива.

Эллен открыла было рот, но, хотя мы повернулись к ней, так ничего и не сказала. Мэри в сто восемьдесят пятый раз стала объяснять детям, что они должны и чего не должны делать в наше отсутствие, а я пошел наверх, в ванную.

Когда я надевал перед зеркалом свою любимую синюю бабочку в горошек, свою единственную синюю бабочку в горошек, вошла Эллен и прислонилась к двери.

— Все было бы ничего, если бы ты был помоложе,— сказала она до ужаса по-женски.

— Не завидую я твоему будущему счастливому супругу, моя дорогая.

— Даже мальчики в старших классах не носят бабочек.

— А премьер Макмиллан носит.

— То другое дело. Папа, списывать из книжки — это жульничество?

— Не понимаю.

— Ну, если кто-то — например, если я буду писать сочинение и возьму чего-нибудь из книжки, это как?

— Ты хотела сказать — что-нибудь?

— Ну, что-нибудь.

— Зависит от того, как ты это сделаешь.

— Теперь *я* не понимаю.

— Если ты поставишь кавычки и сделаешь сноску с указанием, кто автор, это только придаст твоей работе солидность и значительность. Пожалуй, половина американской литературы состоит из цитат или подборок. Ну, нравится тебе мой галстук?

— А если без этих самых — кавычек?

— Тогда это все равно что воровство, самое настоящее воровство. Надеюсь, ты не сделала ничего подобного?

— Нет.

— Тогда что же тебя смущает?

— А за это могут посадить в тюрьму?

— Могут — если ты таким образом получишь деньги. Так что лучше ты этого не делай, дочка. Но что ты все-таки скажешь о моем галстуке?

— Я скажу, что с тобой невозможно разговаривать.

— Если ты намерена сейчас спуститься вниз, передай своему милейшему братцу, что я ему принес его дурацкого Мики Мауса, хоть он этого вовсе не заслужил.

— Никогда ты не выслушаешь серьезно, по-настоящему.

— Я очень внимательно слушал.

— Нет, не слушал. Потом сам пожалеешь.

— До свидания, Леда. Попрощайся с лебедем.

Она побрела вниз — олицетворенный соблазн с необсохшим молоком на губах. Девочки ставят меня в тупик. Они оказываются — девочками.

Моя Мэри была просто прекрасна, просто блистала красотой. Сияние струилось из всех пор ее существа. Она взяла меня под руку, и, когда мы шли по Вязовой улице под сенью деревьев, пронизанной светом уличных фонарей, честное слово, наши ноги несли нас с величавой и легкой резвостью чистокровок, приближающихся к барьеру.

— Мы с тобой поедем в Рим! Египет слишком тесен для тебя. Большой мир зовет.

Она фыркнула. Честное слово, она фыркнула с непосредственностью, которая сделала бы честь нашей дочери.

— Мы чаще будет выезжать в свет, родная моя.

— Когда?

— Когда разбогатеем.

— А когда это будет?

— Скоро. Я научу тебя носить бальные туфли.

— А ты будешь раскуривать сигары десятидолларовыми бумажками?

— Двадцатидолларовыми.

— Ты мне нравишься.

— Эх, мэм. Постыдились бы говорить такое. В краску меня вогнали.

Не так давно хозяин «Фок-мачты» вставил в окна, выходящие на улицу, рамы с частым переплетом, застекленные квадратиками толстого бутылочного стекла. Это должно было придать и придавало ресторану сходство со старинной харчевней, зато тем, кто смотрел с улицы, лица сидящих за столиками виделись чудовищно искаженными. На одном все заслоняла выпяченная челюсть, от другого оставался только один огромный глаз, но, впрочем, это, как и ящики с геранью и лобелиями на подоконниках, лишь способствовало впечатлению подлинной старины.

Марджи уже ждала нас, вся — воплощение гостеприимства. Она представила нам своего кавалера, некоего мистера Хартога из Нью-Йорка, у которого лицо было покрыто загаром, приобретенным под кварцевой лампой, а рот так тесно усажен зубами, что напоминал кукурузный початок. Мистер Хартог казался хорошо упакованным и завернутым в целлофан, и на любое замечание отвечал одобрительным смехом. Это была его форма участия в разговоре, на мой взгляд, довольно удачная.

— Очень приятно познакомиться,— сказала Мэри.

Мистер Хартог засмеялся.

Я сказал:

— Вы, вероятно, знаете, что ваша дама — колдунья.

Мистер Хартог засмеялся. Мы все чувствовали себя непринужденно.

Марджи сказала:

— Для нас оставлен столик у окна. Вон тот.

— Я вижу, вы и цветы заказали, Марджи.

— Должна же я как-то отблагодарить вас, Мэри, за вашу постоянную любезность.

Они продолжали в этом роде, покуда мы рассаживались за столиком и потом, когда все уже заняли свои места по указанию Марджи. А мистер Хартог после каждой фразы смеялся. Как видно, выдающегося ума человек. Я решил, что все-таки вытяну из него хоть слово, но попозже.

Стол выглядел очень нарядно — ослепительно белая скатерть и серебро, которое не было серебром, но казалось более серебряным, чем серебро.

Марджи сказала:

— Вы мои гости, а значит, распоряжаюсь я, вот я и заказала без спроса для всех мартини.

Мистер Хартог засмеялся.

Мартини подали не в рюмках, а в бокалах с птичью ванночку величиной, и в каждом плавал кусочек лимонной корки. Первый глоток обжигал, как укус вампира, и на миг притуплял все ощущения, но потом внутри разливалось приятное тепло и было уже по-настоящему вкусно.

— Сейчас повторим,— сказала Марджи.— Кормят здесь недурно, а после двух мартини покажется совсем хорошо.

Я сказал, что давно мечтаю открыть такой бар, где можно было бы начинать сразу со второго мартини. Верный способ нажить состояние.

Мистер Хартог засмеялся, и не успел я дожевать свою лимонную корку, как на столе появились еще четыре птичьих ванночки.

С первым глотком второго мартини мистер Хартог обрел дар речи. У него оказался низкий, рокочущий баритон, каким говорят актеры, певцы и коммивояжеры, занятые сбытом товара, который никто не хочет покупать. Такой баритон еще называют докторским.

— Я слышал от миссис Янг-Хант, что вы принадлежите к коммерческим кругам Нью-Бэйтауна,— сказал он.— Прелестный, кстати, городок. Такая патриархальная чистота нравов.

Я было вознамерился разъяснить ему, в каком качестве я подвизаюсь на ниве коммерции, но Марджи предупредила меня.

— Мистер Хоули — представитель растущих сил нашего края,— сказала она.

— Вот как? А чем именно вы занимаетесь, мистер Хоули?

— Всем,— сказала Марджи.— Решительно всем, но, как вы понимаете, не всегда открыто.— В глазах у нее играл хмельной огонек. Я посмотрел на Мэри — у нее еще только чуть затуманился взгляд, и я сделал вывод, что наши компаньоны успели пропустить рюмку-другую до нас, Марджи — во всяком случае.

— Мне остается только промолчать,— сказал я.

Мистер Хартог опять засмеялся.

— У вас очаровательная жена. Такая жена — это уже пятьдесят процентов победы в любой драке.

— Даже сто процентов.

— Итен, мистер Хартог подумает, что у нас с тобой бывают драки.

— А разве нет? — Я сразу отхлебнул полбокала, и теплая волна застлала мне глаза. Бутылочное стекло в одном из квадратиков оконного переплета вспыхнуло отражением свечи и медленно закружилось передо мной. Может быть, это было самовнушение, потому что я продолжал слышать собственный голос, звучавший как будто откуда-то извне.

— Миссис Янг-Хант — Колдунья с Востока. Ее мартини не мартини. Это отравленное питье.— Сверкающее стекло по-прежнему притягивало мой взгляд.

— А я-то всегда воображала себя Озмой. Ведь Колдунья с Востока была злая колдунья?

— Очень злая.

— Но под конец она, кажется, подобрела?

Мимо окна шел по улице человек. Кривое стекло искажало очертания его фигуры, но я видел, что голова у него немного наклонена влево и ноги он ставит, как-то странно выворачивая их внутрь. Так ходит Дэнни. Я мысленно вскочил и бросился за ним вдогонку. Добежал до угла Вязовой, но он уже исчез, может быть, юркнув в боковую калитку соседнего дома. Я закричал: «Дэнни! Дэнни! Отдай мне деньги обратно. Отдай, Дэнни, прошу тебя. Не бери их. Они отравлены. Я их отравил!»

Я услышал смех. Знакомый смех мистера Хартога. Потом Марджи сказала:

— Нет уж, предпочитаю быть Озмой.

Я вытер салфеткой слезы, выступившие у меня на глазах, и сказал:

— Это можно пить, но промывать этим глаза ни к чему. Оно жжется.

— У тебя правда глаза красные,— сказала Мэри.

Но я не мог уже вернуться к ним, хотя я слышал свой голос, рассказывавший анекдот, и слышал золотистый, лучезарный смех моей Мэри,

так что, должно быть, я рассказывал смешно и даже остроумно, но вернуться к ним я все-таки не мог. И, кажется, Марджи понимала это. Она смотрела на меня с невысказанным вопросом в глазах, черт бы ее побрал. Она и в самом деле колдунья.

Что мы ели за обедом, я не знаю. Наверно, была рыба, потому что мне запомнилось белое вино. Стекло в окне вращалось, точно пропеллер. Потом был коньяк, так что, вероятно, мы пили кофе — и потом обед пришел к концу.

Когда мы вышли на улицу и Мэри с мистером Хартогом ушли немного вперед, Марджи спросила меня:

— Где вы были?

— Не понимаю, о чем вы?

— Вас не было с нами. Вы только сидели за столом.

— Сгинь, нечистая сила!

— Ладно, приятель,— сказала она.

По дороге к дому я старался все время идти в тени деревьев. Мэри висела у меня на руке, шаг у нее был слегка неровный.

— Какой чудесный вечер,— сказала она.— Я никогда так чудесно не проводила время.

— Да, было очень мило.

— Марджи такая гостеприимная. Просто не знаю, чем и ответить на этот обед.

— Да, она очень любезна.

— А уж ты, Итен! Я всегда знала, что ты умеешь быть остроумным, но сегодня ты просто превзошел самого себя. Мы так смеялись! Мистер Хартог сказал, что у него все болит от смеха, после того как ты рассказал про мистера Рыжего Бейкера.

Я и про это рассказывал? Что именно? Надо же было. О Дэнни, отдай деньги обратно! Прошу тебя!

— С тобой никакого мюзик-холла не нужно,— сказала Мэри. В дверях нашего дома я так крепко прижал ее к себе, что она пискнула:— Ой, милый, ты пьян. Ты мне сделал больно. Тише, не разбуди детей.

Я думал дождаться, когда она уснет, а потом выскользнуть из дома, пойти к нему в хибарку, разыскать его, натравить на него полицию, если понадобится. Но потом я понял, что это бесполезно. Дэнни уже нет здесь. Я знал, что Дэнни уже нет. И я лежал в темноте и вглядывался в желтые и красные пятна, расплывавшиеся перед моими мокрыми глазами. Я знал, что сделал, и Дэнни тоже это знал. Я вспоминал об убитых кроликах. Может быть, это только первый раз трудно. Но нужно пройти через это. В бизнесе и в политике человек должен силой и жестокостью прокладывать себе путь через гущу людскую, если он хочет стать Владыкой Горы. Потом он может быть милостивым и великодушным, но прежде надо добраться до вершины.

ГЛАВА X

Темплтонский аэродром расположен всего в сорока милях от Нью-Бэйтауна — от силы пять минут лету для реактивной авиации. А ее становится все больше на регулярных линиях, то и дело гудят над головой тучи смертоносных комаров. Жаль, я не могу восхищаться реактивными самолетами или даже любить их, как мой сын Аллен. Будь у них другое назначение, может, я и мог бы, но они созданы, чтобы сеять смерть, а этим я сыт по горло. Аллен умеет находить их глазами, глядя не туда, откуда гул, а дальше, но мне это не удается. Они преодолевают звуковой барьер с таким громом, что я всякий раз пугаюсь, не взорвался ли котел отопления. Пролетая ночью, они врываются в мои сны, и я просыпаюсь с сосущим, томительным чувством, словно у меня язва души.

На рассвете целая стая таких самолетов прошла в небе, и я очнулся, дрожа мелкой дрожью. Должно быть, увидел во сне немецкие 88-миллиметровки, великолепное оружие, которого мы так боялись.

Весь взмокший от страха, я лежал в сером предутреннем сумраке и слушал, как затихает вдали мерное жужжание веретен зла. Мне кажется, нет теперь человека, у которого не гнездился бы в теле этот страх — не в душе, а именно в теле, глубоко под кожей. Дело тут не в самолетах, дело в том, чему они призваны служить.

Когда какое-то положение, какая-то задача становится слишком трудной и неразрешимой, человеку дана спасительная возможность не думать о ней. Но тогда это уходит в подсознание и смешивается со многим другим, что там живет, и так рождается смутная тревога, и недовольство, и чувство вины, и потребность ухватить хоть что-то — все равно что,— прежде чем все исчезнет. Может быть, мастера психоанализа имеют дело вовсе не с какими-то комплексами, а с теми боеголовками, что в один прекрасный день могут грибовидными облаками встать над землей. Почти во всех знакомых мне людях я чувствую нервозность, и беспокойство, и преувеличенное бесшабашное веселье, похожее на пьяный угар новогодней ночи. Забудьте дружбы долг святой, натешьтесь ближнего женой.

Я повернулся лицом к своей жене. Она спала без обычной улыбки. Углы ее губ были оттянуты книзу, и под дугами опущенных век лежали усталые тени — верно, заболела, у нее всегда такой вид, когда она больна. Она редко болеет, можно позавидовать мужу такой жены, но уж если заболевает, тут ему не позавидуешь.

Опять взорвалась тишина — пролетела новая стая. Сотни веков понадобились, чтобы человек привык к огню, а к этой силе, неизмеримо более сокрушительной, чем огонь, мы должны были привыкнуть за полтора десятка лет. Удастся ли нам когда-нибудь приручить эту силу? Если духовный мир подчинен тем же законам, что и мир вещей, может ли быть, что в душе происходит расщепление ядра? Это ли происходит со мной, со всеми нами?

Вспоминаю историю, рассказанную мне когда-то тетушкой Деборой. В середине прошлого столетия кое-кто из моих предков примкнул к учению Кэмбелла. Тетушка Дебора была тогда маленькой девочкой, но она хорошо помнила, как ее родители ждали конца мира, который был уже возвещен. Они роздали все, что имели, оставив себе только несколько простынь. В назначенный день они завернулись в эти простыни и ушли в горы, чтобы вместе со своими единомышленниками встретить там конец мира. Сотни людей, все в саванах из простынь, молились и пели. Когда стемнело, они запели еще громче, а некоторые пустились в пляс. Вдруг, когда до назначенного времени осталось лишь несколько минут, с неба скатилась звезда, и в толпе поднялся страшный крик. Нельзя забыть это, говорила тетушка Дебора. Люди выли, как волки, как гиены, говорила она, хотя ей никогда не приходилось слышать воя гиен. И вот наступило великое мгновение. Закутанные в белое мужчины, женщины, дети, затаив дыхание, ждали. А мгновение длилось. У детей посинели лица — но мгновение миновало, и ничего не произошло. Люди почувствовали себя обманутыми оттого, что обещанная им гибель не состоялась. На рассвете они побрели вниз и попытались вернуть свое розданное добро — одежду и утварь, и волов своих, и ослов своих. Помню, я им очень сочувствовал, слушая рассказ тетушки Деборы.

Вероятно, эту историю мне напомнили реактивные самолеты, эти орудия смерти, накопленные ценой стольких усилий, времени, денег. Почувствуем ли мы себя обманутыми, если нам не придется использовать их по назначению? Мы запускаем ракеты в космос, но с тревогой, недовольством и злобой мы не можем справиться.

Мэри вдруг открыла глаза.

— Итен,— сказала она,— ты думаешь вслух. Я не знаю, о чем твои мысли, но я их слышу. Перестань думать, Итен.

Я было хотел посоветовать ей бросить пить, но уж очень жалкий у нее был вид. Бывает, что я шучу, когда шутки неуместны, но на этот раз я только спросил:

— Голова?

— Да.

— Желудок?

— Да.

— Вообще не по себе?

— Вообще не по себе.

— Я могу чем-нибудь помочь?

— Вырой мне могилу.

— Ты сегодня не вставай.

— Не могу. Нужно отправить детей в школу.

— Я сам все сделаю.

— Тебе надо идти на работу.

— Я все сделаю, не беспокойся.

Минуту спустя она сказала:

— Итен, я правда, кажется, не могу встать. Мне очень скверно.

— Доктора?

— Не надо.

— Как же я тебя оставлю одну? Может, Эллен не пойдет в школу?

— Что ты, у нее сегодня экзамен.

— Может, позвонить Марджи Янг-Хант, чтобы она пришла?

— У Марджи телефон выключен. Что-то там такое меняют.

— Я могу по дороге зайти к ней.

— Она убить способна, если ее разбудить так рано.

— Ну, подсуну ей записку под дверь.

— Нет, нет, я не хочу.

— А что тут особенного?

— Я не хочу. Слышишь? Я не хочу!

— Но как же я тебя оставлю одну?

— Знаешь — смешно сказать, но мне уже лучше. Должно быть, оттого, что я покричала на тебя. Честное слово, лучше.— В доказательство она поднялась и накинула халат. Вид у нее и в самом деле был немного лучше.

— Родная, ты просто чудо.

Я порезался во время бритья и сошел к завтраку с заплаткой из туалетной бумаги на подбородке.

Когда я проходил мимо дома Филлипсов, Морфи с его неизменной зубочисткой не было на крыльце. Тем лучше. Мне не хотелось с ним встречаться. На всякий случай я ускорил шаг, чтобы он не нагнал меня по дороге.

Отпирая боковую дверь, я увидел подсунутый под нее желтоватый банковский конверт. Он был запечатан, а бумага, которая идет на банковские конверты, плотная, не разорвешь. Пришлось достать ножик из кармана.

Три листка из пятицентовой школьной тетрадки в линейку, исписанные простым мягким карандашом. Завещание: «Находясь в здравом уме и твердой памяти... Принимая во внимание изложенное, я...» Долговая расписка: «Обязуюсь уплатить в возмещение своего...» Обе бумаги подписаны, почерк твердый и четкий. «Дорогой Ит, вот то, чего ты хочешь».

Мне показалось, что кожа у меня на лице твердая, как панцирь краба. Я затворил боковую дверь медленным движением, каким затворяют

двери склепа. Первые два листка бумаги я тщательно сложил и спрятал в бумажник, а третий — третий я смял в комок, бросил в унитаз и спустил воду. Унитаз у нас старинный, с уступом на дне. Бумажный комок долго вертелся на краю уступа, но в конце концов соскользнул и исчез в трубе.

Выйдя из уборной, я заметил, что наружная дверь чуть-чуть приоткрыта. Мне помнилось, войдя, я плотно затворил ее за собой. Я подошел поближе, но тут надо мной что-то зашуршало, и я поднял голову. Проклятый серый кот забрался на одну из верхних полок и пробовал зацепить лапой подвешенный к потолку окорок. Пришлось мне погоняться за ним с метлой, чтобы выставить его из лавки. Когда он наконец юркнул в дверь, я хотел наподдать ему вслед, но промахнулся и сломал метлу о дверной косяк.

Проповедь консервным банкам в этот день не состоялась. Я не мог подобрать текст. Но зато я принес шланг и тщательно вымыл не только тротуар перед входом, но даже часть канавы. Потом я навел чистоту в лавке, добрался даже до самых дальних закоулков, где пыль и грязь копились месяцами. Я работал и пел:

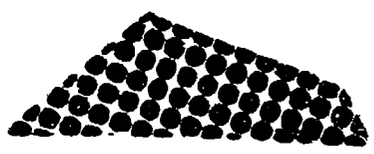
Зима тревоги нашей позади,
К нам с солнцем Йорка лето возвратилось.*

Я знаю, что это не песня, но все-таки я это пел.

---

* Шекспир. «Ричард III».

(Окончание следует)



А. РЕФРЕЖЬЕ

«Обеденный перерыв»

Карандашом и тушью

«Скорбь»

«Девушка с птичкой»

Эти графические работы принадлежат одному из наиболее значительных и интересных художников современной Америки — Антону Рефрежье. Литография «Скорбь», хранящаяся в Музее изобразительных искусств имени Пушкина в Москве, относится ко времени второй мировой войны. Рисунки пером и карандашом напечатаны в американском журнале «Мейнстрим» в 1961 году.

Живописец-монументалист и рисовальщик, Антон Рефрежье постоянно обращается в своих произведениях к острой социальной тематике. Его стенные росписи, графика и станковые картины полны высокого гуманизма и по самому духу своему непримиримо враждебны уродливым буржуазным порядкам.

Член Всемирного Совета Мира, Антон Рефрежье сочетает свою творческую работу с плодотворной общественной деятельностью.

ХЕСУС ЛОПЕС ПАЧЕКО

Стихи, запрещенные франкистской цензурой

Перевод с испанского
ЕВГЕНИЯ СОЛОНОВИЧА

«Эта книга запрещена франкистской цензурой» Так написано на обложке книги, которая все-таки вышла. Вышла в Италии по инициативе журнала «Литературная Европа» в июне 1961 года. Ее издали верные друзья той Испании, за которую лучшие из итальянцев сражались в интернациональных бригадах более двух десятилетий назад. Друзья не изменили ей, той Испании.

Автор сборника стихов — молодой, но уже известный у себя на родине и за ее пределами испанский поэт и романист Хесус Лопес Пачеко. Франкистская цензура оказалась в дураках. Книга «Я руку на Испанию кладу» должна была выйти на родном языке поэта. Ее запретили. Теперь она напечатана на двух языках — испанском и итальянском. Так ей и надо, франкистской цензуре!

Поэты не любят, а зачастую и не умеют говорить о себе в прозе. Когда стихи нуждаются в предисловии, его обычно пишут за поэтов другие. Пачеко сам написал предисловие к своей книге: «Я положил руку на нее, на Испанию,— рассказывает он,— и почувствовал в ее теле дрожь, наполнившую меня болью, яростью, ужасом, любовью, надеждой, горечью и еще раз — теперь уже навсегда — надеждой. Я начал жить в ней — в реальной действительности моего времени, в Испании, и она стала мне близкой, сделалась моей кровью... Живя в ней, я узнал мой народ и понял, что он — такой же, каким я начинал становиться, каким хотел стать. Я узнал о его последних неудачах и понял, что они не были окончательным поражением. И тогда я снова положил руку на Испанию и поклялся никогда не изменять ей, не изменять себе».

На обложке, как уже было сказано выше, читаем: «Эта книга запрещена франкистской цензурой». И еще на обложке — фотография автора книги, поэта Хесуса Лопеса Пачеко. Очень хорошее лицо. Чуть прищуренные глаза. Это от солнца. Жаркого испанского солнца. По всему лицу — неровные тени. Тени деревьев? Тени крыш? Или это сама Испания заслонила большую часть солнца от своего сына, который справедливо и потому решительно спрашивает у нее:

Потомство зачем тебе, если потом ты
ему отказываешь в любви?

Я РУКУ НА ИСПАНИЮ КЛАДУ

Я руку на Испанию кладу.
Испанией клянусь, что ни строки
о ней не напишу впустую.
Если
нарушу клятву эту, подведу
Испанию, народ ее —
пусть я лишусь руки.

1959 г.

■

РАДОСТНЫЙ РОМАНС

Из радостей, мне известных,
я самой большой и светлой
эту считаю радость —
радость быть человеком.

Ступать по земле любимой,
знать, что я нужен многим,
предать забвению имя,
под которым я был одиноким.

Когда свою быструю птицу
ты впускаешь, дружище ветер,
в грудь мою темную, чище
я становлюсь, поверь мне.

Чувствую, воздух вселенной
переполняет грудь мне.
Вашими голосами
рожден мой голос, люди.

1958 г.

■

ПЕСНЯ КАМЕНЩИКОВ

Каменщики Мадрида!
Стены, которые строите,
станут завтра домами.

Мерзнущие на лесах!
Завтра будут дома,
но разве заселят их вами?

1959 г.

■

ПЕСНЯ ЖЕН

Жены
идут на рынок
и на обратном пути,
грустные, размышляют:
чем кормить они будут
своих мужей?

Жены
складывают, вычитают
и умножают,
а результат все тот же!

1959 г.

■

ПЕСНЯ О ТОМ, ЧТО Я ВИДЕЛ

Не заставят меня молчать.
Если заткнут мне рот,
сердце мое запоет.

Потому что все, что я видел,
ношу я в своей груди,
и молчанье мне боль причиняет.

1958 г.

■

МАДРИДСКОЕ ЛЕТО

Бурлящее ласточками лето,
высокого света море густое.
Мадридское лето! Мне кажется,
будто
у самого входа в очи мои
стоит голубая даль Гвадаррамы.
Пора голубого золота, пыли.
Гомон Испании меня окружает.

Но кто это, кто это гасит взоры?
Улицы переполнены болью,
и на всех перекрестках взывают
ко мне
бесцветные лица и пылкие руки.

■

Мадридское лето, удушливый свет!
Ласточки устремляются вниз,
Ладные, легкие,— это они
в беспрерывном полете хотят
подобрать
упавшую надежду моей земли.

1958—1960 г.

■

СТРОКИ ГНЕВА И НЕНАВИСТИ

О, если бы я мог вас растерзать,
о, если б мог вспороть на расстоянье
все вены грязные на вашем теле
и выплеснуть помои из него
и ваше сердце — если б только мог я! —
в грязь каблучищами втоптать! О, если б...

Бывают дни, когда я предпочел бы
оружие печальному перу,
и пальцы сводит несусветной болью,
когда пишу — пишу и ненавижу:
я б не решился быть на вашем месте.

Я ненавижу вас за то, что вы
отняли хлеб, отняли свет и воздух
у всех детей, у всех несчастных женщин
и у мужчин, которые стеная
планету держат на своих ручищах.

Я беспощадной ненавистью мщу
за безутешную мою любовь,
за радость, не пришедшую ко мне,
а также за ребенка, что лежит
убитый в черном центре моей жизни.

1960 г.

■

МАТЬ ИСПАНИЯ

Мать вражеская и грозная,
мать Испания.
Дети твоего чрева —
сироты безродные.
Мать вражеская и грозная,
мать Испания.
Потомство зачем тебе, если
потом ты
ему отказываешь в любви?

1959 г.

■

НАРОД

Тысячи раз тебя убивали.
Тебя убивают каждый день.

Ставили к стенке тебя,
народ. Пули свои
в тебя забивали.

Как же ты выжить сумел?
Почему тебя так боятся?

1959 г.

■

КРИК

Воздух.

Может быть, нет в Испании
воздуха?

Воздуха! Воздуха!

1959 г.

■

ЧЕРНАЯ РИФМА

В крови ребенком захлебнулся я,
и с той поры — все тело в красных пятнах.
Воспоминание не из приятных.
Но забывать нельзя.

Живет поныне в доме запах смерти.
Мой брат любимый... Здесь конец ему
пришел. Они его убить посмели.
А я попал в тюрьму.

Все окна в доме схвачены гвоздями,
украден свет — теперь темно в квартире.
Все это для того, чтобы не знал я,
что происходит в мире.

Я вырос в темноте. Я свет на ощупь
найти пытался и не находил,
ступал нетвердо, окруженный ночью,
и был в ночи один.

И вдруг руками я другие встретил,
и мне забрезжил свет. Но вот обида:
дверь отворить собравшись, я заметил,
что дверь была забита.

Я говорю — не сдамся. Не таков!
Бью кулаком, чтоб гвозди отлетели,
и слышу помощь многих кулаков,
и свет влетает в щели.

Казалось, кровь всю комнату заполнит...
В то время я ребенком был. И вот
я взрослым стал, и этот взрослый помнит,
все помнит. Все. И ждет.

1960 г.

■

МАЛЕНЬКОЕ СТИХОТВОРЕНИЕ

В бокале нашем
полутень мечты

Антонио Мачадо

Я решил написать
маленькое стихотворенье:
пусть хоть капля мечты
в нем найдет отраженье.

Но и самую маленькую не втиснуть мечту
даже в самое большое стихотворенье.

1959 г.

■

АНТОНИО МАЧАДО

Под этот лист бумаги не случайно
я книгу подложил — стихи Мачадо.

Мачадо, дорогой,
прости за то, что я
с собою за тюремную ограду
привел тебя, но светлою рекой
звучит в тюрьме поэзия твоя,
и ты сильней меня, ты знаешь столько
о нежности, о стуже злой,
о страхе, о судьбе жестокой,
ты так живое все умел любить,
так жадно,
что очень трудно быть
мне одному в темнице, без Мачадо!

Тюрьма Карабанчель,
16 марта 1956 г.

■

ЖАК-СТЕФЕН АЛЕКСИС

Деревья-музыканты

РОМАН

Перевод с французского
М. ВАКСМАХЕРА и О. МОИСЕЕНКО

Под редакцией
Н. НЕМЧИНОВОЙ

VI

Стремясь добраться до своего прихода Гантье без малейшего опоздания, отец Диожен Осмен пробыл в Фон-Паризьене всего три дня. Конечно, он надеялся приезжать сюда время от времени, дабы отогревать измученное заботами сердце у вновь обретенного семейного очага. Но ему не терпелось поскорее вступить во владение своим новым жилищем — старым приветливым домом в чисто викторианском стиле, поднимающим свою причудливую крышу с мансардами, слуховыми оконцами и башенками до верхушек самых высоких пальм и манговых деревьев. Дом встречал пришельцев ласково и радушно, как добрая бабушка в крахмальном чепце, с милой беззубой улыбкой.

Отец Осмен познакомился с причетником Бардиналем, человеком неопределенного возраста, который после долгого общения с лицами духовного звания и сам стал смахивать на священника: крадущаяся, словно скользящая над землей походка, благостно сложенные руки, запах воска... А к тому же еще хромает на обе ноги — так и ждешь, что он вот-вот рухнет на колени. Судя по всему, неплохой парень; неотесан, конечно, и при этом — себе на уме, но в общем и мухи не обидит. Что касается мадам Амелии Лестаж, домоправительницы, она занимала этот пост с давних пор, добившись его долгими жалобами и слезами. Бедная вдова и святоша, она чуть ли не ежедневно плакалась в жилетку тогдашнему священнику. Получив наконец желанное место, Амелия Лестаж сразу обрела уверенный и достойный вид. Не женщина, а воплощенная добродетель и совершенство...

Продолжение. Начало в № 1.

Новый кюре был преисполнен юношеского рвения. Совесть больше не мучила его. Как истый крестоносец, он готов был собственной рукой пронзить мечом каждого, кто посмеет отступиться от католической церкви: «Вера или смерть!»

Он не давал себе ни минуты отдыха. Понедельник — урок катехизиса местным сорванцам; вторник — хоровой кружок «Детей девы Марии» (дурнушки и дурочки, юные благовоспитанные тупицы — словом, «девицы из хороших семей»); среда и четверг — исповедь; пятница — посещение больных; в субботу утром — крестины, вечером — бракосочетания. Что касается воскресений... На воскресенье он составил для себя такую программу, что выдержать ее можно было не дольше двух воскресений подряд. Посудите сами: сразу после заутрени в Гантье — примчаться в Бруйяр, отслужить раннюю обедню, начав ее в половине шестого утра, потом снова вскочить на мула и двинуться в Ля-Мардель; прибыть туда к семи часам, отслужить обедню и вернуться как можно скорее в Гантье, где в восемь утра возгласить Kyrie на торжественной обедне с певчими. Эдгар обещал заезжать за ним каждое воскресенье в девять часов утра, для того чтобы он мог отслужить еще одну службу в половине десятого, на этот раз в Фон-Паризьене, и повторить свою проповедь перед жителями Солейе, Бокан-Тикошона, Чертова Оврага, Пуассона, Башельри, Мартиннеса — все они приходят в Фон-Паризьен на рынок. К десяти часам утра — уф! — отведав крови Христовой, Диожен наконец переведет дух и позавтракает в семейном кругу, ни о чем не тревожась до самой вечерни.

Он решил не мешкая начать операции против водуистского культа и за месяц завершить их. Первым этапом будет знакомство с приходом, сбор сведений о людях и обычаях. Только тогда можно перейти ко второму этапу — к массовому разрушению храмов. Он соберет огромную силу, которая все сметет на своем пути и молниеносным ударом сломит сопротивление святилищ Радельри, Солейе, Менге и Бокан-Тикошона. Наконец, он обрушится на самые дальние уголки долины Кюль-де-Сак, прочешет все берега озера — Мартиннес, Фон-Паризьен и Пуассон — и во главе огромной процессии, под колокольный звон, вернется в Гантье и отслужит там благодарственный молебен.

Озабоченно склонившись над картой, Диожен размышлял. Да, что и говорить, монсеньор архиепископ рассчитал все как нельзя лучше. Послал его в дыру, забытую богом и людьми, в осиное гнездо, в самый оплот водуизма. Он не прочел еще ни одной проповеди, а уже ощущал вокруг себя глухую стену враждебности, точно его планы уже всем известны. У этих гаитянских крестьян удивительное чутье, какой-то волшебный нюх. Попробуй-ка что-нибудь от них утаи! Успели уже разведать, что проекты святого отца имеют к ним прямое отношение. Можно подумать, что существует некий устный телеграф, некая организация, собирающая самые мелкие факты, отрывочные сведения и посылающая их в подпольный штаб; там их сличают и тасуют, отбрасывая все лишнее, и отсылают конечный результат своей разведки в обратном порядке на места! У папалоа длинные руки, их щупальца проникают повсюду! Диожену чудилось, что все население озерного края знает его планы от начала до конца. Злобные косые взгляды исподлобья как будто возвели вокруг него баррикаду; он оказался в чужом враждебном мире. Неспроста крестьяне так назойливо обивают порог церковного дома, предлагая купить у них разные товары: они явно надеются что-нибудь выведать. Хоть палкой их гони! У домоправительницы Амелии, которая за долгие годы хозяйничанья в церковном доме вся заплыла жиром, было теперь работы по горло. Но уж с крестьянами она церемониться не желала — она и со священниками-то привыкла держаться на короткой ноге. Диожен не раз слышал, как она кричит неотвязным поставщикам:

— Нет и нет! Говорю вам, что мы ничего не покупаем! Я здесь командую, я! Отца Диожена захотели увидеть? Еще чего! Убирайтесь-ка отсюда! Ишь ты, пронюхали, что новый священник только что со школьной скамьи. Он пугливый, он доверчивый, сразу уши-то и развесит... Опять же — не белый, а негр... У, жулики! Мошенники! Вон отсюда!

Бардиналь, тоже служивший при церкви с самого детства, исподтишка бросал на кюре жалостливые взгляды и, казалось, говорил: «Бедный мечтатель!.. Послушал бы меня, Бардиналя! Ей-богу, жаль тебя. Для грязной работы «они» выбрали не белого, а тебя, дурачка! А ты и рад стараться, согласился как миленький. Ох, что тебя ждет! Я вижу это так же ясно, как если б был самим прорицателем Антуаном Лангомье!»

Но, разумеется, ничего подобного Бардиналь вслух не произносил. Он держался крайне почтительно, даже раболепно, всегда сообщал все необходимые сведения, зажигал свечи, снимал нагар, скромно покашливал — словом, играл свою роль превосходно.

Как-то раз, составляя опись церковного имущества, Диожен увидел на столе маленький ящик картотеки с какими-то карточками.

— А здесь что такое? — спросил он Бардиналя.

— Запись исповедей, отец Диожен...

Диожен вытащил наугад первую попавшуюся карточку и прочитал:

Мадам Клодио Непомюсен:

22 дек.	0,50 гурда
27 янв.	6 яиц
27 фев.	в кредит
5 марта	1 гурд

Диожен кашлянул и быстро, не дочитав до конца, сунул карточку на место. Растерянный и задумчивый, он унес деревянный ящичек к себе в комнату.

Вот он стоит перед ним, этот ящик, на рабочем столике возле окна... Горы в это время года окутаны легкой туманной дымкой. Скоро пойдет дождь. Он начнется внезапно, безжалостно отхлещет холмы по щекам, отпляшет неистовый танец на животе равнины, а потом бесшумно спасется бегством, оставляя за собой изнеможенную мягкую землю. Господи! Какое чудовищное, зловещее нагромождение туч! Диожен расправил под столом затекшие ноги и снова взялся за перо:

«...Да, братья мои... Господь бог устал от грохота этих барабанов, от жертвоприношений в честь злых ангелов, которых он изгнал и низверг в преисподнюю. Он устал от вашего безбожия, от вашего святотатства, от ваших бесовских суеверий! Я вижу, как гнев его надвигается на вас, словно черные тучи, надвигается все ближе и ближе, и скоро разразится страшная буря над вашими головами! Ужасен гнев господень! На колени, братья мои! На колени, грешники!.. Молитесь!..»

Диожен скомкал бумагу. Вот уже в десятый раз принимается он за проповедь. Он помедлил с минуту, пытаясь стряхнуть тяжкое оцепенение, грозившее сковать все его существо, и пододвинул к себе чистый лист бумаги.

■

Леони наносила визиты. Она уже навестила мадам Анж Дезамо, жену сборщика налогов, и супругу землемера, Александрину Аселём. Дамы буквально засыпали ее вопросами, стараясь не показать виду, что это их страшно интересует... Так, значит, новый священник в Гантье — ее сын? И лейтенант — тоже? Собирается ли отец Осмен время от времени совершать богослужения и в их городе? Почему лейтенант поселил-

ся в Фон-Паризьене, а не в Белладере? Он производит очень милое впечатление... Леони, и глазом не моргнув, ловко увиливала от прямых ответов. У Леони Осмен не так-то легко что-нибудь выведать!

Выйдя из дома жены Вертюса Дорсиля, фон-паризьенского мэра, она увидела маленькую Сефизу, бежавшую со всех ног ей навстречу.

— Мамзе Леони! — закричала она еще издали, завидев хозяйку.— Приехал господин Карл!

Наконец-то! Не очень-то голубчик торопился! Леони ускорила шаг. Она застала сыновей за весьма оживленной беседой. Лейтенант держал в руках развернутую газету.

— Ну конечно же он вернулся в страну! — говорил Карл.— Посмотри в газете...

— Кто? — спросила Леони.

Карл поцеловал ее.

— Ну и жара! — сказала Леони, садясь в кресло и тяжело дыша.— Кто вернулся в страну? О ком вы говорите?

— Да о Пьере Румеле!

— Пьер Румель?

— Он самый, мама... Да ну же! Коммунист!

— Коммунист? Кто же он такой?..

— Разве не помнишь? О Пьере Румеле много говорили во время забастовок 1929 года. Послушай-ка: «...Мы приняли в нашей редакции известного публициста и писателя Пьера Румеля, который, как мы уже сообщали, только что вернулся на родину после многолетнего пребывания за границей. Вместе с Пьером Румелем нас посетил выдающийся мексиканский поэт Рубен Гарсиа Кардонья. Вчера, после пресс-конференции в клубе «Энтрепид», Рубен Кардонья и наш друг Пьер Румель были избраны почетными председателями этого интересного кружка молодой гаитянской интеллигенции. Знаменитый мексиканский поэт очарован нашей страной и предполагает совершить поездку...»

— Карл, дорогой мой,— прервал его Эдгар,— успокойся немного... 1929 год с его забастовками давно канул в Лету! Пьер Румель — видная фигура, никто не спорит, но из-за крайних своих идей он в любой момент может угодить в тюрьму, если только не на виселицу... Уж поверь мне, у нас сумеют держать в узде всех этих правдолюбцев.

— Как? И это говоришь ты, Эдгар?! А я думал, тебе будет приятно узнать о возвращении твоего прежнего кумира...

— Что было, то прошло, Карл. С несбыточными мечтами покончено! Ведь я-то не поэт!..

И Эдгар вырвал газету из рук брата. Карл посмотрел на него и пожал плечами:

— Во всяком случае, этот человек внушает симпатию. Я вдруг ощутил в себе пыл тех добрых старых времен, когда еще живо было «Тузем-ное обозрение»!.. Казалось, интеллектуальная жизнь у нас совсем заглохла, и вдруг — хлоп! — опять все только и говорят что о литературных кружках да студенческих объединениях.... Я, конечно, не верю, что из всего этого выйдет что-нибудь путное, но Румель мне определенно нравится... О, относительно своей особы я не обольщаюсь, я самый заурядный поэт и подарю миру какой-нибудь десяток слабых стишков, мне нравится жизнь богемы, и любая деятельность, любая работа меня просто пугает — все это так, но поверь мне, Эдгар, даже моя жизнь чего-то сто́ит, если сравнить ее с твоей! По крайней мере, я храню в чистоте свое сердце!.. Э, да ладно, я все равно уеду. Что мне делать в вашем мире благоразумия и расчета? Я здесь не останусь! Я пробуждаю в вас слишком много неприятных воспоминаний...

— Карл! Перестань чепуху молоть! Ты останешься здесь! — заявила Леони.

Эдгар лишь пожал плечами и с подчеркнутым вниманием уткнулся в газету. Руководство ГАСХО уже прибыло в Порт-о-Пренс. Надо как можно скорее навести порядок во вверенном ему районе...

Внезапно на улице послышался шум. Трое Осменов выбежали на крыльцо посмотреть, в чем дело. Перед домом Вертюса Дорсиля толпились возбужденные крестьяне; они кричали, требуя мэра. Где же полиция? Рысцой подбежали четверо жандармов. Лейтенант Осмен накинулся на них:

— Где вы раньше были? Дрыхнуть да резаться в карты — только на это вы и способны. Ну-ка, живо! Схватить этих молодчиков! Бездельники!

При виде представителей власти крестьяне — десятка два парней — замолчали. Некоторые пустились наутек, остальных схватили.

Прибежала мадам Вертюс Дорсиль, зеленая от страха. Муж сейчас в отъезде. Она умоляет защитить ее от этих ужасных крестьян! Просто звери какие-то! От них всего можно ожидать! Из-за чего этот шум, вы спрашиваете? Из-за спорного участка, из-за земли, что под сахарным тростником, в верховьях реки Фон. Она принадлежит семье Дорсиль со времен Второй империи*, а крестьяне отказываются вносить арендную плату, кричат, что это их земля. Суд решил спор в пользу ее мужа, и он послал Поля Аселёма произвести обмер владений. Вот эти голодранцы и сбежались, стали угрожать... Счастье еще, что Вертюса не оказалось дома, а то ему бы плохо пришлось... Головорезы проклятые!

Леони нахмурилась. В глазах крестьян она уловила нехороший блеск. Они готовы на все. Того и гляди схватятся за ножи. Ее кольнуло тревожное предчувствие. Окинув последним взглядом улицу, где толпились возбужденные горожане, Леони быстро вернулась в дом.

■

Гонаибо разделся догола. Эта часть озера изобиловала глиной, мягкой красноватой глиной, жирной, нежной, как шелк, превосходно поддававшейся обжигу. Кроме того, здесь было полно дичи. Упершись коленом в борт пироги, мальчик раздвинул голубые лотосы и зеленые листья кувшинок, оттолкнулся от берега левой ногой и вскочил в пирогу. Он стоял, выпрямившись во весь рост, и длинным шестом направлял пирогу к середине озера. Водяные курочки подняли крик, подавая короткие пронзительные сигналы тревоги пестрым уткам и ныркам, белым ибисам и голенастым цаплям. Ну и переполох начался в камышах! Птицы вычерчивали в небе замысловатые фигуры, врассыпную разлетались кто куда. А повыше кружили царственные фламинго — красные, розовые, чуть-чуть жеманные...

Для очистки совести Гонаибо несколько раз громко крикнул, чем привел всю озерную живность в полное смятение. Но сегодня ему было не до охоты. Вот уже несколько дней как он развил лихорадочную деятельность, не давая себе ни часу передышки: с утра до глубокой ночи сидел за работой, плел гамаки, вращал гончарный круг, обжигал кувшины и блюда. Он готовился отразить натиск неприятеля, но для военных действий нужны деньги, много денег! Он совершенно справедливо рассудил, что надо поскорее выручить как можно больше денег на базарах в Томазо, в Тьерра-Нуэве да в Химани по другую сторону границы. Значит, лодырничать, барахтаться в воде и стрелять из рогатки в птиц он теперь не мог себе позволить.

Посреди озера Гонаибо на секунду перегнулся через борт и тут же прыгнул в воду с корзинкой в руке. Четыре раза нырял он в глубину, и четыре раза корзинка наполнялась чудесной озерной глиной. На пятый

---

* Царствование императора Фостена I (1847—1859).

раз он увидел в воде летевшего к нему на всех парах небольшого каймана. Ах ты, заморыш! Тебе повезло: в другое время я научил бы тебя вежливости!.. Гонаибо хорошо знал этого маленького злого каймана, который всякий раз норовил цапнуть его за ногу. Жаль, что сегодня Гонаибо некогда, а то он огрел бы этого коварного уродца шестом — угощайся тиной!

Вернувшись в хижину, Гонаибо сложил глину в прохладном месте и отправился в Фон-Паризьен. Он уже не раз видел приезжего лейтенанта и священника. Впервые встретив Эдгара Осмена, он решил, что перед ним тот самый раненый путник, которого он недавно приютил в своем доме. Но, вглядевшись, он понял, что это другой человек, хотя и очень похожий на его недавнего гостя. Верно, близкий родственник, скорее всего — брат. Гонаибо охватила тревога. Он обвинял себя в том, что так опрометчиво помог незнакомцу. Не случайно же оказались здесь эти пришельцы; они наверняка имеют прямое отношение к опасности, нависшей над озерным краем.

Достаточно хоть раз пройти по городку, чтобы увидеть, как обеспокоены люди. Урожай собрали прекрасный, но радости не было. Редко где затевались танцы, а ведь обычно в это время года молодежь пляшет ночи напролет. И дело, разумеется, не только в ворах, опустошающих сады и поля. В чутком сердце ночей не билась больше горячая кровь барабанов. Лишь иногда, по субботам, донесется откуда-то дробный перестук ката*, да и тот скоро смолкнет, едва дотянув до полуночи. По деревням ползли тревожные слухи. Люди спорили, теряясь в догадках и предположениях.

Гонаибо добрался до окраины городка. Сразу за лавкой сестрицы Альфонсины, чей двор переходит в поля, рос огромный фламбуаян с изумрудной листвой. Прекрасный наблюдательный пост, лучше и не придумаешь. Гонаибо легко вскарабкался на дерево. Добравшись до верхушки, он увидел маленькую, залитую солнцем, церковную площадь, полицейский участок и широкую пыльную улицу с редкими прохожими. Выбрал ветку покрепче, сел на нее верхом. Надежно укрытый густой листвой, он терпеливо ждал. Ждал малейшего знака, который поможет раскрыть намерения неприятеля...

■

Как тинистые воды древнего озера Азюэй, где в глубине бурлят родники и водовороты,— страна, на первый взгляд, казалась спокойной. Беспрерывным, вкрадчиво журчащим потоком лились официальные речи; волны газетной бумаги неумолчно шумели во славу режима президента Леско, принесшего стране благословенный мир и порядок; вскипали нечистой пеной голубые и розовые балы; клокотал мутный прибой гуляний и празднеств, а История — хоть и медлительная, но неутомимая черепаха — не стояла на месте. За бутафорским фасадом режима, за бумажными портьерами и картонными колоннадами искушенный глаз и чуткое ухо легко угадывали убожество, неуверенность, шаткость. Это было бы смешно, если б не было так грустно! Но в подспудных глубинах нации нарастало волнение, кипели, порой достигая поверхности, мощные водовороты, медленно, но неотвратимо зрели новые силы, готовя социальную бурю.

Разумеется, вступление в войну против фашизма повлекло за собой установление относительного затишья внутри страны, временного перемирия, которое соблюдалось большинством политических группировок, несмотря на то, что правительство производило бессовестную, хищниче-

---

* Очень быстрый барабанный ритм.

скую распродажу национальных богатств. Нет, каким бы продажным ни было правительство, не время выступать против него, пока оно принимает участие в великом антигитлеровском походе, итог которого окажет решающее влияние на дело свободы во всем мире.

На первых порах утрата европейских рынков вызвала в торговых кругах полную растерянность. Встревоженные дельцы кинулись на черный рынок. Уголь, мыло, сигареты, керосин стали самыми дефицитными товарами, цены на текстиль, на сельскохозяйственные орудия и машины подскочили до рекордного уровня. Когда первое замешательство прошло, оказалось, что Бор-де-мер неплохо поживился. Да эта война — просто благословение божье! Пусть европейские олухи подольше лупят друг друга! Каждый мало-мальски толковый бизнесмен, каждый ловкий политик мог теперь в короткий срок сколотить приличное состояние. Само провидение послало им такого человека, как Леско: обзавелся шестью дюжинами костюмов и сотней пар обуви и смотрел сквозь пальцы, как акулы черного рынка обирают народ. Этот щеголь гордо прохаживался под ручку со светскими дамами, о которых он до своего президентства и мечтать не смел! Хорохорился, пыжился да танцевал. Однажды главу государства видели чуть ли не в слезах перед «Хижиной Шукун» — модным дансингом, который в тот вечер оказался закрытым. Жалобно хныча, он посадил под арест собственного сына, начальника своей личной охраны, за то, что он не предупредил хозяина ночного кабака о президентском визите. Складывая губы бантиком, диктатор день и ночь твердил:

— Моя политика — точное отражение политики Соединенных Штатов Америки!

Все труднее становилось сбывать кофе, хлопок, какао, сахар, бананы — даже в англо-саксонские страны, этот единственно доступный в ту пору рынок. Но все упущенное наверстывали с лихвой из кармана крестьян... Чтобы добиться квоты на экспорт, нужны были крепкие кулаки. Любимчики президента, все как на подбор мулаты, фланировали по улицам и вели себя так, словно им сам черт не брат. Немецкие предприятия были закрыты, уволенные рабочие не могли найти работу, поскольку и другие компании, испугавшись падения сбыта, сократили производство. Безработица медленно, но неуклонно распространялась, как масляное пятно.

Итальянские коммерсанты, большей частью импортеры и розничные торговцы, чувствовали себя довольно спокойно: их не тронули, если не считать нескольких закоренелых приверженцев фашизма, слишком откровенно выражавших свои симпатии. Конечно, итальянцы старались не особенно лезть на глаза; они затаились, но торговали не хуже остальных, только через подставных лиц... Что касается Рейнольдов, Бонделей, Гиршей и прочих тузов, их посадили в Фор-Насьональ, где они круглые сутки пировали, горланя «Хорст Вессель» и «Дейчланд, Дейчланд юбер аллес». Словом, немцы неплохо устроились! Они и в тюрьме продолжали служить «великой Германии», ведя под носом у тюремщиков фашистскую пропаганду, и, закидывая сети, улавливали в них прежних своих клиентов, попавших в стесненное положение. Играя на традиционных для гаитян антиимпериалистических чувствах, они старались вызвать ненависть к «западным плутократиям». Конечно, на удочку гитлеровской демагогии попадались лишь считанные единицы, но все же кое-кто из озлобленных мелких буржуа мечтал о победе вермахта; они ненавидели янки и их *big stick**, ненавидели лживую болтовню колониалистского Запада — и заучивали наизусть имена арийских генералов, с надеждой следя за подвигами Роммеля, пресловутого «лиса пустыни».

---

* Большая дубинка *(англ.)*.

Безработица росла, атмосфера накалялась, а тупоумный выскочка Леско, окруживший себя мулатами, напомаженными и пустыми молодчиками, и ухом не вел.

Недовольство росло. На мотив рекламной песенки «Ром и кока-кола», введенной в моду сестрами Андрюс, распевали:

На всех балах и пикниках,
На всех, на всех приемах
Отважный Эйзенхауэр
Лишь кока-колу пьет!

И хор подхватывал:

Рузвельт — кока-колу!
Чёрчилль — пепси-колу!
Ачесон — соя-колу!
А Леско — мочу!

Когда в какой-нибудь компании страсти разгорались особенно пылко, находились смельчаки, которые затягивали еще более крамольную песню, где все называлось своими именами:

Хэ ва! Хэ ва! Хэ ва!
Застукали Леско,
Застукали Леско —
Он деньги воровал из казначейства!
Семь раз, семь раз, семь раз
Он попадался!

В следующих куплетах появлялись — примерно в тех же ситуациях — все члены правительства Леско...

В стране возник новый зоологический вид, так называемый «*master of'*». Естествоиспытатели старательно описали его, отметив, что некоторые особи — в еще большей мере, чем хамелеон,— обладают способностью моментально менять окраску в зависимости от того, куда ветер дует. Вот некоторые характерные особенности «*master of'*»: волосы тщательно прилизаны и напомажены; очки без оправы, на американский манер; в зубах короткая трубка; жевательная резинка; покрой пиджака подчеркивает гибкость позвоночника; голос гортанный, разговор сводится к звукоподражанию:

— *Oah?.. Test?..*

— *Aoh yâ!.. Schedule!*

Таков был «*master of'*». Здесь, пожалуй, следует пояснить, что в голове министра народного просвещения родился изумительный проект. Стремясь перестроить систему образования и кинуть кость мелкой буржуазии, страдающей от безработицы и нищеты, сей государственный муж решил скосить под корень весь преподавательский состав. Каждый учитель греко-латинской формации, не сумевший в короткий срок освоить теорию и практику воспитательных «тестов», подлежал немедленному увольнению.

Учительским кадрам начальной школы, коллежей и лицеев был нанесен страшный удар. Преподаватели с двадцатилетним, с тридцатилетним стажем были вышвырнуты на мостовую и заменены недоучками, прошедшими трехмесячные курсы при американских университетах. Философия прагматизма стала евангелием наших новаторов. Гнать в шею гуманитарных ослов! Латинский мир — и лучшее тому доказательство нынешняя война! — приходит в упадок из-за Гомера и Плутарха. Мыслить на американский лад — или погибнуть! — таков был боевой клич. Смешивая обучение с осведомлением, этот р-р-революционный министр возвел метод «тестов» в ранг государственной политики, единственной основы новой культуры североамериканского типа.

— Где родился Наполеон — на Корсике, на острове Эльба или на острове Святой Елены?.. Ненужное вычеркнуть.

— Что более полезно — каучук или золото?

— Назовите имя американского адмирала, который в 1915 году принес на Гаити обещанные им Мир, Славу и Благоденствие...

Горе тому, кто не мог ответить коротко и эпределенно!..

Самыми крупными инкубаторами для выведения породы «*master of*» были Колумбийский и Йельский университеты. Магистров штамповали с молниеносной быстротой. Из уст в уста летели сенсационные сообщения:

— В Колумбии можно стать М. И. (читай: магистром искусств) за два с половиной месяца...

— Подумаешь! Я стал магистром наук за шестьдесят пять дней и шесть часов!

— А я — магистром искусств и бакалавром технических наук Йельского университета ровно за два месяца...

Начальник штаба гаитянской армии тоже не дремал. Дух американского практицизма проник и в ряды доблестных воинов. Так, перед военными парадами сей достославный полководец говорил своему адъютанту:

— Эй, бой, прикажи оседлать мою *horse* *!

Вместо приветствия он восклицал:

— Хэлло, *guys* **!

Министр иностранных дел, также родной сын президента республики, субъект с прилизанными и склеенными каким-то гуталином волосами, с высокомерным выражением лица, каковое он принимал специально для того, чтобы казаться старше своих лет, одетый с иголочки хлыщ, увлекался верховой ездой, а передвигаясь пешим порядком, подражал походке Антони Идена. И как тот будущий канцлер, который во всех затруднительных случаях посылал депешу папе римскому, он всегда обращался за инструкциями в американское посольство.

Такова была атмосфера, царившая в стране. Весна, пышная, теплая, золотистая, расстилала свои шелковые ковры по несчастной земле Туссена Лувертюра и Жан-Жака Дессалина. Компания ГАСХО заняла одно из самых больших зданий столицы. Народ, обладавший гордостью и пророческим даром, с проклятиями терпел обиды и ждал своего часа.

■

Первая проповедь преподобного отца Диожена Осмена в Гантье произвела впечатление разорвавшейся бомбы. Достойный служитель божий говорил среди все нараставшего ропота. С высоты кафедры он видел обращенные к нему озадаченные или гневные физиономии верующих. Группа вольнодумцев, слушавших мессу с церковной паперти, была просто потрясена. Эти господа теснились поближе к дверям, чтобы услышать нового кюре. Устремив глаза вдаль, уцепившись руками за кафедру и весь в поту, Диожен предавал нечестивцев анафеме, постепенно повышая голос, потому что гул становился все громче и громче. Он говорил добрых двадцать минут, требуя отречения от языческих богов и угрожая приверженцам водуизма всяческими небесными карами. Заключительные слова проповеди были покрыты неимоверным шумом толпы. Потом наступила гнетущая тишина. Лишь громко стучали каблуки священника, спустившегося с кафедры и как то злобно печатавшего шаг в поперечном проходе. Мальчик из хора, путаясь в длинном не по росту балахоне, семенил впереди Диожена. Дойдя до амвона, кюре преклонил колени перед алтарем и застыл в экстазе, потом резко встал, оправил ризу и провозгласил:

---

* Лошадь *(англ.)*.

** Парни *(англ.)*.

— *Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factorem coeli et terrae...*

Символ веры подхватило несколько жидких голосов. Среди такого возмутительного беспорядка на должной высоте оказалась лишь группа старых дев из духовной конгрегации святого Франциска, сидевших в первом ряду в широких фиолеговых косынках, повязанных вокруг шеи. Они пришли святому отцу на помощь и принялись вопить визгливыми истеричными голосами:

— *...Et unam, sanctam, catholicam et apostolicam Ecclesiam... Confiteor unum baptisma in remissionem peccatorum...*

Рядом с коленопреклоненной Леони, в первом ряду прихожан, стояли, опустив головы, Эдгар и Карл.

— Это, пожалуй, самый приятный момент его ремесла,— прошептал Карл брату.

Офицер улыбнулся.

— А знаешь, что́ он сейчас про себя бормочет? — опять начал Карл.— Помнишь священное писание? Там как будто идут по ритуалу такие слова: «Господи, достаточно ли вина в потире?» — «Нет, сын мой, маловато»,— отвечает господь. Тогда священник приказывает служке подлить вина — и так подливает и подливает, пока чаша не наполнится до краев!..

Эдгар чуть не прыснул. Леони вовремя толкнула его локтем в бок.

Переодевшись в ризнице, Диожен присоединился к Леони и братьям, поджидавшим его на паперти. Тут же собралась большая толпа, люди возбужденно спорили, размахивали руками. При виде священника все замолчали. Женщина с морщинистым лицом цвета кофе с молоком вынырнула откуда-то во главе целого батальона старух из духовной конгрегации и, обращаясь поочередно то к священнику, то к гудящей толпе, стала кричать:

— Слава господу!.. Слава Христу!.. Господь победит!

Длинный красный бьюик медленно тронулся с места под крики стоящих шпалерами дев:

— Слава Иисусу Христу!

— Господь победит!

VII

Гонаибо увидел ее внизу, на дне оврага. Она лежала ничком на мелкой и гладкой гальке, обточенной дождями. Фигурка показалась ему знакомой. Ну конечно это она — внучка главного жреца! Цепляясь за кусты и древесные корни, Гонаибо съехал вниз по крутому склону и благополучно приземлился около лежавшей девочки. Потом встал на ноги и нерешительно походил вокруг нее.

Она плакала, закрыв лицо ладонями, плакала навзрыд, припав головой к земле, не подозревая, что рядом кто-то есть. Гонаибо положил руку ей на плечо. Она встрепенулась, быстро села и, оправляя платье, настороженно глянула на него.

— Что с тобой? — спросил Гонаибо.

Снова уткнувшись лицом в ладони, точно для магометанской молитвы, она громко зарыдала.

— Я не сделаю тебе ничего плохого... Не бойся... Что с тобой?

Она робко приподняла голову, тут же опять спрятала ее и застонала. Гонаибо замялся, потом протянул руку и осторожно подложил палец под ее склоненный лоб. Девочка не пошевельнулась. Тогда он приподнял ей голову. Она чуть-чуть отодвинулась, но руку его не отбросила.

Они глядели друг на друга, как два малыша, случайно столкнувшиеся где-нибудь на пляже, во время игры.

«Ну, чего тебе, глупая, надо?» — казалось, говорил один.

«А ты откуда взялся, такой худющий?» — спрашивали ее глаза.

Оба молчали — она в замешательстве, он с легкой улыбкой на губах.

— Кто ты такой? — наконец спросила она, шумно всхлипывая.

Гонаибо не отвечал. Она выпрямилась.

— Я знаю, кто ты,— сказала она.— Я тебя не боюсь!.. Ты ничего мне не можешь сделать: я внучка Буа-д'Орма Легиро...

— Твой дед тоже знает, кто я такой! — заявил Гонаибо, загадочно улыбаясь.— И я тоже его не боюсь!

Заплаканные глаза растерянно смотрели на него.

— Что с тобой?.. Что стряслось? — еще раз спросил Гонаибо.

Она опять заплакала, и ему снова пришлось поднимать ее голову.

— Да ну же, что случилось, скажи наконец!

Она понемногу успокоилась.

— Ну? Говори!

— Я сейчас умру! — сказала она.

— Умрешь?

Она кивнула головой.

— Из-за чего это ты собралась умирать?

Она опустила голову и, глядя исподлобья сквозь мокрые ресницы, призналась:

— У меня идет кровь!..— и опять зарыдала.

У Гармонизы — или, как ее обычно называли, Монизы — была темная, точно оперенье диких каосов, кожа, тонкие, египетского склада, черты лица, узкий нос и две огромные миндалины — черные глаза с ярким белком. На голове — легким блестящим шлемом — густые волнистые волосы, смазанные маслом и заплетенные в косички. Над лбом, как диадема, толстая коса, пушистые завитки сияющим веером сбегали к ушам. Она была хрупкой и изящной, как стебель дикой розы,— поистине женщина в миниатюре, крепкая, гибкая, с тугими, как высушенное ядро кокосового ореха, мышцами. Маленькое тело вполне сформировалось, хотя ей было самое большее двенадцать лет: округлые, похожие на баклажаны, бедра, точеные ноги, расцветающая упругая грудь. Красота наивная, вольная, редкая, в которой ожили прекрасные черты древнего народа сакатра, оттененные маской детского горя на заплаканном лице.

В ответ на ее отчаянное признание Гонаибо захохотал, и смех его раздался, как ржанье жеребенка.

— Ты не умрешь! — заявил он.

Тонкое личико Гармонизы выразило недоумение и беспокойство; девочка уставилась на своего нового товарища, который точно с неба свалился и теперь так дерзко смеется над ней. Каким красивым и сильным показался ей этот молодой дичок в ветхих штанах, которые явно не желали расти вместе со своим хозяином! Она окинула быстрым взглядом покрытые пушком ноги, стройный, как молодое деревце, стан, открытую всем ветрам грудь под распахнутым воротом рубахи. Смеющееся лицо, курчавые волосы цвета корицы...

Перестав смеяться, он сказал неожиданно серьезным, задумчивым голосом:

— Я знаю, что́ с тобой... Мне мама объясняла... У вас, у женщин, все не так, как у нас... Это значит, что с нынешнего дня ты стала настоящей девушкой.

— И я не умру?..

— Да нет же, дурочка! Это совсем не страшно.

Он взял ее за руку.

— Пойдем, я отведу тебя домой. Я знаю короткий путь. Ты не боишься колючек? Но только не говори взрослым, что встретила меня...

Она доверчиво подняла на него глаза и кивнула головой. Гонаибо задумался. Ему хотелось поговорить с главным жрецом, рассказать ему, что он видел белых людей на мотоциклах, что над его владениями нависла угроза. Главный жрец и Гонаибо должны объединить свои силы — это единственный путь к спасению. Может быть, попросить Гармонизу рассказать обо всем Буа-д'Орму? Но он тут же спохватился. Гармониза может сболтнуть еще кому-нибудь — и пойдут гулять невероятные слухи. А враг настороже... Нет, Гонаибо победит свою робость и сам, как вождь, предстанет перед главным жрецом.

Утро было напоено свежестью... Так Гонаибо познакомился с Гармонизой, внучкой Буа-д'Орма и последним отпрыском рода Летиро,— ранним весенним утром, в овраге, поросшем базиликой, в тот день, когда Гармониза стала взрослой девушкой.

■

В доме священника в Гантье развернулась бурная деятельность. Подготовка к первому этапу наступления на святилища воду́ проходила как нельзя лучше. Богомолки из духовной конгрегации устремились в битву очертя голову, окружив нового кюре стеной, как швейцарская гвардия папу римского, когда тому угрожали сразу три антипапы. Эти ханжи были вездесущи, они проникали в каждый дом, призывая к крестовому походу; они украшали церковь, скребли и мыли в ней каменные полы, наводили блеск на статуи святых. Диожен тоже трудился в поте лица своего. Он уже трижды выступал с кафедры в своей церкви, и каждую его новую проповедь прихожане встречали все более бурно. Музыка обладает свойством подстегивать фанатизм толпы; поэтому Диожен приспособил к мелодии старого духовного гимна, сочиненного еще Фенелоном, подходящие к случаю слова. Одновременно он занимался еще уймой дел: редактировал текст отречения, который должны произнести христиане, отвергающие водуистских богов; подготавливал картотеку, чтобы вносить в нее имена отрекшихся,— ибо всем остальным, всем упорствующим в своих заблуждениях церковь будет отныне отказывать в причастии, это решено! — сколачивал хор из благочестивых девиц, входящих в общество «Детей девы Марии», читал наставления всем новообращенным, встающим под знамена матери-церкви, наносил визиты влиятельным лицам...

В городе царило смятение. Попробуйте-ка отыскать в Фон-Паризьене человека, который, послав каплуна местному кюре, не преподнесет тут же даров и водуистскому жрецу! Весьма вероятно даже, что последователей водуизма было здесь гораздо больше, чем могло показаться на первый взгляд: католицизм был для многих всего лишь удобной ширмой. По правде говоря, чуть ли не каждый житель Фон-Паризьена посетил — и не один раз в жизни — хунфор, попрыгал там вокруг столба, предназначенного для обрядовых плясок, и пролил несколько капель миндального молока перед алтарем. Люди среднего достатка, те, кому в социальном отношении особенно нечего было терять, относились к поставленной перед ними дилемме довольно легко: им не впервой приходилось примирять в своем сознании две разные религии, и совесть не слишком мучила их. Но богачи, честолюбцы, все те, кто занимал в обществе видное положение, не могли допустить и мысли о том, чтобы отречься от лоасов. В могущество водуистских богов они верили куда больше, чем в силы божественного провидения, придуманного людьми. Бог-отец и Христос — так же, как витающий где-то дух святой,— жили очень далеко и представляли собой понятия отвлеченные; разумеется, и с ними не

мешает примириться, но спешить тут некуда, можно подождать до смертного часа. Другое дело — лоасы, боги мирские, тесно связанные с людьми и с их повседневными занятиями, боги, которые каждый миг вмешиваются в человеческую жизнь и которые решают, быть ли дождю или солнцу в этих краях. С лоасами приходится всегда держать ухо востро, иначе, того и гляди, твой конкурент перехватит у тебя милость таинственных сил и сыграет с тобой злую шутку! Ведь лоасы не терпят, чтобы к ним относились пренебрежительно или с дурацкой расчетливостью... Нет, чистейшее безумие — требовать отречения от водуистских верований!

Наиболее ловкие заявляли, что для отвода глаз все же следует пойти на этот шаг.

— Отвяжемся от попа — и делу конец! — говорили они.

Сделать все, что потребует кюре, а там, смотришь, и опять можно служить лоасам, как раньше... Что касается исповеди, то ведь и мы не дураки, не так ли?..

Другие — и таких было большинство — трепетали при одной мысли об отступничестве. Они держались с видом оскорбленного достоинства: «Поведение бретонского духовенства задевает нашу национальную честь! Мы никогда не подчинимся этим приказам!..»

Что касается бедноты, она никогда не имела ничего общего с религией католических попов; бедноту заботило сейчас одно: какие бедствия обрушат на ее голову «яйцеглотатели» *. Если начнется падеж скота, если прожорливые птицы и грызуны нападут на посевы, если над полем и садом нависнет угроза засухи, если дети будут маяться животом, умирать от лихорадки, а рядом не окажется больше ни святилища, ни жреца — у кого тогда искать помощи и защиты? У попа? Да разве в силах поп и эта жалкая, выданная им бумажка, которая говорит, что ты отрекся от лоасов,— разве в силах они защитить от дурного глаза, злокозненных оборотней, темных сил капризной природы?..

Возбуждение достигло предела. Вечером на дом Диожена Осмена обрушился град камней, и мадам Амелия Лестаж, которая во время этой бомбардировки не придумала ничего более умного, как высунуться в окно, слегла в постель: камень угодил ей прямо в физиономию. На рынке тоже почему-то началась паника: крестьяне подхватили свои корзины с плодами и всякой живностью и кинулись врассыпную. Матушка Сесе Додо (молва приписывала ей тесную дружбу с лоасами) в этот день, вопреки своему обыкновению, не торговала кашей из маисовой муки; догадливые клиенты тотчас решили, что она отправилась в свой хунфор. Полеон Франсуа, богатый плантатор, заявил во всеуслышание в баре мадам Тюли, что задаст попу хорошую взбучку, если тот посмеет явиться к нему в дом проверять, не хранит ли у себя Полеон водуистские амулеты. Жена спекулянта Луи Балена, всем известная ведьма и оборотень, явилась в минувшее воскресенье в церковь — разодетая в пух и прах, в красном шелковом платье с отделкой из черного бархата — и приняла причастие, подтверждая тем самым, что каждая добрая христианка обязана отречься от лоасов.

Языки работали вовсю. Люди негодовали, возмущались и бранились, но никто не смел открыто объявить себя приверженцем осужденной религии.

■

Генерал Мирасен, служитель святилища Нан-Ремамбрансы, с честью выполнил возложенную на него миссию: по всем путям и дорогам, по всем горным перевалам и лесным тропам, ведущим к Фон-Паризьену,

* Кличка, которой народ наградил католических священников.

спешили жрецы. Папалоа чуть ли не из всех храмов озерного края, даже из некоторых хунфоров Артибонита, Севера, Северо-Запада и Юга, сочли необходимым принять участие в совещании, которое созвал старый Буа-д'Орм Летиро, наделенный волшебной силой, глава одной из самых древних сект культа воду́. В Нан-Ремамбрансу прибыли даже представители водуистских общин из Доминиканской республики.

Буа-д'Орм Летиро сидел на земле перед главным алтарем. По левую руку от него находился его помощник, геал Мирасен, служитель бога Собо-Наки-Дагоме; по правую — Клемезина Дьебальфей, худая изможденная старуха, жрица бога Аизана Гвинейского. Вдоль стен стояли алтари других лоасов. Жрецы сидели широким кругом на утрамбованном земляном полу. Собралось уже около восьмидесяти человек, и прибывали все новые. На всех лицах — бритых и бородатых, морщинистых и дубленых, коричневых и черных — к профессиональной жреческой важности примешивалось выражение мучительной тревоги. Большинство присутствующих посвятило водуизму всю свою жизнь. Сумеют ли они на закате дней изменить самые основы своего существования?.. Конечно, были среди жрецов и люди без стыда, без совести, смотревшие на свою должность папалоа как на источник легких доходов, люди корыстолюбивые, запятнавшие себя подлыми поступками, причинявшие зло своим ближним. Но были и другие — истинные дети земли, люди долга, хранители традиций, легковерные и ревностные служители богов, чьими наследниками они искренне себя считали, творившие добро — насколько вообще можно творить добро в обществе, враждебном человеку...

Один за другим папалоа вставали, брали слово. Уже выступили с речами Ти-Кок, знаменитый маг из Барадера, и Люксамар, главный жрец в Педернале, и Брав Гассон, ясновидец из Гранд-Салина, и многие другие служители религии воду́. Столкнулись две противоположные точки зрения. Одни жрецы предлагали подчиниться — но только для вида, а тем временем перенести храмы в сокровенные места и совершать водуистские обряды в глубокой тайне. Другие призывали к борьбе, решительной и суровой, требовали сплотить верующих вокруг хунфоров, грудью встать на защиту лоасов и заставить белых попов отступить. Каждый оратор защищал свое мнение с превеликим жаром, ссылаясь на собственную мудрость, на свои огромные заслуги перед водуизмом. Атмосфера накалялась, в зале нарастал гул.

Буа-д'Орм молчал, сидел спокойный и невозмутимый. Напрасно геал Мирасен вглядывался в морщинистое лицо старика, пытаясь угадать, какое он принял решение. Но вот шум резко усилился. Буа-д'Орм встал. Сразу наступила тишина. Глаза обратились к главному жрецу Ремамбрансы. Его белый долгополый сюртук казался ослепительно ярким пятном в этом пестром собрании, которое озаряли пляшущим пламенем жестяные керосиновые лампы. Весь облик тщедушного старца с трясущейся головой, повязанной белым шелковым платком, был исполнен величия. В его правой руке, приковывая взоры, сверкала дека́. Жрецы смотрели на священный предмет, который украшал некогда храмы святой Алады, и пересек моря, и прошел сквозь бури вместе с черными рабами в корабельных трюмах, и увидел наконец песчаные берега Гаити. Вот он, долгие века переходивший из рук в руки символ верности и постоянства! Лоасы бессмертны! Другие папалоа владели лишь немудреными амулетами, сделанными совсем недавно из высушенных плодов тыквенного дерева и дешевой мишуры... Дека сияла в руке главного жреца, как восходящее солнце.

Вдруг, ко всеобщему удивлению, Буа-д'Орм двинулся через толпу к выходу. И все увидели, что в дверях, вытянувшись во весь свой огромный рост, стоит Данже Доссу. Буа-д'Орм шел твердым шагом, и люди расступались перед ним в мертвой тишине.

— Данже!.. Не смей входить в жилище светлых лоасов, которых ты предал!..

На губах Данже заиграла улыбка.

— Меч не боится меча, Буа-д'Орм!.. Прочь с дороги! — воскликнул он.

Буа-д'Орм ничего не ответил. Он закрыл на миг глаза, потом снова поднял веки. Взгляды противников скрестились. Доссу смеялся, широко раскрыв рот и обнажив пунцовые десны.

— Шита́, Данже! Сядь! — негромко приказал Буа-д'Орм.

Глаза Данже Доссу мерцали. Видно было, что ему стоит великого труда не опускать веки; собрав всю свою волю, глухо рыча, он глядел вытаращенными глазами на деку, которая медленно вращалась в руке главного жреца.

— Шита́, Доссу! — повторил Буа-д'Орм.

Данже Доссу отчаянно боролся с чарами, что исходили от светоносного шара, от глаз Буа-д'Орма, смотревших на него спокойно и мягко. А дека все кружилась и кружилась в руке жреца.

Колени отступника подогнулись. Буа-д'Орм стоял перед ним, величественный, невозмутимый, слегка откинув туловище назад, худой и высохший, как хворостинка. Колдун медленно опустился на корточки. Из его полуоткрытого рта вырывался храп. Он спал.

Буа-д'Орм неторопливо пошел обратно, к алтарю. Люди почтительно расступались перед жрецом. Дойдя до своего места, он не сел, а остался стоять. Он указал рукой, и, повинуясь его жесту, Клемезина Дьебальфей быстро скользнула в толпу, направляясь к выходу. Папалоа, словно завороженные, не спускали со старца глаз. Через минуту Клемезина вернулась и привела с собой Гармонизу, внучку Буа-д'Орма. Глаза девочки, горевшие тревогой и любопытством, перебегали с деда на сидевших вокруг людей. Буа-д'Орм привлек ее к себе, поставил перед алтарем и положил ей на голову деку. Он едва прикасался ладонями к священному сосуду, но дека вращалась, вращалась все быстрее и быстрее. Капельки воды падали на лицо, на глаза неподвижно застывшей Гармонизы. Буа-д'Орм закрыл глаза и заговорил — сначала тихо, потом все громче и громче:

— У неутомимой путницы великой Айзан, которую вы забыли, которой вы пренебрегли, наполнены влагой глаза... Я вижу ее посреди бескрайнего зеленого поля. Я вижу людей, запятнанных кровью и грязью, вижу леопардов, забрызганных кровью, вижу их среди тех, кого лоасы наделили своими дарами. Величайшие чудеса рождаются из чистой воды и невинных маисовых зерен... Я вижу лоасов, заключенных в темницу хунфоров, я вижу лоасов, гневно проклинающих презренные деньги, за которые вы их посмели продать... Горе тем, кто ослушался Великого Негра, единого Великого Негра, доброго бога-отца, породившего сонмы лоасов... Айзан говорит: лоасы ни добры, ни злы, лоасы подобны человечьему сердцу. Я вижу: жестокое несчастье, словно взбесившийся бык, ринулось на нашу страну... Но Айзан, не зная усталости, идет и идет по росистой траве... Храмы не будут покинуты, алтари не будут покинуты, люди с долин и с высоких гор будут не одиноки пред лицом великого гнева, вызванного нечестивцами. Мщение! — так говорит Айзан!

Мы должны оставаться там, где лоасы создали храмы, оставаться среди крестьян! — так говорит Айзан. Айзан говорит, что лоасы не умрут до тех пор, пока на земле не исчезнет голод, пока не уйдет нищета, пока не отступят болезни, пока не иссякнут потоки проливаемой крови людской!..

Покончить с насилием! Довольно кровь проливать! Аго-йе!..

Спасите священные камни! Аго-йе!

Ждите спокойно прихода людей, задумавших разрушить святилища! Аго-йе!

Храмы разрушить нельзя: они — как трава, которую жгут в полях, дабы щедро родила земля. Хунфоры снова возникнут, они, как побеги, взойдут в новую весну нашей жизни! Не бойтесь оружия быстрого, смейтесь над ним! Аго-йе!

Оружие наших богов медлительно, непобедимо и вечно! Аго-йе!

Я вижу: они идут! Я вижу, я понимаю, зачем они к нам идут! Я вижу в таинственном свете!.. Я вижу: за этой армией другая движется армия! Я вижу крестьян, которых сжигают, как в поле траву, топчут, как в поле траву, вдоль дороги бросают в канавы, как в поле траву! Кто осмелится рассказать все, что видят очи Айзан!..

И он перешел на благородный диалект арада́. Папалоа в молчании слушали речь на тайном языке, который многие из них успели забыть. Буа-д'Орм говорил об ужасах и чудесах, и старики одобрительно кивали головой, а те, кто был помоложе, тихо спрашивали у стариков, что́ означает то или иное непонятное слово. Казалось, Буа-д'Орм стал выше ростом, его лицо лучилось светом, и слова текли из уст его, полнозвучные и певучие, как чистые воды лесного ручья. Дека мягко горела над головой Монизы, как заходящее солнце над разбушевавшимся морем. Дрожащие старческие руки казались двумя магнитами, живыми магическими магнитами, вливающими в священный амулет трепет таинственной жизни; по девочке словно струились волны света, исходившие от мерцающей деки. Вот Буа-д'Орм схватил деку и раскрыл ее. В его ладонь потекла золотистая струйка. Вода лилась на голову ребенка, застывшего, как каменное изваяние, и мокрое платье покрылось сетью неровных складок, как холмистая кора земная, сковавшая древний остров Гаити. Сложив ладони чашей, Буа-д'Орм протягивал жрецам двойные зерна маиса, собранные им на поле богов. Папалоа один за другим подходили к Буа-д'Орму и брали по одному чудесному белому сердцу, которое по воле небес созрело на родной земле как вестник надежды, как знак, поданный тем, кому предстояло узнать отчаянье и сомненье, кому предстояло увидеть, как язва отступничества поражает сердца...

В ночной тишине на верхушке соседнего дерева пела невидимая птица. Ее голос внезапно рождался из молчания ночи, звенел, наливаясь уверенной силой... Мелодия была соткана из росы, из драгоценных камней, из света. Звуки струились, взрывались, сверкали; три серебристых ноты звенели колокольчиками, и чудесная музыкальная фраза завершалась нежнейшей трелью... Жизнь прекрасна и ласкова! Добрая надежда плыла сквозь черные ночи, сквозь грядущие грозы — к утренним зорям новой жизни.

VIII

Леони тревожилась не на шутку. Несмотря на свой большой житейский опыт, она никак не могла предположить, что дела примут такой опасный оборот. Не только отчужденность или недоверие — нет, против ее сыновей поднималась волна всеобщего озлобления. Повсюду ползли упорные слухи: компания ГАСХО намерена прочно обосноваться в озерном крае, компания ГАСХО намерена присваивать любые участки земли, какие ей понравятся... Только об этом и толковала вся округа — и богачи, и простые крестьяне.

— Белые мериканы возвращаются на Гаити!.. Они уже здесь! Зарятся на наши земли! Президент Леско дал им право хватать все, что приглянется! Потому-то и явился сюда лейтенант!..

Но Диожен внушал Леони еще большее беспокойство, чем Эдгар. Всех, кто знал — или считал, что знает,— этого смиренного агнца, поражало неистовое упорство, с каким он взялся за искоренение водуизма. Казалось, ничто не в силах его остановить. Он перевел церковь и свой дом на осадное положение, поставил круглосуточную охрану — и горе тому, кто появлялся поблизости в неурочный час! Никто прежде и не подозревал, что в сердце Диожена может таиться такая жестокость и ненависть, клокотавшая теперь в каждой его проповеди. По мере того как яснее становилась опасность, грозившая Диожену, он делался все злее и решительнее.

Карл пробыл в столице недолго и по просьбе Леони вернулся в Фон-Паризьен. Теперь этот блудный сын оказался самым близким материнскому сердцу. Вот она, двойственность человеческой природы! Ведь Леони почти всегда бывала к Карлу несправедлива. Только сейчас она начинала догадываться, почему он не пошел по пути Эдгара или Диожена, почему предпочел беззаботную жизнь богемы. Какой толк от политической возни, в которой она до сих пор находила удовольствие? Вот они — плоды! Плоды горькие, обманчивые. Все — суета сует, если сердце твое не знает покоя, если тебе неведомо радостное сознание своего человеческого достоинства, если дела твои не приносят тебе душевного удовлетворения...

Леони ласкала и баловала Карла, даже совала ему в карманы деньги на бесконечные попойки и похождения. Карл благосклонно позволял нежить себя, лицемерно мурлыча, выгибая спину и мечтая лишь о том, чтобы золотой дождь не кончился слишком быстро. В то время как Эдгар носился по всей округе, совершал инспекционные поездки вдоль границы, вел какие-то таинственные переговоры с Диоженом и бесконечные совещания с командующими соседних гарнизонов, Леони и Карл долгими часами оставались одни в доме. О, они почти не разговаривали, но стоило Карлу почувствовать обращенный на него взгляд — он сразу понимал, какое горестное раздумье удручает сердце матери.

...Один ее сын дерзко поднял руку на богов своих предков, другой собирается отобрать землю у тех, кто ее добился ценою великой войны за независимость,— хочет вырвать землю из рук ее законных владельцев, день за днем поливающих ее потом своим! И мать должна при этом присутствовать! Леони не посмела никого послать в свой хунфор (ведь папалоа узнаю́т обо всем с поразительной быстротой — порой даже задолго до того, как событие произошло!), а жрецы ее родового хунфора тоже хранили молчание. Грозное молчание!.. Леони теряла почву под ногами. Энергия угасала у нее с каждым днем, точно ее медленно, но неотвратимо сковывала какая-то могущественная колдовская сила. Теперь это была уже не прежняя Леони, а дрожащая от страха наседка. Иногда ей хотелось послать все к черту и вернуться в свой добрый старый Сен-Марк, в свою лавку, к своему Порталу Ля-Сьери, пропитанному такими славными запахами... Но, подавляя искушение, она оставалась возле сыновей и бродила, едва волоча ноги, по шести комнатам этого чужого дома... Когда-то она умела молиться, а теперь слова молитвы не шли с языка. Безвольно ждала она, когда беда постучится в ворота. Милый Карл! Он оставался возле матери, неспокойный, встревоженный, но оставался — ради нее, ради нее одной!

Отгоняя невеселые мысли, Карл встал, потянулся.

— Я ухожу, мама, хочу немного поразмяться... Вертюс Дорсиль разрешил мне брать его лошадь в любое время, когда мне захочется. Ведь надо же хоть немного развлечься...

Да, мальчик уходит и вернется только к рассвету, но зато он и завтра проведет с ней весь день, с ней, молчаливой и скорбящей матерью.

Она машинально взглянула на него. В его лице была какая-то загадочность. Что он еще задумал? Ах, стоит ли тревожиться! Разве Карл способен причинить ей горе! Но как тягостно одной ждать возвращения Эдгара! Нет, зачем принимать все так близко к сердцу? Карлу нужно повеселиться, выпить в компании, проветриться, только и всего... Она не сказала ни слова. Карл тихо вышел.

■

Эдгар скакал верхом на коне, за ним следом, приотстав немного, ехал сержант Кальпен. Прием, который оказал Эдгару его доминиканский коллега, капитан Рауль Кордеро, начальник авиационного лагеря Гран Сабана, был на редкость сердечным. Кордеро предложил гостю совершить недолгий полет на маленьком самолете, сверкавшем, как новенький пиастр. Какое изумительное ощущение — лететь в чистом небе на этой двухместной машине, нервной и норовистой, лететь, как морская чайка, подставляя лицо ветру и чувствуя, как трепещут клочья облаков, запутавшиеся у тебя в волосах! И как прекрасен сверху синеватый Бахоруко, с его заводями и порогами, стремительный и бурный, как в славные времена неукротимого касика! И поросшие лесом хребты, и озера, где плавают кайманы, и долины, где живут люди с гордым, высоким лбом!.. О, он понимал теперь своего друга, покойного лейтенанта Перро, который никак не мог примириться с расколом острова на две части и все мечтал отвоевать утраченные земли... Остров Кабритос посреди озера Анри с целым хвостом маленьких островков, реки Лас-Дамас и Арройо Бланко, впадающие в большой водоем, а там, дальше, возле крючковатой лагуны Дель Ринкон — извилистый поток Иаке... На стороне, которая осталась гаитянской, вокруг огромного опалового глаза Азюэй раскинулась саванна, пустоши, деревни с глинобитными хижинами; дальше вырисовываются угрюмые очертания горных цепей и одиноких вершин, и наконец еще дальше, над зелеными сосновыми рощами, расстилается огромный лес, бескрайнее зеленое чудо, лучезарная неувядаемая надежда. И внезапно, с неведомой ему до сих пор ясностью Эдгар понял, что эта земля, раскинувшаяся внизу, — живая. Его охватил страх. Значит, то, что представлялось ему мертвой материей, живет своей, тайной жизнью?.. Так ли это? И то, что для нашего глаза неподвижность, — на самом деле всего лишь замедленность?..

«А все-таки она вертится!» — бросил в лицо инквизиторам Галилео Галилей, хотя его и заставили отречься от своего убеждения... А что, если и в самом деле видимый мир непрерывно обновляется, несмотря на кажущуюся неподвижность? Да, да, что, если жизнь там, в глубине, ползет в подозрительно тягучем темпе, похожем на мнимую медлительность в движении звезд, которые в действительности мчатся с головокружительной скоростью?..

Но к Эдгару быстро вернулась его всегдашняя флегматичность. Пустое! Уж так устроен человек: стоит ему оказаться поближе к небу — им тотчас овладевает желание устремиться в метафизические дебри, в размышления о диалектике двух бесконечностей, о вечной загадке движения и неподвижности! Но Эдгар принадлежал к породе сильных — призрачная тяга к идеальному была ему почти не свойственна, вернее — она быстро проходила. И, когда он ступил на твердую землю, от этих миражей ничего не осталось, если не считать небольшого нервного возбуждения да легкого шума в ушах.

За ужином засиделись допоздна.

Было уже за полночь. Стук копыт четко отдавался в ночной тишине. Эдгар Осмен придержал коня и подождал отставшего сержанта Кальпена. Тому показалось, что он видит какие-то тени, слышит шорох лист-

вы, даже смутные голоса. Лейтенант хотел было обследовать кусты по обе стороны дороги, но сержант, дрожа от страха, стал его отговаривать. Оба вынули револьверы. И в самом деле, в придорожной канаве затаились воры; они только ждут, чтобы перерезать коням сухожилия, когда всадники свернут с дороги! Вот трижды раздался крик совы — это разбойники предупреждают своих сообщников!.. Серый от страха, сержант Кальпен твердил одно: ждать. Положив конец препирательствам, Эдгар пришпорил коня, и сержант нехотя последовал за ним, но у поворота дороги лейтенант осадил коня на всем скаку; тот встал на дыбы, заржал. Сзади налетела лошадь сержанта, тоже испугалась и сбросила седока. Кальпен упал на кучу щебня. Взглянув с ужасом на открывшееся перед ним зрелище, Эдгар соскочил на землю, чтобы помочь своему подчиненному. Зрелище и впрямь было фантастическое: впереди по дороге шло стадо быков, около десятка; у каждого между рогами горела свеча. Стадо шло без пастуха...

Сержант кое-как поднялся на ноги. Он отделался ушибами и ссадинами.

— Гром и молния!.. Что еще за чертовщина такая?.. Я вас предупреждал, господин лейтенант, что в воздухе пахнет колдовством!

— Ну и что вы теперь предлагаете?

Вдруг Эдгар резко обернулся. Позади, в нескольких шагах от него, двигались еще какие-то расплывчатые огни. Лейтенант и сержант стремительно вскочили в седла и, обменявшись взглядами, пришпорили коней.

Быки послушно уступали дорогу всадникам, мчавшимся во весь опор. Так гнали они коней между двумя рядами фантастических животных, которые глядели на них большими кроткими глазами; у каждого на голове горела свеча. Пот струился ручьями по спинам обоих всадников. Им казалось, что на них смотрят десять пар глаз — человеческих глаз! Сержант Кальпен мчался, изрыгая проклятия, призывая на помощь своего лоаса-хранителя, всемогущего Агау Иеми. В придорожных кустах слышался смех.

Ни на минуту не замедляя бешеного галопа, всадники прискакали в Фон-Паризьен. Немного придя в себя, сержант Кальпен сказал Эдгару:

— Господин лейтенант, надеюсь, теперь-то вы понимаете, что̀ это за страна. Мы еще легко отделались! Только молчите о том, что мы видели!..

Они разъехались — каждый в свою сторону.

IX

Сидя на высоком пне в нескольких шагах от своей хижины, Гонаибо работал на гончарном круге. Из прекрасной глины, взятой из озера, выходили добротные круглые кувшины, пузатые горшки с гладкими стенками, красные и желтые блюда безупречной овальной формы. Как приятно сжимать в ладонях мягкую жирную глину! Каким ласковым, освежающим кажется ее прикосновение! Как радуются руки, легко скользя по своему творению. Тяжелое колесо приводило в движение ось, вставленную в массивную деревянную опору; к верхнему концу оси был приделан небольшой диск. Ноги мальчика вращали колесо, и кувшин постепенно принимал форму в его руках. Зеп, ручная змея, грелась на солнце, лениво вытянувшись на глянцевитой траве, глаза ее хитро поблескивали. Ну же, веселее за работу, утро так и полыхает золотым пожаром!

Однако мысли Гонаибо были далеко. Ему вспоминался разговор с главным жрецом. Можно ли действительно рассчитывать на его

помощь? Буа-д'Орм разочаровал юношу. Он ожидал встретить великого провидца, мудреца и большого ребенка, который чувствует биение сердца земли и умеет найти правильный путь, как находят дорогу ручьи, бегущие по жилам земли, птицы, летящие за добычей, времена года, следующие друг за другом вместе с чередой дней и ночей... А увидел он осторожного, рассудительного, упрямого и уже дряхлого старца. Когда главному жрецу говорили об угрозе, нависшей над землями предков, о скором вторжении белых людей, он отвечал пословицами, священными изречениями или выражался иносказательно, не договаривал, отмалчивался. Кой черт! Разве может существовать святилище без земли? Разве может расти гриб, вырванный из вскормившей его почвы? Что станется с землей, если она не будет достоянием свободных людей? Ведь что там ни говори, а земля, подобно невесте, украшенной белыми лилиями, сама выбирает того, кто достоин обладать ею.

Старец, по-видимому, закоснел в мистическом созерцании жизни. «Не будет Ремамбрансы, не будет и земли»,— упрямо твердил он.

Уж не думал ли главный жрец подчинить Гонаибо своей воле? Не добивался ли он его содействия лишь для того, чтобы им вместе встать на защиту святилища?.. Нет! Гонаибо никогда никому не покорится! Понятно, руку протягивают, руку принимают, человек дает и получает, но он должен оставаться таким, каким родился,— свободным, смелым и независимым!

Чего хотят крестьяне? Бороться за свое добро, оберегать свой клочок земли, превратить всю область в навеки принадлежащие им владения? Лицо главного жреца оставалось замкнутым, он уклонялся от ответа, щурил глаза, такой сдержанный, осторожный. Если крестьяне не помогут Гонаибо, он сам уничтожит постройки тех, кто явился сюда, чтобы завладеть землей, он будет действовать один — все спалит, сломает их машины, уничтожит семена! Буа-д'Орм не сказал ему ни слова. он лишь качал головой. Недоверие все еще разделяло их... Старец потребовал наконец, чтобы Гонаибо ничего не предпринимал без его согласия. Мальчик гордо отказался. Свидание было бы бесполезным, если бы они не условились встречаться и сообщать друг другу все, что узнают. Кем же был в сущности этот старик?.. Что представляла собой религия, которую он исповедовал? Главный жрец казался рабом своих богов! Пожалуй, он ни во что другое и не верил. В его глазах весь мир был, вероятно, лишь отражением, лишь тенью лоасов, а земля — миражем, вызванным игрою небесного света! Гонаибо же чувствовал себя самой жизнью в ее наиболее высоком, наиболее совершенном воплощении. Он наделен верховной властью в своих владениях по берегам озер. От его доброй воли зависит здесь жизнь каждой пташки, каждой травинки. Власть пришла к мальчику от неразрывной связи с озерным краем: он знал его вечно. А главный жрец во всем доверялся богам и без их знамения ничего не решался предпринять.

Гонаибо слышал от своей безумной матери, что существует бог — создатель вселенной, ангелы и святые... Мать никогда не поклонялась лоасам, ведь она жила в городе, пока не родила ребенка от какого-то хлыща из высшего общества. Да она и не была особенно религиозной: в буржуазных семьях не заботились о том, чтобы воспитывать слуг в духе христианства. И все же она верила в потусторонний мир, верила по-своему, не рассуждая. Несмотря на свое помешательство, она научила сына обрывкам молитв, которые случайно запали ей в голову. Она и сама иногда молилась, но только не в пору полнолуния, когда у нее бывали припадки. Гонаибо очень плохо разбирался во всем этом. Возможно, он никогда не проводил четкой грани между безумием матери и прочими ее странностями. Озерный край изобиловал дичью, съедобными растениями и, кроме того, был необитаем, значит, здесь некого

было опасаться и не стоило испрашивать у неба покровительства или защиты в борьбе с людьми и прочими хищниками. Живя в одиночестве, мальчик стал необычайно силен и ловок, он укрощал животных, лазил по деревьям, знал свойства каждого растения — так зачем же искать какую-то силу, более могущественную, чем он сам? Порой он думал о боге, об ангелах и святых, для которых люди строят церкви и часовни, но то были равнодушные, мимолетные мысли. В конечном счете, человек обожествляет свои сомнения, свой страх, свою слабость и беспомощность. Гонаибо же чувствовал всем существом, что он неотделим от земли и природы, только он ставил самого себя на вершину пирамиды, состоящей из животных, растений и простейших существ саванны. Он был их господином! Возможно, в этом и заключается божественная власть?.. И лишь неожиданное появление белых людей на мотоциклах поколебало его могущество. Тогда он, как это и подобает настоящему земному божеству, сосчитал камни, которые задумал бросить в захватчиков, и стал прикидывать, одолеет ли он их машины при помощи огня, собственной силы и изобретательности.

После встречи с Буа-д'Ормом Гонаибо пришел к неопровержимому выводу: все сверхъестественное враждебно свободе и жизни. Всякая религия сковывает человека, лишает его мужества и решимости. Хунганы, главные жрецы, священники и пасторы связывают людей путами отчаяния и покорности. А он любил прозрачные источники, вольные ветры, любил жизнь, пускай даже короткую, суровую, раздираемую противоречиями, он хотел быть богочеловеком, ответственным только перед собой за все свои дерзания!

У его ног лежало теперь много новых кувшинов, горшков и блюд. Он встал и отошел от гончарного круга. Солнце было уже высоко в небе. Да, он готов пойти рука об руку с теми, кто захочет бороться за жизнь. Он и представить себе не мог поражения. Однако ему нужны были все виды оружия, в том числе и деньги — еще одно божество, которому поклоняются люди. Большая печь для обжига была накалена. С ласковой заботливостью он поставил в нее гончарные изделия, вышедшие из его рук. Завтра он отнесет их на рынок в Фурнию, по ту сторону границы.

■

Данже Доссу перескочил через забор.

— Почет!.. — крикнул он.

В доме послышался шорох, и на пороге показалась женщина.

— В чем дело?

Данже окинул ее быстрым взглядом. Наверно, та молодая доминиканка, о которой ему говорили, любовница лейтенанта Эдгара Осмена. По-видимому, она тоже узнала колдуна, известного по обе стороны границы. С плохо скрываемым страхом она повторила свой вопрос:

— В чем дело, прохожий?

— Мне говорили, что здесь можно получить работу... Ну, скажем, очистить двор от сорных трав — вон они так и прут отовсюду...

Он держал ее под властью своего взгляда. У женщины задрожали ресницы.

— Лейтенанта нет дома, я не знаю...

— Лейтенант не рассердится, если я вычищу двор.

Женщине, видимо, было страшно. Она не посмела отказать.

— Значит, ты хочешь выполоть траву?

Данже показал ей огромный садовый нож. Женщина в ужасе впустила пришельца во двор, а сама стремительно вошла в дом, заперлась и затворила решетчатые ставни. Пробило только два часа, Эдгар же приедет, по своему обыкновению, между шестью и семью.

У Диожена все было готово. Кампания отречения началась еще на прошлой неделе: человек шестьдесят ханжей, подав пример остальным прихожанам, поклялись — и притом вполне добровольно — исповедовать лишь истинную веру. Итак, в следующее воскресенье Диожен станет во главе первого похода против хунфоров. Сначала надо разгромить святилище хунгана Сираме, неподалеку от Бонне, и, если эта операция не слишком затянется, они доберутся до Жоли, где хозяйничает папалоа Бюс Амизиаль. После полудня Диожен принял окружного начальника Жозефа Будена, затем пообедал.

Но как только Диожен закончил трапезу, голова его отяжелела, словно свинцом налилась. Возможно, ему повредили красные бобы под соусом. Он позвал домоправительницу Амелию Лестаж, которая решила, что у него несварение желудка, и напоила больного отваром из листьев сулейника. Прошло полчаса, а Диожену не стало лучше: у него начались сильные боли в желудке и все труднее становилось дышать. Только тогда он забеспокоился и велел позвать доктора Флоранселя, за которым Бардиналь отправился в поселок, хотя отыскать старого пьяницу было не так-то легко. Да и к тому же доктор Флорансель лишь в трезвом виде мог поставить диагноз. Но он был единственным представителем науки в Гантье, и волей-неволей приходилось обращаться к нему.

Быстро разнесся слух о внезапной болезни отца Диожена Осмена. Пересудам не было конца. Завербовав несколько святош, Ноэми Дюплан побежала в церковь, куда вслед за ней устремилось немало любопытных. Женщины начали молиться об исцелении больного, а на хорах кучками собирались люди, переглядываясь с многозначительным видом. Недаром бродяга Кокан, настоящий оборотень — это любой мальчишка знает,— обещал, что всех вероотступников сволокут на кладбище!

— Гм! Ничего еще неизвестно! — говорили прихожане.— Но этот молодой священник слишком горячо взялся за дело!.. Если он действительно захворал, то сам виноват... Ведь его предупреждали... Дай-то бог, чтобы выздоровел!..

Как раз перед приходом доктора Диожен потерял сознание. Он все же успел попросить, чтобы вызвали мать, и даже послал за ней мальчишку-слугу. Когда гонец на муле прискакал к Леони, та даже не дослушала его; она подобрала юбки и, оттолкнув оторопевшего мальчика, мигом заняла его место в седле. Прихватив по дороге служанку Сефизу, Леони усадила ее позади себя и помчалась как вихрь. Настегивая мула, она спешила в Гантье. Плевать на тех, кто не догадается сойти с дороги! Она неслась во весь опор, как опытная наездница, не боясь сломать себе шею.

Подлетев к домику священника, она совсем запыхалась, и грудь ее вздымалась, как волны прибоя у набережной Сен-Марка. Она мигом взобралась по лестнице, вбежала в спальню сына и тотчас всех выставила за дверь — и доктора Флоранселя, и Ноэми Дюплан, и даже домоправительницу Амелию Лестаж, которая удалилась, дрожа от негодования.

— Черт побери! — воскликнула Леони.— В такой пустяковине дурак и тот разберется. Меня не проведешь, все это шито белыми нитками! Ему подсыпали в еду крысиного помета. Завтра все как рукой снимет.

Оставив больного под присмотром Сефизы, она вышла и вскоре вернулась с кружкой какого-то питья. Когда Диожену влили в рот это целебное снадобье, он пошевелился, тут же у него поднялась неукротимая рвота, и он окончательно пришел в себя.

Гонаибо спрыгнул с гамака, поспешно вошел в хижину, схватил пращу, две рогатины, дудочку, подобрал змею и спрятался в кустарнике неподалеку от дома. Стук лошадиных копыт приближался. Кто этот смельчак, дерзнувший приехать сюда?.. Всадник осадил коня возле хижины. Он соскочил на землю, огляделся и стал звать:

— Гонаибо, Гонаибо!.. Поди сюда!.. Неужели не узнал меня?..

Это был Карл Осмен, тот человек, которого мальчик приютил несколько недель назад. В нерешительности он ходил взад и вперед, кричал. Заглянул в открытую дверь хижины и опять позвал.

— Убирайся!.. Уезжай!.. Нечего тебе тут делать! — крикнул Гонаибо из своего убежища.

Карл Осмен обернулся на голос.

— Поди сюда, Гонаибо! Мне нужно поговорить с тобой. Дело серьезное!..

Гонаибо вышел из кустов.

— Убирайся! Ни один человек не смеет являться сюда, ни ты, ни другие!..

— Мне надо поговорить с тобой. Ну, подойди же!..

Они сделали вид, что идут каждый своей дорогой, а сами незаметно приближались друг к другу. Когда их разделяло всего несколько шагов, мальчик остановился:

— Что тебе надо? Говори!

— Гонаибо, почему ты не доверяешь мне?

— Ну, выкладывай, что ты хотел сказать! Ты ведь знаешь, я никого не пускаю сюда... Зачем ты приехал? Шпионить за мной? Смотри, если еще раз посмеешь явиться, плохо тебе будет. Пеняй тогда на себя!..

Они сели в тени развесистого дерева.

— Мне хотелось повидать тебя, Гонаибо, и сказать, что я добро помню. Я твой друг, Гонаибо.

— Друг? Не успел ты ускакать, как появились белые на мотоциклах... Они скоро вернутся и всех нас прогонят... А твои родные братья нарочно поселились здесь, чтобы помогать белым. Ты шпион!

— Гонаибо, я не зря приехал. Мне обязательно надо поговорить с тобой... Хоть ты еще мальчик, но однажды спас мне жизнь. Как ты думаешь, Гонаибо, неужели ничто никогда не изменится, и жизнь будет вечно идти по-старому? Все меняется, Гонаибо. Ты не в силах помешать тому, что должно случиться. Я приехал, чтобы объяснить тебе это. Не вздумай сопротивляться, это бесполезно! Ни тебе, да и никому другому не справиться с белыми людьми, которые зарятся на ваши земли. Они могущественные люди. За их спиной стоит государство, суд, полиция, армия... Они раздавят тебя, если ты попробуешь бороться. Лучше уходи отсюда, Гонаибо. Говорю по дружбе — уходи. Я готов помочь тебе, если хочешь...

Гонаибо встал.

— Убирайся сию же минуту! — сказал он решительно.

— Выслушай меня...

— Нет! Убирайся!

— А тебе все же придется выслушать меня. Прежде всего, знай, что у меня нет ничего общего ни с белыми, ни с моими братьями... Однако никто не помешает им совершить то злое дело, которое они замышляют... Я твой друг, Гонаибо... Уходи отсюда поскорее!

Водуистские храмы будут разрушены, говорил Карл, так решили священники белых. По их мнению, лоасы — это олицетворение дьявола, идолопоклонства, суеверия, варварства, невежества. Религия богачей выслала вперед своих уполномоченных, чтобы белым легче было водвориться здесь, захватить земли по берегам озер и хозяйничать на них:

сводить лес, гнать смолу — наживать деньги. Хунфоры для них помеха: как и в прежние времена, они служат центрами сопротивления, опорными пунктами, вокруг которых могут сплотиться деревенские жители для защиты своих прав. Вот в чем основная причина всего, что сейчас происходит. Гонаибо помимо воли слушал рассуждения Карла Осмена, слушал с жадностью, ему одновременно хотелось и заткнуть глотку пришельцу и расспросить его подробнее...

Нищета и невежество — благодатная почва для религиозных суеверий, это правда, но нельзя вырвать грубой рукой веру, укоренившуюся в сердцах людей под воздействием первобытных условий жизни и труда. Мечты живучи! И все же храмы разрушат, а эти земли отнимут — они уже потеряны! Гонаибо обречен — обречен еще в большей степени, чем крестьяне... Жизнь, которую он здесь ведет, не годится для новых времен, его владения — случайый островок, который затопят волны жестокой действительности. К чему упорствовать, к чему так отчаянно цепляться за этот клочок земли? Вся жизнь открыта перед ним. Ему надо идти в город, где зреет новый урожай, сулящий чудесный хлеб, хлеб свободы... Почему он отказывается от всего нового, от труда — печального удела человечества, который несет в себе, однако, столько радостей?.. В городе Гонаибо не будет пользоваться свободой выпущенного на волю жеребенка, зато он найдет там непрестанную борьбу за освобождение, иными словами, зачатки всякой свободы... Если он хочет сберечь дорогую его сердцу мечту, придется принести ей в жертву и эту мирную, простую жизнь, и эти просторы, и пьянящий восторг, который звучит по утрам в его торжествующем кличе на берегу озера. Конечно, Карл Осмен недостаточно образованный человек, чтобы давать кому-либо советы, но из дружеских чувств он обязан сообщить Гонаибо все, что он знает... Если мальчик станет упрямиться, то, вероятно, заплатит за это жизнью...

Гонаибо вскинул голову и бросил на Карла беспокойный, гневный взгляд.

— Убирайся! — крикнул он.

— Послушай, Гонаибо...

— Убирайся сию же минуту! — заорал мальчик, изгоняя искусителя.

Юношеский ломающийся голос Гонаибо резко прозвучал над лесистыми просторами его владений, окутанных лиловатым туманом.

■

Было уже часов семь, когда Эдгар Осмен приехал к Мариасоль. Мариасоль стала его любовницей всего несколько дней назад. Лейтенант нашел ее в Эль-Лимоне, по ту сторону границы. Он встретил девушку в авиационном лагере Гран Сабана. Она шла по двору казармы с гостинцами для брата, служившего в солдатах, и Эдгар устремил на нее красноречивый взгляд. Он жаждал любви, юной красоты, нежности... Со времени переезда в Фон-Паризьен его сжигала лихорадка. Нервы его были напряжены, он томился в напрасном ожидании. Лицо Мариасоль как будто вылеплено из темного воска, у нее лиловые губы, а глаза ласковые и такие большие, что, право, доходят до самых висков. Руки атласные, словно перышки, а сердце, как у колибри... Красивый и нарядный офицер, придешь ли ты за сердцем птички, которая ждет тебя?.. Он остановился полюбоваться ею. Она смело выдержала взгляд этого большого и сильного человека, этого брата, жившего по ту сторону границы. У него высокий лоб, крупный нос и мясистые губы, лицо дышит мужественной негритянской красотой. Она не разглядела следов жизненных бурь на этом лице (да и как их заметить девушке в двадцать лет, когда сердце ее бьется так сильно, будто хочет выпрыгнуть из груди?). Она с первого взгляда полюбила красавца офицера. Стоило ему заговорить, и

у нее все внутри перевернулось. Она раскрылась перед ним, как печеная картофелина, сладкая, теплая и розовая, которая сама просится на язык.

В этот вечер Мариасоль обняла за шею Эдгара, которого она считала робким, и прижала его к сердцу. Она перецеловала его глаза, брови, руки, пальцы, развязала ему галстук и рассказала на ухо о том, как провела день... Подумать только... Пришел какой-то незнакомый человек и попросил разрешения выполоть траву во дворе. Наверно, он еще здесь, заканчивает работу. Она испугалась, ох как испугалась!.. Не посмела прогнать его... Неужели она плохо поступила?.. Эдгар открыл ставни в окне, выходившем во двор. Действительно, человек был здесь.

— Э... Так что... Добрый вечер, господин капитан...

Данже Доссу стоял, переминаясь с ноги на ногу, и вертел в руках садовый нож. Ну и противная же у него рожа!

— Так что, господин капитан... Можете посмотреть!.. Я вырвал всю сорную траву... Двор теперь чистый-чистый...

Он засмеялся, показав пожелтевшие от табака кривые зубы, которые налезали друг на друга, как овцы, когда они проходят в узкие ворота. И правда — двор еще никогда не был таким чистым.

— Хорошо,— сказал Эдгар,— я тебе сейчас заплачу.

Он отошел от окна, порылся в кармане мундира и вытащил пригоршню мелочи, но, передумав, вынул из бумажника новенький билет в два гурда и протянул его рабочему. Доссу опять осклабился, обнажив кривые зубы.

— Э... Так это для меня, господин капитан?

Эдгар нетерпеливо кивнул головой.

— Спасибо, господин капитан... Спасибо!..

— И тебе спасибо... Ты хорошо поработал. Заходи как-нибудь еще...

Эдгар повернулся к нему спиной.

— Э, на два слова, господин капитан... с вашего позволения.

Эдгар посмотрел на него с явным раздражением.

— Чего еще?..

— Не обессудьте, господин капитан... Мне бы только два слова сказать вам, да...

— Ну, говори!

Данже кивком головы указал на Мариасоль.

— Уж извините, господин капитан... Лучше бы... Лучше бы нам потолковать с глазу на глаз... Отец мой говорил бывало: «Красивая женщина — большое несчастье!» Не в обиду будь сказано госпоже...

Эдгар внимательно взглянул на незнакомца. Ему показалось, что он уже где-то видел это лицо, эти бегающие глазки.

— Я приказываю тебе... Говори!..

— Понятно, понятно, господин капитан, только... Дело в том, что мне хочется кое-что показать вам...

Эдгар колебался. Но незнакомец как-то странно действовал на него, и, подумав, он сказал:

— Мариасоль... Мне надо поговорить с этим человеком... Я скоро приду к тебе.

Мариасоль опустила голову и покорно вышла.

— Вы внушаете мне доверие, господин капитан... Я не зря сказал, что нашел кое-что... Говорят, этот дом построен на месте, где были прежде владения большого человека, богатого белого человека из Сан-Доминго... Кто его знает, может, это и правда?..

— Ничего не понимаю! Ты хотел мне что-то сказать, ну так и говори скорее!..

— Прошу вас, хозяин... Простите, господин капитан... Не обессудьте, пожалуйста, потерпите немного. Говорят, этот белый человек убил трех негров, которые разрыли тайник...

— Какой тайник?.. Ну, говори! Мне некогда заниматься пустяками!

— Кто его знает, господин капитан, может, дублоны и случайно попали в землю... И все же на них лежит заклятие... Завладеть ими трудно, ох, как трудно! Надо быть бесстрашным человеком для этого... Но деньги большие, очень большие...

— Скажешь ты, наконец, в чем дело, или нет?!

— Ах, господин!.. Вы же знаете, я жалкий бедняк... А кто станет считаться с таким жалким бедняком? Я не о вас говорю, господин капитан, но люди неблагодарны, вы же знаете...

— Послушай, приятель, мне время дорого! Я ничего у тебя не спрашивал. Говори или убирайся вон!..

— Я вам все скажу, господин капитан... Меня зовут Данже Доссу. Вы, наверно, слышали обо мне... Не знаю, захотите ли вы действовать заодно с таким жалким недостойным негром, как я, но я верю вам! Вот взгляните!..

Данже Доссу разжал кулак. На ладони блеснули две крупные золотые монеты, настоящие испанские дублоны, стоимостью по четыре пиастра. Эдгар схватил его за руку. Взгляд лейтенанта перебегал от золотых монет к лицу Данже Доссу — вид у того был фальшивый.

— Где ты их нашел?..

— Да, хозяин, чищу я двор, выдергиваю сорную траву... Вырвал пучок, слышу — нож ударил по железу, странное дело, правда?.. Ударил нож по железу... А я знаю, что здесь стоял дом знатного господина из Сан-Доминго. Я разрыл землю в этом месте... Рою все глубже, глубже и вот нахожу два дублона...

— Ступай в дом... Поговорим с тобой. Здесь могут услышать...

— Понятное дело, господин капитан!..

Данже Доссу последовал за лейтенантом Эдгаром Осменом в маленькую гостиную, выражение лица у колдуна было слащавое, приниженное. Однако глаза его радостно поблескивали. Лейтенант обернулся. Данже Доссу мгновенно потушил веселый огонек в глазах и, тихонько посмеиваясь, продолжал:

— Так вот, господин капитан, был я во дворе, возле высокого дерева и вырывал сорные травы...

■

Продувная бестия толстяк Жозеф Буден, окружной начальник в чине сержанта, возвращался из города, куда он ездил, чтобы снискать расположение властей. Конечно, недавние бесчинства грабителей сильно повредили ему, но в такую минуту нечего было и думать о его замене. Властям требовались верные, преданные люди, и Жозеф Буден ловко сыграл на этом. Вручив начальнику области небольшой «подарок» — причитающуюся ему долю незаконных поборов, Жозеф Буден весьма кстати упомянул о своих заслугах. Он получил головомойку за то, что не сумел арестовать ни одного вора, но должность все-таки осталась за ним.

Еще задолго до вызова Жозефа Будена в город Буа-д'Орма предупредили об этом добровольные соглядатаи, имевшиеся у него среди жандармов. Несколько крестьян тотчас же двинулись в путь вслед за окружным начальником с поручением не упускать его из виду. Побывав утром у мэра, Жозеф Буден отправился в первом часу к лейтенанту. Затем он поехал в Гантье. И там — о удивление! — Жозеф Буден остановился у дома священника, вызвал отца Диожена Осмена и пошел вместе с ним в церковь, чтобы отречья от богов-лоасов! Аристиль Дессен, подкравшись к церкви, явственно слышал, как Жозеф давал клятву громким, звучным голосом! И не успел сержант Буден вернуться домой, весть об его отречении уже долетела до хунфора.

На обратном пути Жозеф Буден удивлялся — почему так много народу толпится у дороги. Из всех хижин выходили крестьяне поглядеть на вероотступника, возвращавшегося к своим единоверцам после совершенного им черного дела. «Хочу видеть, какие глаза у этого мерзавца!» — говорили кумушки.

Итак, помахивая хлыстом, окружной начальник возвращался на своем низкорослом жеребце. Он ехал мелкой рысцой, бросив стремя. Но. когда он приветствовал кого-нибудь из встречных, тот отворачивался и молча плевал на землю. Что за притча? Погодите, вы у меня подавитесь своей злостью! Эти невежи увидят, что значит пренебрегать начальством! Пусть они пеняют на себя. Он всех их прекрасно знает, знает также, кто злословит о властях, кто чинит беспорядки, все смутьяны у него на счету! Если он и совершил отступничество, это уж дело его совести! В аду нет окон — не придется насмешникам заглядывать в них. да подтрунивать над грешниками. Кроме того, клятва ровно ничего не значит, если вы, давая ее, крепко уперлись в землю большим пальцем правой ноги! Ровно ничего! Отказаться от нее не грех! Неужели из-за этих болванов-крестьян, которые терпеть его не могут, он должен лишиться расположения лейтенанта? А ведь лейтенант — брат священника... Для удовольствия этих олухов ему, Жозефу Будену, надо отказаться от должности начальника! Ну нет, спасибо! Держи карман шире! Если Эдовия, его безмозглая жена, вздумает драть глотку, он ее утихомирит плетью из бычьих жил! А старая развалина Селия, его мать, пусть сидит себе в уголке да помалкивает!

Он собирался проехать по деревянному мостику, перекинутому через ручей, как вдруг на проселочной дороге показался Аристиль Дессен в сопровождении Олисмы Алисме и Мондестена Плювиоза — все трое на конях. Они обогнали Жозефа Будена и, перебираясь по мосту, чуть не сшибли окружного начальника. Черт возьми!

— Поосторожнее, Аристиль, вы имеете дело с Жозефом Буденом!

Аристиль, ехавший без седла, резко дернул за недоуздок и, прижав пятки к бокам своей кобылы, повернул ее, то же сделали и его спутники.

— Ты это со мной разговариваешь, нечестивец? Человека надо уважать, спору нет, но отныне ни один здешний житель, даже самый захудалый, не станет считать тебя христианином, мерзавец, подлец!

Глаза Жозефа Будена налились кровью. Он стегнул своего коня и, проехав по мосту, поравнялся с Аристилем.

— Сегодня я ничего тебе не скажу, Аристиль,— проговорил он,— но обещаю — да покарает меня богородица, если я вру,— что ты поплатишься за свои слова, и все твои потомки до седьмого колена будут раскаиваться в них. Я мог бы раздавить тебя, как паука, да ты и есть паук, но я ношу мундир, и мне бы пришлось отвечать за твою смерть. Зато в скором времени ты обнищаешь и до скончания века будешь скитаться в лохмотьях и валяться пьяным, как в последний день карнавала. Это говорю тебе я, Жозеф Буден, гвинейский негр!..

— Слушай меня хорошенько, Жозеф! — ответил Аристиль.— Я никогда не делаю людям зла, но горе тому, кто осмелится затронуть меня: лучше бы ему затронуть самого господа бога! Проклятье упадет на твою голову, предатель, оборотень!..

Жозеф Буден не выдержал и стегнул Аристиля по лицу хлыстом. Оскорбленный взревел от боли, соскочил с лошади, вытащил мачете и бросился на Жозефа Будена. Глубокий кровоточащий след протянулся по всему лицу Аристиля. Буден едва успел спрыгнуть и укрыться за своим жеребцом, как удар страшной силы пришелся по его седлу. Черт возьми! Жаль, что он не взял с собой револьвера! Он схватил мачете, и враги скрестили оружие. Искры сыпались дождем. Противники яростно

дрались, глаза их кровожадно блестели, лица обоих подергивались. Было ясно, что схватка идет не на жизнь, а на смерть. Олисма Алисме закричал, чтобы поднять тревогу. Испуганный Мондестен Плювиоз отвел лошадей подальше от места поединка. Он тоже принялся кричать. Сбежались люди. Враги бросались друг на друга, как сумасшедшие, прыгали, отскакивали в сторону, избегая острия ножа, делали ложные выпады и кряхтели от натуги.

Мондестен сказал Олисме:

— Один только отец Буа-д'Орм может отвратить беду. Живо, поезжай за ним!..

Кругом уже собралась толпа. Одни пытались образумить сражающихся, удержать их, зато другие из ненависти к окружному начальнику явно подзуживали Аристиля:

— А ну, Аристиль!.. Прикончи его!.. Убей!..

По-видимому, Аристиль, жестоко страдая от боли и нанесенного ему оскорбления, и сам хотел прикончить Жозефа Будена. Аристиль был борец, каких мало, он без передышки нападал на противника, проявлял необычайную отвагу, ловкость и проворство, Жозеф Буден, хотя и менее искусный, все же отчаянно боролся за жизнь: он делал решительные выпады или, оставляя тело незащищенным, неожиданно наносил Аристилю сокрушительный удар слева. И каждый раз метил в шею.

Толпа росла на глазах. Женщины подняли крик, дети визжали, мужчины уговаривали Аристиля. Повязав бедра большим красным платком, прибежала Майотта, жена героя, как всегда молчаливая, замкнутая; руки у нее тряслись от волнения, и она нервно комкала широкую белую простыню, готовясь подобрать тело своего Аристиля, если удача изменит ему.

Аристиль явно начинал уставать. Он израсходовал слишком много сил в начале поединка. Он нападал уже не так часто, порой даже отступал, но напряженно ждал той минуты, когда внимание противника ослабеет. Впрочем, Жозеф Буден был испуган враждебностью толпы и искал случая закончить борьбу.

— Аристиль. змея под ногами! — вдруг крикнул он.

Аристиль невольно взглянул на землю, хотя ему хорошо был известен этот вероломный прием, принятый у какосов. Тут Жозеф Буден нанес врагу сокрушительный удар, к которому уже давно готовился.

— Предатель!.. Сволочь!..— взревела толпа.

Но Аристиль и не такое видывал на своем веку! Почувствовав лезвие ножа возле шеи, он мгновенно поднял свое оружие вертикально. чтобы заслонить голову. Это была единственная защита, которая еще могла спасти того, кто попался в ловушку. Однако сила удара была такова, что он упал. Но тотчас же вскочил на ноги, по-прежнему держа наготове мачете.

— Аристиль! Бей его! Бей его! Бей! — вдруг завопила Майотта.

Она кричала, как сумасшедшая, неистово размахивая руками и топая ногой.

Аристиль бросился на врага, осыпая его градом ударов. Едва можно было различить нож в его руках, с такой быстротой он им орудовал. Растерявшемуся Жозефу Будену пришлось отразить множество ожесточенных атак. Тут галопом прискакал Буа-д'Орм.

— Аристиль! Аристиль! — закричал он.— Не надо крови!.. Не проливай кровь, Аристиль! Ты же знаешь!..

Старец соскочил с седла.

У Жозефа Будена глаза вылезали из орбит, он исступленно отбивался, чувствуя, что близка минута, когда он падет под натиском неодолимого противника. Резким ударом Аристиль выбил у него мачете и замер на месте.

— Ну же, подыми свое оружие,— сказал Аристиль, и глаза его дико блеснули.

Жозеф Буден пустился наутек. Аристиль выругался и, потрясая ножом, побежал было за ним вдогонку. Тут вмешался Буа-д'Орм:

— Нет, Аристиль!.. Оставь его! Бог ему судья!.. Если он подаст жалобу или сделает тебе какую-нибудь пакость, клянусь, его постигнет ужасная кара! Оставь его, Аристиль! Я этого требую!..

Аристиль остановился. Лицо его выражало разочарование, гнев, и, резко тряхнув головой, он изо всех сил швырнул мачете на землю. Майотта бросилась в объятия мужа и зарыдала, обхватив его за шею.

X

На четвертой неделе поста в сияющее воскресное утро по ветру развевалось множество расшитых хоругвей. Посреди белого шелкового полотнища с золотой бахромой сверкало сердце Христово, окруженное языками пламени, увенчанное терниями и пронзенное копьем; на серебристо-звездном атласе сиял лик спасителя; с багряной хоругви кротко улыбалась пресвятая дева, а дальше реяли в воздухе другие образы католической мифологии. Под охраной крупных сил полиции выстраивалось шествие. Во главе с Эфонизой Фонтен и Ноэми Дюплан шли члены духовной конгрегации св. Франциска с лиловой лентой вокруг шеи — высохшие крикливые девы и вдовы с пергаментными лицами; они несли большие раскрытые книги, а на головах у них покачивались неописуемые шляпы — миски и колокола, украшенные чучелами птиц, плоеными лентами и созвездиями булавок с блестящими головками. Отец Диожен Осмен, едва оправившийся после болезни, шествовал в белом стихаре под балдахином, окруженный мальчиками-певчими; он держал тяжелую золотую дарохранильницу и, хотя ноги у него дрожали от слабости, читал громким голосом «Отче наш». Сквозь облака ладана просвечивала золотая парча, в нос бил затхлый запах старой церковной утвари и залежавшихся в ризнице одежд, жалобно звучали нескончаемые песнопения... Губы верующих двигались исступленно, машинально. почти бессознательно, повторяя вязкие, затверженные, неистовые слова молитв.

Шестеро мужчин тащили тяжелую скульптурную группу «Снятие со креста», изображавшую Иисуса на руках скорбящей богоматери. То было грубое произведение в испанском духе, предназначенное для того, чтобы поражать неискушенное воображение. Действовало оно почти безошибочно, погружая в прострацию разум простых людей и принуждая их к смирению, необходимому для торжества веры. Даже самые неподатливые невольно крестились при виде этого изображения. Силы небесные! Вот плывут над карательной экспедицией Иисус Христос, мертвенно-бледный, обросший бородой, изможденный, окровавленный, и пресвятая дева, закутанная в голубые покрывала, которая держит в объятиях своего бездыханного сына и смотрит на него с невообразимой мукой! Но как же допускает сын божий и его непорочная мать, чтобы их несли люди, снедаемые ненавистью, фанатизмом, жаждой гонений и убийств? Неужели небо благословляет карательные экспедиции, предпринимаемые для того, чтобы возродить во имя Божественной рыбы * преследования первых христиан и зверства разнузданных центурионов?.. Почему у приверженцев официального вероисповедания не хватает мужества взяться за мечи вместо крестов, которыми они потрясают в лучах солнца?

---

* Очертания рыбы — символ первых христиан.

«Дети девы Марии» шли тесными рядами, и их свежие голоса без устали повторяли духовный гимн, под звуки которого должна была орудовать эта новая инквизиция:

Изыди, изыди, сатана!
Мы не слуги тебе, сатана!..

Вереницы благочестивых или корыстных прихожан, которые сказали «Да, отец мой», отрекаясь от лоасов, толпы любопытных, ребятишки, привлеченные зрелищем, лай собак, звон колоколов и протяжное пение — все это сливалось воедино, создавая пеструю слуховую и зрительную мозаику.

Доктор Флорансель, вероятно, разбуженный этим гамом, выскочил на балкон, сердитый, взлохмаченный, тараща покрасневшие заплывшие глаза.

— Черт вас побери! — завопил он.— Заткните свои глотки, обезьяны, лакеи, яйцеглотатели!..

И он вылил на процессию полный таз мыльной воды.

Стоило послушать, как распищались, раскудахтались все благочестивые дамы!.. Урон, однако, был не слишком велик: зная причуды доктора Флоранселя, курочки, гусыни и голубки сразу разлетелись при виде его таза. Доктору приписывали столько проделок — добрая слава лежит, а худая бежит,— что от него вечно ждали какой-нибудь каверзы. Так, например, бывая в баре мадам Тюли, он по первой же просьбе посетителей изображал походку Эфонизы Фонтен (а эта особа ходит словно босиком по битому стеклу) или же передразнивал Ноэми Дюплан, которая верещит, как придавленная цикада, или, жеманясь, вопит на невообразимом французском языке: «Мой боязно, мой боязно!.. На пиано забралась ящурка!»

Надо сказать, что врач пользовался в поселке неприкосновенностью как местная достопримечательность. Никто не осмелился бы его затронуть, ибо он лечил больных, делал им уколы и клизмы и при этом чаще всего безвозмездно. Больше того, он раздавал заработанные им гроши всем беднякам Гантье, а назавтра шел обедать или выпивать к первому встречному. Всюду его принимали с распростертыми объятиями. И, наконец, он был отцом и покровителем всех почитателей «Божественной бутылки» — самого мощного братства в этом безрадостном крае.

Что до Кокана, знаменитого в округе бродяги, то он встретил процессию залпом таких ругательств, от которых покраснели бы самые бесстыжие рыночные торговки и даже покойный отец Кередек — упокой, господи, душу этого славного кюре! То была поистине непревзойденная брань! Жандармы хотели схватить нечестивца. Кокан бросился наутек, опуская и поднимая с невероятным проворством свою ногу, пораженную слоновой болезнью. Лапа его падала как трамбовка в придорожную пыль. Ну и умора! Из всех окон послышались взрывы смеха. Еще не родился тот шпик, тот живодер, которому удалось бы поймать Кокана!

Крупный плантатор Полеон Франсуа в синих брюках для верховой езды, в красной рубашке, в развевающемся шейном платке и залихватски сдвинутой панаме с самого утра разъезжал по городу на белом коне. Размахивая узловатой палкой с золотым набалдашником, он останавливал всех встречных и поперечных и бурно негодовал, подстрекая граждан к сопротивлению. Сесе Додо, торговка, вернувшаяся наконец из паломничества — на ней, как на всякой кающейся грешнице, было коричневое платье из грубого джутового полотна, черный платок на голове и черный широкий пояс,— сидела на корточках возле рынка, испуская душераздирающие вопли. Можно было подумать, что она собирается родить.

— Мщение! Мщение! — восклицала она время от времени.

Изыди, изыди, сатана!
Мы не слуги тебе, сатана!..

По выходе из поселка ряды верующих смешались, так как в середину шествия попало несколько камней.

— Спокойствие, бог победит! — крикнула Ноэми Дюплан своим визгливым голосом.

Впрочем, ничего серьезного не случилось, по-видимому, это было выступление одиночек. Шествие двинулось по дороге, которую в этом году рано усыпала цветами расшалившаяся весна. Верующие шли под сплетением ветвей и буйных побегов, вызванных к жизни брожением щедрых соков земли; птицы, напуганные псалмами, гимнами и молитвами, разлетались во все стороны и кружили по небу, чтобы уйти подальше от процессии, направлявшейся к поселку Бонне.

■

Вести распространялись с быстротой пламени, бегущего по пороховой нитке. Отец Диожен Осмен расправился с хунфорами Бонне, Жоли и Боже. Хунган Сираме попытался оказать сопротивление, но подвергся оскорблениям, был обрит и низложен, а его храм предан огню. Бюс Амизиаль припрятал главные ценности святилища, а сам обратился в бегство, оставив все остальное на разграбление. Иначе поступил брат Каонабо, папалоа из Боже: выполнив все требования католического духовенства, он пожелал вступить в переговоры с преподобным Осменом и отправился навстречу процессии в сопровождении нескольких друзей. Он возмущался, протестовал. Они не имеют права так поступать! С местными жителями не церемонятся, потому что они несчастные, безоружные, беззащитные люди, их даже не ограждают законы родной страны! Хорошо, он пропустит пришельцев, по примеру мудрых крестьян, которые никогда не становятся на пути бурного потока, устремляющегося на их поля... Папалоа присутствовал при разорении святилища, он стоял исполненный достоинства, среди своих приверженцев и с глубоким благоговением шептал молитвы. Ему ничего не посмели сделать, ибо собравшаяся толпа выросла до таких внушительных размеров, что папалоа оказался под ее защитой.

Едва только Карл узнал о случившемся, он поспешил в Гантье. Диожен велел сложить во дворе церковного дома все захваченные им обрядовые предметы. День уже был на исходе, шел седьмой час вечера. Если немедленно уничтожить этот языческий хлам — толку будет мало. Лучше подождать до завтра — это праздник. Он созовет жителей поселка и устроит превосходный костер, на котором сгорят все трофеи, взятые им в хунфорах. Какое сильное впечатление произведет это на собравшихся! Итак, придя к брату, Карл увидел сваленные в кучу предметы водуистского культа, которые охраняли Бардиналь и трое жандармов. Бардиналь сердечно поздоровался с Карлом.

— Это и есть ваша добыча?

— Да, мэтр Осмен...

Карл жадно смотрел на сокровища трех хунфоров. Он наклонился и подобрал статуэтку. Она вырезана из темно-синего, почти черного мелкозернистого камня и кажется полированной от долгого употребления. По своим формам статуэтка напоминает женщину, лицом служит скошенная грань камня, над ним выступает валик, как бы рубчатый фриз, окружающий череп типичного брахицефала. Голова на толстой шее резко повернута, руки намечены двумя буграми, на выпуклом торсе выделяются круглые груди, талия узкая, длинная. Вся фигура изогнута,

словно женщина застыла в удивленной позе. Сделанные из цельного камня бедра угадываются лишь по плавным линиям. Ноги отсутствуют, так как статуэтка заканчивается неправильным полушарием.

Карл гладил это совершенное творение древнего искусства. Он любил осязать созданные художником формы. Они оживали, полные неги, в его руках, и тогда мысль устремлялась вдаль, возрождая действительность, которую удалось воплотить мастеру: красоту живого тела, любовь, радость, страх, отчаяние — все то, что с незапамятных времен составляет удел человечества. Вот и теперь Карл унесся мечтою в далекое прошлое, когда еще не было ни работорговцев, ни конкистадоров, и наслаждался золотым веком, в котором гаитянские шемесы жили первобытной коммуной. Травянистая, поросшая кустарником, пересеченная оврагами долина, обнаженное теплое тело, женщина оборачивается, испуганная каким-то необычным звуком... Силу и прелесть, тайну и чудо, мечту и грубость жизни в рамке сверкающей красками природы — вот что хотел принести в жертву своим богам художник, считавший их вершителями жизни.

Карл тихонько положил статуэтку на землю и поднял большой прямоугольный камень с тяжелой железной цепью. На камне сохранился рисунок, выполненный, как это было принято у шемесов, в линейной симметричной манере. То была голова животного, напоминающая по форме сердце: в два удлиненных, сходящихся книзу овала было вставлено по оливке, изображающей глаз. Узкая петля, соединявшая оба овала, обозначала морду... Карл поворачивал во все стороны камень. Очевидно, цепь носил на ноге какой-нибудь раб, вероятно, он и вырезал в дар неизвестному ныне божеству свободы звериную морду на камне, к которому был прикован.

Карл опять стал рыться среди антропоморфных сосудов, среди высеченных звериных морд и резных камней, наваленных во дворе, у его ног. Он поднял еще один обрядовый камень. На нем выделялись очертания любопытного чудища, также воспроизведенного линейной резьбой. От всего изображения веяло дикой силой: оно казалось символом суровой жизни, подчиненной неодолимым таинственным страхам в чаще стародавних лесов, где водились животные-растения и боги-звери.

Он поднял наконец камень безупречной овальной формы. Бог мой, какой же он легкий! Полно! К чему сердиться? Диожен все равно выполнит полученный приказ, выполнит тщательно, ревностно, не рассуждая. Его отторгли от родного народа, и теперь он признает только ценности одряхлевшего империалистического мира! Какое ему дело до уничтожения этого древнего наследия предков? Карл резким, гневным движением бросил камень на землю. И в удивлении застыл на месте.

От удара камень раскололся надвое, и на обеих его половинках засиял чудесный цветной рисунок. Карл поднял оба куска. На них был изображен нежно окрашенный пейзаж: морской залив, горячий песок, зеленая листва под голубым прозрачным небом, вдали море, пирога на берегу, огромная птица и человек, выходящий из воды! При помощи каких таинственных приемов этот рисунок оказался врезанным в камень? Карл поскоблил ногтем окрашенную поверхность — пейзаж словно сросся с ней... Карл недоумевал, но тут, подняв голову, он увидел преподобного Диожена Осмена. Братья горячо поспорили. По словам Диожена, он получил строгий приказ: все обрядовые предметы водуизма должны быть уничтожены. И это правильно! На этих вещах, будь они красивы или безобразны, лежит печать дьявола. Надо вырвать из памяти людей всякое напоминание о верованиях, которые являются прямым вызовом господу богу!

Данже Доссу узнал о подробностях крестового похода от Мирасии — кухарки, которую ему удалось пристроить к лейтенанту Эдгару Осмену. Прекрасно! Вскоре у него уже не останется соперников: все они изчезнут, а он, ган-ган-макут, будет по-прежнему неуловим, ибо все колдовские чары, все яды и тайны путешествуют вместе с ним в его заплечном мешке. Итак, именно к нему обратятся доведенные до крайности крестьяне, и он будет распоряжаться их жизнью и имуществом. Данже дошел до места, называемого Двором Ортоланов; неподалеку отсюда жил окружной начальник Жозеф Буден. Много раз Жозеф прибегал к помощи колдуна. Служебные обязанности отнимали у него слишком много времени, и он не справился бы один с полевыми работами и охраной урожая. Несколько месяцев назад, когда грабители свирепствовали в округе, Данже спас честь своего кума, снабдив его чудодейственным пугалом. При входе на каждое поле Будена он врыл столб, на верхушке которого красовались маленький гроб, ослиная челюсть, шарики индиго, кусок черного крепа, прядь волос и бутылка ядовитой жидкости. Люди похожи на воробьев, и необычайное пугало может обратить в бегство самых закоренелых преступников. Ни один колос не пропал с полей Будена...

Жозеф Буден сам назначил свидание Данже Доссу, но тот не меньше Будена желал этой встречи. Колдун вынашивал важный план — великую идею своего будущего царствования: он хотел воскресить в области старинное сатанинское общество уэнгбендингов. Став во главе этой оккультной организации, он наводил бы страх на всех окрестных жителей. Итак, ему надо собрать своих приверженцев, всех людей с загребущими руками — богатых крестьян, охотников до чужих земель, завистников, неудачников, словом, всякий сброд. Доссу вступил на дурную дорожку. Он был некогда членом секты Ремамбрансы (еще ребенком его подобрал и воспитал Буа-д'Орм), но не удовольствовался своим положением. Он попытался соперничать с главным жрецом, поссорился с ним и в конце концов стал колдуном. Весь во власти своей мании величия, он опускался все ниже и ниже и уже не мог остановиться.

Данже вытер потный лоб и сел в тени мангового дерева, сплошь усыпанного розовыми цветами. Здесь было прохладно и пахло смолой. Приятное место для встречи! Впрочем, Жозеф Буден не заставил себя ждать. Он явился, широко шагая, как истый начальник.

— А, это вы, кум? Как дела?..

— Спасибо, ничего, кум, а вы как поживаете?..

Они заговорили о недавних событиях.

— Вы слышали, кум, что негодяй Аристиль Дессен чуть было не зарезал меня?

— Ничего удивительного: этот проклятый парень никогда не внушал мне доверия!

— Разрази меня гром, кум Данже, я стер бы его в порошок, но всему помешал мой мундир!.. Экая наглость! Напасть на меня, Жозефа Будена! Ведь он мне и в подметки не годится! Только знаете, кум, мне не обойтись без вас. Аристилю теперь крышка, я поклялся в этом! Пусть черви сожрут его заживо! Пусть он скитается по дорогам, как нищий, не имея одежды, чтобы прикрыть свою наготу, не находя даже камня, где бы приклонить голову! Пусть никто не удостоит взглядом эту грязную свинью! Я поклялся в этом! Готов в обмен продать свою душу дьяволу!..

Данже сидел с опущенной головой, его грубое лицо было бесстрастно. Он молча ковырял палкой кочку. Но время от времени он исподлобья посматривал на окружного начальника, который не помнил себя от ярости.

— Вы требуете от меня нелегкой работы, Буден. Известно ли вам это?.. Аристиль не только «император» Ремамбрансы, таких, как он, мало!.. Нет, это нелегкая работа!..

— Пусть так. Но даже если вы не можете это сделать, я добьюсь своего! Я дал клятву! Пойду куда угодно, заберусь дальше семени, унесенного ветром, а будет по-моему!..

Данже Доссу разразился громким презрительным смехом.

— Взгляните на себя, кум Буден! Очнитесь! Вы, верно, забыли, что имеете дело с самим Данже Доссу! Я-то все могу! Я говорю о вас!.. Скажите, настоящий ли вы мужчина, кум Буден?

— Еще бы, кум Данже! Всем известно, какой мужчина Жозеф Буден!

— При всем моем уважении к вам, сдается мне, вы все-таки не-настоящий мужчина!..

Жозеф выпрямился:

— Говорю вам, что я поистине мужчина!

— Посмотрим, так ли это!.. А вот я — сын великой Батала*.

Данже встал и протянул руку приятелю. Его глаза так и сверлили Жозефа Будена. Тот содрогнулся. Он слишком поздно понял, на что намекал Данже Доссу. Теперь пути к отступлению отрезаны. Слишком поздно. Весь дрожа, окружной начальник пожал протянутую руку. Данже Доссу обхватил его руку своими крючковатыми пальцами и, внезапно выпустив ее, резко подбросил вверх. Это был условный знак уэнгбендингов. Доссу расхохотался.

— Я же вам говорил, кум Буден, что вы не мужчина! Сколько бы вы ни тужились, ни один волос не упадет с головы Аристиля Дессена! Вы еще молокосос, Жозеф Буден! Вы попросту хвастливый мальчишка!

Жозеф Буден опустил голову. Итак, колдун требует, чтобы он примкнул к шайке уэнгбендингов, к ужасному братству, члены которого были известны в соседних областях под названием шампоелесов, безволосых и прочее. Он попал в ловушку! Мог ли он вырваться из когтей Данже Доссу после того, как колдун снял с себя маску? Данже требовал, чтобы он стал слугою мрака, поклялся делать зло своим ближним и даже согласился бы участвовать в ритуальных преступлениях! До окружного начальника не раз доходили слухи об этом братстве оборотней, последних представителей сатанинского культа. Иногда по ночам он слышал сухой стрекочущий звук маленького барабана, о котором говорили, будто на него натянута человеческая кожа. Он вспомнил также, что уэнгбендинги совершают свои гнусные обряды два или три раза в неделю, но еще никогда не видел их собственными глазами. Конечно, Жозеф Буден верил всему этому, как и всякий невежественный крестьянин, который боится и богов и чертей, однако он не подозревал, чтобы кто-нибудь из последователей Ремамбрансы был членом этого мерзкого общества.

Жозеф посмотрел на колдуна выпученными глазами и вновь опустил голову. Данже расхохотался довольным смехом, от которого ходуном ходило все его тело.

— Кто вы такой, Жозеф Буден?.. Окружной начальник? Владелец клочка земли?.. Все вас ненавидят, ведь так? Долго ли вы еще будете бороться с крестьянами? Либо вы откажетесь от должности, либо они убьют вас за ваши темные делишки. Будь вы мужчиной, вы не потеряли бы надежды приумножить свое добро и даже нажить состояние. Вы никого не боялись бы, ни Аристиля Дессена, ни самого Буа-д'Орма! А теперь вам приходится удирать от деревенщины Аристиля, не то, чего доброго, этот храбрец вас зарежет!.. Если вы действительно мужчина,

---

* Пароль уэнгбендингов.

постарайтесь понять меня и не заставляйте попусту терять время! Вы и так слишком много знаете... Если вы трусите, убирайтесь отсюда подобру-поздорову. Быть может, вы еще избежите последствий своего любопытства!

Жозеф Буден сидел, по-прежнему опустив голову. Всю свою жизнь он тянул лямку. Правда, он не раз входил в сделку с совестью: обирал своих ближних, давал взятки землемеру и начальнику области, покупая их расположение, одних крестьян он бил, на других наговаривал, а однажды собственными руками зарезал человека. Самому Буа-д'Орму приходилось подмазывать его, чтобы беспрепятственно совершать воду-истские обряды, но все это было пустяком по сравнению с тем, чего от него требовал Данже Доссу. Прежние грехи небо еще могло простить. Жозеф Буден всем своим существом верил в бессмертие души. Мог ли он продать свою душу и обречь себя на вечные муки?

Честолюбие и алчность снедали его, он ненавидел даже своих сообщников, упрекая их в том, что ему достаются лишь крохи с их стола. Он часто не мог заснуть по ночам, его томила жажда могущества, власти; он мечтал о землях, на которые уже давно зарился, о женщинах, которыми хотел обладать; голова его горела, как в огне, на сердце был ледяной холод. Жизнь коротка! Разве есть в ней другие радости, кроме вкусной еды, любовных утех и удовлетворенного тщеславия? Он был мелким собственником и начал свою карьеру с подлости: стал пособником местного судьи Вертюса Дорсиля, преследовал крестьян, которых тот хотел лишить земли. Теперь уже все равно — он уже не прежний сын полей — он успел загрязнить свою некогда чистую душу. Зато жизнь открывается перед ним... Он насладится всеми женщинами, которых пожелает, он захватит все земли, которые ему приглянутся, при встрече с ним люди будут обнажать головы, видя в нем не только окружного начальника, но и владельца многих и многих арпанов земли, человека влиятельного, богача, силу... Все ему будет доступно. Стоит ли бояться ада? К чему эта дурацкая чувствительность, эти постоянные укоры совести? Разве он уже не сделал выбора? Ну да, небесам он предпочитает землю! Главное, не остаться совой, пожирающей крыс и мелких гадов, а высоко взлететь, как орел-стервятник!

Данже Доссу просиял. Губы его растянулись в безмолвной усмешке. Он наклонился и стал что-то нашептывать Жозефу Будену.

■

Гармониза прибежала предупредить Гонаибо по просьбе главного жреца. Юноша долго колебался, но в конце концов принял предложение Буа-д'Орма. Если он правильно понял, старец желает скрепить их союз каким-нибудь подвигом и, быть может, испытать его, Гонаибо?.. На самом деле главный жрец лишь нехотя согласился на это выступление, но все правоверные члены Ремамбрансы взирали на него с тревогой. Если он ничего не предпримет, ряды их быстро поредеют, и, когда наступит решающий момент, он останется в одиночестве. Аристиль изложил ему свой план, а генерал Мирасен, Инносан Дьебальфей и даже старуха Клемезина горячо поддержали Аристиля. На бога надейся, а сам не плошай! После краткой молитвы Буа-д'Орм вышел к друзьям, чтобы сообщить им о своем согласии. Вся его жизнь, проведенная в созерцании и молитве, восставала против такого предприятия, но, когда он стал вопрошать богов, они, как ни странно, ничего ему не ответили. Он заключил из этого, что боги предоставляют ему действовать по собственному усмотрению. Не мог же он в самом деле допустить отпадения своих приверженцев!

Ко всеобщему удивлению, Буа-д'Орм потребовал, чтобы экспедицией руководил Гонаибо. Как только прошло первое замешательство, все решили, что Буа-д'Орм, вероятно, знает про таинственного отрока то, что неизвестно другим. Да и помощь богов, которые явно покровительствуют юному отшельнику, пригодится во время этой смелой вылазки. Вот почему участие Гонаибо в походе ободряло людей, выбранных главным жрецом. Их было человек десять. Темной ночью они направлялись на мулах в Гантье. Впереди ехали Гонаибо и Буа-д'Орм, тихо разговаривая между собой, за ними медленно двигались остальные участники экспедиции — в большинстве своем молодые парни,— люди хорошо сложенные, ловкие и сильные.

Когда за поворотом дороги показались первые домики Гантье, Буа-д'Орм остановился и, вынув из-за пояса какой-то сверток, протянул его Гонаибо. В свертке были кусочки мяса и катышки из листьев конкомбр-зомби.

— С божьей помощью, сынок!..

Они молча обменялись рукопожатиями. Аристиль и генерал Мирасен остались возле главного жреца. Гонаибо пошел дальше; на некотором расстоянии от него следовали все остальные, ведя на поводу мулов. Гонаибо оставил неподалеку от рынка Олисме и Шавана Жан-Жиля. поручив им стеречь животных. Им надлежало ждать сигнала, а тогда один из них подведет мулов к углу церковной ограды. На этом углу Гонаибо велел остаться Линстану Плювиозу и Альтиусу Декому. Опять-таки по сигналу они переправят мулов к братьям Дьебальфей, которые будут находиться на последней стоянке — против дома священника. Нерве Рабиду было поручено служить связным между Гонаибо и братьями Дьебальфей. Юноша пересек улицу и приблизился к церкви. Остальные ждали его, спрятавшись за выступом стены.

Гонаибо с одного взгляда определил положение. Во дворе церкви были ясно видны четверо сторожей: причетник и трое жандармов, сидевшие под галереей дома священника. Ритуальные предметы были свалены в груду в четырех-пяти шагах от невысокой каменной стены с балюстрадой. По ту сторону ограды рос густой куст «плаща святого Иосифа». Сторожа, находившиеся шагах в пятнадцати от трофеев, не особенно ревностно охраняли их, надеясь, что само их присутствие отпугнет воров. Все они клевали носом, а причетник — тот, видать, храпел без зазрения совести. Что-то почуяв, собака лениво затявкала. Тогда, вытащив из пакета несколько кусков мяса, Гонаибо бросил их через ограду. Слышно было, как пес почесался и стал рыскать по двору. Вскоре опять наступила тишина. Сторожа даже не шелохнулись. Гонаибо взял шарик из листьев конкомбр-зомби, чиркнул спичкой и зажег их. Затем проворно вытащил пращу, вставил в нее дымящийся катышек и, тщательно прицелившись, метнул его к ногам сторожей. Те ничего не заметили. Гонаибо перебросил таким же путем все остальные шарики. Снотворное, очевидно, подействовало — сторожа погрузились в глубокий сон. Тогда Гонаибо влез на стену и, поспешно спрыгнув вниз, укрылся под кустом. Он прислушался. Ровное дыхание четверых сторожей громко раздавалось под галереей. К ограде подошли братья Дьебальфей и Нерва Рабиду. Гонаибо подал им знак. Запел петух. Ему ответил другой, потом третий. Это и был условный сигнал. Теперь осталось незаметно переправить мулов от стоянки к стоянке. Когда подошел Альтиус Деком с тремя вьючными животными, Гонаибо начал хладнокровно передавать ему ритуальные предметы. Он бесшумно подползал к груде трофеев, забирал все, что мог унести, пригнувшись бежал к ограде и прятался за кустом.

Небо все больше хмурилось. Редкие звезды исчезали одна за другой. Быстро надвигались черные тучи, затягивая небосвод. Над головой

поблескивали только созвездия Большой и Малой Медведицы, да чудесно сверкала Полярная звезда. Скоро начнется ливень, неудержимо хлынут его потоки, засвистит ветер. Время от времени слышался крик петуха, подбадривающий людей. Уже девять мулов были нагружены, а оставалось еще много вещей. Необходимо спешить: действие снотворного слабеет. Пойдет дождь и неизбежно разбудит сторожей. Гонаибо бесстрашно сновал взад и вперед, работая все быстрее. Когда все было готово, он велел братьям Дьебальфей возвращаться обратно, но как можно тише, осторожнее... Он пойдет сзади, прикрывая их отступление, на случай тревоги. Тучи уже заволокли все небо.

Тревоги не последовало — братья никого даже не встретили по дороге. Подождав немного, Гонаибо стал осторожно отступать. Порой он замирал на месте и прислушивался, не раздастся ли пение петуха: этот условный сигнал по-прежнему указывал, что люди благополучно добрались до ближайшего поста. На окраине города их с нетерпением ждал Буа-д'Орм. Когда показались Меристиль и Ваннес Дьебальфей с последними нагруженными мулами, а затем Гонаибо и Нерва Рабиду, он облегченно вздохнул. Аристиль Дессен был изумлен. Итак, все удалось сделать, не возбудив подозрения!

— Вот это работа, так работа! — воскликнул он, с любопытством вглядываясь в лицо юноши, который руководил операцией по выработанному им, Аристилем, плану. Это было непостижимо!

— В путь! — приказал Буа-д'Орм.— Идемте быстрее. Все — в святилище!

Быть может, удастся уйти от дождя, если они поторопятся. Но надежды не оправдались. Хлынул ливень и сразу залил все окрестности — настоящий потоп! Участники экспедиции, промокшие до нитки, еще ускорили шаг. Однако жаловаться не приходилось. Успех превзошел все ожидания.

XI

За несколько недель до этих событий из столицы прибыл в Фон-Паризьен какой-то делец и купил за хорошие деньги большой дом у самого рынка. Это не привлекло особого внимания. Однако при виде серьезных переделок, которые там затеяли, жителям стало любопытно, что это означает. Старое здание выкрасили заново, двор вычистили и наняли сторожа. Но, так как дело на этом остановилось, люди постепенно потеряли интерес к дому. Каково же было их удивление, когда, проснувшись в одно прекрасное утро, они обнаружили, что дом открыт, а у подъезда стоят четыре огромных грузовика и три джипа: очевидно, приехали хозяева. Под галереей четверо белых и щеголеватый мулат руководили рабочими и шоферами, переносившими мебель.

Соседи потоптались на улице, потом поспешили разнести эту новость. Белые люди привезли письменные и обеденные столы, шкафы, ящики для картотеки, узкие железные кровати и быстро все расставили по местам. Немного позднее выяснилось, что белых приехало шесть человек — появились еще двое. Теперь уже семь пар челюстей (считая и напомаженного мулата) усердно жевали ароматическую резинку. Кроме седеющего верзилы с загорелым, словно дубленым лицом, остальные белые были совсем еще молодые люди, сероглазые или голубоглазые, белобрысые или темно-русые, с розовыми, как ломтики ветчины, щеками, все в шлемах цвета хаки.

Они походили на школьников, убежавших из коллежа, и с таким же удивлением озирали старый городок, утопавший в зелени цветущих деревьев, с каким глазели на них самих собравшиеся возле дома зеваки. Американцы говорили на гнусавом английском языке и бесцере-

монно тыкали пальцем по сторонам. Одеты они были одинаково — рубашка и короткие штаны цвета хаки.

В облаке пыли появилась машина лейтенанта Осмена, подпрыгивая, словно хорошенькая дурашливая мулатка, и, заскрежетав тормозами, остановилась перед домом. Выставив в улыбке все свои зубы, из машины вышел Эдгар и заговорил о чем-то с чужеземцами. Вскоре четверо из них сели в машину лейтенанта и укатили по направлению к его дому.

Мэр Вертюс Дорсиль тотчас же узнал обо всех этих событиях. Не теряя времени, он собрал у себя несколько человек: землемера Поля Аселёма, сборщика податей Анжа Дезамо и двух других крупных землевладельцев — Дюпре Гранжана и Петиона Лабушери. Итак, американцы здесь! Опасения полностью оправдались: вот, оказывается, какова была миссия лейтенанта Эдгара Осмена!.. Необходимо узнать теперь, зарятся ли американцы на возделанные поля или только на пустоши по берегам озер. Если они посягают на возделанные земли, то угроза нависла и над владениями крупных плантаторов, и над арендованными у них участками, и над крестьянскими наделами. Возможно ли, чтобы правительство Гаити отдало чужестранцам земли, которые издревле обрабатывают коренные жители? Многое видели люди на своем веку, но эта мысль не укладывалась у них в голове. Во всяком случае, необходимо добыть точные сведения, чтобы знать, как себя вести. Добрые христиане-янки с фарфоровыми глазами приехали в то утро от имени мистера Феннела, чтобы разводить в окрестностях Фон-Паризьена каучуконосы, именуемые по-латыни Cryptostegia, и передать местным негритятам горячий привет от статуи Свободы. Итак, для вящей славы господа-бога, щедрые американские предприниматели станут вкладывать капиталы в здешние земли, а коренные жители — так уверял по крайней мере президент Леско — будут снимать обильный урожай долларов, воздавая хвалу дяде Сэму, который только и думает, как бы оказать помощь экономически слабым странам.

■

Нет в мире более дурацкой, более мучительной роли, чем роль мамаши взрослых сыновей! В то время, как весь поселок с горячим любопытством обсуждал злободневные события, Леони Осмен, схватившись руками за голову, вопрошала небо, какое же проклятие тяготеет над ней. После всех треволнений и забот, которых ей стоил преподобный Диожен Осмен, стал чудить теперь Эдгар: он требовал, чтобы мать готовила сода-виски, сливы в спирту, соленые сухарики, маслины, кока-колу и разные противные напитки, которые любят гнусавые племянники дяди Сэма. И она делала все это с отчаянием в сердце, в ожидании той минуты, когда ей придется хоронить кого-нибудь из близких... Ибо теперь было ясно, что в доме надо ждать покойника.

Да и вообще Леони не любила янки, обвиняя их не только во всех смертных грехах, но и в том, что от них пахнет кардамоном...

Но мартовскому ветру наплевать на американцев. Он порхает, унося на своих крыльях тысячи золотых блесток цветочной пыльцы, и ласково теребит платья на молодых крестьянках, которые идут по улице крупным размеренным шагом, оставляя за собой запах травы и фруктов, а зубы их сверкают во рту, как перламутровые зернышки в спелых плодах гойявы. Пестрая черепашка, плавающая в небольшом бассейне, куда поставили охлаждать бутылки кока-колы, вытягивает зеленоватую пятнистую шею и, открыв пасть, блаженно пускает пузырьки у самой поверхности воды. На огромном синем небе нет ни пятнышка, оно ясное, прозрачное, вогнутое, как блюдо из китайского фарфора. Рой мух — этих неутомимых балерин — жужжит над деревянным подносом торгов-

ки сластями, которая стоит на углу улицы и предлагает прохожим плиточки желтого сахара, благоухающие мятой и анисом, подтаявшие на солнце леденцы и нугу из арахиса и ророли. Ну что же вы, добрые люди! Пусть в это знойное утро зазвучит ваша песня, звонкая боевая песня!

■

В Гантье, в Бонне, Терр-Сале и Балисаже — повсюду без конца толковали об исчезновении водуистских реликвий. Комментируя слухи, которые распространились по всей равнине до самых озер, столичная газета писала, что, по мнению крестьян, произошло подлинное чудо. А это уже было смелостью со стороны журналистов, щедро оплачиваемых из секретных фондов, трусов, которые пугаются собственной тени и слово боятся сказать вразрез с мнением официальных кругов. Но черт возьми! Разве наш народ заставишь молчать! Люди говорили, конечно, шепотом, но говорили обо всем, все обсуждали, и атмосфера в стране накалялась, росло недовольство против непогрешимого католического духовенства и правительства благодетеля Леско.

Итак, по Гантье прокатился громовой хохот. Но горсточке фанатиков, окружавших священника Диожена Осмена, было не до смеха. Страх обуял Ноэми Дюплан, Эфонизу Фонтен и других святош, которые бросились в крестовый поход ради вящей славы матери-церкви. Поговаривали, будто брат Сираме отправился на Центральное плоскогорье, чтобы совершить искупительный обряд, который поможет ему очиститься и вернуть себе сан жреца. Ни один из участников похода против хунфоров не избегнет мести брата Сираме, уверяли в округе.

Преподобный отец Диожен Осмен стоял на коленях в своей спаленке и, закрыв лицо руками, молился. Он был сражен. Конечно, он не верил в чудо, но велико все же могущество нечистого! Никто из сторожей так и не мог рассказать толком, что произошло в ту ночь. Все они уверяли в один голос, будто ни на минуту не смыкали глаз. А один из жандармов поведал под большим секретом кое-кому из знакомых, что незадолго до дождя он видел, как посыпалось множество молний на дом священника, а по церковному двору пронесся огненный шар. Его приятели и он сам были ослеплены. Тут они услышали звон цепей, какой-то непонятный скрежет, затем хлынул ливень и все затопил кругом. Сторожа оставались под галереей все время, пока бушевала непогода. Когда же дождь прекратился, во дворе не оказалось ни одного священного предмета.

Что станется с кампанией отречения после такого удара? Кто осмелится пойти теперь против храмов водуизма? Между Диоженом и его матерью произошла ужасная сцена. Ведь Леони давно предсказывала ему самые страшные кары! Боже, как тяжело носить сан священника! Диожену было плохо, голова у него кружилась. А вместе с тем надо было казаться спокойным и вселять мужество в тех, кто с надеждой взирал на него!

Диожен со стоном склонился перед маленьким медным распятием, с которого грустно смотрел Христос. В дверь постучали — Амелия Лестаж принесла письмо. Диожен проворно вскочил на ноги, желая скрыть свое смятение. Письмо было от архиепископа. Диожен подошел к окну, отворил его, чтобы в комнате стало светлее, стремительно разорвал конверт и стал читать послание своего пастыря.

■

Рен полулежала, вытянув ноги, на самодельном кресле и цеплялась за двух поддерживающих ее женщин.

— Тужься, ну же! — говорила ей время от времени старуха Дада.

Соседки хлопотали возле роженицы, которая стонала, не переставая, окруженная тазами и ведрами с горячей водой. Вот уже третий день, как подруга Олисмы трудилась что есть мочи. Казалось, все хорошо складывается для супругов. Олисма сдал заготовленный им лес агенту ГАСХО Луи Балену, в то время как другие поставщики еще не покончили с рубкой. Будущий папаша сплел красивую тростниковую корзину: если положить в нее тюфячок, набитый мхом, получится великолепная колыбель для младенца, который должен появиться на свет. Олисма купил — это было верхом роскоши — стол красного дерева, четыре хороших стула и четыре новых кувшина; он мастерски починил супружескую кровать, и на нее постелили две толстые тростниковые циновки и добротную простыню из сиамской узорчатой ткани. Ложе было готово, оставалось положить на него Рен, как только она разрешится от бремени.

Дада беспокоилась. В самом деле, Рен обессилела и уже не слушала увещеваний кумушек, убеждавших ее тужиться. Здесь собрались Клемезина Дьебальфей, Майотта Дессен, Сор Атема Силабер и Маринета Пьер-Шарль. По требованию Дада, Сесилия Плювьоз только что принесла настой драконника. Супруга Буа-д'Орма заставила Рен выпить несколько глотков этого снадобья и вновь стала растирать ей живот. В комнату попробовал проскользнуть Олисма. Женщины выгнали его с громкими криками. Всем известно, что присутствие мужа приносит несчастье роженице. Прочь отсюда! Олисме пришлось подчиниться, и он вновь уныло зашагал по двору.

Дела у Рен не клеились. Она все больше слабела.

— Тужься, милая!.. — кричала Дада.— Хорошенько тужься!..

Клемезина многозначительно посмотрела на Дада: Рен потеряла сознание. Дада бросила на пол бутылочку с пальмовым маслом и начала бить по лицу роженицу.

— Трите ей живот! — приказала она.

Майотта Дессен повиновалась, и ее руки стали беспорядочно растирать живот Рен. Вскоре Рен застонала и открыла глаза.

— Дайте ей глоток рома! — крикнула Дада.

Молодая женщина выпила.

— Где Олисма? — прошептала она.— Я хочу его видеть...

У Рен опять закатились глаза. Дада наградила ее несколькими пощечинами.

— Не вздумай и впрямь сыграть со мной такую шутку! Тужься!..

Рен изнемогала. Она грустно улыбнулась.

— Олисма...— прошептала она.

Дада приняла героическое решение.

— Принесите мне горящую головню!

Маринета Пьер-Шарль вихрем вылетела из комнаты и вернулась с головней в руках. Дада схватила ее и встала за спиной роженицы.

— Тужься, милая! — крикнула она и дотронулась головней до бедер Рен.

Рен дернулась и стала отчаянно тужиться. При каждом прикосновении головни она напрягалась изо всех сил. Но все было напрасно: роженица совсем обессилела.

— Олисма...— прошептала она еще раз.

Она улыбалась. Время от времени Дада дотрагивалась до нее горящей головней. Но роженица уже не двигалась.

— Тужься, милая! — кричала Дада.

Клемезина вытерла холодный пот, струившийся по лицу Рен. Затем, взглянув на Дада, она грустно покачала головой.

— Мне кажется, можно перенести ее на кровать. Теперь ей уже ничем не поможешь.

Рен продолжала улыбаться. Дада перекрестилась и закрыла ей глаза.

— Позовите Олисму,— тихо сказала старуха.

Рен перенесли на кровать.

Олисма появился на пороге. Он вопросительно взглянул на женщин. Они, словно по уговору, опустили головы. Он подошел к Рен и прикоснулся губами к ее лицу. Побледнел и вытер лоб тыльной стороной руки. Вдруг Олисма заревел, как раненый зверь, и бросился вон из комнаты. Старый сплетник Инносан, явившийся, чтобы сообщить новость о приезде «мериканов», отскочил в сторону. Он с удивлением посмотрел вслед Олисме, мчавшемуся по двору. Затем старик смело вошел в спальню. Он молча взглянул на Рен, лежавшую на кровати, на заплаканные лица женщин, на царивший кругом беспорядок.

— Инносан... сходи за Буа-д'Ормом,— обратилась к нему Дада.

Атема Силабер первая начала причитать по покойнице:

— Айе! Боже мой, боже! Мама!.. Померла наша Рен!..

Не так-то скоро отыскали Олисму Алисме. Он укрылся у себя на поле и, лежа ничком, плакал навзрыд. Его привели домой. Олисма увидел собравшуюся толпу, среди которой выли и стонали плакальщицы. Вот уже час, как отец Буа-д'Орм заперся в спальне наедине с трупом. Адила Корбей, мать Рен, ждала Олисму во дворе.

— Когда приходит смерть, нельзя оставаться в ссоре, дитя мое,— проговорила она, раскрывая объятия.— Рен была бы недовольна нами... Мы уже давно знаем тебя, Олисма... Теперь я поняла, какой ты хороший человек. Мы виноваты перед тобой и признаем это в присутствии всех соседей. Прости нас... Ты дал счастье Рен. Не твоя вина, что все кончилось... Я потеряла дочь, но, если ты согласен, с сегодняшнего дня у меня будет сын...

Олисма бросился в объятия тещи, и они заплакали, крепко прижавшись друг к другу. Жюстен Корбей, отец Рен, привлек их к себе и усадил на скамью.

Вскоре из хижины вышел отец Буа-д'Орм. Взгляды всех присутствующих обратились к нему. Он держал завернутый в белое сверток. Он подошел к Олисме и положил свою ношу к нему на колени. Олисма вскинул голову и посмотрел на главного жреца. Раздался слабый крик... Олисма поспешно склонился над свертком и развернул его. Показалось сморщенное, но сияющее личико: младенец гримасничал и пищал.

— Он жив! — закричал Олисма.

Молодой отец принялся неистово плясать, потом, взглянув на безмолвных соседей, замер на месте, побледнел от смущения и передал ребенка Адиле Корбей. Затем он присел на корточки и безудержно зарыдал.

Вот уже по меньшей мере пятый раз, как отец Буа-д'Орм освобождал от бремени умершую во время родов женщину, совершая это чудо благодаря своему искусству и познаниям, свойственным близким к природе людям. Молодежь слышала молву о чудодейственной силе главного жреца, но никогда еще не видела ее проявления. На этот раз старики и те были потрясены. Согласно обычаю, не полагалось хоронить роженицу вместе с плодом. Редко встречались люди, умевшие избавлять покойницу от бремени естественным путем, но никто никогда не слышал, чтобы ребенок при этом остался жив.

■

Теажен Мелон явился запыхавшись к генералу Мирасену. Тот как раз чистил охотничье ружье «анри», подобного которому, по его словам, не было в целом свете. Генерал Мирасен усердно совал длинный

шомпол в дуло ружья. Жуазилюс, его слуга и крестник, гневно обмахивал генерала куском картона — рекламой, на которой была изображена glamour girl * с соблазнительными бедрами, посланница одной из бесчисленных фирм, процветающих среди индейцев-сиу. Жуазилюсу всыпали по первое число гибкой лозой «кружевного дерева» за то, что он прогнал нищего со двора... Этим и объяснялась его ярость, с трудом сдерживаемая страхом наказания. Плевать! Он отомстит при первой возможности своему крестному! Насыплет щетины в его постель, подмешает перцу к нюхательному табаку, спрячет его ночные туфли, будет изводить старика, пока не надоест, отвечая на каждую взбучку какой-нибудь каверзой. Вот чертов мальчишка!

— Знаете, что мне рассказали, генерал Мирасен? — спросил входя Теажен.

— Дорогой мой, я не ребенок. И не люблю загадок!

— Что с вами, геал Мирасен? Вы не-нервничаете! Вот в чем дело... Мне ска-сказали, что люди видели Кармело...

— Кармело?

— Да... Ка-Кармело, вашего кре-крестника!

— Моего кре-крестника?

— Что это? Вы совсем впали в детство, геал Мирасен!

— В детство?.. Вы рехнулись, Теажен!.. У вас ум за разум зашел!

— Не сердитесь, геал Мирасен! Я говорю о Ка-Кармело, моем сыне и вашем кре-крестнике...

— Кто же вам рассказал о Кармело?

— Одна здешняя дама, которая ездила в Порт-о-Пренс...

— До чего же вы простодушны, Теажен! И в вашем-то возрасте! Вы позволяете обирать себя здешним красоткам! Эта особа просто хотела заморочить вам голову и вытянуть у вас денежки! Все знают вашу слабость, Теажен!..

Они перебранивались еще некоторое время. Теажен, казалось, был и в самом деле уверен, что Кармело, его сын, от которого он долгие годы не имел никаких известий, был боссом плотников в столице. Так, по крайней мере, уверяла дама из поселка.

Генерал Мирасен по-дружески спровадил Теажена. Он собирался обойти свои владения. Завтра придут крестьяне, чтобы, согласно традиции, помочь ему в работе. Все соседи, веселые и довольные, соберутся у него ранним утром и начнут полоть, жечь сорняки и разрыхлять почву под стрекочущие звуки музыкальных инструментов и песни людской солидарности: «Алмазная свирель», «Королева солнца», «Золотой дождь»... Затем закусят и выпьют, рассказывая тысячи всяких небылиц! По окончании работы каждый простится с кумом Мирасеном и известит всю честную компанию, что и он, со своей стороны, собирается устроить братскую кумбиту** в ближайший четверг, а не то во вторник или в пятницу на будущей неделе.

Окрестные поля дымились. Все кооперативные организации, издревле существующие на Гаити, уже принялись за сев яровых: и гвинейские общества с их суровыми законами, и артели взаимопомощи. Телята скакали на выгоне под невозмутимо спокойным взглядом коров. Время сева — кроме того, и время любви́, об этом ясно говорил журчащий, как ручеек, девичий смех: дочка кумы Эрманс, прислонясь к дереву, слушала высокого белозубого парня, нашептывавшего ей всякие любезности.

---

* Шикарная женщина *(англ.)*.

** Коллективные полевые работы на основе взаимопомощи.

Карл Осмен решительным шагом прошел за ограду храма. Он осмотрелся и увидел наконец Буа-д'Орма, который, сидя на корточках, возился с бойцовым петухом.

— Почет! Разрешите войти?

Буа-д'Орм вскинул голову, в упор посмотрел на вошедшего и, опустив петуха, двинулся к нему навстречу.

— Уважение!.. — ответил он.— Дом лоасов принадлежит всем людям. Каждый может его осмотреть. Входи же, сынок, ступай направо, налево, куда хочешь — все двери открыты перед тобой!..

— Может быть, вы пойдете вместе со мной? Мне хочется с вами поговорить. Я брат отца Диожена Осмена, вы это знаете?

— Я ни о чем не спрашивал тебя, дитя мое... Разве мы не братья, люди, живущие на этоїї земле? У одних доброе сердце, у других — злое, почему? Об этом знают только небеса!..

Отец Буа-д'Орм молча обвел Карла вокруг перистиля и отворил дверь, ведущую в зал «соба». Карл увидел здесь покрытый глазурью глиняный кувшин, несколько деревяных столов и алтарь — начертанный на земле четырехугольник. Глаза старца смотрели прямо на пришельца и, казалось, говорили: «Здесь нет ничего, кроме чистой воды, воды, освященной богами; вот это—непокрытые столы лоасов, на них цветы, блюдечко с зернами маиса, сахар... Смотри, путник, смотри во все глаза, с какими бы намерениями ты ни пришел сюда! Здесь нет ни креста, ни статуй, ни свечей, ни кабалистических знаков, ни амулетов — только чистая вода, чистый маис, сахар, цветы и молитвы, исходящие из глубины сердца».

— Не хочешь ли остаться наедине с собой, чтобы помолиться? — спросил главный жрец.

Карл был удивлен, он отрицательно покачал головой. Они вышли из святилища.

— Повсюду ты увидишь то же самое,— проговорил Буа-д'Орм, указывая на хижины во дворе храма,— возможно, мы и невежественны, но лоасы помогают нам. Мы говорим с ними, они нам отвечают. Мы их видим, ощущаем. Они открывают нам порой то, что нас волнует, то, что нам угрожает, им известны малейшие изгибы нашего сердца. С того дня, как малыми детьми мы встаем на ноги, чтобы ступать по земле, мы начинаем познавать лоасов — богов наших предков. Никто не в силах бороться с ними, никто. Скажи своему брату, что я молюсь о нем. Я его жду...

Карл был смущен. Он что-то невнятно пробормотал, пытаясь объяснить главному жрецу, что он не разделяет убеждений своего брата, да и к тому же Диожен не всегда поступает так, как хочет: он выполняет повеления архиепископа. Старец смотрел на Карла своими большими грустными глазами.

— Если вы получаете приказ и подчиняетесь ему, значит, тот, кто распоряжается вами, имеет на это право? Но кто же имеет право давать дурные приказы? Ты человек образованный, и тебе как будто хочется поговорить со мной, объясни же мне это. Я не понимаю, почему они вдруг решились на преступление. А ведь это преступление! Что мы им сделали дурного? Моя голова поседела и трясется от старости, ноги уже не слушаются меня, сердце покрылось морщинами, мне казалось, я многое знаю, но я не в силах понять.

Карл стоял, потупив голову. Что он мог ответить этому старцу, который говорил так твердо, с таким безмятежным спокойствием.

— Я еще молод, отец Буа-д'Орм.— И, помедлив немного, он повторил: — Я еще молод, отец Буа-д'Орм... Мать, братья — все говорят, будто я шалопай, так как не хочу жить по их примеру... Они требуют, чтобы я остепенился, сделал карьеру, а для этого надо поступать, как они: все

принимать, повиноваться, гнуть спину, рукоплескать, но я никогда не мог... Значит, они правы, уверяя, будто я сумасшедший... Я только и делаю, что пью, бегаю за девчонками да вожу компанию с «грязными неграми», как уверяют мои близкие... Они считают меня пропащим человеком... Я ничего не могу вам объяснить! Знаю лишь одно: за спиной моих родных братьев стоят могущественные люди — иностранцы, белые... Не в обиду будь вам сказано, я не верю ни в бога, ни в черта, но я уважаю все, что порождено землей. Лоасы порождены нашей землей так же, как бананы, маниока и маис. Почему у нас растет маис, а не пшеница? Да потому, что солнце у нас горячее, а в почве есть именно то, что требуется для маиса. Лоасы порождены нашей землей, потому что земля наша нищая, потому что для ее обработки у нас имеются лишь руки да убогие первобытные орудия, потому что нам приходится самим искать выхода, какая бы ни случилась беда... Белым людям хочется, чтобы ради их веры вы отреклись от лоасов, но ваша вера — это маис, а вера белых — пшеница... Никогда им не удастся навязать вам свою религию, но они могут сделать зло, много-много зла... Они все здесь опустошат, так поступили некогда американцы в борьбе против крестьян, с оружием в руках защищавших свои хунфоры... Я подумал, что вам полезно услышать все это, отец Буа-д'Орм, и я пришел... Лоасы умрут лишь в тот день, когда засияет электричество в деревнях, когда свет прогонит мрак из хижин, когда на полях загудят машины, когда крестьяне научатся читать и писать—когда сама жизнь изменится, не раньше... Вы, конечно, мне не поверите, но мне еще многое хотелось бы вам сказать!..

Буа-д'Орм слушал Карла Осмена молча, пытливо вглядываясь в его лицо.

— Нож и только нож может проникнуть в сердцевину иньяма, сын мой, не так ли? Говори, я слушаю... Я не звал тебя, ты сам пришел. Я не заставлял тебя говорить, скажи то, что подсказывает тебе сердце... Мы, люди земли, должны быть недоверчивы, если хотим выжить. Ведь нам постоянно приходится защищаться от вас, горожан, ты сам знаешь... Но никто не скажет, что Буа-д'Орм Летиро помешал человеку сказать то, что он считал правдой...

Карл, все еще стоявший с опущенной головой, решился наконец поднять глаза на своего собеседника. Он чувствовал в нем спокойную силу, проницательность, мудрость и здравый смысл.

— Все же есть надежда, что хунфоры не будут разрушены,— продолжал он,— очень слабая надежда, но надо надеяться... Там, в столице, нашелся человек, который поднял голос в вашу защиту. Он выступил против священников, проводящих кампанию отречения... Я подумал: если крестьяне узнают об этом, они воспрянут духом. Быть может, вы не умеете читать, но я принес вам эту газету в подтверждение своих слов... Спасибо за ваш прием, спасибо за все. Мне пора идти. Клочок газеты не бог весть что, да и потом у этого человека не много последователей, но он борется за вас... Вот и все...

Буа-д'Орм протянул руку, осторожно, любовно взял печатный листок у Карла Осмена. Тот молча ушел, оставив старика в глубоком раздумье.

(Окончание следует)

Перевод с пушту
МАРИНЫ ТАРАСОВОЙ

Под редакцией
Л. ЯЦЕВИЧ

МУХАММАД АРСАЛАН САЛИМИ

ЛЮБОВЬ — ИСТОЧНИК ЖИЗНИ

Весна — пора любви, пора мечтаний,
Она приносит жизнь, пьянящее желанье,
В любви весь смысл и радость бытия;
Уходит боль, тревога и страданье
В тот миг, когда сливается дыханье
Двух любящих, и в этот час свиданья
Бессильна смерть. Так пусть сиянье
Их глаз не меркнет: расставанье —
Конец всему, что жизнью нам дано,
Ведь сердце без любви — могила, в ней темно.

Любовь — творец Земли, творец Вселенной,
Да, это ей, могучей и нетленной,
Под силу строить, возводить мосты,
Любовь приходит злу на смену,
Ведя из векового плена
Свободы караван священный.
Воспел любовь в поэме вдохновенной
Рахман-баба *, великий, незабвенный.
Несчастен будет, кто любовь в себе убьет,—
Вражда и ненависть погубят тот народ.

Любовь растит сады, лелеет всходы
И наполняет вешним звоном воды,
Она сильней осенней непогоды —
Избавлены от ужасов войны
Любовью окрыленные народы;
Минуя испытанья и невзгоды,
Несут они высоко стяг свободы.
Афганцы! Сейте семена любви, и годы
Их превратят в цветущий майский сад,
И каждый человек другому будет брат.

■

---

* Афганский поэт.

АМИНУЛЛА ЗМАРИАЛАЙ

СЛОВО К КОЛОНИЗАТОРАМ

Не баюкай меня, я не верю — ведь я не простак,
Ты не мать, а коварная мачеха, и потому ты мне враг.

Не свирель пастуха заиграла вдали,
Это змеи шипят, извиваясь в пыли,
Это зла воплощенье, проклятье земли,
Это цепи неволи, коварство и мрак.

Не баюкай меня, я не верю — ведь я не простак,
Ты не мать, а коварная мачеха, и потому ты мне враг.

Нет, не лги нам, что строишь ты радости дом,
Каземат ему имя. И ночью и днем
Только горе я вижу, царящее в нем,
Только рабскую долю, жестокость и мрак.

Не баюкай меня, я не верю — ведь я не простак,
Ты не мать, а коварная мачеха, и потому ты мне враг.

Не обманет меня этот вкрадчивый тон,
Ты стремишься нарушить афганцев закон,
Подожди! Час настанет, и выгонят вон
Отовсюду тебя, втопчут в землю твой стяг.

Не баюкай меня, я не верю — ведь я не простак,
Ты не мать, а коварная мачеха, и потому ты мне враг.

Мне сказал ты, что хочешь меня охранять,
А поверить тебе — это значит опять
Разрешить тебе грабить. О черная рать,
Силы, думаешь, нет у нас? Это не так.

Не баюкай меня, я не верю — ведь я не простак,
Ты не мать, а коварная мачеха, и потому ты мне враг.

Вероломный агрессор, ведь ты опоздал!
Даже в дальних провинциях — там, среди скал,
Возмущенья народного пенится вал,
Равноправие, братство — наш светлый маяк,

Не баюкай меня, я не верю — ведь я не простак,
Ты не мать, а коварная мачеха, и потому ты мне враг.

Ты глумишься над нашей твердыней святой,
Недалекий и жадный, тщеславный, пустой;
Слышишь, камни свистят над твоей головой:
Помни, скоро рассеется мрак.

Не баюкай меня, я не верю — ведь я не простак,
Ты не мать, а коварная мачеха, и потому ты мне враг.

Заблуждаешься, слабым считая меня,
Ведь я молод, могуч, горячее огня.
К нашей цели идем мы в сиянии дня,
И источник отваги в сердцах не иссяк.

Не баюкай меня, я не верю — ведь я не простак,
Ты не мать, а коварная мачеха, и потому ты мне враг.

Чужестранец! Тебе я сказал на пушту,
Что я тигр, а не робкая лань, и мечту
Не отдам я; как цепь, разорву темноту.
Твоя песенка спета, чванливый гусак!

Не баюкай меня, я не верю — ведь я не простак,
Ты не мать, а коварная мачеха, и потому ты мне враг.

Убирайся подальше! Твой факел потух.
Ты ошибся: я — сокол, а не петух,
Уходи! Я к фальшивым речам твоим глух,
Берегись! Ждет тебя мой железный кулак.

Не баюкай меня, я не верю — ведь я не простак,
Ты не мать, а коварная мачеха, и потому ты мне враг!

ГУЛЬ ПАЧА УЛЬФАТ

КРАСОТА В ЛОХМОТЬЯХ

На улице узкой, ведущей к базару,
Я девушку встретил стройнее чинары,
Служанку уродливой госпожи.
Как Пянджа вода, ее губы свежи.
Я вдруг увидал молодую луну —
И разве ей можно поставить в вину,
Что были бедны ее мать и отец?
Ведь доброе сердце — достойный венец.
Аллах наградил ее щедро красой,
Но что можно сделать без денег, одной?
Богатство всесильно, а бедность слаба —
При чем тут удача, при чем здесь судьба?
Пришлось ей узнать униженье, страданье,
Так было с Юсуфом в тяжелом изгнанье.
Она мне сказала, потупив глаза:
«Нас, бедных, всегда настигает гроза,
Уходит надежда, тускнеет мечта,
Скажите, к чему батракам красота?
Кто смотрит на нас, бесприютных и нищих?
Кто нашего слова, внимания ищет?
Не знаю, найду ли я счастье свое?
Я целыми днями стираю белье —
И все на чужих; мой удел — лишь презренье,
Ведь правда в лохмотьях достойна забвенья!»

Я слушал ее, и мне стало вдруг больно.
Друзья! Не пора ли нам крикнуть — довольно!
Довольно покорности, горя и тьмы,
Откройте ворота духовной тюрьмы,
Пускай ни одной искалеченной жизни
Не будет под ласковым солнцем отчизны.

Афганец! Будь чутким к страданью другого,
Согрей его добрым, участливым словом,
Не дай обмануть себя блеском одежд,
Не слушай речей лицемерных невежд,
Срывай смело маски с надменных глупцов,
Достоинство, правда — среди бедняков.

ПРИВЕТ ВЕСНЕ

Пришла весна, и превратилась в сад,
В цветник любви прекрасная страна;
Найдешь любовь — найдешь бесценный клад,
Ей песня соловья посвящена.
И вновь влюбленные святой обряд
Спешат свершить, пока жива весна,
Им каждый дуб и стройный тополь рад,
Их в гости ждет лесная тишина.
Оденут девушки свой красочный наряд,
Украсят розами камис * из полотна,
И станет нежным их лучистый взгляд —
В нем первая любовь отражена.
Пришла весна, и пламенем горят
В долинах, пробудившихся от сна,
Тюльпаны. Их томящий аромат
Волнует и в луга зовет меня,
Туда, где чистых, светлых струй каскад
Питает нашу землю и она
Цветет; где песни пастухов звенят
И свежих трав колышется волна.
Как соком, что дарит нам виноград,
Будь, чаша сердца, радостью полна.

---

* Национальная женская одежда.

«Мы хотим жить» — гравюра на линолеуме чехословацкого художника ОРЕСТА ДУБАЙ.

ЦВЕТАН СТОЯНОВ

МЫ И АРЧИ

ПРАВДИВАЯ ИСТОРИЯ О ЗАМОРСКОМ ГОСТЕ

Перевод с болгарского
ВИКТОРА ВИНОГРАДОВА

Иллюстрации Б. ДИМОВСКОГО

К СОВЕТСКИМ ЧИТАТЕЛЯМ

Передо мною моя Родина. За короткое время она изменилась так, что тот, кто давно здесь не был, ее и не узнает. Я вижу новые индустриальные города, новые жилища, новых людей. Вижу цветущие сады, улыбающиеся лица, драгоценные памятники старины, вижу ожерелье черноморских курортов и широкие дороги, по которым катятся автомобили с пассажирами всех национальностей. Сотни тысяч туристов приезжают к нам ежегодно, проводят у нас свой отдых, наслаждаются красотами природы. Прежде отсталая и безвестная, Болгария связана сейчас со всем миром, у нее много друзей, и их будет еще больше — это бесконечно хорошо и радостно, это будит законную гордость. Но, как всегда, с рекой к берегу прибивает и немного тины.

В данном случае тина — это люди, теряющие чувство меры в желании понравиться гостям-иностранцам, особенно из западных стран. Там часто относятся к нам еще с предубеждением, и было бы весьма ценно это предубеждение развеять. Но угодливые люди чуть ли не готовы на компромиссы. Не понимая соотношения реальных ценностей, они живут в некоей атмосфере подхалимства и снобизма. И самое плохое, что, не сознавая того, они роняют достоинство, и не только свое личное, но и национальное. Это не вина, а беда их, так как, искренне желая протянуть руку гостю и сблизиться с ним, они превратно понимают радушие.

Есть иностранцы, которые используют их слабость иногда в самом грубом смысле, не становясь от этого бóльшими друзьями Болгарии. Наоборот, их снисходительное презрение только усиливается. Вот это-то я и хотел показать в своей повести, рассказав историю Арчи, английского писателя и журналиста (с тем же успехом он мог быть и американским, и французским, и норвежским, и португальским). Но если он принимает добросердечие болгар только как возможность извлечь выгоду да еще насмехается над ним,— разве моральная победа может быть на его стороне?

Цветан СТОЯНОВ

г. **СОФИЯ**

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

Как началась вся история

Однажды утром Адриана позвонила мне по телефону и попросила зайти к ней. Адриана—это та, что заведует культурными связями с заграницей. Я пришел, она говорит:

— Вчера вечером в Софию прибыл Арчибальд Тертл!

— Да ну?— удивился я.— А кто это — Арчибальд Тертл?

— Ты не знаешь, кто такой Арчибальд Тертл?

— Нет, не знаю. Он что, очень известен?

— Арчибальд Тертл,— говорит она, заглянув в какой-то листок, лежащий на ее письменном столе,— английский писатель, публицист и журналист. Сотрудник консервативного журнала «Амбасадор». Издал два романа, много рассказов, четыре тома воспоминаний о войне и девять книг путевых заметок. Член Международной ассоциации авторов путевых заметок. Прибыл в Болгарию за впечатлениями, собирается написать путевые заметки. Так как мы развиваем сейчас международный туризм, нам важно, чтобы они были положительными. Мы хотим, чтобы ты сопровождал его в поездке.

— Никогда не занимался таким делом,— говорю я.

— Тут не нужно никакого особого опыта,— поспешила уверить она.— Ты только будешь объяснять ему то, что его заинтересует, в ресторанах заказывать еду, а в остальное время беседовать с ним, чтобы он не скучал.

— Но я не настолько хорошо знаю английский!

— Как не знаешь? Ты ведь переводчик?

— Что ж такого, что переводчик? Ты же не думаешь, что переводчик непременно должен знать язык?

Эта Адриана удивительно наивный человек. По ее мнению, переводчики — все равно что обыкновенные лингвисты. А у меня есть, например, один приятель, который перевел всего Гете, хотя вряд ли знает и десяток немецких слов. Он мне рассказал такую историю. Однажды ему поручили встретиться с одним немецким поэтом и отвести его в оперу. Когда они были еще в фойе, немец произнес какие-то немецкие слова, замахал руками, и мой приятель решил, что гость желает посетить одно местечко. Он отвел его, показал, куда войти, но немец замотал головой и опять залопотал по-немецки. Только позже выяснилось, что он, наоборот, испытывал жажду и хотел выпить фруктового сока. Моему приятелю стало не по себе, но, к счастью, в ложе гостя ожидало другое лицо, владеющее немецким. «Вижу, вы уже познакомились с нашим симпатичным молодым переводчиком!» — сказало оно. «Да, да»,— последовал ответ. «Знаете ли, это наш самый талантливый переводчик Гете!» — продолжало лицо. «О-о-о!» — удивился немец и уставился на моего приятеля. «Он уже подготовил отдельный сборник лирики Гете»,— сообщило лицо. «О-о-о!» — опять протянул немец и так воззрился на моего приятеля, что тому стало совсем неудобно. И несмотря на все это, никто не может отрицать, что он переводит Гете. Не обязательно знать язык досконально, важно иметь в этой области чутье.

Все это я объяснил Адриане. Добавил, что письменный перевод гораздо свободнее, и, если встречаешь какой-нибудь неясный образ, всегда можешь его изменить или, как это называется,— придать болгарское звучание тексту. Сопровождать живого иностранца гораздо труднее, потому что живой иностранец не стоит спокойно, он постоянно говорит, задает массу вопросов, и из-за всего этого может возникнуть какое-нибудь недоразумение.

— Ну, я уверена, что вы поймете друг друга,— возразила Адриана.— Так или иначе, спорить больше нечего — мы уже остановились на твоей кандидатуре. Ты интеллигентный юноша и справишься с этой задачей!

После этих слов я согласился с Адрианой. Мне приходилось встречать людей, готовых скромно признать, что они не понимают того или иного, но никогда еще не встречал я человека, который стал бы оспаривать мнение о своей интеллигентности. Кроме того, если я не принял предложения сразу, то только из приличия. Какой же сумасшедший не возьмется за такую работу? Слушая Адриану, я уже предвкушал все удовольствия, какие принесет мне моя новая должность. Наконец-то я войду в соприкосновение с большой культурой! Мистер Тертл расска-

жет мне о новых явлениях в развитии западной мысли. Я расскажу ему о моей маленькой, но интересной стране. Каким источником обогащения мысли могло бы явиться подобное столкновение двух психологий! И в то же время нужно показать чужеземцу, что мы отнюдь не такие отсталые, как думают на Западе! Такая миссия не только приятна, но и благородна.

Вот почему я согласился сопровождать Арчибальда Тертла. В тот же самый день Адриана привела меня в гостиницу, познакомила с гостем, и на все время путешествия мы с ним соединились в одно существо с двумя телами и двумя душами, воспринимающими мир одновременно, хотя и не всегда одинаково.

1. Как прошла моя первая беседа с мистером Тертлом. Мы посещаем Боянскую церковь

Как говорится в романах, уже смеркалось, и мы сидели на веранде. Внешне я был спокоен, но в глубине души волновался, ибо приступил к выполнению ответственного задания, а кроме того, уже вошел в соприкосновение с большой культурой. Мне хотелось поговорить с мистером Тертлом, побеседовать с ним о литературе, об искусстве и о многих других интересных вещах. Но я не знал, как начать разговор, а гость не оказывал мне ни малейшей помощи, и единственное, что оставалось,— это разглядеть его повнимательнее. Пятидесятилетие мистера Тертла, очевидно, уже миновало. У него было мягкое, кругленькое тельце, носик пунцового цвета, а в его водянисто-синих глазах бегали добрые искорки. Весь его вид напоминал тех добродушных дядюшек, которых каждый обожал в детстве. Тех, кто всегда подшучивает, умеет показывать фокусы, хлопает по плечу и приносит подарки.

— Что вы выпьете перед ужином? — спросил я.

— Предпочел бы что-нибудь болгарское,— ответил он.

— Может быть, мастики?

— Что такое мастика?

Я постарался объяснить: пахнет анисом, бесцветно, крепко.

— А это не узо?

— Что такое узо?

— Напиток, похожий на тот, что вы описали. Если долить воды, белеет, как молоко.

— Оно самое,— говорю я.— А в Англии называется узо?

— Нет, не в Англии,— пояснил мистер Тертл.— Я его пил в Греции. О, это действительно необыкновенный напиток! К сожалению, в последний раз я немного перехватил и теперь не могу взять в рот ни капли. От одного запаха делается дурно. Нет ли чего-нибудь другого, тоже восточного?

— Наш национальный напиток — сливовая,— говорю я.

— А это что такое?

— Водка из слив.

— О, да, конечно, я понял! Слышал о ней в Германии. Там она известна под названием «сливовитц»! Хорошо, посмотрим!

Я заказал кельнеру две большие порции экспортной сливовой. Рюмки появились перед нами, мистер Тертл попробовал и одобрил:

— Неплохо.

Когда он отпил половину, оценка была повышена.

— Великолепно!

Когда же рюмка опустела, нос его стал еще краснее, а сам он не мог сдержать своего восторга.

— Это, может быть, лучшее, что я пил в жизни! Конечно, исключая настоящее шотландское виски!

— Любите виски? — спрашиваю.

— Никогда человечество не изобретет более совершенного напитка,— отвечает он.

После этого мы ужинали и говорили с мистером Тертлом о напитках. Я был немного разочарован, ибо мне хотелось расспросить его о новых явлениях в развитии западной мысли, но впереди было много времени, а кроме того, для нас, только сейчас развивающих международный туризм, было важно, что мистер Тертл так высоко оценил сливовую.

На другой день было воскресенье. К понедельнику Адриана обещала разработать подробную программу поездки мистера Тертла, но воскресенье оставалось проблемой. Чем заполнить день? Главный принцип международного туризма — не позволять гостю скучать. Иногда иностранцы не понимают этого, они ворчат, может быть, потому, что устают. Но все делается для их же блага. Они много теряют, если упускают возможность увидеть что-то, и впоследствии могут об этом пожалеть. Однажды в Болгарию приехал один мой знакомый, поляк, который, мне думается, не понимал этого. Правда, его программа была настолько уплотненной, что за десять дней, проведенных в нашей стране, он не мог выбрать и десяти секунд для встречи со мной. Я его увидел только на вокзале, когда он уже уезжал. Поляк был бледен, с черными кругами под глазами и, когда я поинтересовался, понравилась ли ему Болгария, сказал: «Очень», но экскурсовод жаловался мне, что он держал себя недисциплинированно, а накануне просто взбунтовался. В программу входило посещение еще двух-трех мест, но мой знакомый категорически от этого отказался. Он заявил, что совершенно истощен, и излил целый поток шипящих, трудно разбираемых польских жалоб. Экскурсовод был очень огорчен, и я его понимаю. Раз уж поляк прибыл в Болгарию, он должен был напрячь силы, чтобы все увидеть.

Итак, вопрос заключался в том, чем заполнить воскресенье. Адриана задумалась, но быстро нашла решение.

— Поведи его в Боянскую церковь,— предложила она.— Потом отправитесь к Золотым мостам и там пообедаете.

— А на чем мы поедем? — спросил я.— Ведь сегодня весь транспорт переполнен!

— Понятно, ты возьмешь такси,— говорит Адриана.

— Очень хорошо,— говорю я.— А за чей счет?

— Хм! — задумалась она.— Правда, мистер Тертл прибыл сюда как частное лицо, но было бы весьма негостеприимно заставлять его платить за такси. В сущности, он член Международной ассоциации авторов путевых заметок, и болгарская секция Ассоциации перед ним в долгу. Мне уже сообщили — вечером в понедельник секция устраивает ужин в честь мистера Тертла. Вечер будет в «Русском клубе». Раз так, возьми такси за их счет. Вы поедете до Бояна, потом прокатитесь до Золотых мостов. Такси подождет, пока вы пообедаете. Только не забудь взять у шофера расписку.

Таким образом, в воскресенье утром мы с мистером Тертлом высадились перед парком у Боянской церкви. Это место — истинная благодать. Мы должны быть очень признательны севастократору Калояну, что он построил эту церковь так близко от столицы. Она создает боль-

шие возможности для развития международного туризма. Как добросовестный экскурсовод, я предварительно подготовился и прочел о ней целую монографию. Однако я был неприятно изумлен: когда мы подъехали к церкви, двери ее оказались запертыми! Пока мы озирались, появилась какая-то женщина.

— Почему заперто? — спрашиваю я.

— Нет освещения.

— Как это нет освещения?

— Меняем электропроводку. Экскурсии временно прекращены.

И это в воскресенье, в обед, в разгар сезона!

— Вовремя додумались менять электропроводку,— говорю я.

— У нас ремонт, товарищ,— отвечает женщина.— Сроки нам спускают сверху. По плану.

В такого рода ремонте заключено нечто фатальное. За него берутся именно тогда, когда его меньше всего ожидаешь. Но если раньше я мирился с этим, то сейчас не мог отступить. На этот раз рядом был английский писатель Арчибальд Тертл, а за моей спиной стояла вся национальная политика, направленная на развитие международного туризма.

Я сурово посмотрел на женщину и сказал ледяным голосом:

— Знаете что? Этот товарищ — английский писатель, гость нашего правительства. Как хотите, а двери должны быть открыты!

Мои слова произвели впечатление.

— Как же быть, товарищ? — захныкала женщина.— Отворю, если вам так хочется. Но говорю вам — внутри совсем темно, ничего не видно!

Она извлекла огромный ключ, и маленькая старая дверка открылась. Мы сделали несколько неуверенных шагов и поняли, что положение безнадежно.

— У меня слабые глаза,— говорит мистер Тертл,— мне кажется, я ничего не вижу.

Ясно, он подшучивал надо мной. Я взбесился. Вот как начинается моя миссия экскурсовода! Мы вышли из церкви, и я сказал женщине еще более ледяным голосом:

— Знаете что? Нужен свет!

— Но откуда его взять? — пролепетала она.— Я же вам объясняю, что проводка ремонтируется!

— Найдете! — уверенно говорю я.— Вы для того и поставлены тут, чтобы находить. Подумаете и найдете!

Она действительно задумалась, потом сказала:

— Есть переносная лампа, ею пользуются рабочие. Но они забирают ее с собой.

— Возьмите ее у них!

— Но сегодня ведь воскресенье, они не работают!

— Поищите!

Она еще помолчала, затем говорит:

— Может, они внизу, в ресторане. Я только не ручаюсь, что найду их!

— Вы попытайтесь! — предложил я.

Она повернулась и пошла по дорожке. Я смотрел ей вслед. Женщина немолодая, в немного стоптанных туфлях. Во всем ее облике, в походке было что-то неореалистическое. На минуту мне стало жаль ее, но я сказал себе: «Все мы приносим жертвы! В конце концов, женщина на работе!» — и обернулся к мистеру Тертлу.

— Уходим? — спросил он.

— Напротив,— отвечаю.— Сейчас все будет сделано. Сядем на эту скамейку и выкурим по сигарете. Неплохое местечко, не правда ли?

Мы сели. Я напряг свою память и рассказал ему о неизвестном боянском мастере. О Десиславе. О старинной эпохе. О вечно сверкаю-

щем гении народа. О том, что, если бы не турецкое нашествие, Ренессанс начался бы не в Италии, а здесь, в маленькой Болгарии.

К концу моей речи женщина вновь появилась. Ее сопровождали двое мужчин, один — длинный, другой — низенький. Я как раз говорил что-то о преодолении византийской бесплотности, когда мистер Тертл наклонился ко мне и прошептал: «Посмотрите на этих двух — правда, настоящие Пат и Паташон?» Мне стало неприятно, но, поскольку сходство действительно было большое, я согласился.

— Нашла,— говорит тем временем женщина.— Внизу были.

— Простите, товарищи, что так получилось,— начал Пат.

— Мы выпили только по одной порции виноградного,— вмешался Паташон.

— Прошу вас,— сказал я.— Жаль, что мы прервали ваш отдых. Но случай совершенно особый. Я привез писателя, иностранца, гостя правительства; нужно, чтобы он сегодня же осмотрел церковь.

Оба с интересом воззрились на мистера Тертла.

— Понятное дело,— сказал Пат.— Коле, сбегай принеси лампу!

После этого он принял таинственный вид, наклонился к моему уху и доверительно прошептал:

— Откуда, говорите, товарищ?

— Из Англии,— ответил я.

Пат снова уставился на мистера Тертла, затем улыбнулся ему.

— Англичанин! Это хорошо! — сказал он задумчиво, словно делая какие-то выводы. Но в это время вернулся Паташон с лампой, передал ее Пату, и все мы вошли внутрь.

— Эта часть церкви,— начал я свои объяснения,— построена в одиннадцатом веке. Однако нас больше интересуют произведения неизвестного художника тринадцатого века, которые...

Я продолжал, приводя множество интересных подробностей. Говорил о традициях, эстетике, святых, светоощущении, поворотах, самобытности, колорите, плотности и о чем-то еще. Но подсознательно я чувствовал, что мистер Тертл не захвачен моими словами.

— Очень любопытно, очень любопытно,— бормотал он и передвигал глаза, как автомат.

— А вот и «Тайная вечеря»,— пояснял я.— Обратите внимание на трогательную наивность, с какой художник поместил на столе истинно болгарские национальные кушанья: чеснок, ржаной хлеб...

— Очень любопытно.— И мистер Тертл проследовал дальше.

Я еще не покончил с этой частью церкви, но делать было нечего, пришлось отправиться за ним. Пат с лампой, Паташон и женщина шествовали за нами. Я пустился в новые объяснения. Восторгался портретами мрачного Ефрема и кроткого Дамяна, сценой с тремя рыбаками, Иисусом и апостолами. Мне все казалось, что моим объяснениям чего-то не хватает. Мистер Тертл оставался спокойным и учтиво сосредоточенным. Он смотрел на каждую картину достаточно долгое время, чтобы не обидеть меня, и достаточно короткое, чтобы не впасть в излишнюю созерцательность. Этой мерой он владел в совершенстве. Как полководец, в последний момент бросающий в бой лучшую дивизию, я перешел к портретам двух благородных семейств. Попросил его обратить на эти портреты особое внимание. Вот это кроткий Константин Асен. Гордая Ирина. Умный и человечный Калоян. И наконец — Десислава.

— А вот и женщина, о которой легенда говорит, что она была влюблена в художника,— сказал я.— Видите это типичное славянское лицо, эту спокойную уверенность...

И тут я почувствовал, что ноги мистера Тертла напряжены до предела. Внешне он был все так же спокоен и наблюдал за мной. Однако ноги его были готовы ринуться к выходу. Я прямо-таки ощущал их

нетерпеливость. Мое красноречие иссякло. Я умолк на середине фразы. Все ждали, но мне нечего было больше сказать.

— Итак,— закруглился я,— перед вами известный памятник болгарского средневекового искусства!

— Очень любопытно,— опять сказал мистер Тертл.

Он сразу изменился. Напряжение в его ногах исчезло. Он бросил последний взгляд на портреты и тронулся к выходу медленно, неохотно, словно не имея сил оторваться от этого места. Англичане всегда были необыкновенно воспитанным народом. Мы пошли через сад. Женщина, Пат и Паташон нас сопровождали.

— Приятная церковь,— сказал мистер Тертл.— Эти фрески доставили мне большое удовольствие.

— Что он говорит, понравилось ему? — спросил меня Пат.

— Понравилось, понравилось,— кисло ответил я.

— Тут бывает много иностранцев, и всем им нравится,— сказал Паташон.

Мы были уже почти у ворот.

— Еще раз извините, что мы заставили гостя ждать,— сказал Пат.

Мистер Тертл обернулся и посмотрел на него. Он по-своему истолковал тот факт, что три человека прошли вместе с ним всю аллею.

— Симпатичные люди,— сказал он.— Нужно им сколько-нибудь дать?

— Нет, прошу вас,— ответил я.— Они идут с вами просто из любезности.

— Очень милые люди,— повторил мистер Тертл.— Передайте им тогда мою благодарность.

Я передал. Мистер Тертл кивнул им и улыбнулся. Те тоже заулыбались.

— Всего хорошего! — воскликнули все трое.

— Когда переделаем освещение, приходите опять! — сказал Пат.

— Очень возможно,— ответил я, и мы вышли.

Все это время нас ждал шофер, неподвижный, словно Будда; единственное, что подавало признаки жизни в его маленьком мирке, был счетчик. Еще в пути мы с мистером Тертлом начали разговор, который продолжали и на Золотых мостах.

— У меня такое чувство, что Боянская церковь не произвела на вас особого впечатления,— смело начал я.

Он усмехнулся.

— Прошу вас, простите меня.— сказал он.— Церковь оригинальная, но дело в том, что на меня уже никакая церковь не может произвести впечатление.

— Почему? — поинтересовался я.

— Вы не можете себе представить, сколько церквей я видел,— ответил он.— Около двух лет я жил в Италии. Достаточно времени провел в Германии, Франции, Испании и Греции. Когда был помоложе, посетил Египет, Персию, Индию и Бирму. Я поклонялся богу Ра, Шиве, Ормузду, Зевсу, Аллаху, Иегове и Саваофу. Мои глаза устали. Ничто из прошлого не может меня взволновать.

— Сначала я позавидовал, что вы посетили столько стран,— говорю я.— Но теперь вижу, что завидовать нечему.

— И я хотел бы разделять ваш живой восторг,—говорит он.— Но что делать, на нас лежит отпечаток возраста не только нашей жизни, но и возраста нашей цивилизации. Не говорите мне о музеях. Вся Англия давно уже превратилась в музей.

— И мы имеем тысячелетнюю историю,— возразил я.— Осмелился бы даже добавить, что она несколько старше английской. О цивилизации в этой стране говорил еще Гомер!

Мистер Тертл усмехнулся и отхлебнул сливовой.

— Возможно,— согласился он.— В таком случае, разница заключается в том, что вы позднее начали восхищаться своей историей.

— Может быть, это вопрос не только времени, но и воззрений,— сказал я.— Может быть, чтобы любить прошлое, нужно любить настоящее!

Мои слова прозвучали напыщенно, но делать было нечего. Малое идеологическое фехтование началось.

— Я тоже люблю настоящее,— заверил мистер Тертл.— Оно только и интересует меня в Болгарии. Конечно, я осмотрю и памятники старины, но основное, что меня привлекает, это ваше сегодня. Как живут люди в коммунистической стране? Что думают? Во что верят? Это возбуждает мое любопытство больше, чем стенная роспись.

— Это и правда интереснее,— сказал я.— Вы будете иметь возможность все узнать!

— Если бы я получил такую возможность,— ответил мистер Тертл,— я имел бы больше того, на что надеялся!

Мы оба мило улыбались. Наступило время обеда. Долина напоминала цветную открытку. Подъезжали «явы» и «москвичи». Женщины расстилали на траве одеяла. Молодые девушки в тесно облегающих блузках играли в мяч. Ресторан манил своим уютом, разнообразным меню и богатым выбором напитков. Настроение мистера Тертла заметно повышалось.

— Тут очень хорошо,— говорит он.— Для вас просто счастье, что так близко от Софии есть эта гора!

— У нас есть горы и получше,— заметил я.— У нас есть горы, которые могут соперничать с Альпами.

После этого мы встали и пошли вниз. Настроение мистера Тертла продолжало повышаться. Сейчас мы чувствовали себя почти друзьями. За обедом выпили, вероятно, по четверти литра.

— Очень, очень хорошо,— повторял мистер Тертл.— Превосходное место для отдыха!

— Вы еще увидите наше море! — подхватил я.

— Да, я читал о черноморских курортах,— сказал он.— На Западе они известны под названием Красная Ривьера. Я рассчитываю побыть там подольше.

— Вы сможете сравнить,— обрадовался я.

— Знаете, у меня есть идея! — воскликнул он.

— Какая?

— Я приглашу сюда и мою сестру!

— Очень мило!

— Да,— решил он.— Хорейша сейчас живет одна. Утром я дам ей телеграмму. Мы проведем эти маленькие вакации вместе. Вы ничего не имеете против?

— Наоборот,— говорю.— Мне будет очень приятно!

Перед моим послеобеденным воображением предстала некая северная красавица — русая, стройная и зеленоглазая. Однако мистер Тертл быстро разрушил этот образ.

— Она немножко старовата, чтобы за ней ухаживать,— сказал он и разразился писклявым смехом.— Только на два года моложе меня и имеет сына, лейтенанта флота. Но еще очень жизнерадостна.

В дальнейшем я имел возможность убедиться, что мистер Тертл сказал правду: его сестра действительно была очень жизнерадостна, иногда даже несколько больше, чем мне бы этого хотелось. Но в тот момент мы были еще вдвоем и в наилучшем расположении духа возвращались в город. Перед гостиницей я пожелал мистеру Тертлу приятного отдыха и остался урегулировать счеты с шофером. Названная им сумма про-

извела на меня сильное впечатление; я даже испытал смешное чувство вины. Только позднее я приучился относиться к подобным расходам с полным самообладанием, ибо мне стало ясно, что бережливость тут совершенно неуместна. Наоборот, чем щедрее мы встретим иностранца, тем большие выгоды получим позднее. Думаю, всякий согласится, что страна не может развивать международный туризм только при помощи улыбок и рукоплесканий.

2. Как мы ужинали в «Русском клубе»

В понедельник вечером, как я упоминал, болгарская секция Международной ассоциации авторов путевых заметок давала ужин в честь мистера Тертла. По этому случаю еще дома я провел около часа перед зеркалом. Приготовил официальный темный костюм. Выбрал длинную белую рубашку, ее манжеты на два пальца высовывались из рукавов. Повязался светлейшим галстуком, лишь после долгой возни достигнув полного совершенства: узел представлял собой равносторонний треугольник, не слишком большой, не слишком маленький, без малейшей складочки, только одна вмятинка точно в середине. Обулся в остроносые черные туфли.

— Ого, вы очень элегантны! — сказал мне мистер Тертл, когда я предстал перед ним в гостинице.— Вы заставляете меня сожалеть, что я не надел смокинг.

— Прошу вас, у нас условности не играют никакой роли,— поспешил я его успокоить.

Но он и не выглядел особенно встревоженным. Я осмотрел его и изумился. Он был в сером костюме, того оттенка серого, какой носят между тремя и пятью часами пополудни. Его галстук был достаточно пестрым, а туфли—темно-коричневыми. Это ни в коем случае не был костюм для официального вечера, и я почувствовал себя стесненным. Очевидно, и в Англии начали отказываться от консерватизма в одежде.

В «Русском клубе» нас встретили товарищи Палева, зампредседателя секции, и Пилева, секретарь секции. Кроме того, присутствовали еще несколько мужчин, чьих имен, к моему стыду, я не запомнил. В последний момент прибыл товарищ Тачев, председатель секции. Мы сели, а три кельнера застыли около нас, как офицеры, ждущие распоряжений из штаба. Тачев принял командование.

— Сливовая и маринованные грибы,— отрубил он, и офицеры бросились на поле боя.— Нравится ли гостю Болгария? — обратился он ко мне.

— Очень приятная страна,— сказал мистер Тертл.— Мои впечатления пока слишком бедны, но страна выглядит очень приятной. Люди тоже очень приятны.

— Успел ли гость увидеть что-нибудь интересное? — спросила Палева.

— Мы были на Витоше и посетили Боянскую церковь,— пояснил я.

— О, Боянская церковь! — воскликнула она.— Скажите, мистер Тертл, не правда ли, Боянская церковь восхитительна?

— Очень любопытные фрески,— говорит мистер Тертл.

— Жаль, что вы приехали не весной,— вмешалась Пилева.— Весной Боянская церковь очаровательна. Весь сад утопает в цветах!

— О, и осенью чудесно,— заметила Палева.— Тогда листья падают, и деревья как будто в золоте.

— Не сомневаюсь,— заявил мистер Тертл,— что в вашей красивой стране каждый сезон имеет свою прелесть.

Тачев откашлялся и принял торжественный вид, но Палева этого не заметила.

— Вы объяснили гостю, что фрески относятся к тринадцатому веку? — спросила она меня.

— Естественно,— говорю.

— И не кажется ли невероятным, мистер Тертл, что эти шедевры созданы в то время, когда...

Тут Тачев откашлялся еще громче, но, увидев, что Палева и на этот раз ничего не заметила, слегка постучал ножом по тарелке.

— Внимание!

Все обернулись к нему.

— Я хотел бы дать нашему гостю...— начал он.

Но как раз в это мгновение три офицера-кельнера подлетели к столу и нависли над нами со своими лучезарными подносами.

— Сливовая! — возвестил один.

— Грибки! — провозгласил другой.

— Благодарю!— произнес Тачев и начал снова:— Я хотел бы дать нашему гостю...

— Что закажем на ужин? — умильным голосом вопросил третий.

— Закажем позже,— резко сказал Тачев.— Вы же видите, у нас дела!

Кельнеры мгновенно исчезли.

— Итак, я хотел бы дать нашему гостю,— уже беспрепятственно продолжал Тачев,— краткую информацию о деятельности нашей секции. Переводите, товарищ! — повернулся он ко мне, извлекая пачку мелко исписанных листов.

Я содрогнулся. Остальные мужчины нахмурились и стали сурово всматриваться в кристальные рюмки. Обе дамы, наоборот, сощурили глаза, и лица их приняли такое сладостное выражение, словно им предстояло вкусить нечто очень приятное. Один мистер Тертл остался невозмутимым и приготовился слушать.

Товарищ Тачев начал читать монотонным, но достаточно сильным голосом. Разумеется, он старался не пропустить ни одной стороны жизни секции. Он сообщил, что секция насчитывает двадцать семь членов, в их числе восемь женщин; потом сказал, что они собирались каждый месяц на очередные собрания, а иногда и на внеочередные; вспомнил, какой честью для них оказалось, что на прошлогоднем конгрессе Ассоциации в Амстердаме одно из сообщений принадлежало нашему представителю; доложил, что велась переписка с секциями четырнадцати стран, поговорил о других мероприятиях и закончил перспективами, открывающимися перед секцией в будущем. Информация длилась около сорока минут.

Все это я переводил слово за словом. Под конец нижняя челюсть у меня разболелась, и я впервые понял, что даже такое приятное дело, как работа экскурсовода, имеет свои отрицательные стороны. Но вот Тачев убрал листы, все зааплодировали, мистер Тертл поблагодарил за интересные сведения и сказал, что, со своей стороны, сделает все для более тесной связи между авторами путевых заметок Англии и Болгарии.

— По крайней мере, я постараюсь написать путевые заметки, которые усилят интерес к вашей стране,— сообщил он, и все снова зааплодировали.

— А теперь,— умильно сказал Тачев,— пришло время сказать наше болгарское «наздраве»!

Мы встали с широкими гостеприимными ухмылками. Председатель протянул бокал мистеру Тертлу.

— Ан бюлгар,— объяснил ему он,— ну дизон «наздраве»!

— Наздраве! — сказал мистер Тертл, который уже хорошо изучил это слово.

— А как «наздраве» по-английски? — спросил Тачев.

— Чиирс,— пояснил я.

— Да? Ну, тогда «чиирс»! Наздраве! Чиирс!

Все подходили и чокались с гостем, говоря ему английское «чиирс», а он им возвращал болгарское «наздраве».

— По вкусу ли ему наша сливовая? — спросил какой-то краснощекий, который до сих пор еще не раскрывал рта.

— По вкусу,— ответил я.

— Скажите ему, что мой дедушка каждое утро делал тюрю из сливовой и дожил до ста четырех лет,— продолжал краснощекий.

Я сообщил об этом мистеру Тертлу, и он любезно рассмеялся.

После этого начался выбор блюд.

Нужно признать, что меня очень удивили заказы присутствующих. Долгое время я не ходил на официальные торжества подобного рода, и мои представления о них явно устарели. Я не учел общую эволюцию вкуса. Некогда, пять-шесть лет назад, такие торжества носили куда более простой характер. У меня есть коллега, журналист, который во время пловдивских ярмарок посещал пресс-конференции. Однажды он взял меня с собой на пресс-конференцию в чехословацкий павильон. Мы пристроились у самого стола.

— Пресс-конференции тоже имеют свою стратегию! — сказал мне мой друг.

Посланник закончил свою речь, и вокруг раздался жизнерадостный гомон.

— Скорее! Скорее, а то сейчас ликвидируют все начисто! — крикнул мне коллега и моментально скрылся в толпе.

Не теряя сердечного выражения на лицах, присутствующие заработали вилками и бокалами. Существовала совершенно железная последовательность, с какой исчезали выставленные на столе яства. Прежде всего кончились бутерброды с черной икрой и фирменная чешская «Лесная», после них — наша луканка и эвксиноградское виноградное, потом — русский салат и карловский мискет, наконец остались только овечий сыр и вино «Фракия». Все это время моего коллеги не было видно, лишь к концу он вернулся, невероятно взбешенный.

— Грубияны!— кричит.— От таких людей, конечно, всего можно ожидать, но я не думал, что они невоспитанны до такой степени!

— Что такое, что случилось? — спросил я.

Он налил себе для успокоения рюмку «Фракии» и все мне объяснил. Его метод заключался в следующем: в самом начале угощения он брал тарелку, клал на нее бутерброды с икрой и луканкой, откусывал половину одного бутерброда и оставлял эту наполненную тарелку на столе. Потом шел к другому концу стола и начинал есть с максимальной скоростью. Когда все кончалось, он возвращался к первой тарелке, к которой никто не прикасался, ибо всякий предполагал, что она оставлена ненадолго кем-то из присутствующих. Но на этот раз мой коллега неожиданно обнаружил, что тарелка исчезла. Кто-то, лишенный элементарного чувства стыда, очевидно, ее подобрал. Не осталось следа даже от надкушенного бутерброда.

— Ну не безобразие ли? — закончил он.— Представь себе, что это была бы тарелка самого посланника!

Я хотел бы видеть моего знакомого на нашем вечере в «Русском клубе». Наблюдая за тем, как болгарские авторы путевых заметок вы-

бирают кушанья, я понял, насколько отсталым выглядело бы здесь его поведение. Несомненно, мы достигли нового, высшего этапа. На лицах присутствующих не только не было написано прежнего жизнерадостного аппетита, а, наоборот, читалось пресыщение. Это были люди, пришедшие выполнить свой долг перед собратом по перу и откушать с ним, хотя это стоило им немалых усилий.

— Ах, ничего мне не хочется,— сказала Палева.— Я бы взяла, пожалуй, лишь немного черной икры с лимоном, масло и поджаренный хлеб.

Пилева предпочла спаржу, но попросила, чтобы ей выбрали понежнее. В том же духе вели себя и остальные. Даже Тачев и краснощекий, не производивший впечатления человека, пресыщенного жизнью, долго колебались, пока не остановили свой выбор на медальонах с мадерой.

После непрекращающихся «чиирс» и «наздраве» разговоры потекли и вовсе непринужденно. Наконец желание мое исполнилось. Мистер Тертл, хоть и совсем кратко, упомянул о новых явлениях в развитии западной мысли. Правда, он ограничил свои высказывания главным образом достижениями в области путевых заметок, но и это было интересно, тем более что члены нашей секции перешли уже к большим обобщениям.

— Я поднимаю этот бокал,— воскликнул краснощекий, вставая,— за великую английскую литературу, которая дала миру Шекспира, Байрона, Диккенса и ряд других представителей!

— А я поднимаю бокал,—сказал мистер Тертл под бурные рукоплескания,— за болгарскую литературу! Не сомневаюсь, что она тоже очень хороша, несмотря на то что я о ней еще ничего не слышал! Увы, мы, англичане, мало знаем о других нациях.

— О, взаимное знакомство необходимо,— сказала Палева.

— У нас есть писатели, которые могут соперничать со многими прославленными европейскими именами,— вставил я.

— Возьмите хотя бы Ботева! — сказал краснощекий.

— Или. Яворова! — отозвалась Пилева.

— Или Йовкова! — воскликнул Тачев.— Представляете ли вы себе, какой фурор произвели бы в Англии «Старопланинские легенды»?!

Нос мистера Тертла снова заалел, глаза его блестели возбужденно.

— Погодите! — говорит он.— У меня есть идея. Я знаю одного издателя в Лондоне, который выпускает переводы с языков малых национальностей. Я бы лично занялся подготовкой издания чего-нибудь болгарского!

— Но это же чудесно! — воскликнул Тачев и подскочил на стуле.— Мы могли бы снабдить вас подстрочным переводом на английский, а вы бы его литературно обработали!

— Это вполне реально,— говорит мистер Тертл.— Нужно только выбрать подходящего автора. Нечто старинное, могучее. Мне надоел натурализм современной литературы.

Я хотел сказать кое-что, но Тачев подскочил снова.

— Нет, в самом деле! — воскликнул он.— Что может быть лучше, чем Йовков? Завтра же я поставлю вопрос! Это действительно необычный случай!

Все были полны энтузиазма, мы заказали десерт. Вот так возник великий план издания «Старопланинских легенд» в английском переводе. Благодаря ему мы с мистером Тертлом и его сестрой позднее пережили незабываемые дни.

Около полуночи, веселые и возбужденные, мы вдвоем с нашим гостем остановились у входа в гостиницу.

— Почему бы нам не выпить в баре по коньяку? — предложил он.

После второй рюмки мистер Тертл стал жаловаться мне на свою

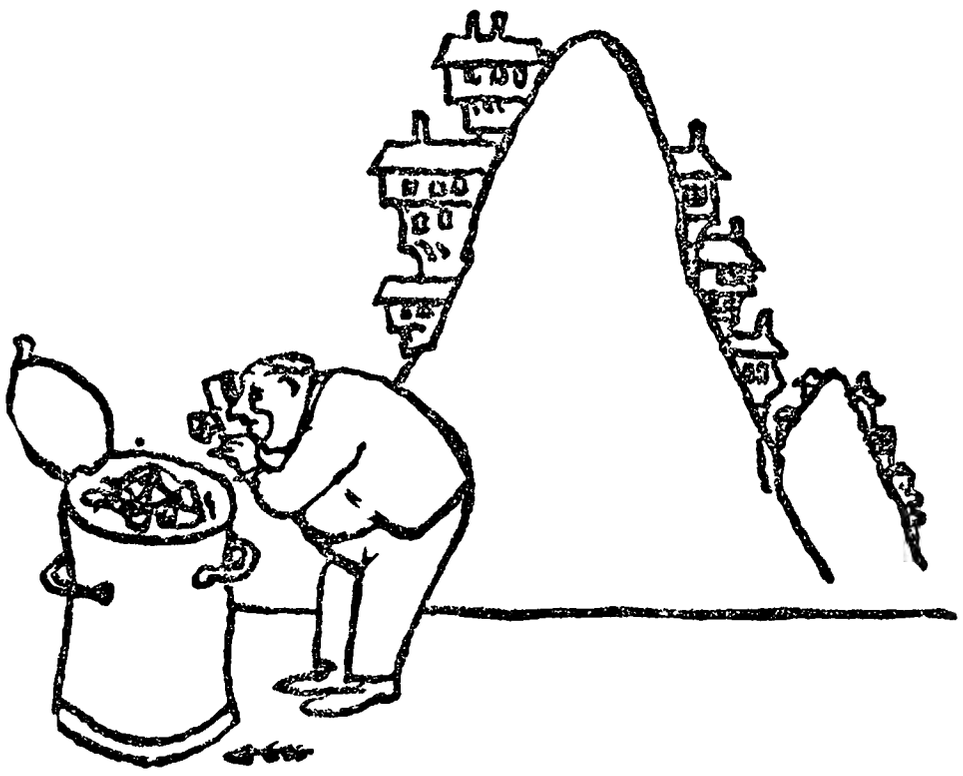
судьбу. Он хотел написать большой роман о жизни английского путешественника, попавшего к буддистам. Действие должно было происходить где-нибудь на Дальнем Востоке. Путешественник испытывал все большую склонность к фатализму, к мистике буддизма и под конец сам чуть не стал буддистом. От увлечения буддизмом его спасла любовь к женщине. Все это давало возможность произвести интересный психологический анализ. Роман положительно должен был пользоваться успехом. Но мистер Тертл не имел времени его написать.

— Вместо того чтобы делать то, что доставляет мне удовольствие,— грустно сказал он,— я вынужден царапать скучнейшие путевые заметки! Что поделаешь, нужно зарабатывать деньги!

После третьей рюмки он обнял меня и сказал, что я ему чрезвычайно симпатичен.

— Терпеть не могу этих официальных отношений! — заявил он. — Близкие зовут меня Арчи. Отныне и ты называй меня так!

И действительно, с этого вечера я стал звать его Арчи. Как добрые друзья, мы говорили друг другу «ты», хотя в английском языке «ты» и «вы» обозначаются одним и тем же словом и разница заключается лишь в более интимной интонации.



3. Какие разговоры мы вели в Пловдиве

На другой день после обеда мы сидели с Арчи в гостинице «Тримонциум» в Пловдиве.

Еще в Софии мы уточнили программу. Чтобы написать свои путевые заметки, Арчи хотел получить общее представление о стране, и в особенности о Черноморье. Одновременно он телеграфировал своей сестре, чтобы она вылетала с первым же самолетом. Мы ожидали ее через десять дней и поэтому решили сначала вдвоем съездить в Пловдив, оттуда отправиться в кооперативное хозяйство, потом вернуться в Софию, встретить его сестру, втроем поехать к морю и провести там две недели. Все это в общей сложности должно было занять приблизительно месяц.

Итак, мы сидели в ресторане «Тримонциум», и Арчи критически оглядывал помещение.

— Этот ресторан достаточно дорогой,— сказал он.

— Да, дорогой,— подтвердил я.

— Шикарный, внушительный,— продолжал Арчи — Не знаю почему, но я не чувствую, что нахожусь в таком месте, где человек может сесть и закусить.

— Закажем еще по салату? — спросил я, но Арчи не тот человек, который позволит сбить себя в разговоре.

— Может быть, это моя субъективная оценка,— говорит он.— Все эти высокие алебастровые потолки, эти колонны, эти большие пространства нагоняют на меня тоску. Мне кажется, что я в храме.

— Есть ли священнодействие лучшее, чем еда? — попытался я пошутить.

— Не будем создавать новые религии,— важно говорит Арчи.— Пусть материальные наслаждения остаются только наслаждениями, не

становясь культами! — Изрекая это, он с удовольствием подцепил большой кусок помидора и проглотил его. У него был вид человека, только что разгромившего материализм.

— А кто превращает материальные наслаждения в культ? — спрашиваю я.— У тебя есть телевизор, Арчи? И машина есть?

— Мы говорим о ресторане,— кисло произнес он.

Я хотел развить свою мысль, но, вспомнив, что экскурсовод должен быть поуступчивее, промолчал.

— Не из своего личного вкуса я исхожу, когда говорю, что он мне не нравится,— продолжал Арчи.— Я исхожу из бесспорного факта, что в здешней обстановке есть что-то тяжелое и торжественное.

— Но так и должно быть,— говорю я.— «Тримонциум» — представительнейший отель города.

— Именно,— говорит Арчи.— А я, признаюсь, не люблю представительных отелей. При всем своем совершенстве они производят впечатление тяжкого однообразия. Я испытываю большое недоверие к фасадам. Предпочитаю входить внутрь, рассматривать кухню, ванную, задворки. Задворки всегда привлекали меня.

Вот, значит, к чему клонился весь разговор! Я разозлился, хотя по моему голосу это было незаметно, улыбнулся через силу и говорю:

— Согласен с тобой, но только в стремлении видеть задворки надо знать меру. Давай же брать здание целиком — и с фасада и изнутри. Иначе мы дадим повод обвинять нас в одностороннем подходе.

Арчи покинул высоты отвлеченной беседы и перешел к фронтальной атаке.

— Знаешь что? — сказал он.— А я убежден, что вы мне покажете только ваши представительные места. Из ресторана в отель, в «Русский клуб», оттуда в «Тримонциум», потом на Черноморское побережье, и везде есть такие залы, куда ходят только экскурсанты и экскурсоводы; мы сидим под алебастровыми потолками, смотрим на декоративные кусты и темно-красный бархат, пьем сливовитц, как бы между прочим посещая старые церкви и новые дворцы культуры. И вот из этого я должен извлекать свое представление о стране!

— Что касается старых церквей и новых дворцов культуры,— говорю я,— думаю, что совершенно естественно показывать их гостям. Всякий хочет показать прежде всего лучшее. Даже в Англии, прославленной своей скромностью,— я не смог сдержать своей злости,— если человек входит в дом, хозяин покажет ему сначала свою коллекцию трубок, или портрет своего прадеда, или, скажем, свою жену, если, конечно, она достаточно красива и интеллигентна. За это его нельзя упрекать. Это не пропаганда.

— Но мы уже разговаривали на эту тему,— сказал Арчи,— и мне было обещано, что я буду иметь возможность увидеть жизнь народа. Насколько полезнее было бы для меня пойти в совсем обыкновенный ресторан, куда ходят обыкновенные люди, послушать, что они говорят, посмотреть, что они едят, что пьют, какие чувства написаны на их лицах!

— Очень хорошо! — согласился я.— Мы пойдем именно в такое место, и не позже, чем сию минуту!

— Сию минуту? — переспросил Арчи.

— Да, сию минуту,— отвечаю я.— Если ты думал, что мы стыдимся своих задворок, ты будешь разочарован!

Мы вышли, и я старался припомнить, какие рестораны в Пловдиве попроще. Мне были известны многие, ибо я хорошо знаю Пловдив, хоть и не был здесь экскурсоводом; наконец я припомнил один подходящий. Когда-то там готовили свежие потроха и подавали их прямо с примуса. Несколько лет назад я бывал в нем с одним другом. Мы оба были мо-

лоды и по уши влюблены в двух пловдивчанок. Этот ресторанчик мы случайно открыли, когда с несчастными лицами скитались по улицам. Он назывался «Тихая встреча». Все здесь было без претензий, но вино удивительное — терпкое, из черного винограда. Запах потрохов ударял в нос уже у самых дверей. Мы взяли две двойные порции, литр терпкого и, обменявшись мрачными взглядами, подняли рюмки. Он говорил мне о своей любви, я ему о своей, потом заговорили о судьбе и о чувствах вообще. К концу первого литра кто-то за соседним столиком достал гитару и запел. Он выводил «Белые березы», «Ах, тяжела для нас была разлука», «Вы вспоминаете ли, госпожа», а мы слушали и еле удерживались от рыданий. Потом пригласили гитариста за наш стол. Он оказался музыкантом этого заведения, хоть и не служил в штате — его угощали сами клиенты,— и приходил, когда хотел. Его не интересовали деньги, он был токарь по профессии и жил на зарплату, просто ему доставляло удовольствие петь для людей, а если угощали, то он был и вовсе доволен. Мы попросили еще потрохов и вина, музыкант спел «Красивых женщин много в мире», потом снова говорили о любви, спорили о чем-то, слушали гитару, и у меня до сих пор сохранились лучшие воспоминания о том вечере.

В это-то место я и повел Арчи. Смеркалось. Замелькали улочки старого города. Мы шли по крупному неровному булыжнику. У дверей старых домов сидели старухи с левантинскими лицами и вязали пуловеры. Сюда не доносилась вонь двигателей внутреннего сгорания. Романтичная душа Арчи упивалась этой панорамой, несколько раз он высказал сожаление, что уже слишком темно для того, чтоб фотографировать. Я обещал, что на следующий день мы вернемся. Вскоре мы поднялись на вершину холма, к крепостной стене доброго старого Филиппа Македонского. Потом спустились по одной из маленьких улочек и вошли в «Тихую встречу».

Народу было много. Рабочие в хлопчатобумажных брюках и замасленных рубахах ели, пили, разговаривали и смеялись во все горло. Из одного угла доносилась колоритная ругань. В другом углу пели. Все было естественным и простым.

— Вот тебе обыкновенные болгары, которых ты так хотел видеть,— сказал я, когда мы уселись за столиком.

— Да,— протянул Арчи, и его синенькие глазки забегали по сторонам.

Оказалось, что жареных потрохов нет. Не держали больше терпкого вина. Уже два года не было и гитариста — он поссорился с заведующим. Вот почему опасно возвращаться к местам, которые прежде нравились: почти всегда находишь перемены. Но зато теперь был магнитофон, и по желанию посетителей включали современную музыку.

— Я не хочу магнитофона и современных записей,— говорю я.

Было и ветренское вино, очень приятное.

— Это уже лучше,— заметил я.

На закуску подавали рубец с красным перцем — гордость заведения.

— Это уж совсем хорошо. Ты любишь рубец?— спрашиваю я Арчи.

— Какой рубец?

— Овечий рубец. Вареный. С красным перцем.

Арчи выглядел слегка шокированным.

— Мне никогда не представлялся случай попробовать такое,— признался он.

— Это очень вкусно,— уверил я.

— Хорошо ли это вымыто?

— Полагаю,— говорю, хотя вовсе не был в этом уверен.

— Все-таки нет ли чего-нибудь еще? — спрашивает.

Чего-нибудь еще предложить нам не могли, мясо пока не жарили.

— Начнем с рубца,— говорю я.— В конце концов, это закуска обыкновенных людей. Мы ведь пришли изучать их жизнь? — добавил я наивно.

Арчи посмотрел на меня и больше не возражал. У него был вид человека, приготовившегося ко всяческим невзгодам, чтобы исследовать неизвестные, таинственные области. Вероятно, такой вид был у Ливингстона, когда он ел сырое мясо с туземцами Центральной Африки.

Рубец подали сразу же — теплый, мелко нарезанный, посыпанный красным перцем. С ним прибыло и ветренское вино. Арчи подцепил кусочек, оглядел его со всех сторон и опасливо положил в рот.

— Мм! — говорит.— Очень вкусно!

Через полчаса он был уже в восторге от места, еды, вина и общества. В углу пели еще громче, сзади какой-то комик рассказывал такие истории и строил такие гримасы, что собеседники валились от хохота на стол.

— Из Пловдива мы могли бы проехать в Димитровград,— говорю я.— Это наш новейший фабричный центр.

— Никаких фабричных центров! — кричит Арчи.

— Но там ты получишь представление о новой индустрии страны!

— Надоела мне индустрия, старая или новая,— говорит он.— Я ненавижу индустрию. Она убивает человеческую сущность. Мне известно, что вы индустриализуетесь. Я возьму несколько статистических данных, этого мне хватит.

— В Димитровграде ты мог бы встретиться с рабочими, с интересными людьми из народа,— убеждал я его.

— Рабочих я тоже не люблю,— отвечает Арчи,— все они мне кажутся одинаковыми. В Англии слишком много рабочих — в этом наша трагедия. Вот в селах ваших я с удовольствием побываю. Село — это нечто другое. Это органическая общность, где еще сохранились старые связи между людьми, милый дух средневековья, когда все было в согласии с законами природы. Я романтик и обожаю село со всей его великолепной отсталостью.

Я подумал, что он не вполне последователен, потому что после осмотра Боянской церкви заявлял, что не может восхищаться прошлым, а теперь твердит обратное, но решил не вступать в пререкания. Живой человек всегда соткан из противоречий. Кроме того, мы уже выпили литр ветренского.

— Не знаю, найдется ли в наших селах милый дух средневековья,— говорю я.— Они сильно изменились. И самое интересное в них именно то, что появилось недавно.

— И все же, все же,— замотал головой Арчи,— село вам труднее переделать, а потому оно мне интереснее!

В этот момент нам сообщили, что мясо готово. Мы заказали еще вина. Глазки Арчи снова зашарили вокруг. Он разглядывал посетителей «Тихой встречи» с явной симпатией.

— Жаль, что я не понимаю по-болгарски,—заметил он.— Мне бы хотелось вступить в личный контакт с этими милыми людьми!

— Сделай одолжение, Арчи! Заговори с кем хочешь, я переведу.

Но нам не пришлось заговаривать с кем-либо, ибо в тот же миг некто заговорил с нами. Будто посланный добрым провидением, человек из-за соседнего столика обернулся к нам и ухмыльнулся по-приятельски.

— За мир! Фриден! — вскричал он и поднял свою рюмку.

Остальные за его столиком засмеялись. Он был не совсем трезв, но еще прилично держался и говорил без запинки.

Арчи повернулся к нему, и лицо его в этот момент больше, чем когда-либо, было лицом добродушного дядюшки.

— Наздраве! — говорит он с невероятным акцентом.

— Ха, он говорит по-болгарски! — человек еще ближе придвинул свой стул.— Здорово, товарищ! Добро пожаловать в Пловдив!

Арчи пожал плечами.

— Он не говорит по-болгарски,— объяснил я.

— Ну? — удивился человек.— Ничего! Ладно! За мир! Фриден! Наздраве! — Они чокнулись.— Немец? — спросил он меня.

— Англичанин.

— Да? Ишь ты! Я вижу, что англичанин! — сказал человек и подсел к нашему столику.— Простите за дерзость,— продолжал он непринужденно.— Я так, совсем без приглашения! Если вам неприятно...

— Прошу вас, выпейте с нами рюмку вина,— предложил я.

— Благодарю,— откликнулся он, сразу став серьезным и подавая мне руку.— Чернев. Очень приятно.— Он подал руку и Арчи.— Чернев. Мерси. Англичанин, значит,— говорит он.— Уже и англичанин пошел. Кого я только не видел в Пловдиве! Немцы, китайцы, негры — все. А теперь вот и англичанин.

Он говорил быстро, мы не успевали вставить и слова.

— Это хорошо. Пусть едут. Приезжайте больше! — крикнул он Арчи.— Я смотрю на разных людей, и мне приятно. Мне интересно. Думаю, и им интересно вот так посидеть за рюмкой, побеседовать. А? — повернулся он ко мне.— Интересно им?

— Конечно,— сказал я.

— Мы, болгары,— продолжал он,— каждый день вместе, понимаем друг друга, знаем, у кого что за душой. А это другая земля, другая жизнь. Может, там умнее нас, чему-нибудь научимся. Да и они могут у нас чему-нибудь научиться, верно?

Хоть и с большим трудом, я переводил каждое слово. Арчи кротко слушал, но в его кругленьком теле, словно тигр, притаился профессионал, автор путевых заметок, никогда не упускающий своих шансов.

— Чем занимается наш симпатичный друг? — спрашивает он.

— Наш симпатичный друг — слесарь с авторемонтного завода.

— Пусть приезжают, пусть приезжают! — говорит наш новый знакомый.— Пусть будет кругооборот! И в ту сторону, и в эту. И я путешествую, скажу тебе. Иногда, когда вижу в газетах карты Гвинеи, Индонезии, у меня прямо начинает сосать под ложечкой. Так и вижу, какие там люди! Не умею только экономить, а то бы давно собрал деньги на какую-нибудь поездку, отнес в «Балкантурист». Но, может, еще поеду. Важно, чтобы был мир.

— Конечно, конечно,— говорит Арчи,— кто против мира? Спроси его,— обернулся он ко мне,— сколько он получает?

— Я мастер,— отвечает наш собеседник.— Тыщу сто, тыщу двести в месяц.

Арчи наморщил лоб, очевидно, стараясь вспомнить, что он знает о ценах в Болгарии.

— Тысячу сто? — начал прикидывать он.— И доволен своими доходами?

Тут Арчи подался вперед и напряженно воззрился на нас; может быть, он не был уверен в моих переводческих способностях и хотел по нашим лицам прочесть ответ.

— Э, денег всегда не хватает,— сказал слесарь.— И две тыщи утекут незаметно. Эй, Иване! — закричал он.— По такому случаю поставь литр от меня!

— Брось! — говорю я.— С нас хватит!

— И речи быть не может! — заупрямился он.— Вы меня обидите.

— В другой раз,— продолжал я отказываться.— Завтра придем, тогда уж!

— Вы меня правда обидите.

— Ладно, ладно, отложим до завтра.

Во время этого спора Арчи повторял «тысячу сто» и недоверчиво смотрел на слесаря.

— Что он на меня смотрит? — спросил Чернев. С интуицией выпившего человека он почувствовал недоверие Арчи и обиделся.— Неужели не верит, что столько получаю? Я иду со смены, в рабочей одежде, потому, значит... Эх, брат! Скажи ему, пусть не воображает! Вот приду домой, переоденусь, он меня не узнает! Поставить бы его в габардине поработать, этого англичанина!

— Ладно, Василчо, будет! — вмешались его приятели.— Пошли отсюда!

— Что он воображает? — не унимался Василчо.— У меня у самого квартира с холлом и ванной! И приемник с проигрывателем! И увидишь, тере...— он запнулся,— ...телевизор куплю!

— Будет, Василчо! — тянули его остальные, однако он артачился.

— Почему бы вам не пойти ко мне в гости? — предложил он.— Пойдемте! Это близко — Бистрица, 26. Пусть товарищ увидит, как живут рабочие в Пловдиве. Может, скромно, да. Хорошо, пусть скромно. Пусть не как в Лондоне. Хорошо! Но встретить, угостить сумеем.

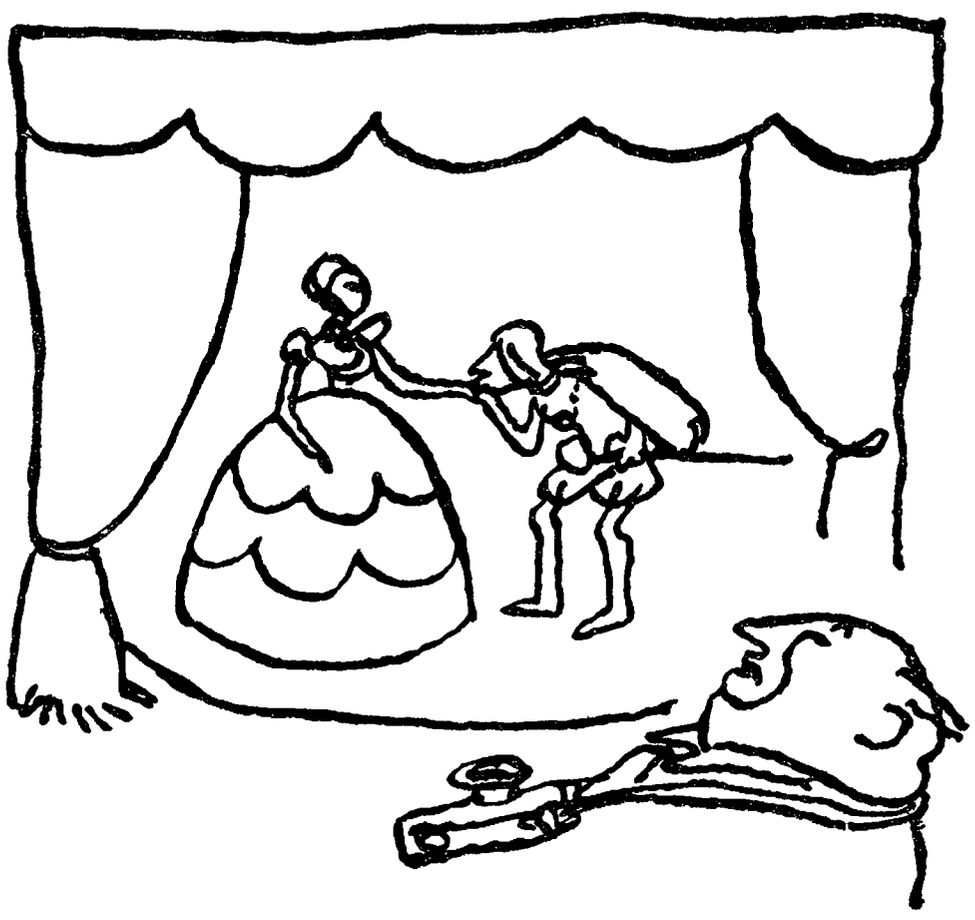
— Не надоедай людям,— взял его товарищ за плечо.

— Что? Ну ладно, ладно! — он поднял рюмку и сразу миролюбиво заулыбался.— Если чем обидел, простите! Наздраве!

— Очень милый человек! — говорит Арчи.— Прошу тебя, поблагодари его за беседу.

— За что меня благодарить? — спросил Василчо.— Не за что. Поговорили как люди. У нас разговоры не стоят денег. Ну, наздраве! Фриден! — выкрикнул он и поставил свою рюмку.— Может, когда еще увидимся. Может, и в Лондоне. Не знаю. Пока!

Они вышли. Из-за всех столов смотрели на нас. Тогда Арчи вытащил записную книжку и принялся записывать свои впечатления.



4. Как мы ездили в Перуштицу и как именно там не пришлось нам выпить

На другой день мы должны были посетить какое-нибудь кооперативное хозяйство в окрестностях. По ряду причин я выбрал Перуштицу. Во-первых, перуштинцы привыкли к гостям и встретят нас достойно, во-вторых, я хотел рассказать Арчи об Апрельском восстании, в-третьих, начался сбор раннего винограда, и лозы представляли прекрасное зрелище, в-четвертых, у меня самого очень приятные воспоминания о Перуштице, связанные с главным промыслом этого края. Трудность заключалась в средствах передвижения. Болгарская секция Ассоциации авторов путевых заметок не могла обеспечить нас автомобилем. У них была только одна машина, жаловался нам Тачев, и всегда, как только наступало лето, шофер ставил ее на ремонт. Авто-

бусом ехать мы не могли — в такую жару это было бы мучительно, особенно для некоего западного интеллектуала.

Я привел Арчи на пригорок, откуда было удобно делать снимки, договорился с ним о встрече в отеле, а сам отправился к центру города в надежде, что найду там какое-нибудь средство передвижения. По пути я случайно увидел знакомого писателя, который недавно приобрел «шкоду-люкс». В настоящий момент «шкода» стояла у тротуара, а владелец стоял рядом и с упоением смотрел на нее. Эта картина вдохнула в меня надежду. Я приблизился и сердечно улыбнулся.

— Здрасти! — говорю.— Что ты тут делаешь?

— Здрасти! — говорит он.— Жду, когда выйдет Ивона.— Ивона — это его жена.

— Автомобильная прогулка, а?

— Да, надоедает, знаешь, сидеть на одном месте!

— У вас определенный маршрут?

— Нет, едем просто куда глаза глядят.

— А не было ли у вас намерения махнуть в Перуштицу?

— Нет, не было.

— Я спрашиваю тебя,— продолжал я,— потому что сопровождаю Арчибальда Тертла, а ему нужно побывать в Перуштице. Ты ведь знаешь, что он в Болгарии?

— Нет, а кто это?

— Ты не знаешь, кто такой Арчибальд Тертл? — воскликнул я.— Да это один из величайших английских писателей! Мировая величина! Необыкновенно интеллигентный человек, ты не можешь себе представить, какие мы с ним ведем разговоры! Тебе будет чрезвычайно интересно с ним познакомиться!

Мой собеседник остался бесстрастным, он продолжал любоваться «шкодой».

— С большим бы удовольствием,— говорит.— Только мы уезжаем из Пловдива.

— Я и предлагаю,— говорю я,— раз у вас нет определенного маршрута,— махнем вместе в Перуштицу! Дадим гостю возможность побыть в хорошей компании.

— Не выйдет. Я не уверен в задних рессорах и поэтому решил ездить только по асфальту!

— Дорога до Перуштицы хорошая!

— Булыжник! — замахал он рукой.— Тряхнет, сядем, вот и беда! Асфальт — другое дело! Алло, Ивона! Поехали

— Ну, пока! — говорю я.— Жаль, могла бы получиться хорошая беседа с гостем!

— Беседа — это беседа,— говорит он,— а рессоры — это рессоры! В другой раз устроим беседу, гостей позовем, сколько хочешь!

Я огорчился. Что за времена! Болгарский писатель пренебрегает встречей с иностранным коллегой! Когда еще болгарская интеллигенция была так безразлична к европейской культуре? Два-три года назад этого не могло бы случиться. Тогда этот тип хватал бы меня за руки и на коленях умолял бы познакомить с Арчи. Без всяких просьб он предложил бы свою колымагу и повез бы нас не только до Перуштицы, а хоть до Малого Тырнова, радуясь одному лишь присутствию английского интеллектуала.

К счастью, на этом свете добро и зло всегда идут рядом. Я еще не перестал мысленно ругать писателя, когда кто-то ударил меня по плечу и ухмыльнулся мне прямо в лицо.

— Здорово, друг! Как тебя сюда занесло?

Я чуть не закричал от радости. Это был мой старый приятель Петко, закупщик перуштинского ТКЗХ. Мы познакомились несколько лет назад,

когда я работал корреспондентом сельскохозяйственной газеты, и встречались при каждой моей поездке в Перуштицу. Поскольку наши встречи всегда кончались одинаково, вид Петко неизменно вызывал у меня представление о хорошей выпивке. Однажды мы встретились в Перуштице с одним карикатуристом, которого командировал туда журнал «Стыршел». Это было на николин день. Его послали, чтобы он вскрыл там недостатки и заклеймил их в карикатурах, а я должен был написать репортаж о веселых зимних вечерах на селе. Мы встретились с Петко; выяснилось, что у него есть свояк Никола, три друга Николки и сестра Николина. Едва стемнело, я принялся собирать материал для своего репортажа. Мы ходили из дома в дом, и плохо было только то, что чем больше пили перуштинцы, тем трезвее они выглядели; для нас же было вопросом чести показать, что мы, столичные жители, тоже на что-то способны. Вскоре я утратил связь с окружающей средой, а потом рассвело, и я обнаружил, что нахожусь в доме у Петко. Его новая спальня была гордостью дома, он купил ее недавно — блестящие кровати темного дерева, трехстворчатый гардероб и столик с раковинами-пепельницами. Кровати были застланы новыми атласными одеялами, а мы лежали прямо на них и, кажется, не успели даже разуться, потому что на атласе остались грязноватые следы. Чувствовали мы себя виноватыми, а на лицах у нас лежал фиолетовый оттенок. Карикатурист сожалел о случившемся и, чтобы избавиться от угрызений совести, нарисовал желчную карикатуру на кладовщика селькоопа, у которого развалился небольшой бочонок с сыром. Я же написал восторженный репортаж о николином дне, но его не поместили, сказав, что я поощряю нездоровое влечение к спиртным напиткам.

Вот почему, увидев сейчас Петко, я очень обрадовался.

— Как славно, что мы встретились! — воскликнул я.— А я тут с одним английским писателем, гостем правительства. Мы намерены посетить Перуштицу. Есть у тебя транспорт?

— У меня джип,— отвечает Петко.

— Вот удача!— говорю.— Возьми нас с собой.

— Договорились! — охотно отозвался он.— Мы только вдвоем с шофером.

Через два часа мы уже катили к Перуштице. Виноградники простирались перед нами, насколько хватало глаз. Всюду желтели спелые гроздья. Вдоль дороги яблони сгибались от плодов. Все это было даже лучше, чем на рекламах Болгарплодэкспорта.

— Какая страна! — восклицал Арчи.— Прелестный пейзаж! Он напоминает мне Италию. Ах, Италия — солнце, вино, поющие девушки, как я хотел бы прожить там свои последние дни!

— Свернем-ка на минутку! — говорит Петко.— Пусть гость посмотрит, откуда берется экспортный болгарский виноград.

Под большими навесами женщины сортировали плоды. Они переговаривались, но, заметив нас, умолкли и лишь бросали любопытные взгляды. Бригадир объяснил нам, как поставлена работа. Это очень просто. С одной стороны подъезжали телеги, подвозили обыкновенные ящики с гроздьями. Женщины обрезали кисти и укладывали в специальные ящички. С другой стороны ящички ставили на грузовики. Отсюда они шли прямо на вокзал, на экспорт. Случилось так, что под навесом, к которому подошли мы, собрались только молоденькие и хорошенькие перуштянки. Арчи захотел их сфотографировать.

Увидев, как он наводит аппарат, они закричали:— Эй, брось, подожди! — и принялись прихорашиваться и поправлять платки.

— Это мне испортит снимок! — раздраженно кричит Арчи.— Скажи им, ничего не надо! Пусть все выглядит, как в натуре!

Я хотел ему напомнить, что он ведь враг натурализма, но смолчал, чтобы не ссориться, и попросил женщин спокойно продолжать работу. Они согласились, но, когда Арчи снова поднял аппарат, обернулись и уставились на него, а лица их стали напряженными, как у часовых, ждущих во мраке наступления неприятеля.

— Ничего не выйдет из этого снимка! — заворчал Арчи.— Жалко цветной пленки. А я мог бы опубликовать его в каком-нибудь журнале и получить гонорар! Но я обману их! — ухмыльнулся он.— Ну-ка, отвлеки их внимание, а я щелкну!

Он направился к другому навесу. Женщины потеряли его из виду, а я стал рассказывать им какие-то старые анекдоты. Неожиданно Арчи подскочил и щелкнул их. Поднялся смех и суматоха, Арчи перевел пленку и подошел очень довольный.

— На этот раз публикация обеспечена! — говорит.

Перед нашим уходом женщины предложили нам отведать винограда. Мы из любезности отказывались, но они были очень настойчивы, одна за другой подходили и протягивали лучшие гроздья. Скоро мы были так нагружены, что еле-еле могли нести все эти дары. Арчи обхватил двумя руками спелые, золотые плоды, ронял ягоды на землю и был похож на полненькую Фортуну с фотоаппаратом вместо рога изобилия.

— Очень милые люди! — восклицал он.— Очень, очень милые!

— Пусть запомнит плодородную мать Болгарию! — говорит Петко.

Мы находились уже на окраине Перуштицы.

— Может быть, лучше переночевать не в гостинице? — обратился я к Петко.— Найдется что-нибудь подходящее?

В сущности, я думал, что он мог бы пригласить нас к себе; как я уже говорил, у него была новая спальня, она могла произвести на Арчи хорошее впечатление. Правда, после той истории это было не совсем деликатно с моей стороны, но я заботился не о себе, а о том, чтобы как следует встретить гостя, поэтому совесть моя была чиста.

— Можно бы и у меня,— замялся Петко.— Только к нам из Пловдива приехали братишки жены. Но ничего, устроимся!

— Почему бы не пойти ко мне? — вдруг вступил в наш разговор шофер.

— Это удобно?

— Вполне.

— Не осрамимся перед гостем?

— Прошу вас, я приглашаю!

Я взглянул на Петко, он одобрительно кивнул, и я повернулся к Арчи.

— Ты не против того, чтобы переночевать в сельском доме?

— Интересная мысль,— ответил он.— А где?

— Нас приглашает шофер,— говорю я.— Так ты ближе увидишь жизнь обыкновенных людей.

Арчи осмотрел человека за рулем: тот был в старых хлопчатобумажных брюках, засаленной телогрейке и резиновых тапочках. В глазах Арчи загорелись огоньки.

— Очень хорошо!— говорит.— Погостим у шофера!

На площади Петко простился с нами, сказав, что, к сожалению, вечером у него заседание правления, но по окончании его он ждет нас в ресторанчике. Мы поехали дальше. Джип остановился у высоких массивных ворот.

— Вот мы и дома,— говорит шофер.

Дом был хорош, с кокетливым двориком, зеленью и цветами, а перед ним кротко стоял оранжевый «вартбург», будто специально выставленный для осмотра. Солнце косо освещало его, и он весь сиял.

— Чей это автомобиль? — спрашивает Арчи.

— Мой,— отвечает шофер.
— Частный?
— Да, личный. Купил этим летом.
— Сколько стоит?
— Двадцать одну тысячу.
Арчи извлек записную книжку и записал цифру.
— Дом тоже новый?
— Да, построил пять лет назад.
— Где берут деньги ваши колхозники? — обратился ко мне Арчи.
— Это не колхозники, а члены кооператива,— говорю.
— Не все ли равно?
Я прочел краткую лекцию о различии колхозов и ТКЗХ. Он продолжал расспрашивать хозяина, сколько человек у него в семье, много ли трудодней они заработали, каков трудодень, и все усердно записывал.

— Это очень ценно для моих путевых заметок,— сказал Арчи, и мы отправились осматривать Перуштицу.

В сущности, единственное, что я хотел ему показать, была церковь святого Анастаса. По пути я успел рассказать ему об Апрельском восстании и героизме перуштинцев.

— Это так называемая болгарская резня? — спросил он.— Эта резня, может быть, единственное, что рядовой англичанин знает о Болгарии. Она знакома каждому английскому гимназисту по речам Гладстона.

— Именно она,— подтвердил я.

— Между прочим, внук Гладстона — мой личный друг,— говорит Арчи.— Я пошлю ему фотографию этого места. Хотя, признаюсь, не испытываю большого уважения к его деду. Он всегда казался мне чересчур сентиментальным. Дизраэли — фигура много крупнее!

— Мы, болгары,— говорю я,— не любим Дизраэли.

— Вы пристрастны,— говорит Арчи.— Подымитесь над узкой национальной точкой зрения, и вы поймете эту светлую личность.

— Это он-то — светлая личность? Да он рукоплескал зверствам турок!

— Ах, боже мой, кто же в политике ищет этику? — говорит Арчи.— Жестокости были всегда. Всегда кто-нибудь кого-нибудь убивал. В конце концов, он защищал интересы империи. Но оставим в стороне империю, важнее другое: в любом своем поступке он проявлял высочайшие английские добродетели — чувство юмора и хороший вкус. Это был чемпион хорошего вкуса. Гладстон, наоборот, был безвкусный мещанин, он не умел воспринимать жизнь с ее веселой стороны.

На этот раз я разозлился и решил поспорить с ним серьезно, но мы уже дошли до церкви, и разговор прекратился. Я показал ему дыры от снарядов, пробитый потолок, через который турки бросали факелы и подожгли деревянную часть церкви, пятна крови на стенах. Рассказал ему о Кочо. Каменная тишина и сумрак давили на нас.

— И подумать только,— закончил я,— что четыреста человек — женщины, старики, маленькие дети — стояли три дня в этой церкви, под выстрелами взбесившихся башибузуков, а потом, в пламени, были вырезаны все до единого!..

— Ужасно! — содрогнулся он.

— Как же можно воспринимать это событие с веселой стороны! — с негодованием добавил я, и Арчи проглотил это замечание. Действительно взволнованный, он извлек записную книжку, что-то записал и немного погодя сказал, что непременно пошлет отсюда карточку внуку Гладстона.

Делать больше было нечего, и мы сели в ресторанчике ждать Петко. Мне казалось, что Арчи утомлен, он даже ничего не захотел выпить.

— Пусть сначала придет наш друг,— апатично произнес он, и мы ограничились кебапчетами и пивом. Вдруг к нам подходит какой-то человек и спрашивает, не узнаю ли я его.

— Если не ошибаюсь, вы были у Петко на николин день,— говорит.— И я был тогда там в компании.

Я узнал этого человека, хотя до сих пор не могу вспомнить его имени. Он был старый культработник, что-то вроде ответственного за местную театральную труппу. Не знаю, кто он был по профессии, но интересовался этот человек только театром, театр заполнял всю его жизнь. У него было широкое подвижное лицо. Лет ему, вероятно, было столько же, сколько Арчи, может, немного больше.

Я пригласил его за наш столик, познакомил с Арчи, и у них завязалась беседа. Он спросил, писал ли Арчи пьесы, тот ответил, что написал четыре, одну даже хотели было поставить, но в последний момент Арчи разругался с директором.

— Вы, конечно, бывали в Стратфорде, в шекспировском театре? — вздохнул наш собеседник.

— Так часто,— осклабился Арчи,— что не могу его выносить.

— Чего бы я не дал, чтобы повидать Стратфорд! — говорит театрал.— Далеко мы от больших мировых сцен, далеко! В Софии еще время от времени кое-что идет, но тут мы совсем отрезаны.

Я спросил его, имеется ли в настоящий момент какая-либо театральная жизнь в Перуштице.

— Нет,— ответил он,— сейчас люди допоздна в поле. Но через месяц-другой начнем. Наступят славные зимние вечера, наши вечера, лучшее время года, о котором мы мечтаем все лето!

Он снова вздохнул и продолжал:

— Скоро произойдет большое событие. На гастроли приедет специальная бригада Софийского народного театра. С «Вольпоне».* Сам Кисимов будет играть. Большая честь для Перуштицы.

Он смотрел «Вольпоне» в Софии и заговорил о постановке, интерпретации темы и так далее. Арчи слушал его, усмехаясь.

— Вы меня ставите в затруднительное положение,— признался он наконец.— Я не смотрел и не читал «Вольпоне»!

— Серьезно? — говорю я.

— Ну да,— подтвердил он.— Не помню, проходили ли мы его в колледже, а после как-то не случилось его прочитать. Выходит, что этот милый человек знает мою родную литературу лучше, чем я, писатель! — Арчи испустил пискливый смешок.

— Вы шутите! — воскликнул я, хотя сам тоже не читал «Вольпоне».

— Но вы непременно это прочтете! — убежденно сказал участник самодеятельности.

— Едва ли,— возражает Арчи.— Этих драматургов Елизаветинской эпохи чересчур много, а я уже слишком стар, чтобы читать без разбора. Я читаю только то, что непосредственно меня интересует.

— И я не молод,— говорит культработник,— но должен признаться, что меня интересует все, и читаю я все, что попадется. Знаю, это слабость, пользы от этого нет, но что делать, если мне интересно? В последнее время я даже взялся перечитывать детские романы.

— Тут я вам завидую,— вставил Арчи.— Если бы у меня было время, и я бы читал детские романы. Это в сущности проявление высшего вкуса.

— Не знаю, высший ли это вкус,— принялся объяснять театрал.— Я просто остался без книг. Когда бываю в Пловдиве, обыкновенно поку-

---

* Пьеса английского драматурга Бен Джонсона (1573—1637).

паю книги, но несколько недель мне пришлось безвыездно сидеть в Перуштице.

— Любите покупать книги?

— Очень. А вы?

— И я люблю,— сказал Арчи.— Только я ищу преимущественно старые издания, редкие экземпляры или книги с поврежденными переплетами.

— А я покупаю всякие,— заметил участник самодеятельности.

— Вы покупаете их для чтения?

— Конечно.

— А я ради самой купли,— говорит Арчи.— Меня волнуют старые и редкие книги. Еще вчера этой книги касались чьи-то неизвестные мне руки, и вот она стала моей! Я несу ее домой, ставлю между сотен других. Знаю, что никогда не достану ее и не прочту, но это не имеет значения. Мне важно, что заполнен еще один уголок в чем-то, что создал только я: в моей собственной библиотеке. И даже тот факт, что книга исчезла для всех других людей, доставляет мне дополнительное удовольствие.

— Мне кажется, я вас понимаю,— кивает наш приятель.— Хотя и не могу согласиться со всем, что вы сказали. Недавно я попал на какой-то чердак и нашел там старые книги и журналы. Они пожелтели, их обгрызли мыши, они пахли плесенью, и я испытал невольное умиление. Словно старые, близкие люди начали шептаться со мной. Я засел на чердаке и прочел их все!

— Какой смысл в чтении? — глубокомысленно говорит Арчи.— Все книги одинаковы.

— Наоборот, они страшно различны,— удивился деятель театра.

— Для меня все одинаковы! — отрезал Арчи.— Я дошел до такой мудрости, когда человек ищет истину только в себе самом.

Участник самодеятельности хотел было что-то возразить, но промолчал. Арчи переменил тему и принялся расспрашивать о его театральной деятельности. Тот рассказал, что уже больше тридцати лет руководит труппой в Перуштице. Каждую зиму он ставит несколько пьес, сам сыграл около ста ролей, и все это без всякого материального поощрения, только из любви к театру.

— И у нас есть кое-где такие самодеятельные труппы,— небрежно заметил Арчи.— Они погибают — милые и такие трогательные! А вам не надоедает?

— Никогда! — откликнулся тот.— Лично мне это доставляет удовольствие, да и наши люди любят представления. Приятно давать людям радость.

Потом он начал жаловаться на трудные условия работы. Талантов подчас не хватает, иной раз приходится давать роли людям, лишенным театрального чутья, и с болью видеть, как проваливается постановка; нет художников-декораторов, отсутствуют помещения для репетиций, да и сам зал стал очень тесен.

— Вот построим дом культуры,— говорит он,— и возродимся! Увидите, какую театральную деятельность развернет Перуштица! Зал на четыреста человек, огромная сцена, современное освещение и так далее и еще — большая комната для репетиций, и гримерная, и все что нужно.

— Действительно, будет очень хорошо,— согласился Арчи.

— Тогда я и попытаюсь сделать то, о чем мечтал всю жизнь,— продолжал руководитель самодеятельности,— я поставлю «Короля Лира».

— «Короля Лира»? — удивился Арчи.

— Да, шекспировского «Короля Лира». Самого Лира попробую сыграть я!

— Это очень трудно,— говорит Арчи.

— Знаю,— согласился театрал.— Но я всю жизнь жил этой мыслью! Попробую.

— Даже сэр Лоуренс Оливье не рискует взяться за «Короля Лира»,— сказал Арчи.— «Король Лир» — сложнейшая пьеса Шекспира.

— Плохо, что я не могу найти Корделию,— сетует наш приятель.— Во всей Перуштице не вижу девушки, которая могла бы сыграть Корделию.

— Почему бы вам не начать с чего-нибудь полегче? Например, с «Виндзорских проказниц» или с «Двенадцатой ночи»,— советует Арчи.— «Король Лир» — такое глубокое произведение, что даже талантливейшая любительская постановка уничтожит его начисто.

— Почему вы так думаете?

— Потому что пропадут тонкости,— провозгласил Арчи.— Ваши люди их не поймут.

— Люди всегда поймут Шекспира,— возразил режиссер.— Даже и в любительской постановке они ощутят основное.

— В искусстве подробности важнее основного,— пояснил Арчи.— Подробности делают искусство, а основное всегда элементарно. Впрочем, могу только пожелать вам успеха!

— Я найду Корделию! — гремит театрал.

Тут я посмотрел на часы. Было уже довольно поздно. Петко все не приходил. Я извинился, пошел к конторе, и там мне сказали, что заседание правления еще продолжается и проходит бурно. Мы с Арчи решили больше не ждать. Распрощались со старым руководителем самодеятельности и пошли домой. С приезда Арчи это был единственный вечер, когда мы не напились, и то, что это случилось в Перуштице, было, может быть, самым большим парадоксом в течение всего нашего путешествия.

5. Как мы встречали Хорейшу. Мои первые впечатления о ней

В Софии нас ждали новости. Во-первых, пришла телеграмма от сестры Арчи: «Паспорт и виза о'кей точка прибываю четверг точка Хорейша». Это означало, что ее нужно было встречать на другой день. Кроме того, Тачев отнесся серьезно к проекту перевода «Старопланинских легенд», пригласил нас и долго расспрашивал Арчи. Присутствовала и Адриана.

— Ну, мистер Тертл,— говорит наконец Тачев,— проведем мы эту работу или нет?

— Я сказал, что могу сделать,— ответил Арчи.

— Мы тут обсудили проект, вы могли бы заняться переводами здесь?

— Вряд ли,— говорит Арчи.— Через двадцать дней мне нужно быть в Лондоне.

— Тогда вот что мы вам предлагаем,— говорит Тачев.— Вы проведете две недели на Черноморском побережье. Все это время считайте себя всецело нашим гостем. Мы вас устроим, скажем, на новейшем курорте Солнечный берег. Этот молодой человек,— он указал на меня пальцем,— будет вас сопровождать и в свободное время читать вам легенды. Тем временем мы тут обеспечим подстрочный перевод на английский, над которым вы впоследствии будете работать, создавая настоящий художественный текст.

— Этим я смогу заняться только в Англии,— заметил Арчи.

— Понимаю,— согласился Тачев.— Сейчас важно войти в атмосферу. Поэтому, как я уже упоминал, после Солнечного берега вам необходимо посетить и Жеравну, чтобы вы почувствовали тот поэтический дух, который...

— Чудесно,— говорит Арчи.— Но есть еще один вопрос. Я телеграфировал сестре, пригласил ее разделить со мной краткий отдых. Она прибывает завтра.

— Разумеется, ваша сестра поедет с вами,— решил Тачев.— Адриана, запиши и сегодня же закажи три места на Солнечном берегу: для мистера Тертла, его сестры и переводчика.

— Обратите особое внимание на Жеравну,— сказал он мне.— Это посещение очень важно для нас. Нужно сделать все, чтобы гость ощутил красоту нашей родины. Хорошо бы организовать какое-либо празднество на открытом воздухе, поджарить барашка на поляне, пусть гостю сыграют на кавале* и годулке**, споют ему народные песни. Только так он вдохнет всей грудью поэтическую йовковскую атмосферу!..

— Не беспокойтесь, я сделаю все, что в моих силах! — уверил его я.

На следующий день мы с Арчи и Адрианой сидели в буфете аэровокзала Софии и пили сливовую, когда приземлился самолет.

— Вот она! — говорит Арчи, ухмыляясь.— Бог мой, я узнал бы эту пылающую шевелюру и на другом конце света! Хелло, Хорейша! — замахал он рукой, и спустя мгновение она была около нас. Арчи обнял ее и представил нам.

Хорейша, видимо, переживала тот бурный возраст, который предшествует критическому. Этот возраст делает женщин несколько своеобразными. Волосы ее действительно походили на пламя, но, хотя природа была достаточно смелой, окрашивая их, казалось, ей помогала и рука человека. У Хорейши были водянисто-синие глаза брата, нижние веки также подкрашены синим, и все это создавало общий синеватый тон. В ее лице, достаточно румяном, было, однако, что-то восковое, оно напоминало лицо умирающего, уже сказавшего последнее «прости». О фигуре ее я не мог бы сказать ничего плохого.

Когда Хорейша молчала, она казалась сдержанной, но стоило ей усмехнуться, и перед вами возникал совершенно другой человек. Тогда челюсти ее начинали излучать силу и она становилась похожей на леопарда. Говорила эта женщина гнусаво. Как человек, хлебающий горячее, она втягивала воздух, прежде чем произнести слова, и съедала все их окончания. Для меня это было совсем плохо, ибо я не понимал и половины сказанного ею.

Мы с Адрианой купили букет гладиолусов и торжественно преподнесли его прибывшей. Я произнес краткую речь. Сестра Арчи была польщена.

— Если судить по встрече, Болгария страшно милая страна,— говорит она,— Арчи, ты должен уступить мне твоего переводчика. Тебе достаточно и молодой дамы, чтобы ориентироваться в стране!

— Мадам, для меня это было бы счастьем,— отозвался я.— Но, к сожалению, молодая дама не знает английского.

— О! — говорит Хорейша и косо смотрит на Адриану,— Разумеется, я шучу! У меня сын почти вашего возраста.

— Этого не может быть,— говорю я галантно.

— Не притворяйся, я отлично помню, что говорил тебе о ее сыне,— подло вмешался Арчи, и все мы разразились хохотом.

К вечеру, когда я пришел в гостиницу, Хорейша облачилась в эф-

---

* Большая свирель.
** Смычковый инструмент.

фектное зеленое платье и встретила меня очень сердечно, но еще у дверей пожаловалась, что в умывальнике не хватает затычки. Я сначала подумал, что не понял ее, но она повторила это вполне разборчиво.

— Затычка от умывальника! — и, видя, что я смотрю с недоумением, начала мне объяснять:— Такой металлический кружок, которым затыкается вот эта дырка.

— Зачем вам затычка? — изумился я.

— Как зачем? Умываться!

— Не понимаю, что вам мешает умываться. Откройте кран и умывайтесь!

Она уставилась на меня, как на невиданного зверя.

— Прямо из крана?

— Я вас не понимаю,— говорю я.— А как же иначе?

— Я не привыкла мыться так,— твердо говорит она.— Дома я затыкаю умывальник, наполняю его водой и моюсь в ней.

И она мне объяснила, что люди в Англии всегда делали в умывальнике что-то вроде маленького озерка, в котором плескались. Я никогда не слыхал об этой подробности и обрадовался, что узнал кое-что новенькое.

— А мы в Болгарии,— говорю,— моемся прямо под струей.

— Но это страшно неудобно!

Я не замечал до сих пор, что это неудобно, но решил, что она имеет право требовать всяческих удобств, к которым привыкла, и раз уж мы стремимся к развитию международного туризма, гостиница должна обеспечивать умывальники затычками. Я даже рассердился, что у нас делают такие ошибки и могут уронить престиж страны в глазах иностранцев.

— Через минуту все уладится,— пообещал я и позвонил горничной.— Почему у вас нет затычек для умывальников? — сурово спрашиваю я.

Горничная сначала не понимала, но я растолковал ей, о чем идет речь.

— В некоторых комнатах есть, в других нет,— говорит она.— Откуда я знаю, куда она девалась отсюда, может, потерялась.

— Безобразие! — рассердился я.— Где директор?

— Наверно, у себя,— отвечает она испуганно.

— Вы должны иметь во всех комнатах затычки к умывальникам,— поучаю я.— Знаете ли вы назначение этих затычек? Может быть, вы считаете их роскошью? А известно ли вам, что иностранцы затыкают ими умывальник, наполняют его водой и моются таким образом? И что отсутствие затычки роняет наш престиж?

— Никто до сих пор не жаловался,— попробовала возразить горничная.

— Люди были терпеливые,— пояснил я.— Сегодня же найдите затычку!

Женщина пообещала, что поищет затычку в свободных комнатах, и вышла.

— Будьте спокойны, мадам,— обратился я к Хорейше.— Сегодня же ваш умывальник будет снабжен затычкой!

Пока мы спускались с Арчи и Хорейшей в ресторан, она спросила меня:

— Знаете ли вы в Софии улицу Эксекоу?

— В первый раз слышу,— ответил я, смутившись.— Верно, совсем маленькая улица?

— На этой улице живет моя школьная подруга. Вот ее адрес,— и она достала из сумки какой-то конверт.

— А, Аксаков! — говорю я, проклиная в уме английское произношение.— Да, конечно, знаю. Это совсем близко.

— Да ну? — обрадовалась она.— О, я хочу сегодня же вечером видеть Сузи!

И она объяснила мне, что Сузи Топр, подруга ее детства, три года назад приехала в Болгарию преподавать английский язык вместе со своими четырьмя детьми и мужем Бобом, страшным симпатягой, и что она, Хорейша, умрет от нетерпения, если не увидит их в этот же вечер.

Когда после ужина мы позвонили в дверь Топров, встреча была трогательной.

— Ах, боже мой, Хорейша! — воскликнула Сузи и бросилась ей на шею.

Последовали восклицания, потом долгая церемония взаимных представлений. Сузи — низенькая и очень живая, Боб — краснощекий, русый, с трубкой в зубах. Один за другим подходили представиться четыре маленьких Топрика: Лиззи, Уилли, Майк и Крис. Лиззи уже двенадцать лет, она должна стать великой балериной, из Уилли и Майка (соответственно десять и девять) ничего не могло получиться, так как они не любили делать домашние задания, а Крис, меньшая, еще не знала, кем она станет, ибо ей было только пять лет. Вместе с детьми появился и пес Робинзон, отвратительный кобель, полный истинно собачьего самомнения. Мы расположились в холле, перед нами лежали развернутые номера «Таймс», все лица были раскрасневшимися и счастливыми, дети шумели тут и там, трубка Боба дымила, Сузи принесла пирожное с орехами, кобель храпел на коленях у Хорейши, словом, все было как на картинке из романа Диккенса, при помощи волшебства перенесенной на улицу Аксакова.

Разговор шел без остановок. Арчи и Боб тоже участвовали в нем, но не успевали сказать и четверти того, что выпаливали женщины. Только я молчал и чувствовал себя довольно глупо. В какой-то момент я хотел поцокать языком кобелю, но вовремя сообразил, что это было бы неучтиво, и сдержался.

— Что вы думаете делать в Болгарии? — спросила Сузи.

— Поедем на две недели к Черному морю,— отвечает Арчи.

— Правда? Ах, как прелестно! А куда точно?

— В...впрочем, как называется этот ваш новый курорт? — обратился Арчи ко мне.

Я вздрогнул, потому что почти задремал, но успел автоматически ответить:

— Солнечный берег!

— Ах, какое совпадение! — Сузи всплеснула руками.— И мы хотим поехать на Солнечный берег! Как мило было бы поехать вместе!

— Чу́дно! — восклицает Хорейша.

— И мы вместе проведем эти две недели!

— Не вижу, почему бы нам этого не сделать! — говорит Хорейша и смотрит на меня.

Сузи тоже повернулась ко мне.

— Представляете, как это было бы прелестно? — говорит она и мило мне улыбается.— Поскольку мы тоже не очень-то хорошо говорим по-болгарски, мы использовали бы вашу помощь. Вам это будет не слишком неприятно?

— Напротив, доставит только удовольствие,— отвечаю я.— Но мы едем через два дня. У вас заказаны комнаты?

— Нет.

— А билеты на самолет?

— Тоже нет.

— Плохо,— говорю я.— Сколько же человек поедет?

— Все семейство! — ответила Сузи не задумываясь. — Все, кого вы здесь видите. Я, Боб, Лиззи, Уилли, Майк и Крис. Кроме того, необходимо взять и милого Робинзона, его не с кем оставить, да и ему в разлуке было бы тяжело!

— Мне кажется, миссис Топр, за день до отлета невозможно найти столько мест в самолете,— попытался возразить я.— Вы знаете, что в летний сезон места в самолете заказывают за неделю.

— О! — воскликнула она умоляюще.— Я уверена, что вы могли бы устроить это!

— Разумеется, наш молодой друг поможет! — говорит Хорейша.— Молодой человек, нельзя портить первое очаровательное впечатление. Гид может все.

Я беспомощно посмотрел на Арчи, надеясь, что хоть он меня поймет. Однако Арчи поддержал дам.

— Прими это как мою личную большую просьбу,— говорит он и смотрит на меня весьма дружески.— Нам действительно будет неизмеримо приятнее провести этот отдых с нашими соотечественниками.

— Не о чем больше говорить,— заявила Хорейша.— Молодой человек устроит все!

На прощание Хорейша сообщила мне, что до отъезда на Солнечный берег она хотела бы только одного: осмотреть магазины Софии. Ей не обязательно что-либо покупать, может быть, она ничего и не купит, но, по ее мнению, обходя магазины, можно лучше всего понять дух города. Мы условились, что на следующее утро я должен встретить ее у гостиницы и проводить.

Я встал рано, нашел Адриану и рассказал ей о вчерашней встрече. Она схватилась за голову.

— Я сойду с ума! — кричит она.— Шестнадцать человек только за последнюю неделю! Не понимаю, что происходит. Наводнение иностранцев! И каждый требует от меня все, что ему взбредет в голову.

— Очень сожалею, но я не могу найти для них места! — взорвался я.— У меня нет ни отеля на Солнечном берегу, ни частной авиационной компании! Если вы их пригласили, отвечайте за последствия!

Тут мы немного поссорились, но потом помирились.

— Скажу им, что мест нет, и кончено дело, а? — предложил я.

— Об этом и речи быть не может,— говорит Адриана.— Должны найтись! Мы — страна, которая развивает международный туризм, и, если гость просит о чем-то, мы должны исполнить просьбу.

Она схватила сумку и потащила меня за собой. Сначала мы пришли в Балкантурист. К счастью, оказалось, что на Солнечном берегу еще есть комнаты. Нам обещали, что закажут комнаты телеграммой, и уверили, что мы можем спокойно ехать, все будет в полном порядке. Обрадованные, мы бросились в ТАБСО, но тут наш номер не прошел. На самолет в пятницу не было ни одного свободного места. Мы ходили по разным начальникам, просили, угрожали, плакали — все было напрасно. Под конец Адриана совершенно взбесилась.

— Не хотят добром, я могу и по-другому! — шипит она.— Сейчас позвоню дяде Божану. Он проучит этих бюрократов!

Она позвонила своему дяде, генералу авиации, договорилась о встрече с ним, и всего через полчаса было решено отправить в пятницу внеочередной самолет на Бургас и обеспечить в нем места для нашей группы.

— Вот так,— говорит Адриана,— все-таки мы спасли честь Болгарии в глазах английских гостей!

Тут я направился к гостинице, где меня ждала Хорейша. Со всеми этими хлопотами я опоздал на сорок минут. Задыхаясь, я прибыл на место. Она стояла в комнате еще в халате, но сразу же начала придираться.

— Всегда мне говорили, что понятие точности на Востоке очень условно. Но я не предполагала, что оно вообще отсутствует.

— Тысячу извинений!— говорю я.— До сих пор улаживал вопрос об отъезде Топров и, слава богу, смог устроить им билеты!

— Никогда не сомневалась, что вы это совершите,— говорит она бесстрастно.

— А кроме того,— говорю я со злобой,— совесть моя успокаивается тем обстоятельством, что вы еще не вполне готовы!

— О! — восклицает она.— Такие вещи не говорят даме, если хотят иметь у нее успех. Будьте джентльменом! Готовность дамы — это вопрос, который не обсуждают. Но джентльмен должен быть готов всегда!

Я был настолько взвинчен, что чуть не изложил ей наше понимание вопроса о дамах и джентльменах, но, конечно, проглотил его.

— Подожду, пока вы оденетесь,— бросил я и вышел в коридор.

Скоро она появилась в белом платье и улыбнулась мне задорно, желая показать, что предшествующая стычка не повредила нашей дружбе.

— Между прочим,— изрекла она, когда мы вышли на улицу,— Сузи вчера упоминала, что в Болгарии есть хорошие чехлы для подушек, с местными, экзотическими мотивами. Я хотела бы, когда мы будем обходить магазины, увидеть такие чехлы. В моей гостиной есть перуанские, но они мне уже надоели.

— Признаюсь, я никогда не интересовался чехлами для подушек,— говорю я,— но думаю, что мы их найдем.

Сначала я привел ее в специальный магазин для иностранцев. Готовых чехлов не было, но были выставлены различные декоративные ткани, которые могли быть пригодны для этой цели. Хорейше они понравились.

— Чу́дные! — умилилась она.— Какую южную страсть скрывает этот колорит!

Она выбрала три узора и спросила о цене. Продавец ответил. Я проглотил слюну и назвал цену в левах.

— Сколько же будет это в лирах? — почему-то спросила она.

Я пересчитал на лиры.

— Что? — закричала Хорейша.— Этого быть не может!

Я попытался объяснить ей, что ткани ручной выработки.

— Даже не говорите,— замахала она руками и показала на продавца.— Этот человек сумасшедший! Я не считаюсь бедной, но только миллионер мог бы себе позволить платить столько за какие-то чехлы для подушек! Идем в другой магазин!

Я не возражал, ибо раньше сам удивлялся ценам в этом магазине. Мы как-то спорили с одним моим другом. Я твердил, что такие магазины в убыток, ибо иностранцы только входят, смотрят и выходят, не купив ничего. Однако мой друг работал в торговом секторе и разубедил меня. Он сказал, что иностранные гости действительно ничего не покупают, но зато время от времени наши люди покупают подарки иностранным гостям, благодаря чему магазин все-таки делает свой оборот.

После этого мы с Хорейшей совершили такой обход столицы, что его не выдержали бы и самые выносливые экскурсоводы. Моя спутница была неутомимой. Она не только искала чехлы для подушек с местными экзотическими мотивами, которых мы так и не нашли, но интересовалась также и всем прочим, останавливалась у каждой витрины и подробно меня расспрашивала. Было жарко, я чуть не плавал в поту, еле волочил ноги и отвечал, ничего не соображая. Хорейша же невозмутимо галопировала от витрины к витрине и безжалостно спрашивала «Что это такое?» или «Сколько это стоит?». Не могу объяснить, откуда в этой женщине бралась такая энергия. Я попытался было ее отвлечь и сказал,

что подходящих чехлов для подушек в Софии нет, но я ей обещаю, когда приедем в Жеравну, найти экзотические чехлы, и гораздо дешевле.

— Чудесно! — воскликнула она.— Все же походим еще немножко по магазинам. Вы ведь не устали?

— О нет, нисколько! — отозвался я и в этот момент поклялся никогда в жизни не заставлять другого человека ходить по магазинам ради меня. Наконец Хорейша смирилась, взглянула на свои часы и сказала, что Арчи, вероятно, уже ждет нас к обеду. Однако, прежде чем мы достигли гостиницы, случилась неприятность. Хорейша каким-то образом оступилась и сломала каблук.

— Ах, как досадно!— говорит она.— Что я буду делать без этих туфель?

И она протянула мне испорченную туфлю.

— Очень вас прошу, отдайте ее сапожнику. Я не знаю никого в этом городе, только вы можете мне помочь!

— Но мы завтра уезжаем! — говорю.

— О, до завтра ее сто раз починят! — уверила меня она.

Я взял туфлю и, так как ничего не понимаю в дамских каблуках, отдал ее маме. Туфля необходима к завтрашнему утру, предупредил я; все нужно сделать изящно, потому что это для иностранки. Однако утром мама смущенно вернула мне туфлю.

— Никто не хотел чинить ее за такое короткое время. Только Сандо-пьянчужка согласился, да сделал не очень-то хорошо!

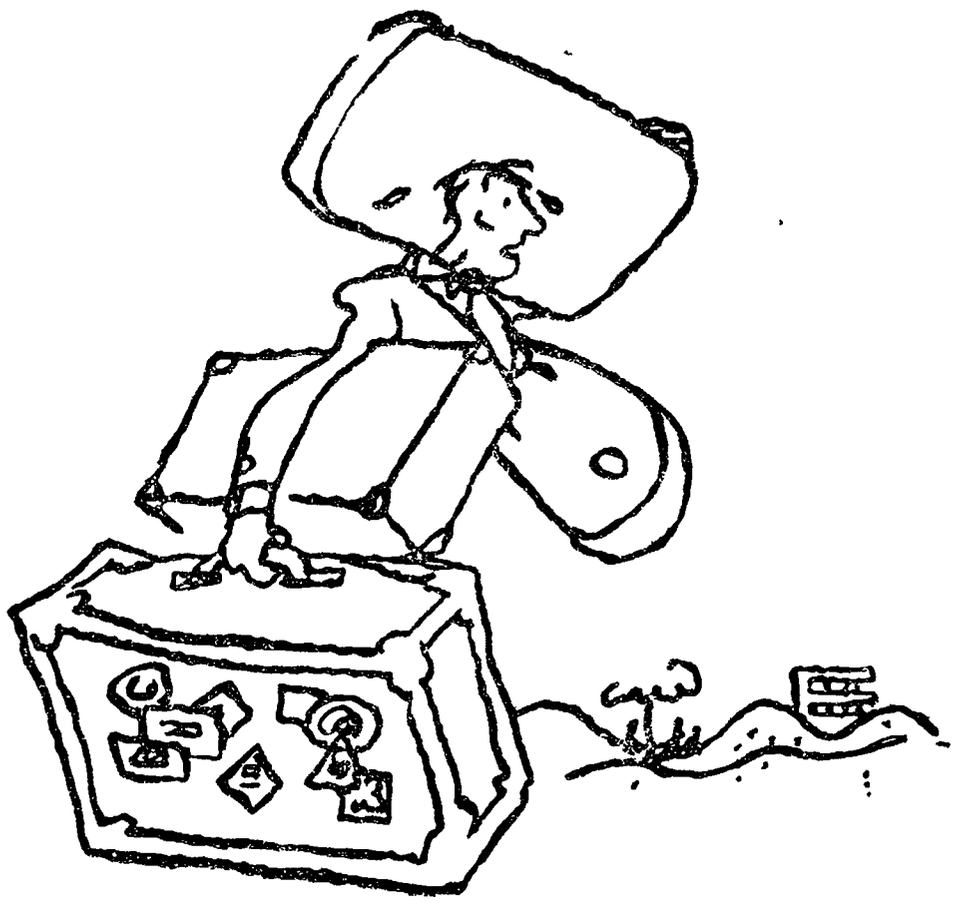
Действительно, на каблуке ясно был виден рубец. Я разозлился.

— Тебе было сказано, что нужно починить изящно,— закричал я,— что это не для болгарки! Ты что, хочешь опозорить меня перед людьми? Хочешь навредить мне на работе?

Мама казалась виноватой и стала оправдываться. Она предупреждала Сандо, но...

— И ты позоришь не только меня,— продолжал я,— ты позоришь страну! Как я отдам эту туфлю?

Все же я ее отдал и смиреннейшим голосом принялся извиняться, но, к моему большому удивлению, Хорейша сказала, что каблук о'кей и свое дело на море он сделает.



6. Как я сопровождал группу от Софии до Черного моря

Автобус, с которым мы должны были отправиться на аэродром, отходил ровно в двенадцать. Получасом раньше я явился в гостиницу. Все были готовы и ждали меня, но я с изумлением увидел, что они упаковали только по одному чемодану, а остальной багаж валялся в беспорядке.

— Почему же вы не убрали эти вещи? — спрашиваю.

— Мы берем только то, что может понадобиться на море,— объяснила Хорейша.

— Но ведь нужно освободить номер!

Хорейша посмотрела на меня испуганно.

— Почему же вечером вы сказали, что комнату освобождать не надо?

— Когда я это сказал? — разинул я рот.

— Вечером мы спросили вас, нужно ли освободить номер и собрать весь багаж, а вы ответили «нет»!

— Провались я на этом месте, если так говорил!

— Вы, вероятно, хотите сказать, что я лгу? — говорит Хорейша.

— Но в этом нет никакой логики,— простонал я.— Какой смысл держать пустыми две комнаты целых две недели?

— Этого я не знаю,— отрезала Хорейша.— Но я вечером ясно вас спросила, и вы ответили «нет».

Мне захотелось чем-нибудь ее ударить. Тут я вспомнил, что накануне вечером мы были в гостях у Топров, пили сливовую, и Хорейша два-три раза обращалась ко мне и говорила что-то, чего я не понял. Она ведь имела обыкновение проглатывать окончания слов, поэтому иногда я ее не понимал. Сначала я просил ее повторять сказанное, но потом мне стало неудобно, я боялся, как бы они не подумали, будто я, экскурсовод, не владею свободно английским языком, это могло бы уронить в их глазах не только меня, но и страну. Поэтому в дальнейшем я не перебивал их, стараясь только по интонациям определить, идет ли повествование — тогда я просто кивал головой, или же меня о чем-то спрашивают — тогда я наобум отвечал «да» или «нет» в надежде, что вопрос не повторится. Вероятно, и вчера вечером она меня вот так же спросила, и я сказал случайно «нет», а после уж об этом не говорилось. Я покраснел от огорчения, что меня могут обвинить в происшедшем инциденте. А когда вспомнил, что до отхода автобуса осталось менее получаса, мне стало прямотаки дурно.

— Вероятно, случилось какое-то недоразумение,— говорю.

— Но что будет с нашими вещами? — забеспокоилась Хорейша.

— Подождите-ка. Один момент, и все будет устроено!

Я бросился к управляющему, тот согласился хранить вещи до нашего возвращения. Хорейша и Арчи лихорадочно собирались. Я помогал насколько мог. В первый раз по приезде Арчи впал в плохое настроение.

— Мне это неприятно,— ворчит он.— Скажу прямо, мне это крайне неприятно!

— Что делать? — говорю.— Несчастная случайность!

— Я не дорожу остальными вещами,— пояснил Арчи,— но тут мои рукописи, заметки, письма. Мне крайне неприятно оставлять их так!

— Ничего не пропадет! — успокаиваю я его.

— И потом,— продолжал он,— мне неприятно, когда другие получают доступ к моему личному архиву!

— Не беспокойся. Никто не тронет твои рукописи! — сказал я.

За десять минут мы кое-как запаковали все, я снова бросился к управляющему, и по моему настоянию он лично уверил Хорейшу и Арчи, что их вещи сохранятся в такой неприкосновенности, какую не гарантирует даже Английский банк. Потом мы скатились по лестнице, схватили такси и без пяти двенадцать оказались перед ТАБСО. Я немного отдышался, но от всех этих переживаний у меня просто разламывалась голова. К своему ужасу, я обнаружил, что Топров еще нет.

Человек в серой фуражке направился к автобусу и крикнул:

— Прошу пассажиров занять места!

— О дьявол, где же эта Сузи? — вскричал Арчи.

— Кажется, три года жизни на Востоке повлияли и на нее,— говорит Хорейша.— В колледже она была очень точна!

Двенадцать без трех минут, без двух, без одной... Человек в серой фуражке приглашает нас садиться. Плохо было только то, что все билеты находились у меня, а то бы я бросил Топров на произвол судьбы. Пробило двенадцать.

— Давайте садиться! — мрачно произнес я.— Нечего больше ждать.

Шофер уже включил скорость, когда такси, как вкопанное, остановилось перед нами. и из него вывалилось все семейство: Сузи, Боб, Лиззи, Уилли, Майк, Крис и милый Робинзон.

— Стой! Стой! Сейчас будет садиться иностранная группа! — заорал я шоферу, и голова у меня заболела еще больше.

Вообще это было неприятное путешествие. В самолете все, за исключением кобеля, чувствовали себя плохо. Четыре мелких Топрика пожелтели. Лицо Арчи утратило свой прекрасный розовый цвет. У двух дам был траурный вид. Наконец после долгих мук мы прибыли в Бургас. Хорейша села на чемодан перед городским агентством и заявила, что она два раза по воздуху пересекла океан, летала в Стокгольм, Каир, Барселону и куда-то еще, но такого полета не помнит. Арчи молчал, но я боялся, что все это могло омрачить его первые хорошие впечатления о стране.

К сожалению, нас ждали новые испытания. Мы стояли на тротуаре среди бургасской жары, без транспорта, без крова и без ясного представления о том, что, собственно, ждет нас впереди. Никогда еще я не чувствовал, насколько тяжело бремя экскурсовода, так, как в этот момент. Все живописно расположились вокруг меня: Хорейша, Арчи, Сузи, Боб, Лиззи, Уилли, Майк, Крис и милый Робинзон. Еще обессиленные путешествием, с мрачными лицами, с целой дюжиной чемоданов, они смотрели мне в глаза и ожидали моих действий. Я был их единственной опорой, и мысль, что я несу ответственность за них, сильно меня тревожила. Я нашел поблизости ресторан и повел всю группу в него.

— Сначала отдохнем,— говорю,— а потом будет видно, что делать.

Мы сидели у дверей, пили пиво, и, хотя оно горчило, все-таки было легче. Но в этот день мне не суждено было ни минуты спокойствия. Милый Робинзон изъявил желание прогуляться и, когда его спустили, вышел на улицу. Сузи позвала его, но он не обратил на нее никакого внимания, а с достоинством встал у тротуара и загляделся на проходящие грузовики.

В это время появился какой-то цыганенок, босой, в морской тельняшке и парусиновых штанах. Он был достаточно черен от природы, да еще морское солнце жгло его все лето, так что он походил на суданца. Он увидел кобеля и улыбнулся ему двумя рядами своих белых зубов. Робинзон сделал вид, что не замечает этого. Цыганенок крикнул ему что-то и поманил рукой, но Робинзон, считая уличные знакомства неприличными, отошел в сторону. Его нелепая походка рассмешила цыганенка, он подскочил к собаке и протянул руку, желая ее приласкать. Терпение Робинзона лопнуло, пес обернулся, оскалил зубы и чуть не отхватил протянутую руку. Благорасположение цыганенка вмиг исчезло.

— Ах, подлая, ты кусаться! — закричал он и так толкнул Робинзона босой ногой, что тот отлетел на середину улицы и отчаянно завыл.

Несколько секунд английская группа казалась окаменевшей. Затем последовала реакция, подобная взрыву бомбы. Дети заорали. Крис расплакалась. Боб нервно сосал свою трубку и повторял: «Возмутительно!» Но яростнее всех была Хорейша. Она встала, в глазах у нее засверкали молнии, красные волосы разлетелись, как у разъяренной валькирии. Если бы не ее возраст, она с успехом могла бы исполнить роль Кримгильды в той сцене, где та клянется богам, что придет кровавая расплата.

— Эй, ты, дьявольская рожа! — завопила Хорейша.— Как ты смеешь...

Она не смогла найти слов от ярости, сгребла трясущейся рукой вилку и стиснула ее, как кинжал. Затем продолжала:

— Ах, я бы его убила, этого изверга! Я бы содрала с него черную кожу! Я изрубила бы его гадкую ногу! Я...

Не успев придумать следующую пытку, она вспомнила обо мне.

— А вы что стоите, как истукан? Почему не заставите арестовать преступника?

Так как все вокруг шумно негодовали, я решил, что мой долг экскурсовода побуждает меня что-то предпринять. Тот факт, что собака. собственность британской подданной, получила пинок ногой на нашей территории, бесспорно позорил страну. Поэтому я решительно поднялся и стиснул зубы, выражая свою солидарность с гостями.

— Неслыханно! — говорю и выскакиваю за двери. Цыганенок убежал на противоположный тротуар и хохотал во всю глотку.

— Эй, ты, манго *! — закричал я.— Зачем пинаешь собаку, а? Знаешь, что тебе будет?!

— Я тебе не манго! — засмеялся тот.— Теперь нет манго, теперь все равны!

Какое нахальство! Унижает страну перед чужеземцами да еще говорит о равенстве!

— Я тебе покажу равенство! — реву я.— Ты знаешь, что эта собака не болгарская, а? Я тебя в тюрьму упрячу за это дело! Эй, милиционер! — обернулся я к фигуре в униформе, показавшейся на углу.

Однако цыганенок уже исчез в боковой улочке, а фигура в униформе оказалась пожарником. Сузи увела милого Робинзона. Две женщины и дети окружили его, ласкали и говорили ему нежные слова. Все были сердиты на меня, время от времени Хорейша посылала мне взгляд, полный ненависти. Я решил, что сейчас самый подходящий момент позвонить на Солнечный берег и под этим предлогом ненадолго улизнуть.

— Ухожу звонить,— сказал я.— Ждите меня здесь!

На почте мне сказали, что дозвониться до Солнечного берега очень трудно, и действительно, в кабину меня позвали не менее чем через полчаса.

— Алло, Солнечный берег! — говорю я.

В трубке слышалось только тихое жужжание, словно где-то в горной роще над цветами гудели пчелы.

— Алло, Солнечный берег! — повторил я.

Жужжание продолжалось. Затем трубка начала трещать, словно в ухо мне засунули аппарат Морзе.

— Алло, Солнечный берег! — в третий раз произнес я.

Мне ответил равномерный стук. Я взбесился и застучал по вилке.

— Что ты расстучался, товарищ? — говорит телефонистка.

— Дайте мне Солнечный берег! — заорал я.

— Это и есть «Солнечный берег», кто говорит? — спросил кто-то в трубке.

— Алло, Солнечный берег! — завопил я с удвоенной силой.— Говорят из Бургаса. Получили ли вы телеграмму о группе английских...

В этот миг в трубке что-то щелкнуло, будто надломилось сухое дерево. Как сумасшедший, я кинулся к телефонистке.

— Товарищ! — хриплю я.— Солнечный берег мне нужен, понимаете вы по-болгарски? Мне нужен Солнечный берег!

— Здесь, что ли, я тебе его дам? — разозлилась та.— Стой в кабине, тебе ответят!

В горле у меня сипело.

— Алло, Солнечный берег!

— Да, кто это?

— Солнечный берег! Я следую из Софии с группой английских гостей. Получили вы нашу телеграмму?

---

* Презрительное прозвище цыган.

— Это казино «Солнечный берег», товарищ! — отвечает голос.

Если бы у меня было оружие, я совершил бы убийство.

Наконец среди всяких шумов послышался желанный ответ.

— Алло, слушает администрация Солнечного берега, кто говорит?

— Ох, слава богу! — простонал я и начал в третий раз: — Говорят из Бургаса. Сопровождаю из Софии группу английских гостей. Вы получили нашу телеграмму?

— Какую телеграмму? Никакой телеграммы не получали.

— Мы из Софии послали телеграмму, заказ на места!

— Может, и послали. Тут такой сумасшедший дом, никто ничего не знает!

Что-то кольнуло у меня под ложечкой.

— Товарищ! — снова взываю я.— Со мной восемь англичан, гостей правительства. Их непременно нужно устроить! Есть у вас комнаты?

— Есть, кажется, несколько,— ответил голос.

— Беру их! — завопил я.— Сейчас же выезжаем!

По моему телу текли струи пота. Я собрался с духом и позвонил на городскую автостанцию.

— Когда отправляется автобус на Солнечный берег?

— В четыре!

— А следующий?

— Следующий в семь!

Я посмотрел на часы. Было без четверти четыре. Если мы останемся до семичасового, у администрации закончится рабочий день и некому будет дать нам комнаты. Нужно уехать в четыре. Через четверть часа!

Боже, что за день! Я помчался обратно к ресторану. По пути попалась стоянка такси, я взял две машины.

В ресторане остались только мои англичане и собака. Рядом кельнеры уже складывали скатерти. В другом углу подметали. Все выглядело очень тоскливо. Арчи, Хорейша, Боб, Сузи, Лиззи, Уилли, Майк, Крис и милый Робинзон дремали на стульях.

— Скорее! — кричу я.— Скорее, а то пропустим рейс!

Поднялась суматоха. Как попало мы влезли в два автомобиля. Во втором оказались деги, Сузи и я. Машины полетели к автостанции. Вдруг Сузи тревожно заворочалась.

— Что случилось? — спрашиваю.

— Совсем забыла, что не взяла шапочку для купания,— говорит.

— Купите на Солнечном берегу.

— На Солнечном берегу их может не быть. Я должна купить ее здесь.

— Сейчас не время для покупки шапок! — говорю.

— Но я не могу без нее плавать,— захныкала она.— Волосы лезут мне в глаза! Без шапочки я вообще не войду в море!

В отчаянии я наклонился к шоферу и спросил, есть ли по пути магазин купальных принадлежностей. Он кивнул и немного спустя остановил машину. Я выскочил, купил шапку. Первое такси уже исчезло впереди.

— Извольте,— подал я шапку Сузи.

— Боже мой, какой отвратительный цвет! — говорит.— Нет ли синих?

Я не ответил ничего, потому что, заговорив, нарушил бы правила международного туризма. Молчал и смотрел в окно. На площадь перед автостанцией мы прибыли в четыре без одной минуты. Автобус был переполнен и мог тронуться каждое мгновение. Перед ним стояло первое такси. Арчи и Боб размахивали руками перед носом шофера.

Хорейша встретила меня как фурия. Она была настолько разозлена, что произносила только начальные буквы слов, и ее совершенно невозможно было понять.

— Вы не имеете права обращаться с нами, как с тряпками! — кричала она.

— Какими тряпками? — говорю.

— Вам мало того, что вы заставляете нас часами дожидаться в этом вонючем ресторане, вам мало, что мы изнервничались до смерти, что мы задыхаемся от спешки, вы еще не оставляете с нами никого, кто мог бы договориться с шофером!

— Я вам после все объясню! — сказал я.— Нам нужно...

— Нечего мне объяснять! — не успокаивалась она.— Вы просто не годитесь для этой работы, вот и все!

Я затрясся от злости, но сдержался и ничего ей не ответил.

Как я уже сказал, автобус был переполнен, воздух в нем был тяжелым. Раньше я думал, что запах в автобусе — присущая только нам особенность, но теперь понял, что это явление общечеловеческое. Половина путешественников не относилась к болгарам, у них были розовые лица, как на рекламе туалетного мыла, и все же тяжелый запах плавал в воздухе волнами. К счастью, два молодых немца уступили места Хорейше и Сузи, один из пассажиров вышел, и Арчи занял его место, а дети расположились на чемоданах. «Слава богу, самое плохое позади! — сказал я себе.— Как бы то ни было, мы едем!»

Это было наивно с моей стороны, я понял это сразу же по приезде. Автобус остановился, вокруг моментально собралась толпа. Вероятно, мы представляли собой внушительный комплекс — пятеро взрослых, четверо детей, собака и целая дюжина чемоданов,— потому что даже в этом месте, где необычайное стало привычным, люди оборачивались, чтобы посмотреть на нас. Мы стояли перед аркой, за которой виднелась широкая аллея. В глубине вырисовывались постройки. Рядом были трава, кустарники, песок. Неопределенная тоска сжала мне горло.

— Нет ли на Солнечном берегу носильщиков? — спросил я человека в рабочей одежде.

— Не видал! — говорит.— Тут все еще новое, может быть, об этом никто не подумал!

— Такси-то уж можно было бы завести!

— Есть две машины! — пояснил он.— Только они стоят у казино. И днем всегда заняты. Нужно заказывать их с вечера!

— Вот что,— сказал я гостям.— Мне нужно сначала узнать, в какой отель нас поместят. Вы подождите здесь!

— Я не могу больше ждать! — воскликнула Сузи.— Я пойду с вами!

— Я тоже! — присоединилась Хорейша.

Боб и Арчи, не произнеся ни слова, подняли чемоданы.

— Будет очень тяжело перенести весь багаж за один раз,— говорю я.

— Нет ли носильщиков? Или такси? — спросил Арчи.

— Мы приехали в такое время, что все уже разошлись,— говорю.

— Ладно, тогда мы с Бобом останемся,— кисло промямлил он.

Они сели на ближайшую скамейку и вытащили трубки. Хорейша и Сузи взяли по легкому чемодану, я — два тяжелых. Дети и милый Робинзон тронулись за нами.

В канцелярии друг против друга сидели два человека, заваленные письмами, бланками, папками и листками, они даже не подняли голов. На стене висела большая карта.

— Эй, товарищ!

Один наконец посмотрел на меня. Глаза у него были красные, как у зайца.

— Час назад я говорил с вами по телефону,— сказал я.— Я сопровождаю из Софии группу английских гостей!

Было абсолютно ясно, что к концу рабочего дня этот человек совершенно утратил способность соображать. Он нахмурил брови и с усилием старался вникнуть в мои слова.

— А, да! — вспомнил он.— Сколько комнат вы хотите?

— Я хочу две комнаты с одной постелью и номер для семьи с четырьмя детьми и собакой,— говорю.— И какое-нибудь местечко для меня!

Человек посмотрел на карту.

— Вас мы устроим на вилле,— говорит.— А для иностранцев есть место только в отеле «Мимоза». Это новейший отель. Работает с сегодняшнего дня.

— Только поскорее,— говорю.— Где эта «Мимоза»?

— Вот! — показал он на карте.

— А где мы сейчас?

— Здесь! — он показал на другой конец.

— Не далековато ли?

— Других мест нет!

— Ладно. Кто-нибудь нас проводит?

— Некому вас провожать. Люди заняты. Найдете сами.

— Хорошо же вы встречаете гостей! — говорю я гневно.— И это болгарская Ривьера! Превосходно мы выглядим перед иностранцами!

— Товарищ, мы работаем с большими группами! — говорит тот.— Вы прибыли совсем неожиданно, что мы можем сделать?

— Мы послали телеграмму,— говорю.

Он кивнул на огромную кучу корреспонденции перед собой.

— Все это телеграммы! Кто знает, где ваша?

— После разберемся,— я решил прекратить разговор.— Можете вы хотя бы сказать, в какой стороне ваша «Мимоза»?

Он подошел к дверям и показал рукой.

— Идите по аллее, пока не увидите большой вяз. Там свернете по аллее направо. В конце ее и расположен отель «Мимоза». Вы не можете его не узнать, это последний отель. За ним только дюны. Рядом с ним ресторан «Афродита», где вы будете питаться. Вот записка администратору отеля. Когда устроите гостей, мы позаботимся о вас.

В пять часов пополудни все еще было очень жарко. Мы прошли вяз, повернули во вторую аллею. Потом остановились: невероятно, но мы все еще не дошли.

— Где же отель «Мимоза»? — спрашиваю я человека, который ковыряет какие-то грядки.

— Пройдите дальше! — отвечает он.

Наконец я увидел отель: действительно, последний, и за ним только дюны. Управляющая объяснила, что готовы только несколько комнат.

— Отель еще не достроен! — говорит.

Мы сняли комнату для Арчи, комнату для Хорейши и две — Топрам. Вошли в первую. Женщины смотрели свирепо. Комната была хорошая, но они были в таком настроении, что и Виндзорский дворец показался бы им конурой.

В это время снаружи послышался невероятный шум, словно сто человек скребли вилками по сковородам. Оказалось, какой-то человек на террасе выпиливает запасные ключи.

— Ах, что за отвратительный скрежет! — чуть не рыдает Хорейша.— Я не смогу жить в этом скрежете!

— К утру он кончит! — успокаиваю ее я.

— Отойди подальше, ты! — говорит управляющая.— Не видишь, иностранцы приехали!

Ключник сердито посмотрел, переместился на два-три метра и продолжал скрежетать.

— Если этот скрежет не прекратится, я сразу же уеду! — зашипела Хорейша, снова вошла в комнату и рухнула на кровать.

Я проглотил комок, который остановился у меня в горле, и ничего не сказал.

— Тут ванная! — говорит управляющая и отворяет боковую дверь.

Сузи начинает сразу же вертеть кран с горячей водой. Сначала слышится какой-то свист, потом вода и вправду течет. К сожалению, вода не была горячей. Обыкновенная холодная вода, как в любом колодце.

— И горячей воды нет! — тянет Сузи и на невероятном болгарском языке обращается прямо к управляющей: — Нет... товарищ... без воды... не можна... плачу... столько деньги!..

— Но это потому, что отель совершенно новый! — говорит управляющая.— Везде в других местах есть горячая вода!

Это не успокоило Сузи, она воинственно обернулась ко мне и по инерции продолжала говорить на болгарском:

— Я привыкла... всякий день... купают... Почему вы... привели мы... на такое место?

Тут уж я не мог сдержаться и дал волю всему, что во мне накипело.

— Ах вот что! — говорю я подчеркнуто по-болгарски, и голос мой звучит как рычание.— Вы три года живете в Болгарии! Вы-то не гостья! Вы знаете очень хорошо, что еще многое у нас ново, что еще имеются неурядицы, устраняются они постепенно. Никто не приглашал вас сюда, вы сами пожелали приехать. Если вам здесь не нравится, можете убираться в Варну, или на Золотые пески, или к вашей матери!

Сузи не поняла последнего слова, но умолкла и сникла. Хорейша тоже почувствовала, что мое терпение лопнуло, и смотрела на меня широко раскрытыми глазами.

— Стойте тут! — скомандовал я.— Я пойду за Арчи и Бобом!

Я снова вернулся к арке. Они сидели на прежнем месте. Лица их от солнца заалели, будто ягодки.

— Все в порядке! — говорю им.— Нашел вам очень хорошие комнаты! Пошли!

И вот перед моими глазами в третий раз возник отель «Мимоза». Я расставил багаж по комнатам и сказал:

— А сейчас я оставлю вас ненадолго, чтобы вы немного отдохнули после путешествия. В девять часов мы встретимся в ресторане «Афродита».

Я не знал, где находится ресторан «Афродита», но в тот момент это нисколько меня не интересовало. Никто ни о чем меня не спросил, я повернулся и пошел. Не помню, как я в пятый раз проделал путь до курортной конторы, как мне сказали, в какой вилле я буду жить, как я нашел эту виллу. Я открыл свою комнату, рухнул на кровать и при всей своей усталости испытал какое-то удовлетворение. Как-никак, я успешно доставил всю группу на Солнечный берег и устроил в отель «Мимоза» Арчи, Хорейшу, Сузи, Боба, Лиззи, Уилли, Майка, Крис и милого Робинзона. Это стоило мне так много нервов, что я скорее предпочел бы участвовать в походе Александра Великого, чем повторить еще раз наше путешествие.

— Клянусь отцом и матерью! — сказал я громко.— Никогда больше я не буду экскурсоводом!

И уснул.

7. Как мы жили на Солнечном берегу

Прошло несколько дней, мы сидели в ресторане «Афродита» и пили сливовую. Воспоминания о тяжелом путешествии выветривались, как откупоренная минеральная вода. Мы привыкли к новому месту и чувствовали себя отлично. Большой пестрый шатер оберегал нас от солнца, дул легкий ветерок, море и полуостров Несебер стояли как нарисованные, а рядом прогуливались немки и чешки в купальных костюмах, разнося здоровый аромат нагретых солнцем тел. Хорошо сидеть вот так под тентом, знать, что ничего не случится до обеда, пить сливовую, но не спеша, совсем лениво — тянуться, брать рюмку, чуть-чуть ее поднимая, отхлебывать, потом отставлять и лишь через четверть часа тянуться к ней снова. Арчи очень нравилось пить именно так, он даже сказал, что это одно из самых больших достоинств Востока.

— Мы на Западе всегда спешим,— добавил он,— и не понимаем, что, если пьешь медленно и беспечно, сама беспечность увеличивает опьянение!

Рядом простиралась терраса ресторана «Афродита», большая и закругленная таким образом, что походила на марсианский космический корабль, какими их изображали в юношеских романах, когда никто еще не знал, как будет выглядеть настоящая космическая ракета. В трехстах метрах был расположен другой ресторан, который назывался «Тюльпан», потом шло «Казино», потом еще два ресторана. Между ними сверкали отели и виллы, шли асфальтовые аллеи, и все кишело автомобилями, мотоциклами, мотороллерами и пешеходами. Больше всего было все-таки пешеходов, они придавали окрестностям совсем европейский вид, хотя все были почти голыми, а ведь голые люди все похожи друг на друга. Я чувствовал гордость и восторг. Подумать только, что совсем недавно представлял собой этот берег — пески, пустыри, дикие кустарники, где целыми днями не увидишь живой души!

Сейчас все это настолько изменилось, что трудно свыкнуться с новым видом. Огромный, европейского масштаба курорт был воздвигнут тут за одно лето. Люди со всего света стекались сюда, чтобы потом разнести по миру славу о болгарской Ривьере. Признаюсь, иногда мне становилось жаль прежней первобытной романтики. Но, с другой стороны, стоило мне оглянуться, увидеть всех этих отдыхающих, услышать звонкую иностранную речь — и сожаление сразу пропадало. Гости были довольны — и это меня приводило в восторг.

Правда, имелись еще мелкие недостатки, они портили общее впечатление. Спустя два дня после нашего приезда в отеле «Мимоза» появилась горячая вода, но тогда испортился кран в ванной Арчи. Еще до того как кран исправили, вдруг исчезло полотенце Хорейши. Я сразу же снабдил ее другим, но она подозревала, что полотенце украдено горничной, и говорила, что при создавшемся положении ее личный багаж в опасности. Это сделало Хорейшу довольно нервной. К счастью, пропавшее полотенце нашлось под матрацем, куда Хорейша сама его засунула, и она успокоилась.

Были неприятности и с рестораном. Ресторан «Афродита» на вид был таким, какие едва ли имелись и в настоящей Ривьере, но, поскольку

курорт был совсем новый, обслуживание еще не достигло необходимой высоты. Пока подавали еду, я сидел как на иголках, потому что никогда не был уверен, не огорошат ли меня чем-либо. Особенно трудными были завтраки — в первый же день начались недоразумения с Хорейшей из-за чая. Она носила с собой какие-то необыкновенные пакетики с цейлонским чаем и хотела класть их прямо в кипящую воду.

— Поймите, это не каприз,— говорила она мне. — В остальных отношениях я совсем не требовательна, чай — это единственное, за что я держусь. Я страшно привыкла к своему утреннему чаю, без него я совершенно больна!

Десять раз я объяснял официантам, как приготовляется этот чай, и все-таки в кухне, не знаю почему, продолжали разрывать пакетики и только тогда высыпать чай в воду. От всей этой истории больше всех страдал я, потому что Хорейша сердилась на меня, и у меня начинало болеть сердце, когда я думал, что такие пустяки портят ее общее хорошее впечатление от страны.

Я не был вполне спокоен и когда сервировали обеды и ужины. То вообще забывали выполнить заказ, то носили кушанья в странном порядке — начинали с десерта, а уж после него появлялись суп и второе.

— Мы приносим его сейчас, так как потом он может кончиться! — объясняли они нам.

Напоследок я не выдержал и пожаловался метрдотелю, он уверил меня, что будет лично следить за обслуживанием английских гостей и у нас больше не будет никаких неприятностей.

И действительно, в тот же день он подошел к нашему столу и поклонился тем сдержанным поклоном, который выражает большое почтение, не будучи в то же время преувеличенно угодливым. Это был очень представительный метрдотель, высокий, полный, гладко выбритый, с приглаженными волосами, переливающимися, словно шелковая подкладка, своими серебристыми прядями.

— Как себя чувствуют наши гости? — спросил он и любезно улыбнулся.— Нравится ли им наше море?

Мы пригласили его сесть с нами, но он сказал, что подойдет еще немного погодя, а сейчас сам накроет на стол, чтобы доброе имя ресторана «Афродита» было восстановлено.

— Выберите яства,— предложил метрдотель,— все будет приготовлено специально для английских гостей!

И верно, я никогда еще не видел такого обслуживания в ресторане. Он позвал еще двух кельнеров, и они почтительно выслушивали его заповеди. Все приносилось с божественной последовательностью — салаты, супы, рыба, мясо, десерты, кофе, напитки. В тот самый момент, когда одна тарелка освобождалась, сразу же появлялась следующая, и сами блюда были приготовлены не так, как раньше. Казалось, повар вложил в них весь свой талант. Мои англичане были очень довольны, я сиял от восторга. Правда, это случилось только один раз и на следующий день все пошло по-старому, но важно было показать, что и мы можем обслуживать так, как обслуживают в Европе.

Между тем пробило двенадцать часов. Из воды, с пляжа, с дюн, из аллей и отелей к ресторану двинулись толпы отдыхающих. Они шли волнами. Терраса сразу переполнилась, шум многих языков заглушил рокот Черного моря. Между столами, как сумасшедшие, забегали официантки в светло-синих передниках. Сначала они старались быть исполнительными, однако темп работы сокрушал их благие намерения. Они сновали со своими огромными подносами, не могли вспомнить, куда что нести, бледнели, краснели, останавливались на полпути и принимали сосредоточенный вид людей, решающих математическую задачу. На них

кричали отовсюду. Их бранили иностранцы, их бранили начальники, их бранили повара, сами они бранились между собою, пока, растрепанные и подавленные, не убегали в кухню.

— Что вы хотите от такого персонала? — горько сетовал наш метрдотель. Он уже присел к нашему столику.— Вместо того чтобы собрать понимающих людей, мы, как говорят, используем местные кадры. Собрали девчонок из окрестных сел, сунули их на месячные курсы — и ладно! Разве так рождаются официанты? Видано ли, чтобы из крестьянина когда-либо получился официант? Официант — это артист, он должен разбираться во всем, быть гастрономом, понимать, что ему заказывают, владеть языками, знать мир, должен знать страну клиента, знать, как ему подать, как красиво изогнуть руку, что сказать, когда улыбнуться! Официанту нужна культура!

Гости полностью с ним согласились.

— Я-то разбираюсь в этом деле,— продолжал он.— Девять лет я занимался этим в Европе. Я проехал Германию, Швейцарию, я работал в шикарнейших заведениях! Потом у меня в Софии был собственный ресторан «Экзарх Иосиф», было другое время, люди умели жить! Потому-то мне особенно приятно встретить настоящих европейцев. Несмотря на то, что...

Тут он вдруг вскочил и заорал:

— Эй, смотри! Я тебе руки оторву, лучше не попадайся!..

Эти слова относились к официантке, маневрировавшей с перегруженным подносом между столиками и налетевшей на один из столбов под тентом. Нечеловеческим усилием она удержала поднос, но часть бульона с яйцом пролилась на белые брюки какого-то немца, тот возмутился. Услышав крик начальника, несчастная официантка замерла от ужаса, потом поставила поднос на соседний стол и разразилась рыданиями.

Нам стало жаль ее, метрдотель понял это и тут же любезно улыбнулся.

— Простите мой грубый тон! — сказал он.— Я мягкий человек, но все мы ужасно изнервничались. До конца сезона здесь настоящий сумасшедший дом!

После обеда, выйдя из своей комнаты покурить, я был приятно изумлен, увидев, что моя соседка тоже вышла из своей комнаты и вытянулась в шезлонге. До сих пор я видел ее всего один раз, но у меня осталось о ней хорошее впечатление. Она была совсем молодая, с прической той египетской царицы, имени которой я не помню, хотя оно упоминается во всех учебниках истории искусств. На ней были короткие брюки и свободная яркая блуза. Я тоже вытянулся в своем шезлонге и испытывал легкое волнение, так как решил, что пришел момент познакомиться. Я прикрыл веки, томно посмотрел на нее, ибо не раз слышал, что это придает мне привлекательность, и старался придумать что-либо пооригинальнее, чтобы начать разговор, когда она первая с улыбкой обернулась. В двадцатом веке стало совсем легко быть мужчиной, женщины взяли на себя всю инициативу в подобных ситуациях.

— Что поделывает ваша экстравагантная английская группа? — спросила она.

Я ответил, что все чувствуют себя хорошо, и удивился, что она нас знает.

— Да ведь вы самое колоритное пятно на Солнечном берегу! — засмеялась девушка.— Вас знают все!.. Ваш кобель восхитителен! Мадам с красными волосами тоже очень эффектна! Я ее увидела и перепутала со Скарлет О'Хара! *

---

* Героиня романа американской писательницы Маргарет Митчел «Унесенные ветром».

Мне понравилась ее манера смело употреблять иностранные слова и вкрапливать в беседу литературные образы. Вот настоящая современная девушка, которая не стесняется открыться в первые же минуты! Я спросил, отдыхает она тут или работает.

— Мы коллеги с вами! — говорит она.— Я экскурсовод чешской группы. Только у вас пять человек, а у меня — пятьдесят.

Она принялась жаловаться на свою работу, потом мы вступили в долгий и приятный разговор и наконец познакомились. Ее звали Радость — это очень смешное имя, но некоторые называли ее Ради, это тоже было смешно, потому что по-болгарски Ради — имя мужское.

— Вообще, имя у меня очень сложное! — сказала она.— Как сама я!

— Разве и вы страдаете от комплексов? — остроумно спросил я.

— Мы еще не познакомились достаточно хорошо, чтобы говорить о комплексах! — говорит.— Это можно лишь на второй вечер!

Я почувствовал себя обескураженным и старался придумать предлог потоньше, чтобы пригласить ее с нами поужинать, но она снова взяла инициативу в свои руки и избавила меня от беспокойства.

— Знаете, я немножко учила английский! — говорит. — И с удовольствием попрактиковалась бы в обществе ваших гостей!

— Конечно! — кричу я.— Какой прекрасный случай! Поужинайте с нами! Я познакомлю вас с англичанами, они очень милые люди!

— Идеально! — говорит.— Сперва я накормлю своих чехов, а потом мы скоординируем наше времяпрепровождение!

Мы еще не кончили ужинать, когда Радость появилась в «Афродите» и молодецкой походкой направилась к нам. Мужчины с соседних столиков провожали ее взглядом, и мне это доставляло удовольствие. Я представил гостям Радость как коллегу. Завязался общий разговор. Я чувствовал себя воодушевленным и сам удивлялся, как осмысленно и остроумно говорю. Арчи, глядя на меня, ухмылялся, будто божество, которое сверху с симпатией наблюдает за смертными. Хорейша и Лиззи тоже улыбались, а Хорейша даже подмигнула и сказала, что не подозревала у меня такого хорошего вкуса. Вслед за этим все заявили, что им хочется спать, и попрощались. Мы остались вдвоем с Радостью, пили, танцевали, каждый из нас говорил о знакомых, о вкусах, о книгах, о фильмах, о музыке и конечно о себе. Очень приятно обрести такого интересного собеседника, которому можно сразу же рассказать все о себе.

После закрытия ресторана мы вышли, и Радость заявила, что ей не уснуть — взошла луна, и ночь восхитительна. Мы шли по берегу, продолжали болтать, в наши туфли набивался песок, но это не имело никакого значения, потом мы нашли перевернутую лодку, сели на нее, поговорили еще и наконец умолкли. Затем Радость сказала: «Нужно идти!», мне не хотелось, я попросил: «Еще немного!», но эти современные девушки если уж взяли инициативу, то не выпустят ее из своих рук. Она повторила: «Нет, пойдем!» — голосом, не терпящим возражения, и мы пошли назад по пляжу. Над морем высоко взошла луна и блестела, как новенький пятиалтынный, а мы обнялись и были очень счастливы. Подойдя к нашей вилле, мы поцеловались, и я попытался объяснить что-то Радости, но она оттолкнула меня, заметив: «Сохраним романтический стиль. Спокойной ночи!» — и скрылась в своей комнате. Ничего не оставалось, как тоже уйти, но меня охватило какое-то смятение; не знаю, от луны ли, от моря ли, и я не мог сомкнуть глаз. Мне было очень жарко, меня что-то беспокоило, в какое-то мгновение я чуть не постучал Радости через стену, чтобы, если и она не спит, выкурить вместе по сигарете, но не решился, так как кто-нибудь мог нас увидеть и все истолковать неправильно. Наконец простыни мои превратились в ком, я зажег ночник, и меня

охватило непреодолимое желание написать стихотворение. Я не занимаюсь такими делами, но временами, встречая интересную девушку, испытываю потребность выразить свои чувства в стихах. Я поднялся, взял лист бумаги, карандаш и решил, что после ежедневного контакта с Арчи и вечера с Радостью стихотворение должно быть написано в ультрасовременной форме, так, как пишут на Западе. Это оказалось очень трудным делом, я долго мучился, писал, зачеркивал, опять писал и опять зачеркивал, так что, когда я закончил, почти рассвело. Как труп, я повалился на кровать и заснул, а когда проснулся, был уже полдень. Я увидел около себя листок со стихами и прочел их. Вот что я написал:

С прической египетской царицы
ты снова возвращаешь нас к изысканности
средневекового царства,
которое делает тебя ультрасовременной,
о дитя века!
Но, хотя ты и ультрасовременна,
хотя линии твоего тела динамичны,
как у торпеды, делающей 500 миль в час,
в этот вечер, когда я впервые коснулся тебя,
там, на перевернутой лодке,
я ощутил твою субстанцию,
вечную теплоту,
материю,
энергию,
космическое излучение,
от которого все мы произошли,—
ощутил, о современная красавица
с прической египетской царицы
и линиями торпеды,
что все-таки
и ты
ЖЕНЩИНА!!!

Я удивился самому себе, стихотворение мне очень понравилось, я даже подумал, что, может быть, у меня действительно есть поэтическое дарование. Человек никогда не бывает уверен, что у него нет какого-либо таланта. Я спросил себя, что бы сказал Арчи о моем произведении, сел, с помощью словаря перевел его быстро на английский язык и за обедом прочел. Я был немного взволнован и с трепетом ждал компетентного суждения.

— Хорошо! — сказал Арчи.— Очень хорошо! Сравнение с торпедой чрезвычайно удачно. Думаю, что стихотворение можно было бы опубликовать в каком-нибудь английском журнале!

— Ты думаешь? — произнес я скромно, но внутри у меня все запело.

— Уверен,— говорит он.— Ну, если не в лучшем журнале, то во второстепенном! Ты мог бы получить за него гонорар!

Я откинулся на спинку стула и посмотрел с удивлением.

— Меня не интересуют деньги, Арчи,— говорю.— Меня интересует твоя эстетическая оценка.

— Хм, вы странные люди! — говорит Арчи.— Ради чего, ты думаешь, писал, ну, скажем, Вильям Шекспир?! Прежде всего он писал ради денег, ради того, чтобы поддержать театр и иметь что-нибудь на обед.

— Как ты можешь так говорить? — воскликнул я возмущенно.— Он писал не только ради денег!

— Стимулом для него были деньги! — говорит Арчи.— Чтобы создать художественную ценность, нужно иметь какой-нибудь источник вдохновения. Иначе получится искусство для искусства — а это и вы, марксисты, отвергаете! Ради денег писали почти все — и Диккенс, и Мольер, и Бальзак! Если бы им не платили, никто из них не написал бы ни строчки.

— Неверно! — возмущаюсь я.— В их сердцах горел священный творческий огонь. Разве ты сам пишешь только из-за денег?

— Иногда мне приятно написать что-нибудь интересное,— отвечает он.— Но и чистильщику приятно хорошо начистить башмаки. Однако попробуй заставь его работать только потому, что это ему приятно! Так и я, если бы не получал что-то за свои произведения, я отдался бы более легким занятиям!

Я чуть-чуть ему не ляпнул, что в таком случае он не настоящий писатель, но вовремя опомнился и замолчал.

— Тогда не мы, а вы странные люди! — говорю я немного погодя.— Может быть, потому, что мы славяне, мы способны не обращать внимания на деньги. А быть может, такая уж у нас философия!

— Вероятно,— говорит Арчи.— Меня, например, всегда подавлял Достоевский, потому что в его «Идиоте» есть одна сцена, в которой героиня сжигает двадцать тысяч рублей ради красивого жеста! От этой сцены меня пробирает дрожь! Мне кажется, что в этом есть лицемерие, что-то нечеловеческое, чудовищное. Сжигать деньги, при помощи которых ты мог бы устроить всю свою жизнь! Мне кажется, эта женщина с другой планеты! И пойми, это не жадность, я тоже мог бы, не жалея, отдать двадцать тысяч, но за что-то рациональное, за дом, например, или совершил бы на эти деньги новое увлекательное путешествие! Деньги — это огромная сила, двигатель жизни, их нельзя принимать только как денежные знаки, это символ общества! За ними стоит все: труд, способности, энергия, они — свидетельство ценнейших качеств человека! Так уничтожать деньги — это значит уничтожать человеческое, это негуманно!

Арчи разошелся, и я не захотел больше спорить.

Когда мы кончили обедать, к нам приблизилась какая-то женщина.

— Простите! — обратилась она ко мне.— Можно у вас спросить кое-что? Я знаю, иностранцы интересуются старыми иконами, а у меня есть две для продажи. Если хотите...

Я не хотел касаться таких вещей, но, подумав, что, быть может, гостям это будет любопытно, все-таки сказал им. Арчи покачал головой, но Хорейша загорелась:

— Обожаю старые вещи! — воскликнула она, и мы договорились встретиться с женщиной в отеле. Немного погодя она входит в комнату Хорейши с большим пакетом под мышкой, развертывает его и показывает иконы. Я не очень-то разбираюсь в них, но эти мне понравились. Они были пестренькие, в них было много наивности, а, как известно, это представляет сейчас большую художественную ценность. Особенно одна икона, если не ошибаюсь, с изображением святого Николы, была совершенно прелестна. Вокруг — смешные ангелочки с крылышками, как у бабочки, а сам святой походил на старого пирата. Увидев его, Хорейша ахнула.

— Откуда эти иконы? — спрашивает.

— Мой муж священник,— отвечает та.— Осенью, когда ремонтировали церковь, нашли в подвале дюжины их, кто знает, сколько лет они там пролежали. Те, что были с краю, оказались поврежденными, а другие полностью сохранились. Мы уже продавали одной художнице из Софии, она говорит, эти иконы времен царя Ивана Асена Второго. Потом мы узнали, что она перепродавала их иностранцам и брала двойную цену. Мы рассердились, потому что эти иконы наши, мы ведь их нашли! Осталось еще несколько, мы с батюшкой решили сами продать их иностранцам, зачем другим отдавать барыш?..

В последнее время иконы были ходким товаром. Кто ни приедет, спрашивает старинные иконы. Могу привести в пример мою бывшую однокашницу, которая вышла замуж за шведского киноартиста, а в

прошлом году приезжала в Болгарию провести лето и повидаться с друзьями. Доброе софийское общество встретило ее с большим радушием. Она случайно увидела несколько старых икон, заинтересовалась ими, и доброе софийское общество с радостью взялось ей помочь. Ее друзья объехали десятки старых селений, монастырей и часовен и наконец снабдили ее двадцатью восемью подлинными старинными иконами. Рассказывали, что она увезла их в нескольких чемоданах. Их не обнаружили на границе, потому что иконы лежали снизу, а сверху она навалила копривщенской колбасы. С одной стороны, она поступила хорошо, ибо прославила нашу родину даже в далекой Швеции, но, с другой, мне кажется, если эти наивные иконы представляют собой художественную ценность, хорошо бы их сохранять здесь, а не вывозить за границу.

В это время Хорейша дернула меня за рукав и сказала, что хочет купить иконы.

— Сколько стоят? — спрашиваю я.

— Две тысячи восемьсот.

— Но у меня нет таких болгарских денег! — говорит Хорейша, заглянув в портмоне.— Если она хочет, я могу заплатить в лирах!

— Не хочу в лирах! — говорит попадья.— Потом меня будут допрашивать, откуда они у меня взялись!

— Что же делать?

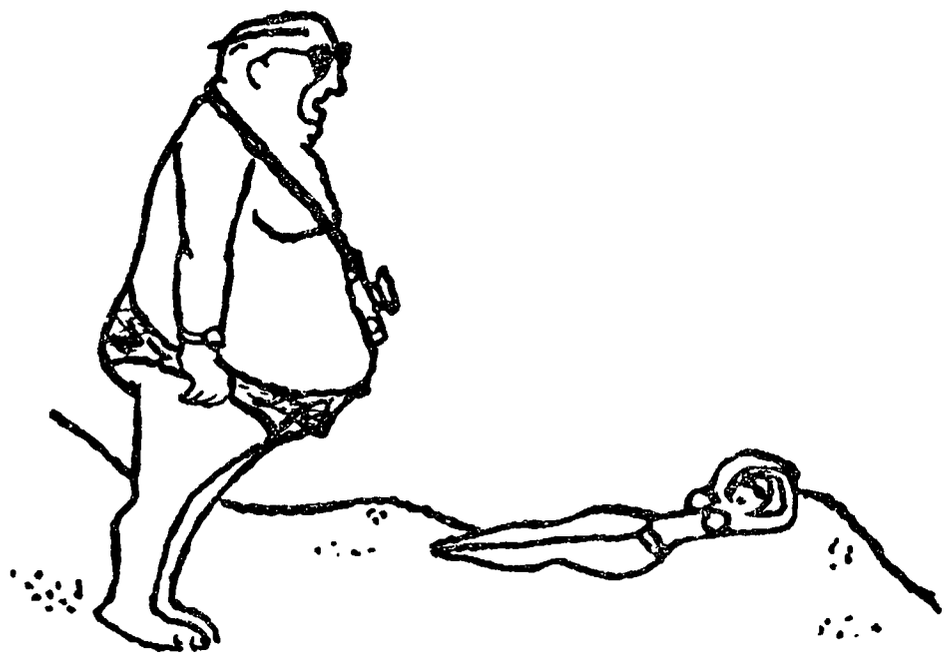
— Я могу взять что-нибудь другое,— застенчиво говорит попадья.— Какие-нибудь вещички... Сговоримся!

— Конечно! — вскакивает Хорейша.— С удовольствием отдам все, что мне не нужно! — и она раскрывает оба своих чемодана. Началось долгое рассматривание, наконец попадья выбрала два гарнитура, одну нейлоновую блузку и одно почти неношеное платье из трико, которое произвело на нее сильное впечатление.

— Дочка будет очень рада! — сказала попадья со счастливой улыбкой. — Она как раз в этом году кончает гимназию!

Довольные, они расстались. Попадья свернула новый пакет и исчезла, а Хорейша с восторгом уставилась на иконы.

— Чудо как хороши! — говорит.— У меня дома есть специальная комната для экзотических вещей. У меня есть эскимосские тотемы, оригинальные австралийские бумеранги, даже шкура леопарда. Там же я повешу и болгарские иконы. Убеждена, что все мои подруги умрут от зависти!



8. Как произошла наша единственная ссора с Арчи и как мы спорили об Йовкове и о проблемах пола

Радость и чехи питались в ресторане «Тюльпан», и мы с ней условились, что встретимся после ужина. Но в тот вечер Арчи запоздал. Мне не сиделось на месте, я думал, что Радость уже освободилась. Наконец не выдержал, сказал Хорейше и Топрикам, чтобы они развлекались сами, и кинулся к ресторану «Тюльпан». Оказалось, что страхи мои были напрасными — вечер был в самом разгаре. Радость восседала за столом и что-то говорила хриплым голосом. Она тоже меня заметила, махнула рукой, чтобы я подождал,

и продолжала переводить. Я успел выкурить несколько сигарет, прежде чем она, разгоряченная и взволнованная, подошла ко мне.

— Быстренько перехватим что-нибудь,— говорит,— и отправимся в «Казино».

Мы сели за стол экскурсоводов.

Тут появился какой-то чех, тихий, с синими глазами. Он сел и уставился на Радость.

— Один из моих,— объясняет она.— Не могу оторваться от него! Ходит за мной, как привязанный!

Чех сидел, смотрел и только время от времени умоляюще шептал: «Пани Радоуст! Пани Радоуст!» — словно хотел что-то еще сказать, но не знал, как продолжать. Наконец Радость кончила есть и попросила меня подождать ее в аллее. Я выкурил еще несколько сигарет, потом она пришла, и мы отправились в «Казино».

«Казино» был самый большой ресторан на Солнечном берегу, имел самый лучший оркестр и закрывался позже других. Мы нашли столик, заказали французский коньяк, начали беседовать. Рядом мелькали платиновые волосы, изящные туалеты, слышалась тихая музыка, журчала иностранная речь, блестело люминисцентное освещение. Мы не пропускали ни одного танца, потому что я очень люблю танцевать, хотя и несколько неповоротлив. Но вот оркестр неистово заиграл, музыканты начали подпрыгивать, слышен был только один барабан, кто-то повторял: «Бейби рок, бейби рок, бейби рок, рок», и через весь зал как бы пронеслись электрические токи. Мы с Радостью тоже начали подскакивать, лицо у нее приняло такое выражение, словно она хотела меня укусить, и, надо вам сказать, мне это нравилось. Когда мы устали настолько, что едва дышали, оркестр сменил ритм и заиграл что-то медленное, а персонал проявил сообразительность и притушил освещение, так что остались только синие лампы.

— Мы еще пройдемся при луне? Мы еще сходим к нашей лодке?— зашептал я Радости, а она только смотрела на меня большими влажными глазами, но в этот момент кто-то дернул меня за рукав, и я очень разозлился, потому что собирался сказать нечто очень нежное. Обернувшись, я увидел официантку из ресторана «Афродита».

— Извините, товарищ! — говорит она испуганно.— Английский гость сидит один в нашем ресторане и очень сердится, необходимо, чтобы вы пришли!

За это время я успел забыть об Арчи.

— Что ему надо? — спрашиваю.

— Не знаю,— отвечает она.— Но он очень сердит и послал меня разыскать вас.

Я в отчаянье посмотрел на Радость, она махнула рукой, хорошее настроение исчезло.

— Что поделаешь? — говорю.— Это фатально! Нужно идти, больше ничего не остается.

Я поплелся к ресторану «Афродита». Арчи сидел за столом, мрачный и злой. От него несло чем-то спиртным, но, поскольку и я выпил французского коньяку, я не смог различить, чем именно.

— Мне очень неприятно,— говорит.— Нужно сказать, что мне это очень неприятно.

— Что тебе очень неприятно? — спрашиваю.

— Я ожидал найти тебя тут.

— Я был тут, но ты опоздал.

Он зловеще посмотрел на меня.

— Думаю, когда бы я ни пришел, ты должен быть тут,— говорит.— Я гулял по берегу моря, созерцал волны и отдался своим мыслям, вернулся, хотел поужинать, нет никого! Хотел выпить сливовитц, нет нико-

го! Я не могу пить сливовитц один! Я не могу объясниться с кельнерами!

Вдруг он захныкал:

— В этой стране я беспомощный чужак! Вы не должны оставлять меня одного! Мне нужна поддержка здесь среди всего, что мне так чуждо!

— Но кто же тебя оставил, Арчи? — говорю.— Я ждал тебя тут, а потом вышел на минутку, у меня были дела.

Он перестал хныкать и снова зловеще посмотрел на меня.

— Ты должен быть всегда со мной! — крикнул он.— Я нуждаюсь в переводчике! Только это твое дело, ты не можешь иметь других дел!

Я разозлился.

— Арчи, я тебе не горничная!

— Да ну? — говорит.

— Да! — говорю.— И я имею право на личную жизнь!

— Но я могу и пожаловаться! — начал он угрожать.

— Жалуйся королеве Елизавете! — сказал я, повернулся спиной и ушел к себе в комнату, решив на другое же утро подать в отставку, но, поразмыслив до утра, не подал. За завтраком мы оба хмурились и не разговаривали. Потом я оставил своих подопечных жариться на песке и пошел по пляжу искать Радость. Я быстро нашел ее, а рядом с ней чеха. Он держал ее руку, и они весьма оживленно разговаривали.

— Я думал, ты одна,— обратился я к ней.

— Иржи за мной ухаживает,— пояснила она, улыбнулась чеху и принялась щебетать что-то по-чешски. Я посидел немного около них, потом поднялся.

— Вечером опять в «Казино», а? — спросил я у Радости.

— Видишь ли,— ответила она,— я обещала Иржи потанцевать с ним после ужина. Отложим до другого раза.

— Чудесно! — процедил я.— Так, значит? Буду иметь в виду!

— Не сердись! — говорит Радость.— Ты видишь, у меня нелегкое положение. Ты ведь знаешь, что такое экскурсовод, я должна быть любезна с ним. Он такой кроткий! Я отношусь к нему как к младшему брату!

«Знаем мы этих братцев!» — произнес я про себя, ушел с болью в сердце, целый день чувствовал себя одиноко и решил больше не видеться с Радостью. Я снова подумывал подать в отставку, но вечером мы помирились с Арчи и разговаривали с ним дружески, а через два дня чешская группа уехала, и мы с Радостью снова ходили в «Казино» — после небольших ссор жизнь продолжалась.

Дни шли незаметно, одинаковые и очень приятные. Все успокоились. Кельнеры постепенно повышали свою квалификацию. Целыми днями мы лежали на песке, купались, ходили в «Афродиту». Время от времени Радость пропадала на день-два, но потом снова появлялась возле нас, ее исчезновения перестали раздражать меня. Иногда мы с Арчи читали Йовкова, ибо я помнил, что это, в сущности, наша основная задача и его необходимо познакомить с содержанием легенд. Чтение проводилось на пляже и подвигалось очень медленно. Сначала я постоянно пользовался словарями и тратил много времени, а кроме того, почитав час или даже полчаса, мы утомлялись и старались рассеяться. Жара нас угнетала, и тогда мы или шли купаться в море, или скрывались в тени какого-либо тента, а потом подходило время обеда. Поэтому я успел перевести Арчи всего три легенды: «Шибил», «Индже» и «Постоловы мельницы», да и то «Индже» мы прочли только до середины, поскольку эта легенда длиннее остальных. Любопытно, что Арчи остался равнодушным к первым двум произведениям, ему больше понравились «Постоловы мельницы».

— Это мне понятнее,— объяснил он.— Другие преувеличенно романтичны и восторженны, а я люблю романтику, только когда она не такая восторженная.

— Почему? — говорю я.— Разве не бывает у человека красивой любви и самоотверженности?

— Если и бывает, то лишь потому, что вот такие писатели-романтики ее выдумывают,— говорит Арчи.— А читатель подпадает под их влияние и хочет подражать героям книг. Нет, человеческое начало — нечто темное и отвратительное, вот почему «Постоловы мельницы» мне нравятся больше. Посмотри сам, каковы герои: супруг — уродливый труп, его жена — развратница душой и телом, ее любовник — придурковатый пастух, обуреваемый дикими страстями, и все кончается убийством. Вот это жизнь! Гадости, измены, уродства, проституция, преступления, смерть! Этот рассказ мне интересен, в это я верю!

— До сих пор я не воспринимал с такой стороны «Постоловы мельницы»,— говорю я.— Мне кажется, что за этой темной картиной есть нечто очень человеческое и хорошее!

— Самое человеческое и самое хорошее то, в чем нет ни человеческого, ни хорошего,— развивал свою мысль Арчи.— Люди устали от сказок о человечности и красоте. Они возвращаются к звериному, только оно настоящее. Да здравствует бессмертный дикарь, скрывающийся в душе у всех нас — вот лозунг современного искусства! И не только искусства. Кроме того,— продолжал он,— в «Постоловых мельницах» есть и кое-что другое. Какова основная идея рассказа? Страшная, иррациональная стихия пола! В сущности, это то же самое, о чем мы уже говорили, ибо самое звериное в нас — пол! Тут уже не ставится вопрос о любви, как в «Шибиле» или «Индже». Тут стоит вопрос пола и полового влечения.

— Эта замена терминов, кажется, очень модна,— говорю.

— Она необходима. Любовь — пустой звук, пока пол — научный факт. В сущности, две основные проблемы нашего века — это возвращение к примитиву и пол!

— Думаю, что у нашего века есть и другие проблемы,— возразил я.

— Пол — альфа и омега всего,— убежденно говорит Арчи.— И ваш Йовков хорошо это показывает. Огромная, темная бездна, в которой нет ни разума, ни этики! Когда желают существо другого пола, все становятся безрассудными и аморальными, как звери. Для нас, для Запада, это, конечно, не ново, но здесь, в легенде, это удачно выражено. Да, дорогой мой друг, что бы осталось от нас, от литераторов, если бы у нас отняли проблемы пола!

Я посмотрел на его розовое тело, лежащее на песке, на его круглый живот и подумал, что Арчи совершенно спокойно прожил бы и без проблем пола, но не сказал ему ничего, тем более что в этот момент подошла Хорейша и спросила, идем ли мы обедать.

Раз уж речь зашла о проблемах пола, нужно упомянуть здесь о моем компаньоне по комнате, Кико. В комнате было две постели, и несколько дней назад ко мне вселили человека, с которым мы быстро познакомились. Кико было лет тридцать, он был худым, длинноносым, с беспокойными блестящими глазами. Он сказал мне, что родом из Сливена и несколько лет работал в Чехословакии, а сейчас вернулся провести отпуск на родине.

— Тут, на Солнечном берегу, много хорошеньких иностранок? — спросил он меня в первый же день.

— Не знаю,— пробормотал я.— Я еще не имел возможности оценить их.

— Я мог бы жить у родных в Сливене,— говорит он,— это было бы дешевле, но у меня есть один друг, работающий здесь, он мне сказал: «Не будь сумасшедшим, зачем сидеть в Сливене, ты же знаешь, что такое Солнечный берег! Немки, чешки, польки — все блондинки, одна другой лучше!» Я очень люблю белокурых женщин, потому что сам брюнет,— объяснил он.— Так как я говорю по-чешски и немного по-немецки, думаю, что добьюсь чего-нибудь.

Я пожелал ему успеха на Солнечном берегу, и уже после обеда Кико похвастал, что познакомился на пляже с австрийской девушкой.

— Думаю, мы с ней поймем друг друга,— говорит.— У нее хорошие длинные бедра, а я очень люблю таких женщин. Мы условились вечером встретиться в «Казино».

На следующее утро он был очень уныл и жаловался мне:

— Ничего не вышло! Дитя! Выпила три рюмки рома, мы потанцевали, но когда я предложил ей: «Пойдем прогуляемся у моря!» — сказала, что не привыкла к этому. Если не привыкла, говорю, зачем тогда приехала, зачем выпила три рюмки рома, а она рассердилась и ушла. Не позволила даже проводить себя!

— Может быть, вам нужно было быть внимательнее,— заметил я.

— Как внимательнее? — говорит он.— В этих вещах я люблю ясность. Но ничего, утро вечера мудренее!

И действительно, я видел его на пляже снующим от одного конца до другого и устремляющим свои беспокойные глазки на иностранок. Позже он нашел меня и сказал:

— Вот болтают об этом Солнечном береге, болтают... А на самом деле все здесь не так!

Я пожалел Кико, потому что видел много мужчин, ставших жертвой подобных мифов. Мой двоюродный брат, уезжавший в Берлин, рассказал мне историю, подобную истории Кико. Он встретил на берлинской улице мужчину, который шел повесив нос и очень походил на нашего соотечественника. «Извините, вы не болгарин?» — остановил его мой родственник. «О! — обрадовался тот.— Да, я болгарин!» Познакомились, и тот сразу начал жаловаться: «Не могу понять, что со мною стало? Когда я ехал сюда, мне рассказывали: в Германии женщины — такие! Ну вот, я уже неделю тут, с утра до вечера хожу по улицам и, знаешь, хоть бы одна меня остановила! Не обращают никакого внимания!»

Кико сказал мне, что он разочаровался в иностранках; разговор перешел на тему о болгарках, ибо этот вопрос наболел и не мог никого оставить равнодушным. Есть круг девушек, которых я просто не могу понять. Вместо благодарности за то, что они родились в стране, где имеются такие мужественные парни, они смотрят только на иностранцев. У меня была однокашница, которая поклялась, что непременно выйдет замуж за иностранца. «Болгарские мужчины простаки,— говорила она.— Они вульгарны, не умеют обходиться с дамой. Даже самые воспитанные только чуть-чуть отполированы, а если снять полировку, ничего не останется. Нет, я возьму в мужья иностранца, чтобы трепетал передо мной и носил меня на руках!» И она действительно принялась осуществлять свою мечту. Сначала сблизилась с каким-то голландцем, который, однако, уехал, не ответив на ее чувства. Потом нашла итальянца, поставщика жилеток. Говорили, что он увезет ее в Италию, но случайно выяснилось, что он женат и даже имеет троих детей, так что опять ничего не вышло. Все же ей в утешение осталась одна очень хорошая пуховая жилетка. Над моей знакомой уже начинали смеяться, когда неожиданно ей улыбнулась удача — она действительно вышла замуж за иностранца, и не за какого-нибудь, а за настоящего американца из штата Огайо. Эта новость была подобна разорвавшейся бомбе.

Говорили, что американец очень богат, имеет акции Дженерал моторс, виллу в Майами и кадиллак. Провожая ее на аэродром, все подруги рыдали от зависти. Но потом, когда она уехала в Огайо, было установлено, что ее муж не имел акций Дженерал моторс, а был всего-навсего мелким совладельцем похоронного бюро. Она тяжело переносила это, жаловалась в письмах, что всюду ее преследует запах гробов, а потом вообще перестала писать, и сейчас никому не известно, как она живет.

Рассказав несколько подобных историй и излив всю горечь, которая накопилась у нас против таких недостойных болгарок, Кико вдруг произнес фразу, которая удивила меня своей объективностью.

— Говорим правильно, а сами? Вот, возьмите меня! Я приехал сюда, потому что тут немки и австрийки, сам не знаю какие, только гоняюсь за ними без толку да пускаю деньги на ветер!

Я задумался и согласился с ним. И мы иногда страдаем от той же слабости. Мой приятель, актер, однажды заметил меня в одном ресторанчике за обедом. Он уже выпил и был очень счастлив, потому что неожиданно ему заплатили какой-то гонорар. «Я решил ликвидировать его до вечера,— говорит.— Что ты хочешь, заказывай!» — «Я уже пообедал!» — говорю я. «Нет,— возразил он.— Ты меня очень обидишь! Возьми что-нибудь из уважения ко мне. Что самое дорогое?» И он заказал две двойные порции черной икры и какое-то коллекционное вино сорок пятого года. Только мы разговорились, в ресторане появилась красивая, элегантная женщина в сопровождении нескольких мужчин. Она села недалеко от нас. Мой приятель так и уставился на нее. «Вот она! — зашептал он.— Певица из ресторана! Сербка! Какая женщина, а? Знаешь что? — возбужденно добавил он.— Пошлю ей бутылку того же вина, пусть и она выпьет! Так, просто подарок!» — «Оставь! — говорю ему.— Будет скандал, ее кавалеры обидятся!» — «Ерунда! — подпрыгнул он и заорал: — Кельнер, отнесите, пожалуйста, бутылку вина на тот стол и скажите даме, что это мы его посылаем!» Но только кельнер появился с бутылкой, за соседним столиком кто-то рассмеялся и женщина заговорила на чистейшем болгарском языке. Словно гром поразил моего приятеля. «Вот те на! — говорит.— Она болгарка! Кельнер! — взревел он во всю силу.— Принесите бутылку обратно!»

В эту ночь мы легли очень поздно, а утром меня разбудил телефонный звонок. Из Софии звонила Адриана. Это был пятнадцатый день нашего пребывания на Солнечном берегу. Мы должны были возвращаться. Адриана мне сообщила, что, по счастливой случайности, другие гости были отправлены к морю на автомобиле и на обратный путь машина будет предоставлена в наше распоряжение.

9. Как мы всей грудью дышали йовковской атмосферой

И вот пришло время проститься с отелем «Мимоза», с рестораном «Афродита», с пляжем, с морем, со сверкающим Солнечным берегом и снова тронуться в путь. Гости меня уверили, что в общем и целом они очень довольны.

— Болгария еще прославится этим морем! — убедительно сказал Арчи. — Я собрал достаточно материалов для моих путевых заметок и напишу об этом море недурненькие страницы.

Хорейша добавила, что запаслась теплом на всю остальную жизнь и в дождливом и мглистом Лондоне будет с завистью и тоской вспоминать о черноморском солнце.

В последний вечер я простился с Радостью. Мы прошлись в сотый раз по берегу моря и договорились, что непременно встретимся в Софии, но, к сожалению, я потерял номер ее телефона, она тоже меня не разыскивала, так что с тех пор я больше ее не видел.

Топрики решили остаться еще на несколько дней и, когда мы уезжали, вышли из отеля проводить нас. Боб, Сузи, Лиззи, Уилли, Майк, Крис и милый Робинзон выстроились на той самой террасе, на которую две недели назад я доставил их после стольких злоключений. Все замахали руками, автомобиль тронулся, и море исчезло. Через несколько часов мы были уже в Жеравне.

Остановились мы перед Народным советом, наш приезд произвел сильное впечатление на обитателей тихонькой площади. В Совете нас встретил приветливый низенький человек средних лет, дядя Филип.

— Этот товарищ — известный английский писатель, а это его сестра,— представил я своих спутников.— Мы следуем по важному делу. Наш уважаемый гость будет переводить на английский язык «Старопланинские легенды» Йовкова. Ему необходимо повидать места, где родились легенды, в этом нам нужно ваше содействие.

— Конечно,— говорит человек. Он выглядел в одно и то же время обрадованным и смущенным.— Осмотрим село, дома, музей Йовкова.

— Мы, бесспорно, сделаем это,— подтвердил я.— Но мы хотели бы и кое-что еще. Нужно, чтобы гость, как это говорится, проникся духом Жеравны. Пусть его овеет балканский воздух, пусть хлебнет он воды из быстрых горных потоков, пусть погуляет он в Старой роще, где шепчут вековые буки, вообще вдохнет полной грудью йовковскую романтическую атмосферу. Только так он сможет прочувствовать наши легенды и художественно перевести их.

— Правильно! — одобрил дядя Филип.— Мы поможем ему в этом!

— У меня есть и другая идея,— продолжал я.— Давайте устроим маленькое празднество на вольном воздухе, как его устраивали наши предки. Возьмем, например, барашка, изжарим его на углях, по-гайдуцки, где-нибудь на Игликиной поляне или в таком же месте, отдохнем, споем, пусть нам сыграют на кавале или гайде *. Тогда наш гость непосредственно увидит, как наш народ веселился на лоне природы и воспринимал ее, он вникнет в болгарское, в наше родное, чтобы как следует сделать переводы!

— Хм! — говорит дядя Филип.— Сейчас барашка не так легко достать, Игликина поляна тоже далековато, но что-нибудь придумаем.

— Вы понимаете, конечно,— продолжал я настойчиво,— что это задача национального значения. Речь идет о популяризации в мировом масштабе одного из наших величайших писателей. Вот наша центральная задача, и мы не можем жалеть сил и средств, чтобы ее выполнить!

Дядя Филип сказал, что сделает все возможное, завтра же устроит празднество, и мы пустились осматривать Жеравну.

Какой противоположностью современному, космополитическому Солнечному берегу была она! Там все говорило о будущем — об огромном росте международного туризма, о европейской цивилизации, о свободных отношениях молодых людей, о веселье, довольстве, высоком жизненном уровне! Здесь было только прошлое. Я, конечно, всегда за прогресс, но эти старые потемневшие дома, эти кривые улочки, где не проедешь и на «рено дофине», эти садики, полные цветов и тишины,

---

* Народный музыкальный инструмент.

нравятся мне тоже, я даже взгрустнул, что не могу более длительное время, скажем, дней пятнадцать-двадцать, пожить в таком месте, упиваясь романтикой. Арчи и Хорейша тоже были в восторге. Арчи непрерывно щелкал своим аппаратом.

— Видишь, какая у нас страна, Арчи? — говорю я.— Такая маленькая территория и такое разнообразие пейзажей и обстановки!

— Эти домики восхитительны! — согласился он, а Хорейша добавила, что на нашем месте она сделала бы и Жеравну объектом туризма.

— Снабдите старые постройки современными удобствами,— говорит.— Устройте в том же стиле маленькие заведеньица и отелики — будет огромный успех! Это очарование! Я, например, с удовольствием приехала бы сюда, пресытившись шикарными курортами.

Только я успел ей ответить, что, возможно, так и будет в дальнейшем, хотя на миг мне почему-то, сам не знаю почему, захотелось, чтобы жеравнинские улочки как можно дольше не видели европейских экскурсантов, как позади нас появился молодой мужчина, ужасно худой, с огромной растрепанной шевелюрой, в пальто с развевающимися полами.

— Это английские писатели? — спрашивает. При этом у него напряженное выражение лица, приличествующее древнему витии, а слова звучат торжественно и напевно.

— А вы кто такой? — спрашиваю я.

— Я здешний, иногда занимаюсь искусством,— говорит он с достоинством.— Просто хотел увидеть английских писателей. Дядя Филип мне сказал...

Тут подошел и сам дядя Филип. Его добродушное лицо сияло от удовольствия.

— Ого!— говорит он.— Пейо вас уже нашел. Представляю его вам — это наш жеравнинский художник. Говорит, поскольку и он человек искусства, даже немного пописывает стишки, ему надо увидеться с гостями.

— Конечно! — согласился я, тем более что Арчи и Хорейша смотрели на вновь прибывшего с любопытством.

— Познакомимся! — говорит тот и меланхолично подает руку:— Войводов!

Я представил ему гостей, а Хорейша прошептала мне на ухо:

— Он настоящий художник, правда?

— Я не видел его работ,— отвечаю.— Но предполагаю, что настоящий!

— Похож на настоящего,— говорит она и смотрит на него прищурившись, а он словно только сейчас ее заметил, уставился на нее своими большими глазами.

— Уладили дело,— радостно говорит дядя Филип.— Завтра в обед устроим празднество, как вы хотели. Барашков нет, но я нашел козленка, а баба Неда так его приготовит, что пальчики оближете!

— Кто это баба Неда? — спрашиваю.

— Первейшая повариха на селе! Есть и винцо, которое нас не посрамит!

— По-гайдуцки, по-гайдуцки! — говорю я.— На какой-нибудь поляне, в роще!

— Все устроено! — уверил дядя Филип.— Я нашел даже музыкантов. Гусляра, волынщика и дудочника. Лучшие в Жеравне!

— Важно выполнить задачу,— говорю.— Создадим гостю условия для хорошего перевода легенд!

На другой день мы отправились в лес. Это было настоящее шествие. Впереди всех шел дядя Филип, за ним двигались мы с Арчи, после нас — Войводов и Хорейша, причем Войводов галантно ее поддерживал, за ними — баба Неда и ее муж с вилками, ножами и рюмками в руках,

затем — шофер и еще два парня, которые несли большие оплетенные бутыли и козленка, и, наконец, последними — гусляр, волынщик и дудочник. Мы шли уже довольно долго и даже запыхались, пока взбирались по склону, но я не спешил остановиться, потому что искал поляну с настоящей йовковской атмосферой. Наконец мы нашли именно такую поляну. Слева открывался красивый вид на холмы, справа нависали серые вековые буки, в сторонке шумел быстрый горный поток. Густая, как ковер, трава пружинила под нашими пятками.

— Вот! — говорю я.— Именно это мы и искали!

— Здесь действительно хорошо,— говорит дядя Филип,— только, знаете, это район пионерского лагеря.

Тут я заметил, что за деревьями виднелись палатки, вился дым и слышались слабые голоса.

— Мы их предупредим,— решил я. В этот момент два человека вышли на поляну и направились нам навстречу.

— Что вы ищете здесь, товарищи? — спрашивает один из них.

— А вы что ищете? — спрашиваю я.

— Мы руководители пионерского лагеря.

— А я сопровождаю английского писателя, гостя правительства. Мы прибыли с важной культурной миссией.

Я представил им Арчи, объяснил, с какой целью мы приехали, и попросил разрешения на несколько часов остановиться на их территории. Они охотно согласились. Даже обрадовались.

— Конечно,— говорят.— Мы счастливы чем-нибудь помочь переводу Йовкова на английский.

Мы обменялись еще несколькими словами, и один из подошедших обратился ко мне:

— Знаете что, товарищ, я кое-что придумал! Детям будет очень интересно, если английский писатель скажет им несколько слов о том, как молодежь в Англии борется за мир!

— О нет! — говорю я.— Он плохо знаком с этим вопросом. Кроме того, у нас нет лишнего времени. Нам предстоит другая, важнейшая задача, товарищ!

— Ладно, тогда простите! — извинился он и вместе с другим удалился.

Тем временем баба Неда разостлала на земле длинное полотенце и приготовила все, что требовалось. Мы расположились на траве. Темно-коричневая кожица козленка хрустела на зубах, баба Неда начинила его потрохами и рисом. Я в жизни не ел ничего более вкусного. Сначала мы молча жевали, целиком отдаваясь удовольствию, но слово за слово разговор завязался. Арчи обратился к дяде Филипу:

— Вы, болгары, еще сохранили некоторые вещи, которые у нас погубила цивилизация. Иногда я вам завидую!

— Живем как можем,— отвечает дядя Филип.

— Мы однажды беседовали об этом с моим другом,— говорит Арчи, показывая на меня.— Я чувствую себя среди вас очень, очень старым и усталым. Словно я окружен детьми, которые еще не утратили наивности!

— Думаю, что, когда надо, мы можем быть и взрослыми,— говорит дядя Филип.

— Плохо только,— продолжает Арчи,— что цивилизация развратит и вас. Вижу, вы тут строите, догоняете! Фабрики, шоссе, новые дома, курорты! Это хорошо, но это несет в себе и зло. Я вижу Болгарию через двадцать лет — теплая вода, искусственные продукты, автомобили и холодильники!

— Мы стараемся и технику развивать,— говорит дядя Филип,— и сохранять то, что хорошо.

Арчи махнул рукой.

— Умирает романтика, умирает! И что такое ваше село, в сущности? Музейная витрина — и больше ничего!

— Мы создаем новую романтику! — говорит дядя Филип.

— Какую должность вы занимаете в селе? — спросил Арчи.

— Сейчас работаю в Совете. Раньше был председателем кооперативного хозяйства.

— Разве и здесь, в горах, есть кооперативные хозяйства? — удивился Арчи.

— Да, нашему уже десять лет.

— Интересно! — воскликнул Арчи.— Я всегда считал горцев большими индивидуалистами!

— Люди меняются! — говорит дядя Филип.

— Знаете что? — продолжал Арчи.— Эти ваши хозяйства имеют преимущества, я понимаю, они экономически оправданы и повышают жизненный уровень села, но есть в них то, чего я не могу принять. Они напоминают футбольные команды. Я не люблю этот командный дух, когда каждый из одиннадцати игроков непрерывно думает о том, как все они забьют гол. Я предпочитаю игры, в которых завишу только от самого себя.

— Это смотря по человеку,— говорит дядя Филип.— По мне, лучше, когда думаешь о других, а другие о тебе. Оно и полезнее: силы увеличиваются.

— Это стадное чувство,— процедил Арчи.— Из-за этого я и не могу принять ваш коммунизм!

— Есть другие вещи, из-за которых мы не можем принять капитализм,— говорит дядя Филип.

Хотя они держались любезно, оба немного раскраснелись. Я испугался, что может возникнуть ссора, и сказал, что для людей вполне естественно иметь различные взгляды, и задача состоит в том, чтобы понимать друг друга, несмотря на различие воззрений. Дяде Филипу я шепотом посоветовал не очень-то противоречить Арчи, ибо для нас основная задача — переводы «Старопланинских легенд», а остальное — второстепенно.

Атмосфера прояснилась, снова начался общий разговор, мы перешли уже ко второй бутыли, козленок был почти уничтожен, все были очень довольны. Буки легонько шумели на ветру, поток журчал, очертания Балкан были мягкими и успокаивающими, зелень окружала нас со всех сторон. Войводов все чаще чокался с Хорейшей, лицо его становилось все бледнее и бледнее, а глаза — торжественней. Мы спели «Хороши ты, мой лес», «Жив он, жив», а когда затянули «Гей, Балкан, родной ты наш!», даже Арчи присоединился к нам, фальшиво промямлив мелодию; я же впал в чрезвычайно лирическое настроение и начал ему говорить:

— Понимаешь ли ты, что такое для нас Балканы? Эти чудесные горы, где сохранился дух народа! Ощущаешь ли ты их вольность, спокойствие, уверенность? И поэзию, скрытую в этих деревьях, в этой траве?

— Ощущаю,— говорит Арчи и продолжает мурлыкать мелодию.

— Вот по этим тропам бродили гайдуки; как мы, они ели жареных барашков и пили пенистое вино! Здесь звенел голос Инджe! Тут бродил Шибил! А там, внизу, были Постоловы мельницы, где смотрела дьявольскими очами шаловливая Женда! Ясно ли тебе теперь, что только в таком поэтическом месте могли родиться эти легенды?

— Мне ясно,— говорит Арчи.— Ты не волнуйся. Легенды будут иметь успех в Англии!

Волынщик и дудочник как раз отдыхали, только гусляр продолжал играть монотонно и жалостно. Войводов стал совсем бледным.

— Стефане! — обернулся он к гусляру.— Сыграй ту!

— Какую, Пейо?

— Ту, хорошую, о гайдуках, что погибли на колу! Ту, страшную, мою песню, которую я всегда играл!

Гусляр затянул песню, совсем медленную и мучительно однообразную. Войводов закрыл руками глаза. Хорейша наблюдала за ним с большим сочувствием.

— Ах, как ты мучился, мой народ! — простонал Войводов.— Какая огромная мука кроется в твоем бездонном сердце!

— Что он говорит? Что говорит? — с живостью спросила Хорейша.

Я перевел ей. Войводов очень разволновался и продолжал.

— Какая еще страна видела столько страданий! Кровь! Везде кровь! — Он посмотрел на нас, потом с театральным жестом обернулся к гусляру.— Играй, Стефане, бог тебя убей, исторгни из струн трагедию Болгарии!

— Что он говорит? Что говорит? — опять спросила Хорейша.

Я продолжал переводить. Внезапно Войводов воззрился на гостей, и лицо его исказила гримаса.

— А вы, пришедшие сюда неизвестно откуда! — крикнул он.— Что вы понимаете в этом?

Все онемели.

— Что вы можете понять? — не унимался Войводов.— В муке векового раба, в отчаянии его! Пришли сюда, самодовольные, бесстрастные, какие-то никакие! Англичане! Европейцы! — На миг он стиснул кулаки.— Ах, да вы...

— Пейо! — крикнул дядя Филип, но было уже поздно, потому что Войводов успел произнести громко одно пожелание матерям гостей.

— Что он говорит? — спросила Хорейша.

Мне стало очень неудобно, но я пришел в себя и сказал:

— Он разволновался и произнес строку из своей поэмы!

— О! — воскликнула Хорейша.

— Очень любопытно! — говорит Арчи.

— Заставьте его прочесть еще что-нибудь свое! — взмолилась Хорейша.

— Да, это интересно! — говорит Арчи.

Войводов уже немного успокоился, но еще смотрел хмуро.

— Что общего имеют они с моим искусством? — вопрошает он.— Как могут они понять болгарскую душу?

Но после того как мы попросили его еще несколько раз, он наконец согласился и продекламировал несколько строф. Я уже хорошенько не помню всего, но там было что-то о черной судьбе и о ледяных камелиях. Все ему аплодировали, а он сказал, что будет импровизировать в честь Хорейши, очень распалился и заговорил про горящую медь ее кудрей, про северное сияние и наконец даже назвал ее Изольдой. Мы долго сидели, пели песни и почти прикончили вторую бутыль; годулка рыдала, гайда и кавал вторили ей, а я был счастлив, потому что получилась романтическая атмосфера, которая была нужна и которую мы вдыхали полной грудью.

Я было задремал, но решил, что мне нельзя спать. Спать хотелось всем, тем более что нас разморило солнце. Баба Неда и ее муж растянулись на земле и закрыли глаза, два парня, которые несли еду и питье, молодецки похрапывали, Арчи клевал носом, Войводов постепенно нагибался и не знаю уж как положил голову на колени Хорейше, а та сонно склонилась над ним. Он смотрел на нее невидящим взглядом и время от времени делал такое движение, словно хотел погладить ее ярко-красные кудельки, но в последний момент спохватывался и останавливался.

— Очень мил! — говорит Хорейша.— Он напоминает мне моего сына!

Я имел другое представление о лейтенантах английского флота, но не сказал ничего. Мне пришла в голову одна идея, я обернулся к Арчи.

— Хотите прогуляться немного? — предложил я.— Поднимемся до хребта, посмотрим на горы с другой стороны. Проветримся.

Арчи согласился, дядя Филип тоже поднялся, больше никто не последовал нашему примеру, почти все задремали.

— Мы останемся,— сказала Хорейша, посмотрела на Войводова и весело подмигнула ему.

Мы втроем с Арчи и дядей Филипом отправились в гору. Сначала мы шли немного понуро, но потом ветерок освежил нас, мы почувствовали себя лучше. Дойдя до вершины, полюбовались на пики Котленских Балкан, потом начали спускаться обратно. Когда мы добрались до поляны, я с первого взгляда понял, что там что-то не ладно. Хорейша и Войводов все еще сидели рядом на траве, но не на том месте, где мы их оставили. Остальные сгрудились в сторонке, прибирали остатки празднества и смотрели испуганно. На горе, к своему изумлению, я увидел двух руководителей лагеря, которые о чем-то спорили с нашим шофером Увидев нас, они умолкли. Шофер первым подошел к нам.

— Ерунда какая-то! — произнес он кисло.

— Почему, что случилось?

— Товарищи протестуют!

Те двое медленно приблизились к нам. У них были каменные лица, смотрели они неумолимо, словно судьи, вынесшие смертный приговор.

— Есть тут члены партии? — спросил один из них.

— Что случилось? — говорю.— Я отвечаю за...

— Я член партии,— говорит дядя Филип.

— Товарищи! — вступает второй.— Тут творятся безобразия! Мы вас пускаем как людей в район лагеря, хотим помочь вашей культурной задаче, но вот какова эта культурная задача! Когда вы только начали пить и петь, дети стали посмеиваться: этот англичанин писатель, кричат, хорошо переведет Йордана Йовкова!

— Я вам объяснил...— начал я.

— И что получается после этого? — подал голос первый.— Вам мало того, что вы наиразгульнейше пьянствуете среди бела дня перед глазами невинных детей, вы еще позволяете иностранцу удаляться с женщиной в кусты!

— Что? — воскликнул я.

— Мы не допустим этого! — говорит второй.— Он тут не у себя дома, у нас другая мораль!

— Товарищи, вы с ума сошли! — закричал я.— Английский гость все время был со мной, у него вообще нет жены!

— Это и я могу засвидетельствовать,— твердо говорит дядя Филип.

— Мы их видели своими глазами,— продолжают те.— Вот эта красноволосая гражданка и какой-то мужчина. Мы подумали, что это иностранец, но, может, кто-нибудь еще. Перешли ручей, пошли по другой стороне и сели на траву...

Дядя Филип пристально посмотрел на меня.

— Войводов,— произнес он медленно.

Я побледнел и отвел шофера в сторону.

— Говори, что случилось!

— Я задремал,— начал рассказывать он,— все были словно в полусне. Этот Войводов принялся ее тормошить, они молча встали. Как только договорились, черти? Разулись, схватились за руки, брызгались в потоке, смеялись, словно дети малые, наконец ушли на другой берег. Я говорю себе, это, мол, можно, но до известного возраста! Они недолго, сразу же вернулись. Потом пришли эти двое.

У меня моментально заболела голова. Зачем я придумал эту про-

гулку! Если бы мы были тут, ничего бы не случилось. Но кто мог предположить, что события разовьются таким образом! Уж этот Войводов! Мне хотелось обернуться и треснуть его чем-нибудь по лохматой башке.

Я вернулся к двум руководителям лагеря.

— Вот что! — говорю.— Произошло недоразумение! Эта гражданка — сестра писателя, она совсем старуха, а мужчина, которого вы видели с ней, болгарин, в два раза моложе ее. Он ужасно похож на ее сына!

Чтобы было убедительно, я добавил, что сын ее был убит во время войны и что, увидев Войводова, она очень растрогалась, испытывая к нему совершенно материнские чувства. Однако мне не поверили.

— Какие материнские чувства, товарищ? — говорит первый руководитель.— Из лагеря все видно. Они сели на траву и начали целоваться!

— Нет! — свирепо шипит его коллега.— Я так этого дела не оставлю. Я обо всем сообщу в высшую инстанцию. Какой это пример? И вы, вместо того чтобы стоять на своем посту и проявлять бдительность, допускаете здесь такой срам!

Голова у меня заболела еще сильнее. Этот человек действительно мог обо всем сообщить. И конечно виноватым окажусь я!

— Ладно! Ладно! — примирительно говорит дядя Филип.— Выпили, поцеловались — тоже большое дело...

— Как? — закричал второй.— По-вашему, пустячки развращать среди бела дня невинных детей?

— Товарищ! — спокойно прервал его дядя Филип.— То, что было здесь, случилось ненамеренно и больше не повторится! Вы правы, что возмущаетесь, это неприятно. Но не делайте из мухи слона. Это же бессмысленно!

Мы еще долго спорили, и наконец дядя Филип успокоил их. Все-таки они ушли неудовлетворенными и нахмуренными, заявив, что еще подумают и, может быть, сообщат куда следует. Мы пошли вниз. Баба Неда и ее муж держали грязные вилки, ножи и рюмки, два парня несли пустые бутыли и миски, музыканты уныло покачивали своими инструментами. Войводов шел словно в оцепенении, только косматая его голова клонилась то в сторону, то вниз. Он впал в абсолютную меланхолию. Арчи понял: что-то стряслось, поэтому не раскрывал рта и мрачно смотрел перед собой. Я тоже был настолько кислым, словно в горло мне выжали десять губок с уксусом. Только Хорейша шагала как ни в чем не бывало, жизнерадостно подпрыгивала, улыбалась и даже время от времени что-то чирикала.

Внизу, в селе все собрались проводить нас, и мы попрощались с дядей Филипом.

— Жалко, что под конец случилась эта маленькая неприятность,— говорю я.— Благодарим тебя за все! Мы все же выполнили задачу!

— Важно дело сделать,— говорит дядя Филип.

Пока шофер заводил мотор, Войводов вышел из своего оцепенения и с безумным взглядом сунулся в окно машины.

— Прощай! — трагически воскликнул он.— Прощай!

Машина тронулась. Хорейша тоже прилипла к стеклу и замахала рукой. Войводов сделал несколько шагов за нами, потом остановился и простер руку. В его фигуре было что-то тоскующее, хотя в тот момент я просто не мог смотреть на него без злости. Мы полетели по улице.

— Бедный черт! — вздохнула Хорейша и откинулась назад.

Арчи прикрыл глаза и дремал на переднем сиденье.

— Господи, как же я забыла! — вдруг выпрямилась Хорейша.— Ах, какой вы! Помните, что вы мне обещали в Софии?

— Что? — спросил я.

— Чехлы на подушки! — говорит.— Вы мне обещали, что найдете в Жеравне экзотические чехлы на подушки!

— Забыл,— говорю.— Сейчас уже невозможно возвращаться.

Хорейша была в добром настроении, поэтому не очень рассердилась.

— Я всегда считала, что вам не хватает чего-то, чтобы быть настоящим джентльменом! — сказала она и подмигнула мне, тем самым показывая, что шутит. Я ничего не ответил.

Арчи совсем задремал на переднем сиденье.

ВМЕСТО ЭПИЛОГА

Как кончилась эта история

Прошло четыре месяца с того дня, когда я в последний раз видел наших гостей.

Прощание было очень сердечным. На аэровокзале были Тачев, Адриана и я, мы долго говорили, и Арчи заявил, что доволен своим пребыванием в Болгарии. Он упомянул и о переводе Йовкова, так как мы уже снабдили его подстрочными переводами на английский, и сказал, что по приезде в Лондон поговорит со своим издателем и попытается осуществить наш проект. После этого он пригласил всех нас погостить у него, если мы будем в Англии, а мы высказали желание снова увидеть его среди нас. Он поблагодарил и сказал, что, возможно, еще приедет сюда. Хорейша вмешалась и заметила, что никогда не забудет прелестные дни на море и в Жеравне. В этот момент пассажиров пригласили занять места, все встали, мы с Адрианой вручили гостям большие букеты, пожали им руки, а Хорейша умилилась и обняла меня, сказав, что я очень похож на ее сына. Потом все пошли на посадку, мы махали руками, те тоже махали, потом вошли в самолет, и самолет улетел, и они улетели, а мне было грустно, но в то же время я был счастлив и горд, что выполнил свою задачу и хорошо представил мою родину западному интеллектуалу, который теперь будет популяризировать ее во всем мире.

Позже Арчи прислал мне из Лондона открытку с видом парламента. Я ему написал, он не ответил, потом я написал еще раз, он опять не ответил, больше я не писал, так как решил, что он очень занят и лучше послать ему поздравление с Новым годом. Потом меня поглотили повседневные заботы, и воспоминания о приятном путешествии стали понемногу бледнеть. Как-то я встретил Тачева, и он мне сказал, что получил от Арчи письмо, в котором тот уведомлял, что еще не начал работу над легендами, с тех пор вестей от него не было.

Но однажды утром Адриана позвонила мне по телефону и попросила зайти. В комнате они были вдвоем с Тачевым, а на письменном столе лежал большой красочный журнал.

— Это «Амбасадор», журнал мистера Тертла,— радостно говорит Адриана.— Только что получили новую книжку, в которой опубликованы его путевые заметки!

— Переведите, посмотрим, что он пишет! — говорит Тачев.

Заметки вместе с двумя-тремя фотографиями занимали несколько страниц. Заглавие гласило: «Болгария — страна сливовитц, моря и коммунизма». Сначала Арчи объяснял, где находится наша страна, и давал краткие сведения о ее климате и истории. После этого он, не знаю почему, писал, что мы страшно ненавидим турок. «Болгары не могут выносить турок,— писал он.— Я был в одном селе, где в прошлом веке между ними происходили большие кровопролития. Мне показали церковь, на стенах которой еще видны пятна крови, но, как обыкновенно бывает в таких случаях, никто не мог доказать, чья это кровь,— турки убивали болгар, или болгары турок, или они взаимно убивали друг друга».

Тут я остановился, удивленный. Тачев и Адриана тоже вытаращили глаза. Я передохнул и продолжал.

«Как известно,— писал Арчи,— Болгария принадлежит к коммунистическим странам. Это преимущественно земледельческая страна, и теперь уже почти во всех селах, где раньше была частная собственность, созданы колхозы. Я посетил один такой колхоз в виноградарском районе. Нужно признать, что некоторые его члены имеют известное благосостояние, но что производит там неприятное впечатление, это общий казарменный труд. Я видел группу молодых женщин, собирающих виноград. У них были странные, замкнутые лица, они сидели и пели тяжкие, протяжные песни, напоминая негритянок с южных плантаций...»

Я опять остановился, чтобы перевести дух, потом продолжал:

«В Болгарии можно говорить с различными людьми. В одной приятной маленькой корчме пьяный рабочий жаловался мне, что зарплаты ему никогда не хватает. Я имел возможность говорить с настоящим коммунистом, олицетворением тех существ с каменными лицами и беспощадными глазами, которые не моргнув глазом могут расстрелять сто тысяч человек ради своей абстрактной идеи и которые фанатично защищают колхозы».

«Болгары,— писал далее Арчи,— любят подчеркивать, что знают то или это, говорить о культуре и хвастаться, что культурны. Они похожи на мальчуганов, которые с невыразимой гордостью показывают свои игрушки. Свои старинные дома, которые действительно любопытны на вид, они считают верхом мировой архитектуры. В одном из сел я встретил безумного идеалиста, который хотел поставить на сельской сцене «Короля Лира»! Мой экскурсовод, юноша, постоянно забавлявший меня своей наивностью (тут я проглотил слюну и остановился ненадолго, но, взяв себя в руки, продолжал), водил меня в какую-то церковку неподалеку от Софии и пытался мне доказать, что перед ее фресками ни гроша не стоит все европейское Возрождение. Он прочитал мне длинную лекцию по этому поводу; слушая его, я не мог понять, верит ли он сам в свои слова или ему просто приказали так говорить с иностранцами. Я имел также возможность познакомиться с произведениями одного из старейших болгарских писателей, которого они очень ценят; встал даже вопрос о моем участии в переводах его произведений на английский язык. Сначала я принял предложение, думая, что, возможно, это что-то примитивное и интересное, но потом, познакомившись с текстом, установил, что, за небольшим исключением, легенды полны такой старомодной идеализации людей, что это пришлось мне не по вкусу, и я не заявил об этом моим хозяевам только из учтивости».

Тачев и Адриана продолжали смотреть на меня, вытаращив глаза.

«Что бесспорно хорошо в Болгарии,— писал далее Арчи,— это еда и напитки. Особенно я рекомендовал бы любителям то питье, которое они называют «сливовитц»,— великолепную янтарную водку, легко проходящую в горло и незаметно повышающую настроение. Я сказал бы, что в таблице напитков она стоит непосредственно после настоящего шотландского виски. Я сохраняю о ней наилучшие воспоминания и всегда с удовольствием вернулся бы к ней. Она, может быть, первое, что мне приходит на ум, когда я слышу слово «Болгария».

«В последнее время болгары,— продолжал он,— усиленно строят современные курорты на Черноморском берегу. Я провел две приятные недели в новейшем из них, на так называемом Солнечном берегу. Несмотря на многие досадные неурядицы, эти курорты хороши, а природа, море и песок прямо восхитительны. Есть в Болгарии и другие приятные места, которые заслуживают, чтобы их посетили, да и сами болгары милые и гостеприимные люди. Одним словом,— заканчивал Арчи свои заметки,— я бы посоветовал каждому англичанину посетить Болгарию и

познакомиться с любопытной страной, где, хотя и есть коммунизм, есть также и хорошая кухня, и хорошее море, и хорошая сливовитц, и только ради нее одной я мог бы простить все остальные недостатки!..»

Я положил журнал на письменный стол. Мы все стояли и смотрели друг на друга.

— Хм! — говорит Адриана.— Есть кое-что положительное, но в целом как-то так, неопределенно!..

— В сущности, мы не можем требовать, чтобы он разделял наше мировоззрение,— заметил Тачев.

— Да, действительно,— говорит Адриана.— Но все-таки это так пренебрежительно!

— Да! — мрачно говорит Тачев.— И что он пишет про Йовкова? Как можно его не любить? Я всегда восхищался Йовковым, как может Йовков не нравиться кому-то? Нет! — вдруг обернулся он ко мне.— Наверно, вы плохо перевели ему легенды, дали ему превратное представление о них!

— Но позвольте! — воскликнул я.— Разве он не получил переводы перед отъездом? Разве не взял их с собой в Лондон?

— Да! — говорит Тачев.— Неприятно! И как можно твердить, что Йовков старомоден? Сам мистер Тертл говорил, что хотел познакомиться с чем-нибудь старинным, а не современным!

— У него вообще много противоречий! — говорю я.

— И теперь, когда он публично высказал такое отрицательное мнение об Йовкове,— вставил Тачев,— как он мог бы переводить и популяризировать нашего писателя?

— Действительно, неудобно,— говорит Адриана.

— Я думаю, что в таком случае нам следует отказаться от его перевода,— говорит Тачев.— У нас тоже есть достоинство, не так ли? Кому не нравится Йовков — на здоровье, не так ли?

— Совершенно верно,— говорит Адриана.— Жалко только, что теперь «Старопланинские легенды» не выйдут на английском!

— Что поделать? — воскликнул Тачев.— Мы найдем другого переводчика. Подумаешь, переводчик — тут столько писателей, мы найдем другого, кому понравится, кто будет переводить охотно!

— Жаль наших усилий,— говорит Адриана.— И средств!

— Э, все не может идти идеально! — говорит Тачев.— Иногда неизбежны и неудачи!

— А как их прекрасно встречали, — вздохнула Адриана.

— Это нас хорошо характеризует,— говорит Тачев.— Нужно всех встречать как следует, они потом отплатят как могут! И вообще мистер Тертл — еще не английский народ, если один плохой человек — это не значит, что все такие! Вот так! Ты, Адриана, возьми на заметку и напиши мистеру Тертлу письмо. Напиши: если вам, мол, не нравится Йовков и он кажется вам старомодным, то мы, при этих условиях, так, мол, и так, не хотим вас обременять и считаем наше соглашение утратившим силу, и так далее! Сочини там, но учтиво и внимательно, не нужно показывать себя невоспитанными!

Потом он снова обратился ко мне.

— Я не могу понять другого, — говорит.— Вы не показали ему хорошего кооперативного хозяйства?

— Но ведь я возил его в Перуштицу,— говорю я, и мне захотелось заплакать.— Женщины собирали виноград, пели, были веселыми, шутили...

— И говорит, что это был колхоз! — продолжал Тачев.— А это ведь кооперативное хозяйство.

— И это я ему объяснил,— говорю.

— А как можно писать о Перуштице, что неизвестно, турки убивали

болгар или болгары турок? — проворчал Тачев.— Вы не рассказывали ему про Апрельское восстание?

— Клянусь вам, я все ему рассказал! — воскликнул я.— И про Кочо Чистеменского ему рассказал, и про всех!

— Просто не могу переварить этого,— хмуро говорит Тачев.— Он кажется порядочным человеком, считаю, что ему было плохо объяснено!

— Имеется много темного во всем этом деле,— говорит Адриана и смотрит на меня очень холодно, а мне стало так тяжело, что я не мог произнести и словечка.

— Ну, ладно! — махнул рукой Тачев.— Теперь поздно разбираться! Учтем на будущее! — и он вышел, даже не попрощавшись.

Я тоже вышел, отправился домой, и меня охватила такая злость на Арчи, что я решил не посылать ему поздравление с Новым годом. Вдруг кто-то окликнул меня. Я обернулся. Это был наш шофер, тот самый, с которым мы ездили тогда в Жеравну.

— Здравствуй! — говорит.— Как ты? Какие вести от наших друзей из Англии?

— Не говори мне о них! — И я рассказал ему всю историю.

— Вот негодяй! — возмутился он.— Никогда бы не подумал про него! И теперь он не переведет Йовкова, а?

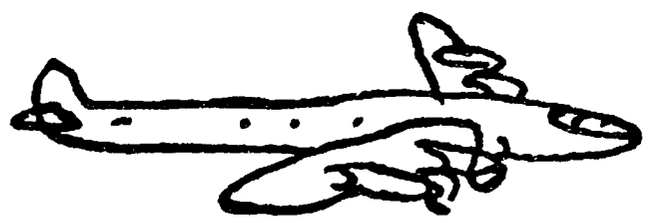
— Конечно, нет! — говорю.

— И весь этот шум, Солнечный берег, Жеравна, жратва, питье, песни, все было впустую?

— Все впустую! — говорю.

— Хорошо же он разыграл нас! — воскликнул он, но тут же улыбнулся.— Ну, ничего, хоть этот, как его, Войводов, сорвал поцелуй у его сестрицы! Хоть тут-то прибыль для нас, тут мы взяли верх!

Мы громко рассмеялись, и, скажу честно, мне стало чуть-чуть легче.



ТЕОДОР МАЗИЛУ

РАССКАЗЫ

Перевод с румынского
МАРГАРЕТЫ ЩИПОШ

МАРИЯ ПОПЕСКУ НЕ ХОЧЕТ БЫТЬ МАРИЕЙ ПОПЕСКУ

Когда мы познакомились, Мария Попеску была жизнерадостной, немного кокетливой девушкой.

Смелые мысли обуревали ее. Натура чувствительная, она не могла без слез смотреть спектакль «Без вины виноватые». Правда, ей приходилось расписываться в табельной книге в семь часов утра, но это ее ничуть не смущало. Семь так семь! Работа начинается в семь, значит, и расписываться надо в семь.

Словом, отношение к жизни у нее было самое здоровое, и, хотя кое-кому она казалась простушкой, мне лично ее поведение нравилось.

...И вдруг — о чудо! — вернувшись из Говоры, где она проводила свой отпуск, Мария Попеску неузнаваемо переменилась.

Мария Попеску не захотела больше быть Марией Попеску.

Первые тревожные симптомы выявились однажды вечером, когда я случайно встретил ее в трамвае. Она смотрела на людей ироническим скучающим взором: механические жесты кондукторши, прокалывавшей билеты, раздражали ее, она то и дело вздрагивала, словно сидела на рессорах. Наконец, заметив меня, она сделала знак, чтобы я придвинулся поближе.

— Ну и тоска в этом трамвае... Не понимаю, как это можно без конца дырявить билеты!

— Уж такая у нее профессия...

— Знаю, милый Григоре. Я тоже когда-то так думала. А потом... Как тебе объяснить? Это словно какое-то озарение... Я поняла, что живу серой, плоской, бессмысленной жизнью...

Эти свежие детские уста впервые изрекали такие горькие истины.

Но я уважаю сильные выражения и неологизмы. И потому выслушал ее до конца.

— Скучная жизнь, без красоты, без идеалов... Расписываюсь в табельной книге в семь утра, тону в заседательской суете, выслушиваю дурацкие замечания: «Товарищ, почему, входя в зал заседаний, не вытираете ноги?» Возвращаюсь домой, перелистываю книгу, потом отправляемся с Павлом в кино или в кафе...

Она сделала паузу, дабы слова ее дошли до моего сознания и основательно потрясли его. Потом посмотрела мне пристально в глаза и печально спросила:

— Разве это жизнь?

— Разумеется...— ответил я.

— А где же поэзия? — спросила она, глядя мимо меня в неведомые дали.— Что общего между бухгалтерией и искусством?

Я взял под свою защиту искусство и бухгалтерию.

— Между ними немало общего...

— Ах, и ты, Брут!.. И ты туда же... Так позволь сказать тебе, что ты самый заурядный человек... Только и заботы, что о своем животике... Купил новый костюм и счастлив...

— А что? Костюм красивый...— попытался я защитить свое маленькое счастье.

— Милый Григоре... Не надо... Прошу тебя... Помолчи... ты удручающе скучен...

Убитый горем жених удостоился подобной же отповеди.

— Павел, милый,— начала она,— нам нужно расстаться.. — И вдруг напустилась на него.— Что ты смыслишь в творчестве Андре Жида? Плакал ли ты когда-нибудь над стихотворной строчкой Валери? Обнажил ли ты хоть раз голову, любуясь солнечным закатом?

Жених честно сознался:

— Не обнажал, врать не буду...

— Тогда ты должен, по крайней мере, меня понять. Все между нами кончено... Уходи! Ты в этом ничего не смыслишь. Ты не можешь дать мне счастья...

Как быстро изменилась Мария Попеску!

Откуда же взялся Валери?

Откуда взялся Жид?

Откуда взялись эти закаты?

Откуда?

Откуда?

■

А Мария ходила из отдела в отдел и доводила до сведения каждого сотрудника, что он посредственность, скучнейшая личность и зря обременяет землю.

— Для вас, толстокожих, Жида могло бы и не быть. Валери напрасно родился...

Нетерпимость Марии Попеску доходила порой до крайней жестокости. Она жаждала крови.

— Людей, которые могут без слез глядеть на солнечный закат, надо расстрелять... Те, кто не любит Андре Жида, должны сами удавиться...

Громкие решительные слова явно противоречили ее внешности школьницы. Контраст был поистине разителен: достаточно было вглядеться в эти нежные черты, чтобы не поверить ни единому ее слову. Свежее, пышущее здоровьем личико сводило на нет почти весь эффект ее странных речей.

Позже я открыл тайну Марии. Она мечтала любой ценой приобщиться к кругу молодых, проницательных, сверхчеловечески умных художников, которые сыпали парадоксами, бредили Западом и ничего не печатали. Это сделалось для нее вопросом жизни или смерти. Приобщение к столь изысканному и высокоинтеллектуальному обществу требовало от нее огромных усилий, как материальных, так и умственных. Она лезла из кожи вон, задыхалась от напряжения, падала, поднималась, сызнова начинала, но не сдавалась. Бедная Мария Попеску! Философствовать приходилось на широкую ногу, а возможности зарплаты были гораздо скромнее...

«Избранные» друзья Марии принялись ее «лепить». Один из них, некий А. Г., пригласил ее в театр. Ставили «Без вины виноватые». Когда в последнем действии актриса нашла наконец своего сына, которого считала навеки потерянным, Мария разрыдалась. А. Г. испуганно отодвинулся, словно девушка совершила неприличный поступок.

— Что вы делаете, товарищ? — спросил он удивленно.— Здесь! В театре!

— Как что делаю? Плачу!

— Почему вы плачете? Вам нездоровится?

— Да нет же! Из-за пьесы плачу...

— А-а... Стало быть, Островский виноват...— иронически улыбнулся А. Г. И спокойно объяснил ей, что только глупые девчонки плачут на спектакле. Слезы — враги искусства. Слезы аннулируют эмоцию, губят критическое отношение.

— Аннулируют? Да? — серьезно спросила Мария, задетая тем, что сама не додумалась до этакой элементарной истины.

А. Г. торопливо продолжал:

— Милая моя... эстетизм и сантименты это... как тебе объяснить...— Он напряженно подбирал формулировку, доступную ее пониманию,— это, моя девочка, как бы тебе лучше сказать... нечто вроде кошки с мышкой...

— Я понимаю, они несовместимы...— выпалила Мария, слегка обиженная чрезмерно популярной формой, в которую ее спутник облек свою эстетическую концепцию.

Это было сказано с очаровательным простодушием. А. Г. вознаградил ее столь же простодушно· он поцеловал ее в лоб.

С тех пор Мария Попеску решила ни за что не плакать больше на спектаклях. Она с ненавистью глотала слезы, выдававшие ее эстетическую неполноценность. Она жестоко корила себя за прежнюю, бедную в художественном отношении жизнь. Что же касается нового восприятия жизни, то тут Мария делала большие успехи. «Какая идиотская пьеса!.. Ни резко очерченных персонажей, ни порядочных декораций...»

На работе она стала отказываться от общественных поручений.

— Опять утемистские * собрания? Опять дискуссии? — Потом, как бы вспомнив что-то очень важное, она встревоженно спрашивала: — Во сколько собрание?

— В шесть часов...

— В шесть часов?.. Так я и знала!

— Конечно, в шесть...

— Ах, в шесть! — Она умильно улыбалась, думая о чем-то своем, радостном, сокровенном...— Ах, в шесть!..

— Да... ровно в шесть...

— Не могу...

— Почему?

— В это время начинается закат... Хочу полюбоваться закатом.

— Да, но ведь важное собрание...

— Значит, я должна отказаться от заката из-за какого-то там заседания? Вы любовались когда-нибудь, дорогой товарищ, солнечным закатом? Все собрания, начинающиеся в часы заката, следовало бы отменить... Официально!

Если у нее просили заметку в стенгазету, Мария Попеску отказывалась наотрез:

— Нет вдохновения...

— А мы подбросим тебе фактики,— предлагал ответственный за выпуск.

Мария Попеску, которая больше не хотела быть Марией Попеску, смотрела на него с сожалением.

— Фактики... Фактики... На что мне ваши фактики, когда у меня нет вдохновения? Вы, товарищ, должно быть, понятия не имеете о сложности творческого процесса... За всю свою жизнь вы написали хоть одно стихотворение, хоть несколько строк?

— Нет...

---

* УТМ — Союз трудящейся молодежи.

— Нет? Так и нечего лезть не в свое дело...

Она думала, что небрежность в одежде, финансовые затруднения, цинизм и портвейн — чисто эстетические атрибуты, что в них-то и таится высшая логика. А потому хвасталась во всеуслышание:

— Долгов у меня!.. Ума не приложу, что делать...

— Вчера мы пили в «Континентале».

— Все мы пигмеи... за исключением Жида...

При активном содействии приятеля-редактора ей удалось тиснуть некое стихотворение в некую газету.

Для нашего учреждения сам факт опубликования стихов одного из сотрудников был, естественно, событием из ряда вон выходящим. Я поспешил поздравить автора.

Мария недоуменно спросила:

— Какое стихотворение, милый?

— То самое... в газете...

Она покраснела от злости.

— Как... неужели... напечатали? — Она чуть было не лишилась чувств. — Болваны!.. Что они натворили? Я же им сказала, что над стихами надо еще поработать! Григоре... ты ведь ко мне неплохо относишься... Прошу тебя... Сделай одолжение... Никому не говори об этом стихотворении... Прямо несчастье какое-то...

Однажды в профкоме ее попросили принять участие в капустнике. А ведь она давно мечтала о таком поручении. Неужели же теперь откажется, ссылаясь на более важные дела? Неужели направит к другим, менее занятым людям?..

— Нет, я не смогу вам помочь. Поймите, товарищ, это просто невозможно... Я очень занята... И ничего готового у меня нет... Обратитесь к Еуджении... Вчера она мне прочла несколько сонетов, они не так уж плохи... Может быть, у нее найдется время выступить.

Как-то утром я застал ее в отделе. Она сердито шагала из угла в угол, возмущенно ломая руки, готовая вот-вот заплакать.

— Читал статью в газете? Раскритиковали... — она назвала фамилию знаменитости, временно скатившейся в объятия формализма. — Какое-то ничтожество критикует его... Что за подлость!.. Как можно такое допустить! Я сейчас же ему позвоню... Бедненький... Представляю, как он нервничает...

Мария Попеску мужественно и гордо сносила удары, предназначенные другим. Она очертя голову бросалась в любую схватку, лишь бы удостоиться тумака... И если выходила из драки без синяков, чувствовала себя плохо, у нее появлялся комплекс неполноценности. Если же в суматохе ей случайно доставалось, она не обращала внимания на ошибку, не принимала никаких извинений. Ей было хорошо оттого, что она тоже среди пострадавших.

— Вчера вечером меня раскритиковали... Говорят, что я тоже скатилась в болото формализма.

С математического факультета она ушла.

— Не хочу больше заниматься математикой. Сколько ни корпи, два плюс два всегда будет четыре... В математике оригинальные идеи невозможны. Такова жизнь, такова математика... Ах, хорошо бы напиться! Уехать бы куда-нибудь... Чего бы я не дала, чтобы увидеть северное сияние!

Но участвовать в интеллектуальных диспутах и ночных кутежах становилось все трудней. Мария стала походить на человека с больной печенью. Теперь, когда кто-нибудь из ее молодых друзей начинал рассуждать об искусстве, Мария уже не слушала, она вспоминала, что забыла закрыть окна, что надо бы срочно починить дровяной сарай,

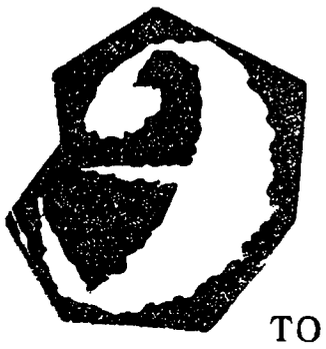
пока не ударили морозы. Когда какой-нибудь актер с голосом Иона Манолеску * заводил речь о неизбежной трагедии любви, она ловила себя на том, что не хочет, чтобы трагедия стала неизбежной. Она думала о покинутом женихе, о вечерах, проведенных с ним в парке отдыха, в государственном цирке, о пирожном со сливками. которым Павел угостил ее в частной кондитерской на улице Брезояну. Когда ее новые друзья разражались смехом, Мария, боясь казаться глупой, тоже принималась громко хохотать. Потом, вернувшись домой, она долго думала об остроте знаменитого прозаика, ломая над ней голову, словно над алгебраической задачей. И приходила к выводу, что смеялась без причины, так и не поняв иронии. Она честно пыталась оправдать себя в собственных глазах, пыталась понять, в чем смысл и сила услышанных острот. Но это ей не удавалось. Чего бы она не отдала, чтобы снова поплакать на спектакле «Без вины виноватые», погулять со своим Павлом, пусть банальным, но своим... Нет, ни в коем случае она не хотела, чтобы трагедия стала неизбежной.

Несколько дней назад мне пришлось дежурить в нашем учреждении. Я пошел проверить, выключен ли свет в отделах, заперты ли ящики. В одной из комнат, погруженных во мрак, я заметил Марию Попеску. Уронив голову на письменный стол, Мария плакала навзрыд. И хотя декорация была отнюдь не выигрышной, эстетизм и сантименты более не мешали друг другу. Я ужасно обрадовался и тихонько прикрыл дверь. Пускай побудет одна.

Давно она не плакала так неэстетично!

Мария Попеску плакала неэстетично! Как хорошо! Просто здорово!

Мария Попеску снова была Марией Попеску!



РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА

то случилось в полночь, в урочную пору привидений и таинственных происшествий. Шум шагов и сильный стук в дверь разбудили счастливую чету Спэлэцелу. Смуглый мужчина лет тридцати в странном одеянии не то пилигрима, не то трубадура включил свет в прихожей и остановился у застекленной двери спальни. Обнажив голову в знак особого уважения к своей необычайной миссии, он воскликнул, дергая за ручку двери:

— Именем Ромео и Джульетты, откройте!

«Ромео и Джульетта! Ромео и Джульетта? Где я еще видел такую ночь? — спрашивал себя Николае Спэлэцелу, сонно оглядываясь по сторонам и пытаясь понять, откуда доносится голос.— «Ромео и Джульетта», если я не ошибаюсь, название трагедии Шекспира, английского драматурга конца шестнадцатого века»...

В этом неожиданном визите было мало приятного. Однако он испытал удовлетворение оттого, что смог сравнительно быстро вспомнить, в каком веке жил Шекспир.

— Да... да... шестнадцатый век,— подтвердил странный гость.

Наконец Спэлэцелу обнаружил незнакомого субъекта, который заглядывал в комнату с бесцеремонностью налогового агента, собирающегося продавать имущество недоимщика с молотка. Но он не знал за собой никакой вины — и потому постепенно успокоился: «Что ему надоб-

---

* Известный румынский драматический актер.

но от меня в двенадцать часов ночи? И при чем тут Ромео и Джульетта? Что за глупые шутки?»

Услышав, что речь идет о Ромео и Джульетте, мадам Спэлэцелу проснулась и тихо улыбнулась, как умеют улыбаться только женщины своим таинственным воспоминаниям или сокровенным мечтам.

— Открой ему, открой,— попросила подруга жизни, указывая пальцем на незнакомца, который делал за стеклом нетерпеливые знаки.— Он кажется порядочным человеком...

— Как это открыть? — возмутился Спэлэцелу.— А если он нас задушит? Вдруг это грабитель?

Поняв, что именем Ромео и Джульетты здесь ничего не добьешься, незнакомец дернул опять за ручку двери.

— Именем закона, откройте!

«Именем закона! Очень хорошо! Так бы и сказал с самого начала! Закону я подчиняюсь. Перед законом мы все равны. Именно равенство придает юстиции столько поэзии. Но что может иметь против меня закон? Я уважал его, я любил его, чего же ему от меня еще надо? Очевидно, произошла ошибка.— Однако и тут Спэлэцелу не изменило его природное чувство юмора.— Что ж,— заметил он про себя.— Во время французской революции тоже совершались ошибки. Уж если Франция, синтез вселенной, совершала ошибки, то нам, балканцам, левантийцам, сам бог велел»...

Однако мысль о том, что ему надо встретиться лицом к лицу с незнакомцем, все-таки пугала его. Он страстно и обреченно поцеловал свою жену, словно уходил в далекий путь, откуда нет возврата. «Будь, что будет! После меня — хоть потоп!» — и приоткрыл дверь.

— Чему мы обязаны? Что вам нужно в такой поздний час?

— Я пришел от имени Ромео и Джульетты,— сказал незнакомец, робко улыбаясь, и предъявил в виде пропуска том сочинений Шекспира.— Я недолго задержу вас.

Теперь Спэлэцелу окончательно уверился в том, что имеет дело с сумасшедшим. Он счел за благо не раздражать его.

— Видите ли, дорогой товарищ,— начал он,— час теперь поздний, и даже очень... На моих двенадцать. Двенадцать часов и четыре минуты. Последние известия уже давно передали. И между прочим, конституция... гм... и социалистическая законность... Приходите, пожалуйста, завтра утром.

— Конституция тут ни при чем. Я пришел от имени Ромео и Джульетты!

— Ромео и Джульетты? Если не ошибаюсь, таково название трагедии Вильяма Шекспира, английского драматурга, классика мировой литературы. Вот уж поистине великий писатель! С помощью одной детали превращает трагедию в комедию, и наоборот. Но, дорогой товарищ, какая-то там пьеска, да еще англичанина, не может служить законным основанием для столь позднего визита.

— Не острите, гражданин!— взмолился незнакомец.— Что угодно, только не острите. Готов признать, что вы остроумный человек, но дело теперь не в этом. Мне нужно поговорить с вашей женой.

— Какое вам дело до моей жены? И, к вашему сведению, я вовсе не «гражданин»! — рявкнул Спэлэцелу, напуганный не столько тем, что хотел ему сказать незнакомец, сколько смелостью, с которой тот называл его нейтральным и бесцветным словом «гражданин».— Я вам не «гражданин», сударь! Я — товарищ Николае Спэлэцелу, работник главного управления министерства химической промышленности.

Когда его называли «господином», «гражданином» или критиковали за то, что на совещании он не поставил точку над «i», Спэлэцелу испытывал такое же ощущение, как растратчик перед арестом. На сле-

дующем совещании он из предосторожности ставил уже две точки над «i».

Теперь он строил самые различные догадки по поводу социального происхождения посетителя и цели его визита. «А вдруг это переодетый начальник? Вдруг кто-нибудь донес на меня в отдел кадров? Абсурдная гипотеза... Один процент вероятности... Однако и одного процента достаточно... Нужно быть с ним повежливее».

— Что же вы? Садитесь, товарищ... И уж не обессудьте... В такой поздний час в каждом доме некоторый беспорядок. Но, знаете ли, в беспорядке тоже есть своя прелесть... Когда царит беспорядок, это значит, что жизнь бьет ключом!.. Что вы скажете насчет рюмочки цуйки? На улице мороз... так что рюмочку старой цуйки... А ведь в самом деле, что может быть прекраснее рюмочки цуйки, пропущенной в двенадцать часов ночи с незнакомцем, с человеком, пришедшим от имени Ромео и Джульетты? Я не знаю, кто вы. Служащий или поэт, милиционер или авантюрист... Не знаю, но что касается меня, я принимаю вас с открытой душой. Я думаю, что вы хороший человек, настоящий товарищ. Конечно, работа у вас трудная. Сорняки надо уничтожать... Я согласен... Но я не сорняк, нет, я тружусь. Думаю, что тут какое-то недоразумение. Правда, недоразумения тоже вещь полезная, в них тоже своя поэзия. В сущности, именно недоразумения лежат в основе самых блестящих комедий. Разве жизненные идеалы не порождены в конечном счете недоразумениями? Кстати сказать, во время французской революции тоже случались недоразумения...

Спэлэцелу поднял рюмку в честь странного посетителя.

— За незнакомцев! За экстравагантность, во славу Шекспира, самого симпатичного англичанина, за Ромео и Джульетту, самых великих влюбленных всех времен!

Незнакомец пригубил рюмку и тут же поставил ее на стол.

«Что это на него нашло, к чему остроты? Откуда в нем эта изворотливость?» — думал он, наблюдая, как мучительно выискивает Спэлэцелу новые остроты, парадоксы, умные реплики.

«Ох и сложную профессию я выбрал,— упрекнул себя гость и обессиленно опустился на стул.— Нелепую профессию!.. Все мои товарищи занимаются вполне приличными делами — они портные, столяры, преподаватели математики, циркачи, парикмахеры, литературные критики, тренеры... Один я выбрал себе горькое ремесло носителя дурных вестей... Открываю дверь и говорю: «Ваш муж не любит вас». Иду дальше, открываю другую дверь: «Ваша жена не любит вас», и так день за днем, ночь за ночью, год за годом... Они еще наслаждаются угасающими порывами страсти, они живут еще воспоминаниями о первых встречах, засматривают друг другу в глаза, клянутся в верности до гроба, а я распахиваю дверь и кричу им в лицо: «Ложь! Все ложь!» Хотя многих даже такие слова не пугают: «Ну и что? Пусть ложь!». Этих я смертельно ненавижу. Некая госпожа с улицы Шеларь, узнав, что муж ее не любит, расхохоталась: «Мерси, товарищ. Вы думаете, я этого не знала? Да мне и не нужна его любовь. Достаточно и того, что он приносит деньги»...

— Товарищ... простите...— пролепетал Спэлэцелу,— не имею чести знать вашего имени. Ну что же, если это секрет .. Так сказать, в интересах службы... Я не настаиваю. Я даже прошу не называть мне своего имени. Я очень люблю тайны. Они придают особое очарование нашему бренному существованию... Не хотите ли еще рюмочку?

Но незнакомец оставил без внимания слова Спэлэцелу. Он достал большую, с крестьянский платок, бумагу и стал читать, чеканя слова:

— Именем Ромео и Джульетты арестовать гражданина Николае Спэлэцелу, проживающего по улице Хризантем, дом семь, и привлечь

его к суду по обвинению в том, что он четыре года сожительствует с женщиной, которую не любит... Дело рассматривать в Высшем Суде Чести...

— О, тогда вы напрасно трудились... Он меня любит,— улыбнулась Мария.— Все, что вы говорите, не более как шутка! Только сегодня он принес мне подснежники...

— А ведь это остроумно, товарищ,— засуетился Спэлэцелу.— Я даже не ожидал. Шутки великолепная вещь. Они, знаете ли, разнообразят жизнь...

— Это не шутка, гражданин,— мрачно возразил незнакомец.— У меня ордер на арест.

— Он мне принес подснежники... Они там, в вазе...

— С юридической точки зрения, подснежники не могут служить доказательством верности,— поспешил уточнить Спэлэцелу.— Подснежники — просто полевые цветы.— Он был встревожен бестактностью жены и пытался исправить положение. «Этот сумасшедший способен меня убить!» — Мы можем показать свидетельство... законное... если вы что-нибудь подозреваете...

— Бросьте говорить глупости! Печально все это...

— Хорошо, но, с юридической точки зрения, свидетельство...— невнятно возразил Спэлэцелу.

— Кто вы такой? — закричала Мария, выведенная из себя настойчивостью и наглостью незнакомца.— Что вам нужно? Кто вас сюда послал? Вильям Шекспир? Ромео и Джульетта? Откуда вы знаете, что делается в нашем доме, в наших душах?

— Как откуда?..— засмеялся незнакомец.— Это же моя профессия!.. Я разоблачаю лицемерие — именем Ромео и Джульетты. Вот уже десять лет, как на меня возложили эту обязанность, которую я, кстати сказать, выполняю с удовольствием... Это ведь здорово, не так ли? Жаль только, что люди так привыкли лицемерить... Одни считают меня злым духом, для других я в лучшем случае непрошеный гость...

— Как это можно именем Ромео и Джульетты? — попытался Спэлэцелу успокоить свою жену.— Товарищ шутит... Ромео и Джульетта умерли давно, и косточки их погнили... Это недоразумение, верно ведь, товарищ? Есть вопросы куда более важные, товарищ... Более неотложные... Наши соседи, например, не расписаны, а это непозволительно... А инженер приводит каждую ночь другую женщину... Это просто позор... Если вы из милиции...

— Я не из милиции! Гражданин, вам отлично известно, что вы не любите свою жену. «Я женился на ней потому, что у нее квартира с газом и перспективная работа». Вы же сами в этом признались...

— Я? Кому же, скажите на милость?

— Своей собственной совести.

— Ну и что с того, что не любит?! — вспылила женщина.— Какое вам дело, любит он меня или нет? А вы уверены, что ваша жена любит вас? А если она как раз сейчас изменяет вам с каким-нибудь младшим сержантом?

— Не изменяет...— успокоил ее незнакомец.

— Это ее дело... Это ваше дело... Вам-то что, если он меня не любит?! Если он мне изменяет?! А может быть, мне даже нравится, что он мне изменяет!.. Но он меня любит. Любит! Не правда ли, Ник, милый? Скажи этому представителю Ромео и Джульетты, что ты меня любишь...

— Конечно... конечно...— торопливо согласился Спэлэцелу.— Само собой, милая моя, как же иначе? Разве ты не моя законная жена? Как же не любить тебя?

— Гражданин, суд ждет... В вашем распоряжении три минуты,— строго сообщил незнакомец.

Спэлэцелу прижал свою жену к груди.

— Маричика... что бы ни случилось, я люблю тебя.

— Не надо лгать,— мягко заметил незнакомец.— Вы усугубляете свою вину. Почему вы хотите усложнить положение?

— Маричика... что бы ни случилось, я люблю тебя,— с достоинством произнес Спэлэцелу, не обращая внимания на советы незнакомца.— Если позвонят с работы и спросят, почему меня нет, скажи им, что я отлучился по важному делу. Попроси Панделе, заведующего отделом кадров, чтобы он замолвил за меня словечко.

— Какой у него телефон? — машинально спросила женщина.

— Восемь, шесть, три, два, один... Маричика, запиши, а то забудешь. Не на спичечной коробке, потеряешь... На листке бумаги. Так, теперь поцелуй меня...

Она поцеловала его в лоб. Лишь немного погодя он осознал всю жестокость подобного жеста: «Она меня поцеловала в лоб! Поцеловала в лоб! Почему она меня поцеловала в лоб? Подозревает что-то? Никогда раньше она не целовала меня в лоб. Материнский поцелуй, последняя фаза брака. После такого поцелуя непременно следует развод. Я некрасиво с ней расстался... Я поступил как идиот... Надо было взять ее на руки, приласкать, сказать несколько нежных слов»...

Он попросил у незнакомца разрешения вернуться на несколько секунд, чтобы исправить свою ошибку.

— Только на одну минуту,— определил незнакомец срок лицемерия.

— Маричика... я вернулся... я не мог иначе... Я люблю тебя, Маричика. Как бы мне это лучше выразить? Ты же знаешь, я не мастер по части громких слов. Поздравления и то у меня не получаются. День 8 марта для меня просто несчастье... я запираюсь у себя в кабинете и ухожу с работы черным ходом.— Последние слова он произнес механически, по инерции, на самом деле он думал совсем о другом: Маричика не записала номер телефона. «Может быть, подозревает? Не хочет звонить?» — Восемь, шесть, три, два, один...— прошептал Спэлэцелу таким тоном, словно говорил ей: «Я люблю тебя, красавица моя».

— Восемь, шесть, три, два, один,— повторила Маричика и иронически улыбнулась, точно этот номер телефона раскрыл ей всю тайну.

Незнакомец указал на часы и схватил его за руку.

— Все...

Но и на этот раз Спэлэцелу не был доволен процедурой прощания. «Неправильно я себя повел. Опять нехорошо я себя повел. Восемь, шесть, три, два, один... Разве так расстаются любящие сердца?»

В дверях он остановился:

— Не надо звонить Панделе...

Он не собирался разводиться... Не хотел разводиться... «Я не люблю ее, но у нее квартира с газом, горячая вода круглосуточно, телефон, перспективная работа, возможность провести отпуск в Венгерской Народной Республике»... Он только не понимал, как мог догадаться незнакомец, что он ее не любит? Каким образом он выведал эту тайну? Может, попытаться договориться с ним по-хорошему, по-человечески... Сунуть ему несколько сотен... чтобы он замял дело. Главное, чтобы Мария не узнала. Если дело дойдет до суда, прощай, квартира с газом. О газ, о комфортабельная квартира, о горячая ванна в любое время суток, какое вы место занимаете в жизни человека! И зачем это я оскорбил подснежники? Элементарная глупость... Я же знаю, как она любит цветы. Потом этот номер телефона... она еще подумает, что я трус... Если она меня разгадает, я пропал. Только не думаю, чтоб это случилось. Я хорошо законспирировался, сколько затрачено ума, такта, фантазии! Я приносил подснежники Марии, возвращаясь от мадам Стратопол... Красивый обычай... Это сделалось просто традицией... Я улыбал-

ся Марии, а мысленно гладил ноги госпожи Стратопол... Я неплохо разыгрывал роль невинного гимназиста... Я звонил ей с работы, чтобы сообщить, что наступила весна... Дошло до того, что даже телефонистка влюбилась в меня. Но, как только появился этот незнакомец, я совсем отупел. Что на меня нашло? Оскорбил подснежники, назвал их полевыми цветами! Подумаешь! Какое остроумное замечание! Подснежники — полевые цветы! Ведь именно полевые цветы — самые свежие, самые романтические. Но вообще я здорово играл роль, не хуже гениального актера! Не будешь гениальным актером — помрешь с голоду... Незнакомец так и не разгадал моей души! Надо запрятать ее поглубже! Иначе меня поставят к стенке! Разве я один такой? Все люди разыгрывают какую-нибудь роль... Хорошие исполнители процветают... Плохие — нищенствуют, становятся ворами, неудачниками... А вдруг незнакомец что-нибудь пронюхал? Вдруг у него предчувствие? Подкупить его? Великолепная вещь — взятка... Как, впрочем, и «чаевые» — низшая фаза взятки. Они упрощают жизнь, освобождают нас от неприятностей, от неловких мгновений, от аргументов. Взятка! И зачем ополчаются на нее? Ведь это одно из завоеваний цивилизации. Такое же, как реактивный самолет, как телефон, как почта. Быстрее доходишь до цели, меньше тратишь времени попусту.

— А как у вас обстоит с зарплатой? — спросил как бы невзначай Спэлэцелу.— Незнакомец по-прежнему молчал. Тогда он прямо приступил к делу.— Вот что, я дам тебе 10 000 лей... наличными. Спаси меня! Зачем нам губить человеческую душу? Зачем ей знать, что я ее не люблю? Она покончит с собой... Смерть ее будет на твоей совести. Да и что мы сто́им без лжи?.. Паяцы...

— Интересно...— улыбнулся незнакомец.

«Опять промах! И кого я собрался подкупать!»

Он никогда раньше не видел этого большого, внушительного белого здания из каррарского мрамора, перед которым они остановились.

Незнакомец пригласил его в широкий зал с подвижным потолком и посадил на скамью подсудимых.

— Через несколько минут вас вызовут...

Посланец двух великих влюбленных отошел, не попрощавшись. Он остановился перед умывальником и стал мыть руки, словно хирург после операции. Гигиеническое усердие незнакомца оскорбило Спэлэцелу. «Заражения опасается, что ли?» Тут незнакомец открыл дверь на улицу, и Спэлэцелу сразу узнал его: «Боже мой, как тесен мир! Это же Ионеску, его подчиненный Ионеску! Так вот кто осмелился явиться к нему от имени Ромео и Джульетты!»

Безграмотный лапотник, который, наверно, и не слыхал о Шекспире... «Ну хорошо же, Ионеску! Плакал твой отпуск на Красном озере». Каждый раз вспоминая, что он руководящее лицо, Спэлэцелу испытывал желание кого-нибудь унизить.

— Товарищ Ионеску, купи-ка мне пачку сигарет. Только помягче... и не забудь вернуть сдачу...

Незнакомец громко засмеялся и исчез.

— Подсудимый Николае Спэлэцелу! — раздался вдруг энергичный, ничего хорошего не предвещавший голос.

— Здесь! — крикнул Спэлэцелу, испуганно поворачивая голову.— Я здесь! Только вношу маленькую поправку,— уточнил он с достоинством.— Товарищ Николае Спэлэцелу, а не «подсудимый».

— А если мы не примем поправки, что будет? — развеселилась женщина-судья.— Вы угрожаете нам побегом? Вы немедленно уходите? Вы удаляетесь?

Ему понравилась ирония женщины. Впрочем, не только ирония... «Лакомый кусочек... Маленькая грудь... Представляю себе, какая она

твердая... Жаль, что из-за стола не могу видеть ног, чтобы получить полное представление».

— Подсудимый Николае Спэлэцелу...

— Товарищ Николае Спэлэцелу...

— Подсудимый Николае Спэлэцелу...

— Товарищ Николае Спэлэцелу...

— Товарищ Николае Спэлэцелу... Суд принимает к сведению, что вы с сожалением, даже с благородной болью расстаетесь со словом «товарищ». Но здесь вы подсудимый Николае Спэлэцелу. Этот вопрос, следовательно, выяснен. Думаю, вы догадываетесь, какие причины нас вынудили потревожить вас в столь позднее время. Случай этот, по независящим от нас причинам, стал нам известен с опозданием. Учитывая, однако, тяжесть преступления, мы потребовали ускоренного разбора.

— Я думаю, тут какое-то недоразумение...

— Никакого недоразумения! У нас недоразумений не бывает! — рассердилась судья, выведенная из себя наглостью подсудимого.— Повторяю: догадываетесь ли вы, что привело вас на скамью подсудимых? Поняли ли вы наконец, в каком тяжелом положении очутились? Намерены ли вы хотя бы в этот последний час сказать правду, а затем довести ее до сведения одного человека, которому крайне необходимо знать правду?

— Я думаю, тут какое-то недоразумение...

— Подсудимый! Отдаете ли вы себе отчет в том, что, скрывая причину, по которой вы тут находитесь, вы усложняете свое положение? Считаете ли вы, что у вас совесть чиста?

— Я всегда уважал закон!..— гордо отвечал Спэлэцелу.— Я торжественно заявляю уважаемому суду, что у меня совесть чиста... со всех точек зрения...

— Даже теперь, совершив преступление, вы не отдаете себе отчета в его чудовищности? — прошептала судья, огорченная упрямством подсудимого.

— Я честный гражданин... Я не совершал ни одного преступления, ни одного беззакония! Я даже не рву цветов в парке Чишмиджиу... На днях на работе меня премировали...

— Не будем отклоняться,— кротко предложила судья,— придется учинить вам маленький допрос. Ваше имя, фамилия?

— Николае Спэлэцелу.

— Где проживаете?

— Улица Хризантем, номер 7. Я прописан в домовой книге... и в милиции прописан...

— Без лишних подробностей! Семейное положение?

— Женат... Свидетельство имею при себе...

— Не болтайте, подсудимый! Отвечайте коротко! Дети есть?

— Нет... Но если будет введен налог...

— Социальное происхождение?

— Мещанин... Но меня неправильно определили... Мой отец... в действительности...

— Профессия?

— Верноподданный служащий...

— Ах, подсудимый! Я же вас просила без подробностей. Могли бы вы сказать, подсудимый Спэлэцелу, при каких обстоятельствах вы познакомились со своей женой?

— При обстоятельствах, типичных для нашей эпохи... На товарищеском вечере... Мы выполнили план, и профсоюзный комитет...

— Социально-экономическая конъюнктура нас не интересует... Что вас привлекло в вашей будущей жене?

— Ее скромность, добродушие, бережливость... Я решил устроить себе семейный очаг... Тем более что у нее была уже кое-какая материальная база, то есть квартира с удобствами. Брак помог мне подправить и свое социальное происхождение.

— Подсудимый Николае Спэлэцелу, отвечайте искренне: вы любите свою жену?

— Нет! Нет! Нет! — внезапно заорал подсудимый, удивляясь собственным словам. Он был до смерти напуган тем, что не может больше лгать. «Если я больше не могу врать — я конченый человек, я удавлюсь. Если я не способен больше врать...»

— Хорошо! Это хорошо, что признаетесь. Но тогда почему же вы на ней женились?

— Я хотел создать себе счастливый семейный очаг... Кстати, даже закон...

— Подсудимый Николае Спэлэцелу... Вы не видите никакой связи между тем, что у этой женщины была квартира с удобствами, и вашим поэтическим стремлением создать счастливый очаг?

— Ну конечно. Зачем я буду врать? Кое-какая диалектика тут есть!

— Остроты тут ни при чем! Я вам запрещаю острить в вашем положении... Вы тут торжественно сообщили — и у нас нет никакого повода усомниться в вашей искренности,— что вы не любите свою жену. Почему вы не сообщили об этом своей жене?

— Как? Сообщить? Боже упаси! — ужаснулся Спэлэцелу.— Это же чудовищный скандал...

— А теперь вышло чудовищное преступление...

— Чудовищное преступление все же не чудовищный скандал,— заметил Спэлэцелу.

— Подсудимый, я запретила вам острить на допросе... Какое вы имели право избегать чудовищного скандала? Какое вы имели право сожительствовать с нелюбимой женщиной?

— Я не сожительствовал с ней... я законно... Я ее уважаю... Подснежники, которые я ей принес, и сейчас еще стоят в вазе. Можете отправиться туда, и вы увидите подснежники...

— Подсудимый, вы не на собрании, а в суде. Отвечайте, какое вы имели право?

— Мне так хотелось! В личной жизни я поступаю как считаю нужным. Никто не имеет права вмешиваться. На службу я не опаздываю. План выполняю... На собраниях выступаю. Я не понимаю, что тут происходит? Это же все подстроено!..

— Подсудимый, говорите тише! Оставьте громкие слова. Ответьте еще на один вопрос: были ли вы когда-нибудь влюблены? Случалось ли вам потерять голову из-за женщины? И если это так, то можете ли назвать свидетелей?

— Я? — изумился Спэлэцелу, оглядываясь с видом неотразимого сердцееда.— Из-за женщины? Мне нравились женщины... эээ... как женщины... но чтобы терять голову... Да и какие могут быть свидетели? Подумать только, свидетели...

— Не смейтесь, подсудимый, тут нет ничего смешного.

— Есть,— решительно возразил Спэлэцелу.

— Разве вам не известно, что влюбленность — обязательное настроение, статья закона, которую все граждане обязаны соблюдать? Разве вам не известно, что подлости, где бы они ни совершались, на работе ли, дома ли,— преступление? Вы хотите очутиться в тюрьме лицемерия? Не очень-то приятное местопребывание.

— Я не знаю такого закона. Человек имеет право лицемерить, если он при этом не нарушает общественные порядки.

— Почему вы не разведетесь, если не любите свою жену?

— А зачем мне разводиться? Зачем нарушать закон, когда я могу его соблюдать? У человека должен быть очаг. И, кроме того, я, ей-богу, боюсь...

— А, боитесь! Вот видите. Одно правонарушение влечет за собой другое. Какое же вы имеете право бояться? Разве вы не знаете, что трусость строго карается законом? Какое вы имеете право нарушать закон? Какое право имееге бояться?

— Страх — вопрос личного порядка,— уточнил Спэлэцелу.

— Трусость — вопрос общественный.

— Я не признаю за собой никакой вины,— возопил Спэлэцелу.— Я заплатил налоги, у меня тут все расписки! Заплатил за радио, у меня квитанция. Я состою в законном браке, свидетельство при мне.

Мысль об оскорбленной законности вызвала в его памяти воспоминание о множестве документов, виз, справок, удостоверений...

— Профсоюзные взносы я заплатил... В домовую книгу я внесен... Чего вам еще от меня надо?

Выяснив виновность подсудимого, судья и заседатели покинули зал. Словно во вспышке молнии он вдруг узнал их всех... «Смотри, кто тут нас задирал! Такие же служащие, как я, из того же учреждения! Вот так грозный судья. Да это же наша библиотекарша, товарищ Мэчиною! Можешь считать себя переведенной в Питешть, товарищ Мэчиною! Смотри-ка, да тут еще Дэнчулеску из планового отдела! А, Дэнчулеску! Не видать тебе больше пособия по болезни. А тот высокий блондин — Штефэнеску из финотдела. Теперь ты у меня круглый год будешь сидеть в Мизиле...»

Через несколько минут был зачитан приговор. Женщина-судья, одетая на этот раз в белое, весеннее платье, произнесла приговор спокойным голосом, без тени волнения. Она говорила так ясно и громко, что Спэлэцелу стало не по себе: что, если ее слова слышны у него дома? «Боже! Что будет, если Мария узнает правду? Мне совсем не хочется искать другую квартиру... И где я найду квартиру с газом и с ванной?»

Вся жизнь его рушилась. Он видел себя бездомным, безработным. Снова разговоры о социальном происхождении, снова толкучка в автобусе. А ведь как приятно ездить в служебной машине, осенью, когда на улице грязь и слякоть, как приятно обдавать прохожих грязью и слышать, что они при этом чертыхаются! Как они смешны, эти обрызганные грязью люди, когда грозят тебе, пытаясь, сохранить при этом достойный вид. Начать все сначала, теперь, на старости лет? Снова ухаживать за девушкой из пролетарской семьи? Снова выступать на собраниях, забавлять детей руководящих лиц, ездить в деревню на сельскохозяйственные работы, изучать политэкономию, дежурить в учреждении?

— Сударь, вы самая настоящая свинья... Таков приговор...

«Что, если Мария узнает? Лишь бы Мария не узнала, а то не миновать беды. Она меня немедленно бросит. Только бы не узнала!»

Спэлэцелу заметил, что судья подзывает какого-то служителя, очевидно, курьера. Он отдает Марии конверт с судебным приговором. Странная штука жизнь! Курьера он тоже знал: «Силе Понеску! Силе Понеску, с которым я пил пиво в «Тик-Так» на днях... Силе Понеску, отличный парень...»

Он проследовал тайком за Силе в гараж. Силе уже сидел в машине. Спэлэцелу рванул дверь.

— Силе... мальчик... спаси меня... спаси...

— Что вам здесь нужно, подсудимый? Я вас не знаю. Отойдите от машины... мне надо ехать... Не то вызову стражу.

— Как это ты меня не знаешь? Разве не с тобой мы пили пиво в «Тик-Так»? Помнишь, я еще читал тебе стихи Щипачева?

Ты порой целуешь ту, порою — эту
В папиросном голубом дыму.
Может быть, в упреках толку нету,
Да читать мораль и не к лицу поэту,—
Только страшно стариться тому...

— Я вас не знаю, подсудимый... Или, может быть, вы чертовски изменились...

— Ну что за странные слова? Ведь это я... Все тот же... Человек во всей своей сложности и противоречивости! Неужели ты меня не узнаешь? Разве мы не вместе сиживали в «Тик-Так»? И на митингах? На собраниях? Я же писал про тебя в стенгазету! Я выдвинул тебя в профком!

— Я вас не знаю...

— Знаешь и должен мне помочь. У тебя в кармане судебный приговор... Не надо везти его жене... Прошу тебя, умоляю, пощади ее! Она не вынесет. Ты ее убьешь... Зачем ее убивать? Пусть думает, что я ее люблю, пусть будет счастливой... Не убивай ее, она тоже живая душа... Я тебя не забуду... Я сделаю тебя заведующим отделом...

— Лучше, если она узнает правду,— сказал дружелюбно курьер,— Ей-богу, лучше...

— Лучше? Как лучше? Ты можешь мне обеспечить квартиру с газом? Нельзя, Силе. Не вези ей приговор, и все останется по-прежнему... Мы будем любить друг друга... Я буду ей и впредь приносить подснежники и сообщать по телефону, что наступила весна... «Алло, Мария? Говорит Ник, я тебе звоню по очень важному делу: пришла весна! Пришла весна!» У нас будет ребенок, я тебя приглашу в гости, мы пропустим по рюмочке. Я очень буду любить своего ребенка... буду его катать в коляске по Чишмиджиу... Без лжи мы все паяцы... Почему ты мне не отвечаешь?

— Нельзя... Я должен все рассказать вашей жене!

Тогда он набросился на курьера и ударил его по голове заводной ручкой. Курьер глухо застонал и повалился на руль. Спэлэцелу вырвал у него портфель и шмыгнул за гараж. Он разорвал конверт на мелкие куски и сжег их. Он восхищенно глядел, пьянея от счастья, на маленькое пламя, которое должно было вернуть ему покой. Мария не узнает правду! Он перепрыгнул через забор и очутился на улице. Спасен. Никто за ним не бежит. «Пойду куплю ей цветов, подснежников и фиалок. Она страстно любит полевые цветы. Я ей скажу, что суд извинился передо мной, а незнакомцу влетело за то, что он ворвался в наш дом».

От избытка радости он проснулся. Мария как-то странно и необычно смотрела на него.

— Что с тобой? У тебя была ужасная ночь, ты все время кричал: «Товарищ, это недоразумение!..» Что тебе снилось?

— Идиотский сон, дорогая... Какая-то ужасная нелепость... будто явился к нам некий человек, не помню, от чьего имени, и... ни с того ни с сего...— он чуть было не проговорился,— пригласил меня пить пиво...

— А не приснилось ли тебе, что ты меня не любишь? Вспомни хорошенько, милый!.. Постарайся вспомнить... Не было там разговора о Шекспире?

И словно дождавшись наконец случая, о котором он грезил долгие годы, Спэлэцелу что есть силы ударил ее по лицу. Как давно он жаждал избить ее, растоптать ногами... Довольно подснежников и стихов Щипачева! Да здравствует жизнь!

— Каким образом ты это узнала, змея?

Она ничего не ответила.

И тут Спэлэцелу увидел на тумбочке рядом с подснежниками, нежным символом весны, черный конверт с судебным приговором.

ИВАН РУЖ

ГОРИЗОНТЫ ОТКРЫТЫ

Утверждение метода социалистического реализма ознаменовало новую эру в художественном развитии человечества.

Менее чем за пять десятилетий мировая литература обогатилась замечательными художественными творениями социалистического реализма — их создавали прежде всего советские писатели, а вслед за ними и писатели других стран.

Не раз за это время социалистический реализм подвергался яростным нападкам. Не раз литературные пророки шумно трубили о его творческой бесплодности и близкой гибели, но живая действительность литературного развития неизменно опрокидывала их мрачные предсказания.

Несколько лет назад грязная волна ревизионизма накатывалась на твердыни искусства социалистического реализма. Враги, хулители не занимались глубоким анализом фактов, не ставили перед собой цель устанавливать истину: их усилия были направлены на то, чтобы подорвать доверие и писателей и читателей к великим творческим возможностям и достижениям социалистического реализма — самого передового метода художественного творчества. Но попытки заглушить мощный голос искусства нового времени снова потерпели крах. Свидетельство тому — подъем, который наблюдается сегодня в советской литературе, последние творения М. Шолохова, А. Твардовского, К. Федина, талантливые произведения ряда писателей среднего поколения, рост способной молодой литературной смены, которую представляет немало ярких дарований, новые замечательные достижения литературы и искусства стран социалистического мира.

■

Преимущества, плодотворность нового творческого метода явственно видны и в развитии болгарской литературы после второй мировой войны. Раньше Болгария, маленькая страна, была на европейском континенте одной из самых отсталых в экономическом и культурном отношении. В условиях социалистического строительства она за короткий срок добилась поразительных успехов. Иностранцы, приезжающие в Болгарию, даже те, которые относятся отрицательно к социалистическому строю, признают, что в юго-восточном уголке Европы они, вопреки своим прежним представлениям, обнаружили страну, находящуюся на крутом подъеме, страну с просвещенным народом, с новой промышленностью, цветущим сельским хозяйством, хорошими дорогами, замечательными морскими курортами, благоустроенными городами и селами.

Много перемен произошло за это время и в болгарской литературе. В прошлом можно было по пальцам перечесть болгарских писателей, чьи произведения переводились на иностранные языки. Сейчас болгарских писателей переводят на русский, украинский, чешский и словацкий, немецкий, польский, китайский, итальянский, французский и английский языки. Немало произведений получают высокую оценку зарубежных читателей и критиков.

Эти достижения завоеваны болгарскими писателями в борьбе за творческое овладение методом социалистического реализма. Давая отпор проявлениям буржуазной идеологии и ревизионизма, освобождаясь от догматических и сектантских его толкований, болгарские писатели стремятся еще глубже постигнуть то новое, что происходит в жизни народа, с еще большей художественной силой и мастерством отразить мысли и на-

строения современного человека — строителя социализма.

Социалистический реализм в истории болгарской литературы имеет свои традиции. Большое влияние на дальнейшее развитие прогрессивной болгарской поэзии оказал один из блестящих мастеров болгарского стиха Христо Смирненский, еще в начале 20-х годов выступивший с пламенными революционными стихотворениями. После Христо Смирненского другой крупный революционный поэт того же времени — Гео Милев — написал знаменитую поэму «Сентябрь», в которой воспел сентябрьское восстание болгарских рабочих и крестьян 1923 года — первое в Европе народное антифашистское выступление. Произведения Христо Смирненского написаны классическим стихом с полными рифмами, они богаты аллитерациями и песенными созвучиями. Гео Милев начинал как экспрессионист: его стих разорван, груб, но несет в себе огромный заряд эмоциональной выразительности. Оба эти поэта оставили высокие образцы поэзии социалистического реализма. Именами талантливых поэтов и прозаиков — в основном молодых, но также и старшего поколения—представлена литература социалистического реализма в 30-е годы. Одной из вершин, достигнутых этим направлением, явилась бессмертная поэзия Николы Вапцарова.

Трагически сложилась в фашистской Болгарии судьба трех крупнейших поэтов социалистического реализма. Гео Милев и Никола Вапцаров были казнены фашистскими палачами, Христо Смирненский совсем молодым погиб от туберкулеза.

Болгарская буржуазная критика яростно атаковала произведения социалистических реалистов и их творческий метод. С особым ожесточением ополчилась она на принцип партийности в искусстве. Но направление социалистического реализма своими художественными достижениями завоевывало признание многих писателей и оказывало влияние на всю нашу национальную литературу, в целом тяготевшую к реализму.

Однако, несмотря на несомненные завоевания, социалистический реализм до второй мировой войны был в болгарской литературе представлен творчеством только группы писателей.

9 сентября 1944 года — дата свержения фашистского режима и установления народной демократии. Болгария вступила на путь социализма. Подавляющее большинство писателей ненавидело фашизм и без колебаний присоединилось к народу. Писатели видели — жизнь и литературная практика убеждали их в этом,— что метод социалистического реализма вооружает художника верным компасом, позволяющим постигать сложную и противоречивую действительность, правдиво показывать внутренний мир человека в эпоху перехода от старого к новому, обеспечивая в то же время полную свободу проявления творческой индивидуальности Социалистический реализм был «принят на вооружение» всей болгарской литературой.

Процесс утверждения метода социалистического реализма на болгарской почве протекал как закономерный и органичный. Сыграли здесь роль прочное господство в нашей литературе демократических и реалистических традиций, влияние советской литературы.

Ни один из наших писателей не погрузился в мутные воды модернизма, хотя следы его влияния, черты субъективизма и формализма можно было обнаружить в отдельных литературных произведениях.

Немало сделала на этом ответственном этапе литературная критика, активно боровшаяся за консолидацию писательских сил, за очищение литературы от вредных влияний.

Следующий этап литературного развития связан с периодом бурного социалистического строительства Болгарии. Глубоко, с подлинно художественной силой отобразить героическую работу, социалистический пафос народа-созидателя, штурмующего вековую отсталость страны,— такова была главная задача литературы. Читатели ждали прежде всего таких произведений, которые давали бы примечательные художественные обобщения того нового в человеческих отношениях, что складывается в сложном процессе всестороннего социального переустройства. Исключительно важной для художников проблемой было создание ярких образов тружеников новой Болгарии.

Серьезную помощь в решении этих задач могли оказать теоретические и критические работы, исследующие основные принципы типизации и индивидуализации в литературе социалистического реализма.

К сожалению, наша литературная критика начала 50-х годов в сильной мере ока-

---

ИВАН РУЖ
ГОРИЗОНТЫ ОТКРЫТЫ

залась пораженной недугом догматизма и упрощенчества. Объясняя и оценивая художественные произведения, она не искала критериев в жизни, в объективной действительности, в закономерностях и потребностях нового общественного и литературного развития. Выдвигая на первый план проблему идейности, она при этом отрывала ее от проблемы художественности. Идейное содержание произведения выводилось непосредственно из мировоззрения писателя, его взглядов, прямо выраженных в художественном тексте или — и это уже был прием — через мысли и высказывания кого-либо из действующих лиц. Особенности литературного произведения объяснялись лишь особенностями мировоззрения, литературными влияниями, без какой бы то ни было соотнесенности с конкретными явлениями общественной и литературной жизни. В сущности это было отказом от идейно-художественного анализа. Можно ли истолковать идею художественного произведения, игнорируя авторский замысел, авторское отношение к героям, не принимая в расчет общую поэтическую тональность вещи, языка, стиля?

Отражение действительности в литературном произведении получается отнюдь не зеркально-безразличным. Оно несет печать своеобразия творческой натуры писателя, его знаний, его вкуса, темперамента, также обусловленных в конечном счете факторами общественно-литературного развития. Если, вместо того чтобы анализировать произведение в его сложности и противоречивости, проверяя критериями жизни, исходить из искусственно «очищенной» категории мировоззрения и литературных пристрастий, либо из столь же искусственно абстрагированного метода типизации — легко оказаться в плену догматизма и упрощенчества.

В работах одних из наших критиков догматические тенденции проявились сильнее, в других — менее заметно. И все же это принесло литературе немалый ущерб. Вместо заботы о всестороннем постижении глубинных процессов жизни иные писатели довольствовались сооружением нехитрой схемы, «благополучной», на их взгляд, в идейном отношении. В результате нередко в те годы появлялись произведения бесконфликтные, парадно-слащавые, схематичные. Немало грубых ошибок совершила догматическая критика и в выступлениях, посвященных нашему художественному наследию, и в статьях, «прорабатывающих» крупные произведения современных писателей.

Бурьян догматизма обильно пророс и в некоторых издательствах и периодических изданиях, где редакторы порой предъявляли писателям поразительные по узости требования, особенно к произведениям на современные темы,— под флагом защиты правильных принципов социалистического реализма. Отдельные авторы — одни потому, что плохо разбирались в литературных направлениях, другие по молодости лет и идейно-художественной незрелости — оказались дезориентированными. Но большинство писателей не примирились с заблуждениями догматической критики и выступили против ее влияния. Постепенно позиции ее были сильно расшатаны. Осознали свои заблуждения и сами критики. Борьба против схематизма и вульгаризации укрепила нашу литературу. XX съезд КПСС, осудивший культ личности и восстановивший ленинские нормы работы во всех областях, в том числе и в литературе, открыл новые перспективы для развития социалистического искусства. После апрельского пленума ЦК БКП в болгарской литературе была объявлена война парадности, дешевому «бодрячеству», поверхностному толкованию жизненных проблем.

На короткий срок этот обновительный процесс был нарушен развернутым наступлением буржуазной идеологии и ревизионизма. Это наступление, правда, не нанесло серьезного ущерба болгарской литературе, не расстроило ее рядов, но вызвало некоторые колебания и растерянность. Появилось несколько незрелых в художественном отношении произведений, в которых современная действительность была нарисована мрачными красками, отсутствовала перспектива. У некоторых авторов возобладали камерные, сугубо интимные настроения. Раздались советы говорить о социалистической литературе как о понятии якобы более широком, чем социалистический реализм, прозвучали даже призывы к отказу от идеологической ясности и целеустремленности. Кое-кто договорился до утверждения, будто влияние буржуазной идеологии и ревизионизма вообще не так уж опасно.

Эти ошибочные тенденции, встретив энергичный отпор основной части писательского коллектива, были изолированы и разбиты. Многие критики выступили со статьями, направленными против ревизионизма и буржуазных влияний в литературе, против мо-

тивов пессимизма в некоторых произведениях. Таким образом были пресечены посягательства ревизионизма, преодолены сектантско-догматические толкования социалистического реализма. Литературная атмосфера очистилась.

Подъем болгарской литературы в последние годы связан с укреплением и расширением в ней позиций социалистического реализма. Защищая чистоту его принципов и творчески развивая их, болгарские писатели добиваются несомненных успехов и в поэзии, и в прозе, и в драматургии, и в критике.

■

Те, кто следит за развитием болгарской поэзии, единодушно отмечают ее идейно-художественные завоевания. В последние годы творческая активность поэтов заметно выросла. Никто не замкнулся в себе, никто не выжидает, не молчит. Наоборот, подъем творческих сил, желание работать охватили всех и в первую очередь поэтов старшего и среднего поколения. В их новых стихах ощущается более глубокое, чем прежде, проникновение в современность, бо́льшая художественная зрелость.

Многообещающие поэтические дарования — горячие, ищущие и вместе с тем уверенные в себе и в завтрашнем дне, заявляют о себе среди литературной молодежи.

Отдельно стоит сказать о том, что за последнее время у нас появилось много хороших поэм,— до сих пор жанр «большой поэзии» отставал от лирики.

Вообще, современная болгарская поэзия, преодолев декларативность и парадность, стала художественно насыщенной, разнообразной, исполненной оптимизма, веры в силы человека и его светлое будущее. Не уходя от традиций старых мастеров болгарского стиха, она в то же время настойчиво ищет новые пути для создания впечатляющих художественных образов.

Еще недавно жанр рассказа не пользовался особым вниманием наших писателей. Теперь в этой области проявили себя несколько талантливых молодых авторов. Профессиональное мастерство их еще не вполне окрепло, однако их работы привлекают острым чувством современности, непосредственностью и свежестью молодости, которая мужала вместе с социализмом. Модернистские влияния по существу не затронули творчество нашей молодежи.

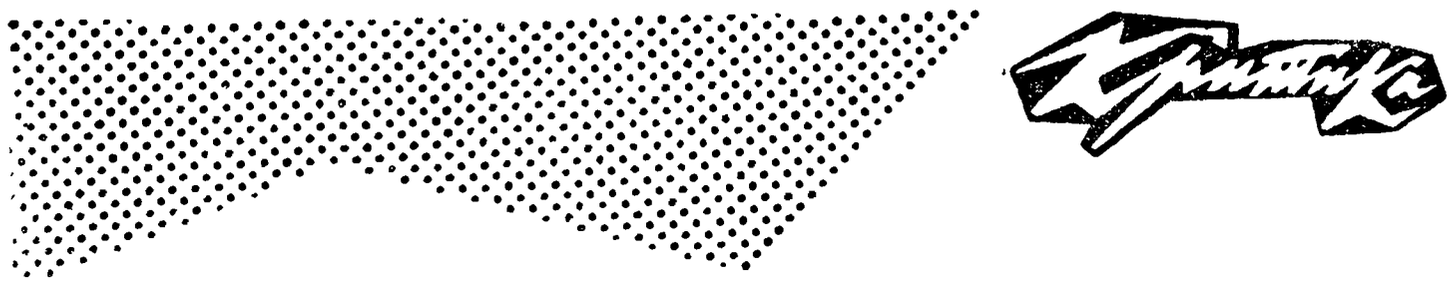
Подъем переживает и болгарская драматургия. Появились новые интересные пьесы. Современная драма занимает большое место в репертуаре театров.

Несколько лет назад в болгарской литературе особенно заметные удачи были достигнуты в жанре романа. Может быть, поэтому сейчас на этом фронте некоторое «затишье».

Интересные процессы происходят в литературной критике. Она активизируется. Критики пишут о художественности, языке, стиле, проблеме героя, сюжета, композиции. Однако некоторые из этих работ грешат известной «внутрилитературной» замкнутостью. Центр внимания при этом переносится с проблемы создания значительных произведений на современную тему и художественно сильных, неповторимых образов строителя нового общества, коммуниста, нового человека — на проблему создания впечатляющих образов «вообще» и волнующих художественных произведений «вообще». На опасность, которую таит подобное направление исследований, было своевременно указано литературной общественностью. Во время нескольких больших дискуссий, организованных Союзом писателей в 1959—1961 годах, преобладающее большинство писателей заняло правильную позицию. Художественное раскрытие ведущих тенденций современности, воссоздание в крупных художественных полотнах образа нового человека, чей путь вперед, к коммунизму не приостановят никакие трудности и испытания,— такова сегодня главная задача нашей литературы.

Новая Программа Коммунистической партии Советского Союза, принятая XXII съездом партии, в центре которой — забота о человеке, о его счастье, вдохновляет и болгарских писателей на более глубокое проникновение в мир необыкновенно богатых переживаний, в светлый и обаятельный душевный мир народа, строителя нового общества,— проникновение, которое даст им возможность изваять образ народа с таким мастерством, так впечатляюще, как того требует его великая роль в век крушения капитализма и утверждения коммунизма.

г. СОФИЯ



А. КАРЕЛЬСКИЙ

ЕСЛИ ХОЧЕШЬ МИРА...

(О ЛИТЕРАТУРЕ МНИМОГО АНТИФАШИЗМА В ЗАПАДНОЙ ГЕРМАНИИ)

Как-то мне пришлось разговаривать с группой западногерманских студентов, приехавших в Советский Союз, и один из гостей выразил сожаление по поводу того, что у нас слишком много говорят о реваншистском характере их государства. В Федеративной Республике Германии, терпеливо пояснял мне гость, никто не хочет войны. Он утверждал, что мы просто не знаем истинного положения вещей. Он даже сказал, что мы «некомпетентны» в своих суждениях.

Я не стал напоминать этому человеку, какой ценой досталась советскому народу компетентность его суждений о немецком милитаризме. Я напомнил ему о реваншистской литературе Западной Германии, о книгах Двингера и Гримма, Керна и Айзена — собеседник не дал мне договорить. Он и его коллеги дружно заулыбались: это же не литература, ее никто не читает. Их реакция последовала так быстро, что я понял — вопрос был предусмотрен, ответ подготовлен. Кстати, признание реваншистского характера подобной литературы было уже заключено в самом этом ответе.

Впрочем, в одном эти люди правы: построенные исключительно на лжи, романы Двингера, Керна и других фашистских писателей — не литература в настоящем значении этого слова Их продукция находится по ту сторону всяких художественных критериев, и даже самые благожелательные к ним критики и историки литературы в ФРГ не идут на риск формально-эстетического анализа этих сочинений, упоминая о них в лучшем случае скороговоркой. Издательские дифирамбы на суперобложках и стереотипные напутствия газет типа «Дейче зольдатенцейтунг» обычно являются для западногерманского читателя единственной гарантией того, что ценность этих произведений соответствует их цене.

А вот в вопросе о том, читают или не читают эти книги, есть все основания больше доверять коммерческому чутью западногерманских издателей, чем уверениям моих «компетентных» собеседников. Издательства ФРГ отнюдь не прогорели, выпустив в свет гриммовское жизнеописание Гитлера, равно как и фильмы по антисоветским романам Конзалика и Вёсса не разорили западногерманские кинопрокатные фирмы. Эстетические несовершенства коричневой литературы ничуть не смущают антрепренеров западногерманской идеологической ярмарки. Коммерция прежде эстетики. Коммерция в ногу с политикой.

Мы знаем, что реваншистская политика западногерманского государства вызвала к жизни десятки талантливых книг, противодействующих процессу духовной милитаризации страны. Советские читатели с пониманием и уважением относятся ко всякой попытке западногерманских писателей честно разобраться в уроках прошлого и настоящего. Таких попыток много, и не случайно все эти писатели сталкиваются с одним и тем же тревожным фактом: прошлое не умерло — оно живет в настоящем. Какую бы сторону западногерманского общественного организма ни показывал Генрих Бёль, в ней неизменно проступают, как под рентгеновскими лучами, отвратительные контуры прошлого. Оно вторглось в настоящее и порвало логические узлы ассоциативного мышления нервных героев Кёппена. Смена поколений и неизменность

преступлéний вызвали к жизни настойчивые запросы «молодых» — роман Манфреда Грегора «Мост», роман Кристиана Гейслера «Запрос». Прошлое оказалось современностью, аналогия — мерилом актуальности.

Тем опаснее активизация в западногерманской литературе тех сил, которые хотят повторить прошлое. Первые публикации произведений фашистских авторов после второй мировой войны датируются историками литературы 1948 годом, когда в Амстердаме вышел трактат Эрнста Юнгера «Мир», а в Цюрихе роман Эриха Керна «Великое опьянение» (в Германии этим писателям тогда еще нельзя было печататься, а в Голландии и Швейцарии — можно). Через год их начали издавать на западе Германии. С каждым годом число публикаций неудержимо росло. И когда в начале 50-х годов политики НАТО впервые открыто заговорили о том, что только что сформированное западногерманское государство должно иметь собственные вооруженнные силы, писатели и историки уже могли оснастить бундесвер уставами идеологической службы, скроенными из наиболее живучих положений национал-социалистской пропаганды.

«Большевизм — наш исконный враг, враг нашего народа, нашего класса, нашей культуры. Тут ничего не изменить. Зарубим себе это на носу, как вечный закон... Кто уцелел в кошмаре этих пяти кровавых лет и не понял этого, того надо забить палками до смерти»,— так сформулировал исходное положение этого устава Эрих Керн в романе «Великое опьянение». «Будущее не принесет никакого экономического решения проблемы, пока будет существовать это скопление миллионов чужих друг другу людей, загнанных в коренные области Германии»,— эту формулу немецкого реваншизма Ганс Гримм живой и невредимой перенес из ранней книги «Народ без пространства» в свои послевоенные писания. «Господство свободного духа над миром покупается наивысшей ценой. Это испытание, и для того, чтобы выдержать его, жертвенный путь неизбежен»,— увещевал Эрнст Юнгер в 1953 году тех, кто не хотел повторения 1945 года. Эдвин Эрих Двингер оплакал в серии толстых романов этот жертвенный путь «героического» немецкого солдата, чьей «освободительной» миссии не понял русский народ, и обругал своего прежнего хозяина Гитлера за неумелое руководство. Новоиспеченные молодые писатели из бывших солдат и младших офицеров вермахта обрадовались, что им уже снова можно называться героями, и дружно обругали за поражение в войне бездарный генералитет. Генералы — Гудериан, Шпейдель, Хойзингер — спешно начали писать мемуары, доказывая, что ругать надо не генералов, а неблагоприятную погоду. Лозунги были даны, но их дали уж слишком явные фашисты. Эти лозунги надо было немного подшлифовать, приспособить к современной ситуации — все-таки 50-е годы не 30-е годы, и Аденауэр клянется, что ненавидит Гитлера.

Вот эту задачу приспособления нацистских лозунгов к требованиям времени и новых заокеанских хозяев взяла на себя целая фаланга литераторов, внешне критикующих фашизм и милитаризм и претендующих на миссию предостережения от повторения ошибок прошлого. Советские критики уже неоднократно указывали на то, что подобная литература даже более опасна, чем откровенно реваншистская литература. Если та оперирует прежними, уже достаточно скомпрометированными историей идеологическими комплексами, то эта, по крайней мере, своими исходными положениями — критикой фашизма, проклятиями войне — импонирует широким слоям населения Западной Германии, которое и вправду не хочет слышать о фашизме и которое действительно устало и от войны, и от военной истерии. Немцы на Западе с доверием открывают эти книги, и тем тревожней тот факт, что эта литература в конце концов не всегда заметно, но всегда бесповоротно подключается к исходным положениям откровенно фашистской идеологии. Миролюбивые посылки авторов при ближайшем рассмотрении оказываются продуманным «обеспечением тылов», заблаговременной подготовкой оправдания новых преступлений. Там, где Двингер с прямолинейностью гитлеровского солдафона воскликнет: «Но если это повторится — пусть они не спрашивают почему!» — эти писатели в изобилии представят цитаты, свидетельствующие о том, что они готовят войну только ради мира. Дорогу в атомный ад они старательно вымостят мирными заверениями.

Эта внешняя оболочка «миролюбия», на первый взгляд, может создать впечатление, что в основе рассматриваемой нами литера-

туры лежит все тот же древний пацифизм, отрицание войны во имя человека вообще, извечное неразрешимое противоречие между абстрактной человечностью и бесчеловечной конкретностью войны. На самом деле позиция этих писателей далека даже от пацифистского протеста против войны. Да и сам пацифизм с его безбрежным расплывчатым «непротивленчеством» сейчас как нельзя более опасен именно в Западной Германии, где необходимость обуздания реваншистов встает с особенной остротой. Не случайно такие писатели, как Бёль, Ледиг, отчасти Рихтер, отдав в своих первых послевоенных произведениях немалую дань традиционному фетишизирующему толкованию войны, перед лицом реваншистской опасности увидели и показали войну в новом свете — короткая, но характерная история западногерманского государства заставила их глубже вглядеться в недавнее прошлое. «Пацифизм» же других писателей, без оглядки присягнувших на верность официальному боннскому антикоммунизму, оказывается при ближайшем рассмотрении замаскированным реваншизмом. Реваншизмом, потому что «мир», которым они клянутся,— это в любом случае мир только для «некоммунистов». Замаскированным, потому что они, как правило, не доходят до открытых призывов к реваншу. Они формируют сознание своих читателей до того предела, за которым начинается царство двингеров и гриммов. Они сами формально не переступают этого порога — они оставляют на нем подготовленный материал. Это — как в эстафете.

В основе такой подготовки сознания читателей к восприятию чисто фашистской идеологии лежит нескрываемая ненависть к коммунизму. Если хочешь мира, готовь войну: мир — себе, войну — коммунистам, сказал бы Двингер; мир — «абендланду», войну — Востоку, сказал бы Юнгер. Лучше умереть, чем стать красным, сказал бы Гримм. Писатели, о которых мы будем говорить, стараются не высказываться так прямо. Они вливают в души своих читателей яд антикоммунизма по каплям. Но логические выводы из их сочинений полностью совпадают с логическими посылками сочинений откровенно фашистских писателей. Перед нами как бы гигантская лаборатория производства литературных отравляющих веществ.

Первой стадией этого производства является утверждение полного бессилия индивидуальной воли человека в войне и проповедь якобы гуманистической морали «выжить во что бы то ни стало». Вот роман Вольфганга Отта «Акулы и маленькие рыбешки» (1956), рассказывающий о гибели экипажа немецкой подводной лодки и разрекламированный западногерманской критикой как одно из значительных антимилитаристских произведений в послевоенной немецкой литературе. В романе действительно трудно усмотреть прославление войны, «глорификацию» ее, как любят говорить немецкие критики. Правда, своеобразный утонченный садизм, с которым Отт нагромождает одну за другой картины многоликой и неотвратимой смерти, может насторожить читателя. Но такое «рафинирование» военных кошмаров еще можно как-то объяснить стремлением автора вызвать страх перед войной, произвести «лечение шоком». Значительно опаснее та «глорификация» жестокости во имя самосохранения, которую Отт проводит хотя и не без отвращения, но с полной убежденностью в том, что только так можно выжить на войне. А выжить — это для Отта единственная проблема, которая может встать перед человеком в этих условиях, поскольку сопротивление войне он считает невозможным и бессмысленным.

Отт оказался достаточно проницательным, чтобы положить в основу своего романа подлинно трагический конфликт — противоречие между критической мыслью человека, осознающего бессмысленную преступность войны, и фатальным ощущением бессилия своей воли, уязвимости своей плоти. Это противоречие действительно ощущалось наиболее трезвыми участниками гитлеровских «крестовых походов». Но, решая его, Отт пришел к самым реакционным выводам из всех возможных. Если человек и может выжить на войне, провозглашает Отт, то только пожертвовав своим разумом, заменив его инстинктом самосохранения,— он просто должен превратиться в зверя, не разбирающегося в средствах самозащиты. «Думать — это самое глупое, что ты можешь сделать. Маршировать тем легче, чем меньше снаряжения, в том числе и духовного»,— эти слова в романе с горечью произносит человек, который сам не хотел стать зверем, который видел преступность фашизма и который позже не выдержал гнета своего духовного багажа, повесившись перед полками, на которых стояли книги Паскаля, Гёльдерлина, Гоголя. А его анти-

под в романе, успешно осуществивший программу выкорчевывания своего разума — «тонкого, медленно действующего, смертельного яда»,— показан автором с почти завистливой симпатией, и его изуверская жестокость по отношению к французским партизанам безоговорочно принимается им как должное. Нужно ли говорить, что все антивоенные и антифашистские тирады героев Отта начисто снимаются этой глубоко антигуманистической «философией» превращения человека в зверя?

Примерно такова же установка и Вилли Гейнриха в нашумевшем в свое время романе «Терпеливая плоть» (1955). Гейнрих тоже освящает циничную жестокость своего героя Штейнера во имя морали самосохранения любой ценой, тоже издевается над «интеллигентскими теориями» и тем не менее тоже считает себя антифашистом. «Мое учение жесткое,— косноязычествовал в свое время Гитлер.— Живуче активная, повелевающая, неустрашимая, жестокая молодежь — вот то, из чего я исходил. В ней не должно быть ни слабости, ни жалости... Знание есть преступление для моих парней». Характер героя Гейнриха полностью соответствует идеалу того самого фюрера, в ненависти к которому он так охотно и так часто клянется.

Впрочем, презрение к «интеллигентскому знанию», в отличие от Отта, не является стержнем романа Гейнриха. Основные акценты писатель расставляет над различными формами «самоутверждения» своего героя. И тут мы обнаруживаем, что это самоутверждение осуществляется, как ни странно, не за счет борьбы с фашизмом, а путем зверских расправ с противником. Ненависть Штейнера к фашизму выражается в словах, ненависть же его к русским выражается в таких действиях, о которых только и мечтал бесноватый воспитатель «неустрашимой, жестокой молодежи».

Есть еще одна черта, характерная для романов Отта и особенно Гейнриха,— это оправдание немецкой армии и перенесение вины только на эсэсовцев и на генералитет, заставлявших «терпеливого» и «героического» немецкого солдата выполнять преступные и бессмысленные приказы. Лозунг «павшие на фронте, но не павшие духом», концепция «героизма на потерянном посту» характерны не только для мемуаров побитых генералов, но и для таких писателей, как Теодор Пливье («Сталинград», 1945), Герд Гайзер («Умирающие истребители», 1957), Отт, Гейнрих. Правда, они еще признают бессмысленность этого героизма, но уже Гейнрих пытается «осмыслить» ее как своего рода высшую форму жертвенности: «Чтобы бороться за убеждения, не требуется героизма. Героизм начинается там, где последним заветом павших остается бессмысленность жертвы».

Однако развитие событий в Западной Германии скоро потребовало от этих писателей умения выколотить из героизма немецкого солдата больший капитал, чем апология бессмысленности. Героизм надо было осмыслить. И писатели не замедлили это сделать, тем более что у них были образцы. Правда, образцы были даже для них не совсем хорошего тона — об «освободительной» миссии немецкого солдата писали сначала только такие заслуженные фашисты, как Двингер, Боймельбург и Гримм. Но это недолго смущало писателей, называющих себя «антифашистами».

В 1958 году вышел в свет первый роман Фрица Вёсса «Собаки, не жить же вам вечно». Автор книги — австриец, участвовавший в войне против Советского Союза на стороне гитлеровской Германии,— по уверению издательства, никогда не имел ничего общего с антифашистским движением и потому «его свидетельство будет бесспорным для всех сторон». Любопытная гарантия непогрешимости! Но заглянем в роман, задуманный, кстати, самим автором как «предостережение». Действие его развертывается в дни сокрушительного разгрома немецкой армии на Волге. Вёсса взволновала трагедия армии пришельцев, понесшей там заслуженное наказание. Бесспорно, судьба армии, ставшей орудием преступления, трагична, велико горе не только русских матерей, но и немецких, чьи сыновья погибли на русской земле. Но какие своеобразные уроки вынес очевидец Вёсс из этой трагедии! Оказывается, «то, что пришлось перенести немецкому солдату под Сталинградом и что он смог перенести, стало его величием». Оказывается, «они пришли сюда, чтобы перерезать железными дорогами и шоссе нерасчлененную, упрожающую, вздымающуюся массу этого колосса, зашнуровать его в границы, разделить на обозримые части, заключить в цепи западной цивилизации, укротить, заселить и организовать — наполнить кипучей жизнью и пере-

бросить через все реки мосты в Европу». А неразумный колосс не понял чистых намерений фашистских цивилизаторов, и оказывается в результате, что освободительная война советского народа велась «не по правилам», что она была «низкой, жестокой и коварной».

Зато какими благородными, самоотверженными, какими культурными выглядят, в отличие от темных и жестоких русских, вёссовские миссионеры! Как трогательно помогает герой романа русской «матушке» накачать ведро воды! А чего стоит ошеломляющая своей кощунственностью сцена, где немецкие солдаты, «украдкой утирая слезы», поют песню на мотив «Хора пленников» из бетховенского «Фиделио» — «Мы пробились к луке Днепра, от донских областей к водам Волги — о, испытать бы счастье возвращенья!» Не эта ли душераздирающая пошлость вдохновила западногерманских кинематографистов на создание фильма по книге Вёсса, имевшего, кстати, бурный успех в ФРГ? Впрочем, видимо, не только она.

Роман Вёсса, ставший при полном отсутствии каких-либо признаков художественности событием в литературной и политической жизни ФРГ,— симптоматичное явление. Прозрачный прием, которым воспользовался Вёсс — возвеличивание немецкого ландскнехта за счет клеветы на противника,— оказался благодатной платформой для очередного возрождения мифа о превосходстве если и не совсем арийской (Вёсс считает себя космополитом), то, во всяком случае, «европейской» расы.

Вёсс не одинок в своих стараниях. В 1960 году мюнхенское издательство «Киндлер» переиздало в ежегодной серии бестселлеров роман Андреаса Энгермана «Лучшего ты не найдешь», появившийся еще в 1952 году. Отнюдь не иронически задуманное название романа взято из популярной песни, вдохновлявшей фашистский вермахт на подвиги «фронтового товарищества». Издательство пояснило, что оно переиздает этот роман «как напоминание тем, кто еще не усвоил уроки истории, и как предостерегающий пример для тех, кто не хочет учиться на ошибках прошлого». Еще одно предостережение.

Прочитав первые страницы романа — еще представляющие хоть какой-то художественный интерес,— ожидаешь и в самом деле предостережения: немецкие летчики на польской границе, которые через десять минут должны вылететь с первыми бомбами на Варшаву, машинально крутят регулятор карманного приемника, и неожиданно в хрипы военных маршей врывается медлительная, торжественная мелодия хорала. Случайный взгляд на волновую шкалу заставляет летчиков побледнеть — это поет предсмертный молебен Варшава. И когда они через пять минут бегут к самолетам и владелец приемника в спешке забывает выключить его, герою романа, глядящему им вслед, кажется, что летчик уносит с собою в руке собор, наполненный тысячеголосым хоралом Варшавы, и звуки становятся все слабей и беспомощней по мере того, как летчик приближается к наполненному бомбами самолету: «О Варшава,— подумал я вдруг,— о Варшава». Впечатляющая сцена. Но тем более жестокой и отвратительной мистификацией она оказывается, когда несколькими страницами ниже автор, уже ни единым словом не упоминая о сброшенных на Варшаву бомбах, обрушивает на читателя длинный перечень зверств, якобы совершенных поляками по отношению к немецкому населению Варшавы.

Прицел автора точен. Так и представляешь себе, как какой-нибудь мюнхенский бюргер, взволновавшись по поводу хорала, в следующую минуту ужаснется зверствам людей, которых он только что пожалел: «Так им и надо». А прочитав роман до конца, он уже и совсем уверится в благородстве солдат, бомбивших польские и русские города, топтавших землю Франции, Норвегии, России: «Лучшего ты не найдешь».

Трюк с хоралом является своеобразной формулой, по которой эти авторы проводят литературную амнистию гитлеровского солдата. Они умалчивают о том горе, которое принесли фашистские «освободители» миллионам людей в разных странах, а если и говорят о нем, то обвиняют во всем СС и гитлеровский генералитет. Зато, возводя в квадрат добродетели немецкого солдата, они возводят в куб свою клевету на антифашистский лагерь. Ставя знак равенства между захватнической и освободительной войнами, эти «пацифисты» неуклонно ведут своих читателей к убеждению, что те, на кого напали гитлеровцы, были все-таки хуже, бесчеловечней, чем гитлеровцы.

Именно так поступает и Гейнц Конзалик, уже успевший снискать себе в Западной Германии известность серией антисоветских романов. В своем романе «Шоссе» (1959)

об отступлении немецкой армии после разгрома на берегах Волги Конзалик тоже проклинает устами своих героев войну и фашизм. Но везде, где он сталкивает немцев с русскими, он поистине празднует отвратительные оргии русофобства. При этом Конзалик будто бы и высмеивает миф о «героической смерти», живописуя ее в мельчайших деталях как простое издыхание, но на деле он приучает к мысли об издыхании, а не обличает виновников смерти. Не обольщайтесь, но идите! — таков объективный смысл рассуждений Конзалика. «Даже если это идиотизм и глупое геройство, тупое избиение... в грядущих временах никто не откажет нам в том, что мы были единственными, кто смог задержать натиск из красной Азии... Мы, которых оставили одних в беде». Чем отличается этот расизм от расизма, например, фашиста Двингера, жаждущего «загнать русских назад, в степи! Там их место, там они прекрасны, как прекрасны дикие звери»? Издательство, выпустившее книжку Конзалика (оно называется «Актуальным книжным издательством»), уверяет, что эта книга тоже «предостережение». Перед нами признаки зловещей инфляции даже таких, казалось бы, недвусмысленных понятий, как «антифашизм» и «антиреваншизм».

Между прочим, в оценке этими писателями антифашистского лагеря во второй мировой войне можно наблюдать небезынтересные нюансы. Если в изображении русских они редко поднимаются над уровнем чисто расистских писаний Двингера и Конзалика, то в отношении других противников они стараются быть более сдержанными. Кое-кто из вчерашних противников явно рассматривается как завтрашний союзник в борьбе против общего «красного» врага — заветная мечта не только покойного Гримма, но и всех ныне здравствующих боннских реваншистов.

Стоит посмотреть, с каким умилением эти писатели наперебой вспоминают о том якобы невиданно хлебосольном приеме, который оказывали немецким солдатам народы Европы. Вот Энгерман ведет своего героя по Скандинавии: «Что касается норвежцев, то они обращались с нами довольно мирно, без прямой вражды, вам это каждый солдат скажет. А что касается норвежских девушек, то солдаты в этом отношении тоже не могут пожаловаться». Шведы «приносили нам дары любви. Они не говорили много, но на их лицах странным образом выражалось что-то вроде благодарности». А что творилось во Франции, можно передать только словами «очевидца» Вёсса: «С немцами обращаются как с гостями, приехавшими на курорт или в отпуск, и это хорошо получается, даже оживляет торговлю, создает дружескую атмосферу, в которой не спорят друг с другом из-за места на тротуаре... Часто французы одной улыбкой на своих жестких обветренных лицах, одной морщинкой в уголках светлых глаз выражают, как прежние солдаты, товарищеские чувства по отношению к немецким солдатам». Не правда ли, трогательно? Читаешь и удивляешься: а был ли Орадур-то? А может, Орадура-то и не было?

Однако авторы не ограничиваются только подобными общими рассуждениями. Энгерман не случайно упомянул о благосклонности норвежских девушек к белокурым пришельцам с юга. Длинной чередой проходят по страницам этих романов фигуры иностранных девушек, не устоявших перед высокими моральными и физическими качествами немецкого солдата. Герой Вёсса трогательно повествует о том, как его полюбила украинская девушка, а потом юная англичанка, забывшая ради этой любви распрю отечеств. В романе Виля Бертольда «Парижский тыл» фигурируют сразу две француженки, сменившие детское увлечение отечественными поклонниками на всепоглощающую страсть к германским воинам. В романах Ганса Гельмута Кирста и Конзалика значительное место уделено сердечным победам германцев на русском фронте (правда, русские девушки чаще всего оказываются все-таки «шпионками» — и здесь писатели не забывают отдать дань антибольшевизму).

Все эти многочисленные истории арийских ромео и европейских джульетт, рассказанные с неподражаемой трафаретностью и примитивным эротизмом, долженствуют, на первый взгляд, проиллюстрировать враждебность войны чувству любви. Правда, речь идет только о любви к солдату-завоевателю. Но этот своеобразный «эротический шовинизм» мог бы быть просто смешным, если бы за ним не скрывались значительно более серьезные вещи: с помощью таких, казалось бы, дешевых приемов писатели не только пытаются выставить в наиболее привлекательном виде немецкого сол-

дата-оккупанта, но и подвергнуть сомнению идею патриотизма, воодушевлявшую народы в освободительной войне против фашистских захватчиков. А «развенчав» патриотизм, они могут уже легче вздохнуть: перед ними открывается проторенная дорога клеветы на патриотов-антифашистов.

Вот роман популярного военного автора Виля Бертольда «Парижский тыл» (1958). Рассказывая о любви француженки к немцу, Бертольд явно намеренно конструирует в общем ту же самую ситуацию, в которой решали вопросы взаимоотношений наций герои рассказа Веркора «Молчание моря». Только Бертольд приходит к совершенно иным результатам. Девушка оккупированной страны проникается всепобеждающей любовью к одному из оккупантов, и теперь она готова возненавидеть и своего отца, подчеркнуто замкнутого по отношению к немцам, и своего брата — участника Сопротивления,— и заодно и свою родину. «Париж,— трагически повествует автор,— стал для нее миром из камня, морем без волн, жизнью без улыбок, отречением без смысла, надеждой без просвета... Монмартр был ей отвратителен, Монпарнас жалок... Друзья и знакомые ворвались в комнату, выкрикивая еще на лестнице последние сообщения о победе. Для них началось опьянение. Для Симоны похмелье». Но и этого мало. Бертольд решил еще и брата Симоны привести к разочарованию в смысле партизанской борьбы: «Вдруг он возненавидел свой патриотический долг. Ночные нападения. Убийства из-за угла. Войну в подъездах».

Освободительное движение маки Бертольд изображает в традиционной для этой литературы последовательности. Сначала он оправдывает немецкую армию, развивая историю любви своих героев на фоне древних тяжб между фронтом и тылом, армией и штабом. Оказывается, именно тыловики-штабисты «высасывали кровь из французской экономики именем немецкого вермахта». Потом он прибегает к не менее «традиционному» уравнению: захватническая и освободительная войны в одинаковой мере преступны. Вот какими выкладками сопровождает он свое изображение ночной схватки между партизанами и оккупантами в Париже: «Четыре мертвеца. Два и два. Матери не в счет. Жены тоже. Почему они умерли, эти четверо не могли уже сказать». От этого уравнения — один шаг к клевете на антифашистов и тем самым к оправданию гитлеровской армии: «Зверствующие партизаны, которые сейчас, может, как раз линчевали десятью или пятнадцатью ударами ножа из-за угла единственного сына старой матери, были не благороднее гестапо. Убийство всегда остается варварством». Заметьте — эти слова сказаны в адрес не оккупантов, а борющихся за свое освобождение французов. Это важный нюанс. Он свидетельствует о фактическом оправдании гитлеровской захватнической войны.

Однако и это еще не конечная цель западногерманских поборников всепрощающего космополитического единения. Уже упомянутая англичанка в книге Вёсса не только служит автору для показа трогательной любви, что сильнее смерти, но и проявляет незаурядное политическое сознание. Она прямо-таки прозревает, познав счастье благосклонности к ней немецкого офицера: «Теперь мне все равно, чем кончится эта война, только бы она поскорей кончилась, кончились все страдания и ты вернулся живым! А девочкой я страстно ненавидела немцев и желала их уничтожения!» И когда герой поражается про себя тому, «сколько жестокого жизненного опыта ей пришлось познать», она продолжает: «С тех пор как вы ведете войну против Востока, многие люди говорят, что вы сражаетесь там и за нас».

Юная англичанка высказалась как нельзя более точно. Она оценила не только личное обаяние потомка средневековых миннезингеров, но и ответственную историческую миссию, которую он великодушно принял на себя, сменив лиру на меч. Путь к сердцу чужестранной дамы ведет теперь через Восток — извилистый путь от древней любви к современному антикоммунизму.

Впрочем, не все авторы идут этим путем. Для многих из них антикоммунизм — это постулат, на котором они, не тратя попусту времени на его доказательства, смело строят свои проекты европейского единения. Именно так и поступает Вилли Гейнрих в своем новом романе «Старые дома не умирают» (1960).

В отдаленную от мировых сумятиц альпийскую деревушку на границе Франции и Италии неисповедимые пути войны приводят семь человек разной национальности — двух швейцарцев, дезертировавших из гитлеровской армии; русского, перебежавшего на фронте к немцам; супружескую чету французов, сотрудничавшую с оккупантами; двух немцев, изгнанных фашистами из Гер-

мании. Здесь, в атмосфере взаимного недоверия, осложнившегося еще тем, что деревушка Ла Пень случайно стала ареной последних боев гитлеровцев с французскими партизанами и американскими войсками, вчерашние противники находят, наконец, после многих перипетий, общую платформу для примирения — ненависть к коммунизму. В хитроумных разветвлениях сюжета постепенно вырисовываются две основные линии. Одна из них выражена в словах швейцарца Жоржа, сожалеющего о провале гитлеровского похода. Другая выражена в словах француза Вьеаля, «коллаборациониста из гуманности»: «Я говорил людям, что в Европе не будет спокойствия, пока Франция и Германия не найдут лучших форм взаимоотношений... Но люди сегодня остались такими же глупыми и фанатичными, какими они были всегда. Конечно, немцы начали войну, но если мы сейчас повторим ошибку 1918 года, нам нечего будет удивляться, если к власти придет новый Гитлер». Общую антикоммунистическую платформу этого союза дополняет многозначительное замечание Жоржа: «Мы попытались по крайней мере что-то сделать для своих убеждений — мы пошли к немцам, когда они выступили против коммунистов».— «Вы имеете в виду, против России?» — «Это одно и то же». После этих слов вполне логичным оказывается и символический финал романа: любовный союз швейцарского фашиста и дочери немецкого «антифашиста» освящается великодушным жестом французского партизана, противившего Жоржу убийство двух своих друзей, а русский, изображенный в резко отрицательных тонах, даже несмотря на его безупречную антикоммунистическую биографию, из ревности к удачливому швейцарцу покидает эту миниатюрную Антанту. Антикоммунизм приобретает уже знакомый нам привкус расизма. Старые дома не умирают...

Настойчивые вариации «межнациональной» темы, как мы видим, отнюдь не свидетельствуют об интернационализме авторов. В меру своих сил западногерманские писатели стараются помочь североатлантическим политикам в вытеснении из памяти народов «неприятных эксцессов» немецкой оккупации, в морально-идеологической консолидации «абендланда». При этом они, говоря об «интернациональных» задачах, памятуют и о «национальных» целях. Тема «отторгнутых» восточных земель там и сям всплывает в их воспоминаниях о минувших днях.

В романе Конзалика «Судьба из вторых рук» (1959) есть такая характерная сцена: некая госпожа фон Кнёрринген спешно спасается бегством из своего поместья в Восточной Пруссии от наступающих русских.

«— Ничего не забыли? — спросил Герхольдт еще раз. Госпожа фон Кнёрринген кивнула с закрытыми глазами.

— Родину...

— Мы ее вернем.

— Нет, господин Герхольдт.

— История не стоит на месте. Она повторяется внутри столетий».

В романе «Шоссе» Конзалик тоже обращается к этой теме. Даже в новом романе Отта «Мужчины и русалка» (1960), имеющем самое отдаленное отношение к войне, герой, простудившись, неожиданно для читателя начинает в бреду «вспоминать», что творилось в Восточной Пруссии с приходом русских. Реваншистские ламентации стали в литературе приметой времени.

Не удивительно, что идею «недостающего жизненного пространства» до самой своей смерти упрямо защищал ничему не научившийся фашист Гримм, что зловещие картины «гибели цивилизации» в Восточной Пруссии рисует неисправимый фашист Двингер. Но ведь литература, о которой мы говорим, хочет «предостеречь» от ошибок прошлого. От чего она «предостерегает»? И тут снова придется обратиться к свидетельству фашиста Боймельбурга, сказавшего яснее всех этих «антифашистов» о том новом смысле, который постепенно вложили в слово «предостережение» на западе Германии: «Те, кто пытается мыслить шире, живут надеждой, что западные державы, хотя они и находятся сейчас в состоянии войны с Германией, когда-нибудь поймут важность той миссии, которую взяла на себя Германия. Пусть они сейчас еще находятся в плену своей теории о необходимости искоренения национал-социализма — постепенно у них пробьет себе дорогу реальный образ мышления». Боймельбург может последовать примеру Гримма — он уже лучше не скажет. Но мы видим, что у него есть наследники, хоть они и делают вид, что знать не хотят о капиталах фашистского дядюшки.

На спекуляциях понятиями антифашизма и антиреваншизма, пожалуй, наиболее шумного успеха сумел добиться писатель Ганс Гельмут Кирст. Он занимает особое место среди этой литературы. Легкость повествования, ловкое балансирование между казарменным юмором и иронией литературного фрондера, чутье в выборе острых тем нашли доступ к сердцам многих читателей как в Германии, так и за границей. К тому же в политические скандалы вокруг книг Кирста не раз вмешивались чересчур чувствительные ко всем намекам представители боннской официальной политики. Это тоже способствовало успеху Кирста.

В свое время Кирст прогремел трилогией «08/15», в которой он дерзнул сопоставить аденауэровскую Германию с гитлеровской Правда, он ухитрился при этом воспеть героизм обманутого Гитлером немецкого солдата и даже прозрачно намекнуть в конце, что его главная задача заключалась лишь в улучшении системы казарменного образования, но вот этих-то намеков и не поняли сразу отцы нынешнего бундесвера, обвинив Кирста в клевете на честь немецкого солдата, предательстве интересов нации и так далее Кирст постарался с лихвой компенсировать свои вероятные политические убытки, выпустив после этого в свет целую обойму антисоветских романов. И вот перед нами новый роман — «Фабрика офицеров», «фронтальная атака» Кирста, как он сам квалифицировал эту книгу,— новый скандал, и новый вой всполошившихся реваншистов.

Фронтальная атака... 1944 год. Школа обучения офицеров гитлеровского вермахта вблизи захолустного городишка на берегу Рейна. Фабрика производства убийц, облеченных правом командования, фабрика превращения людей в тупых издателей преступных приказов. Внезапный скандал вокруг таинственной гибели офицера, не питавшего симпатий к приверженцам нацизма. Смелый, честный обер-лейтенант, организовавший расследование дела и добившийся торжества справедливости — впрочем, не совсем: когда он, доведя убийцу до самоубийства, дерзнул пойти дальше и на похоронах убийцы сказал речь, разоблачающую фашистскую систему обучения офицеров, то поплатился за это своей головой, как и его друзья. Друзья же убийцы, как явствует из эпилога, сейчас процветают в Западной Германии.

Все здесь, казалось бы, направлено против фашизма и реваншизма, и все здесь извращено. Все так — и не так. Герои Кирста на словах обличают и фашизм, и войну, и «фабрику офицеров», но всей системой образов своего романа, всей механикой сюжета Кирст планомерно снижает обличительные акценты, сводит борьбу политических принципов к борьбе «честных» и «бесчестных», «умных» и «глупых» офицеров, разжижая все это вдобавок излюбленными им сексуальными и гомосексуальными остротами самого примитивного пошиба. Неуемного женолюбия полковника Катера оказывается достаточно, чтобы его благородные противники одержали над ним сокрушительную моральную победу. Платочек начальничьей жены оказывается решающим фактором для торжества справедливости и осуждения неосторожного в хранении любовных сувениров убийцы. Трагедия ежеминутно превращается в забавный водевиль.

Но даже и там, где Кирст пытается взобраться на вершины трагедии, он выбирает не пики, а плато с гарантированным спуском. Во время последнего свидания со своей возлюбленной, зная, что он идет на верную смерть, «антифашист» Крафт патетически объясняется в любви к солдатчине — гибель антифашиста превращается в гибель разочаровавшегося в своих начальниках служаки: «Не думай, что я тебя люблю! Может быть, я люблю эту страшную профессию, в которую я забрел. Может быть, я люблю этих глупых парней, потому что я чувствую, что они будут страдать. И, может быть, я люблю этого идола-генерала, как любят мечту». А о чем говорит Крафт в своей речи, в этом своем завещании, в последнем слове, которое ему дано сказать перед смертью? О «смысле воинства»: «думать — служить, охранять — защищать», о чести солдата: «Попытаемся, друзья, жить как солдаты. Если мы вообще еще способны на это».

Бунт Крафта оказывается бунтом солдата, возмущенного нарушениями кодекса воинской чести, причем идеал «чистого, честного, незапятнанного воинства» для Крафта, как и для другого положительного героя — генерала Модерзона, — немецкая армия «в славные времена Пруссии». И не случайно в эпилоге романа благородный полковник Федерс гибнет в заговоре 20 июля 1944 года, а один из разоблаченных

Крафтом преступников — воспитанников офицерской школы — «попадает в плен на востоке и незамедлительно присоединяется к Национальному комитету Свободная Германия (!?)». Ненависть к фашизму, о которой так охотно говорит Кирст, не умаляет его ненависти к подлинному антифашизму. Для него скандал на «фабрике офицеров» — это скандал в собственном доме. О русских, уже во всяком случае больше Крафта и Кирста пострадавших от продукции офицерской фабрики, Кирст отзывается ничуть не лучше какого-нибудь Конзалика Подобно тому, как в трилогии «08/15» он осмелился поставить патриотизм советского народа на одну доску с гитлеровским лозунгом «защиты фатерланда», так и в «Фабрике офицеров» он походя уравнивает «банковские счета» русских и немцев в последней войне. Страдания сотен миллионов людей издевательски комментируются на языке бизнеса.

Трудно поверить после этого в искренность даже тех антиреваншистских уколов, которыми Кирст в эпилоге «Фабрики офицеров» пощекотал нервы западногерманской военщины (кстати, эти уколы гораздо слабее, чем в эпилоге «08/15»,— фронт кирстовских атак заметно сузился). Больше того, именно у Кирста обнаженнее всего выступает низведение антиреваншизма до уровня моды, до эффектных приемов безобидного политического фарса.

Тем не менее и этот роман Кирста вызвал недовольство западногерманских реваншистов. Книгу, критикующую издержки производства на фашистской «фабрике офицеров», снова обвинили в «духовном предательстве», в оскорблении воинской чести. Это знаменательно. Фашистская изба воспринимается как своя изба, а Кирст вздумал вынести из нее сор. Впопыхах не оценили даже, что Кирст просто старался навести в ней относительный порядок.

Случай с Кирстом — еще один пример работы западногерманской идеологической «фабрики офицеров». Кирсту не предъявишь формально обвинения в реваншизме. Он, как и многие другие, занят обработкой сырья — может быть, несколько более тонкой, чем другие.

Если верить Александру Дюма-отцу, то при регулярном потреблении яда в малых количествах, постепенно увеличивая дозу, можно потом без ущерба для здоровья глотать его, как лекарственные порошки. Нечто подобное делает и рассмотренная нами литература с сознанием рядового западного немца, готовя его к войне. Переварив романы Вёсса, Конзалика, Гейнриха, он может смело глотать идеологические варева Гримма, Боймельбурга, Двингера, Керна — и воспринимать их как целебный бальзам. Главное — убедить в том, что это не яд, а противомилитаристская сыворотка...

■

Западногерманский критик Гельмут Гюнтер, опубликовав в 1954 году сочувственную рецензию на роман Ганса Венатье «Майор и быки», одно из наиболее злобных порождений литературного реваншизма, закончил ее следующими знаменательными словами: «В высшей степени интересная, умело сделанная, но, без сомнения, и опасная книга. Да здравствует демократия, разрешающая нам такие книги!»

Может быть, и по поводу этой книги те мои западногерманские собеседники, о которых я упомянул вначале, с улыбкой сказали бы, что это все-таки не литература? Да, это так. Но не потому только, что она художественно плоха. Она прежде всего преступна, и, может быть, ею следует уже заняться не только литературоведам, но и юристам. Если хочешь мира — не готовь войны. А эта литература готовит войну. И ее издают. Ее пропагандируют. Ее читают.

■

КАРЛО САЛИНАРИ

НА ПУТЯХ К РЕАЛИЗМУ

В 1961 году сезон присуждения литературных премий начался в Италии с того, что издатели, не теряя ни дня, поспешили — теперь это уже стало своего рода обычаем — обрушить на прилавки книжных магазинов и столы критиков десятки романов.

Присуждение премий, заметим между прочим, превратилось у нас в подлинную манию, а также (что гораздо хуже) в самый настоящий источник коррупции.

Пока я писал эти строки, в Риме сотни людей были охвачены «предвыборной» лихорадкой: их засыпали приглашениями, замучили телефонными звонками, им пришлось присутствовать на четырех-пяти весьма светских приемах, устроенных по поводу выхода очередной новой книги, при помощи которой издатели пытались сохранить и по возможности увеличить число своих «избирателей». В таких условиях писатели, естественно, чувствуют себя скованными и должны обдумывать каждый шаг, чтобы кого-нибудь не задеть, не восстановить против себя некоторых авторитетных членов жюри, не лишить себя некоторых возможных союзников. Ими руководят и им подают советы люди, которые во всех тонкостях разбираются в ситуации и знают, где писателям следует показаться и когда лучше исчезнуть; между тем, в салонах и клубах атмосфера накаляется, и, того гляди, может вспыхнуть шумная ссора или разразиться скандал. Писатели, понятно, не виноваты в этом положении: они почти всегда его жертвы; не несут за него ответственности в большинстве случаев также и организаторы присуждения премий. Как известно, в связи с присуждениями премий сложилось некое «литературное общество» (в дурном смысле этого слова), где господствуют интриги, сплетни, инсинуации, где не читают книг, где в ходу непонятые или плохо усвоенные мысли,— «литературное общество», в котором меньше всего стремятся к серьезным, критическим дискуссиям, сопоставлению идей или столкновению поэтических концепций.

Однако самое интересное — и утешительное — заключается в том, что продажность среды не сказывается на литературных произведениях.

Поскольку за короткий срок на наши столы было поспешно вывалено тридцать романов, полностью обозреть их трудно, почти невозможно, тем не менее некоторые из них дают повод для критического разговора. Попробуем начать его.

«Рассказы» Биджаретти подтверждают бесспорный талант этого писателя, и, пожалуй, именно в них он достигает особенно высокого уровня повествовательного мастерства, что делает этот сборник по-настоящему удачной книгой. То же самое можно сказать о Фабио Томбари и его книге «Встреча», а также о Наталии Гинзбург и ее книге «Вечерние голоса». Удачна в общем и новая повесть Фрассинети «Ослиные копыта», хотя здесь его сатирический дар несколько потускнел по сравнению с книгой, которую он предложил нашему вниманию года три назад.

Если бы задачей нашего обозрения было рассмотрение интересных, с художественной точки зрения, книг, то, несомненно, мы должны были бы остановиться в первую очередь на названных выше произведениях, а также и на некоторых других — например, книга Шаша «Сова появляется днем». Это весьма интересная повесть об офицере карабинеров, бывшем партизане, борющемся против сицилийской мафии (к сожалению, повесть портит поверхностный и манерный конец).

Но нас интересуют не только достигнутые в новых книгах художественные результаты; мы хотим проанализировать некоторые общие тенденции итальянской прозы последнего времени. Поэтому ограни-

чимся рассмотрением книг, наиболее показательных с этой точки зрения.

В статье, посвященной писателю Джованни Тестори, критик Феретти говорит о его новой книге «Дом на окраине» и о том направлении, которое получило название «неонатуралистического». Феретти совершенно правильно устанавливает разницу между натурализмом Пазолини и натурализмом Тестори. Даже классический натурализм — натурализм второй половины прошлого века — был чреват множеством опасностей. Он представлял собой передовую и смелую попытку приблизиться к реалистическому искусству лишь постольку, поскольку опирался на прогрессивную, далекую от религии, враждебную обскурантизму идеологию, которую итальянские веристы связывали с позитивизмом. Когда этой идеологии не стало, различные элементы поэтики натурализма — объективизм, фотографическое изображение действительности, злоупотребление диалектизмами, смакование патологического, дурного, грязного, чрезмерный интерес к сексуальному — смогли быть преспокойно приняты на вооружение последующими декадентскими течениями. Совершенно очевидно, что ныне Тестори пытается возродить технику натурализма, но столь же очевидно и то, что ему не удастся вложить в эту форму идейное содержание, которое отвечало бы требованиям современности. Интересно проследить, как отсутствие определенной идейной позиции в произведениях Тестори приводит — в чисто литературном плане — к противоречию между натуралистической тенденцией и надуманной романтикой. Натурализм играет положительную роль лишь постольку, поскольку — употребляя терминологию де Санктиса — убивает «идеальное», желаемое и заменяет его реальным, показывает вещественную действительность такой, как она есть, освещает лучом анализа и разума темные тайники чувств и инстинктов. Мне кажется также, что присутствие «секса», столь характерное для современной литературы, является художественно оправданным только тогда, когда становится элементом познания реальной действительности. Но у Тестори изображение реальной действительности даже там, где есть «секс», остается безжизненным и тусклым, так же как становятся безжизненными страницы его книги, едва ему приходится подняться выше внешнего описания «мелкого люда» и пейзажей миланских окраин.

Именно причины, вызвавшие наши критические замечания по поводу «Дома на окраине» Тестори, заставляют нас особенно высоко оценить книгу Арпино «Преступление по мотивам чести». В ней Арпино последовательно (пожалуй, даже слишком последовательно — настолько, что это часто приводит к некоторой «холодности» манеры повествования) воплощает принципы «рационалистической прозы», в центре внимания которой находится борьба между разумом и мифом; подобного рода проза должна быть написана скупым, объективным, свободным от всякой литературщины языком, всецело подчиненным идее книги. В романе Арпино рассказывается история любви провинциального врача, богатого землевладельца Гаэтано Кастилья к молодой и очень красивой крестьянке Сабине. Гаэтано, во всем разуверившийся, разочарованный, облени вшийся, пресытившийся беззаботной жизнью провинциального барина, видит в Сабине смысл своего существования. Его цель — вырвать девушку из окружающей ее среды, воспитать, дать ей образование и превратить в светскую даму. Но, женившись на ней, он узнает, что Сабина — не девственница, и добивается у нее признания в том, что ее изнасиловал молодой офицер, причем сообщницей в этом преступлении была сестра этого офицера, Элена. Все рушится в душе Гаэтано. Теперь он глубоко убежден, что единственное средство спасти честь и избежать насмешек — это решиться на преступление. И вот он бритвой перерезает горло спящей жене, а потом прячется с револьвером в засаде и убивает Элену.

Наиболее удавшаяся автору часть романа — описание подготовки к защите на суде, которую ведет видный неаполитанский адвокат Джоккино Руссо. Руссо доказывает, что преступление Гаэтано — это преступление по мотивам чести, и оно совершено под влиянием атавистических чувств, живущих в глубине души человека; здесь бессильна цивилизация со всеми ее законами, ограничениями, разумными правилами. Судьи соглашаются с тем, что это — преступление, совершенное по мотивам чести, и оправдывают Гаэтано именно во имя неписаных законов этих чувств, законов, которые, по мнению судей, выше тех, что продиктованы разумом. И адвокат Руссо —

человек добродушный, образованный, скептически настроенный, замечательный оратор, циник и мастер подкупа — не останавливается перед тем, чтобы запугать своим именем и авторитетом тетку Сабины (он заставляет ее отказаться от намерения выступить в качестве истицы) и, обманув нескольких молодых энтузиастов, использовать издаваемую ими газетку в его собственных целях. Ужасное преступление Гаэтано и юридические и идеологические доводы в его оправдание даны на фоне едва намеченной автором картины фашистских насилий, которые кое-кто также пытался оправдывать во имя мифов и чувств, противоречащих разуму. А совсем на заднем плане — пейзаж Монтронэ, с его бедными домишками, грязным трактиром и нищими, неграмотными, темными, всеми обманутыми южноитальянскими крестьянами.

Арпино ведет повествование с беспощадной точностью, избегая всякой сентиментальности и лирических отступлений. Он безжалостен и объективен. Его острый глаз умеет разглядеть в обществе и человеке чудовищ, которые пробуждаются, когда разум спит. Его позиция совершенно ясна и без авторских деклараций. За него говорят сами описанные факты; они открывают нам темный, мрачный потаенный мир, который необходимо осветить прожектором разума.

В другом направлении идет Раффаэле Ла Каприа в своем интересном романе «Смертельно раненный», удостоенном литературной премии «Стрега». Не следует смущаться повествовательной техникой писателя: по примеру некоторых представителей французского «нового романа» он нарушает временные и пространственные соотношения и, ловко дозируя, перемешивает описание с внутренним монологом. Ла Каприа излагает историю юноши Массимо и вместе с тем рассказывает об одной из сторон жизни неаполитанского общества в период между 1946 и 1960 годами. Массимо — человек из состоятельной семьи, студент, а потом молодой адвокат, который участвует в бездумной и пустой жизни верхов неаполитанского общества в годы после второй мировой войны, жизни тоскливой, несмотря на то что она наполнена развлечениями. Болтовня и сплетни в кафе «Миддльтон», азартные игры и флирт в яхт-клубе, морские купания и подводная охота, празднества и любовные истории — все это превращает Неаполь, Капри, Искию, Позитано в «дикий лес», готовый поглотить все следы человеческой истории и культуры. Массимо не может без оговорок и без критики принять законы подобного общества. Влюбившись новогодней ночью в Карлу, он хранит в сердце эту большую и безнадежную любовь. И именно потому, что ему не удается позабыть Карлу и счастье той новогодней ночи, он не может согласиться со взглядами своего друга Гаэтано, который бежит в этот «дикий лес»; Массимо же уезжает в Милан, чтобы, как пишет автор, погрузиться в реку «истории».

Но не все в жизни людей можно свести к антитезе: «дикий лес» и «история», природа и разум; так не сводится ни к одному из этих понятий вспыхнувшее вдруг страстное юношеское чувство, привязывающее человека на всю жизнь к одной неповторимой минуте. Такова, например, настоящая любовь, любовь Массимо к Карле.

«И что мне за дело, если они в то утро в кафе «Миддльтон» поняли, что я люблю,— да, да, это любовь, любовь, любовь! — что целыми часами, как астроном, ожидающий появления звезды, взгляд которого прикован к обязательным точкам ее прохождения, я, словно случайно, торчу перед ювелирным магазином, где выставлена китайская маска, зная, что ничего, ничего не могу сделать, чтобы избавиться от этого наваждения. Оно заставляет человека неизменно кружить вокруг одного и того же, и одно и то же встречается ему; вот, например, вчера, когда я разговаривал с тем незнакомцем, как раз напротив ювелирного магазина, мне повстречалась Карла. Разве разум и история чего-нибудь стоят, если в один прекрасный день меня — дурацкое, слишком сильное юношеское чувство, а другого — другая причина или столь же неизлечимая и, быть может, случайная сердечная рана ставят перед лицом свершившегося факта, свершившегося раз и навсегда; вернее, перед лицом того, что свершается каждое мгновенье нашей жизни, проявляется множеством самых различных, обманчивых способов, но, в сущности, всегда одинаково, всегда одно и то же!»

Подобное мировоззрение, выдвижение таких понятий, как «сердечная рана», «боль», «любовь»,— одним словом, обращение к тайной и недоступной сущности человеческой души, которая ищет спасения как от «дикого леса», так и от «истории», пожалуй, может показаться чересчур романтическим. Так оно отчасти и есть, и в этом

ограниченность романа. Отсюда — форма произведения, позволяющая из-за нарушений последовательного порядка повествования частые лирические отступления.

Но в книге Ла Каприа элементы, условно названные нами «диким лесом» и «историей», находятся в диалектической связи, противоречие между ними заставляет глубоко страдать героя романа; и, по существу, в сюжетном развитии побеждает «история», то есть разум. Несмотря на явную манерность изложения, Ла Каприа в лучших местах своего романа достигает реалистического изображения действительности и показывает себя настоящим писателем.

Леонетти, напротив, сознательно стремится к широкому реалистическому повествованию в том смысле, что он пытается отобразить глубокие тенденции нашего времени; в романе «Знакомство по ошибке» он ставит перед собой задачу рассказать о судьбе целого поколения — поколения, которое подходит к порогу университета примерно в 1948 году; писатель хочет рассказать о «сексуальном, социальном и интеллектуальном» развитии этого поколения, Леонетти убежден, что старые средства художественной прозы не позволяют раскрыть современную действительность; поэтому он прибегает к «дограмматическому» языку и весьма смелым нарушениям традиционной структуры повествования, которые, однако, показывают прежде всего, что в авторе под прозаиком скрывается поэт.

В «Левантийской балладе» Чаленте также поставила перед собой задачу создать реалистический роман, в котором последовательные этапы роста самосознания героини, Даниэлы, соответствовали бы постепенному духовному прозрению итальянских эмигрантов, живших в Египте, в период с первых лет нашего века до 1944 года. В этом прочно построенном, тщательно продуманном романе писательница, не полагаясь лишь на свою память, широко использовала исторические документы и исследования.

Итак, в прошлом году в области художественной прозы наблюдалось явление, подобное тому, свидетелями которого мы были в 1960 году в области киноискусства; речь идет о возобновлении попыток найти путь к реализму. Это явление не имеет ничего общего с тем, которое существовало в период между 1945—1950 годами, когда нашим лучшим писателям, несмотря на значительные различия в темпераменте, характере и стиле, удалось обрести общее направление, схожие дороги, по которым они пошли. Ныне же Арпино, Ла Каприа, Леонетти, Чаленте ведут свои поиски в различных направлениях и исходят из различных предпосылок, хотя все они и стремятся к реальному изображению действительности. Это объясняется обманчивым, противоречивым, сложным характером самой итальянской действительности, отсутствием широких движений в жизни общества и в общественной мысли, которые позволили бы более непосредственно и всесторонне постигнуть глубинные течения истории, сделали бы более простыми самые запутанные и сложные проблемы. И все же можно сказать, что многим писателям в их поисках пути к реалистическому изображению действительности все еще мешают («мешают», а не «препятствуют» или «наглухо закрывают дорогу») влияния литературного характера: Чаленте — «проза д'арте»*, Ла Каприа — французский «новый роман», Леонетти — разрушение обычной синтаксической структуры фразы. Я хочу сказать, что поиски средств выражения иногда становятся самоцелью, отрываются от поисков в области идейного содержания.

В этом смысле (я не углубляюсь в сравнение художественных достоинств различных книг, они в данный момент меня не интересуют) путь, предложенный Арпино, кажется мне наиболее убедительным. Ибо, хоть и верно, что сегодня нельзя писать роман так, как писали сто лет назад, не менее верно и то, что, если мы хотим выйти из порочного круга декадентского романа, надо восстановить три элемента, присущие художественной прозе прошлого века: идейную основу, героев или героя и действие (а, следовательно, повествование, но не статичное созерцание). Давайте пробовать любые технические приемы, но не будем забывать о том, что мы должны повествовать, создавать образ героя и иметь вполне определенное мировоззрение.

---

* Эстетское. декадентское направление, существовавшее в Италии в 20—40-х годах.

ОБОЗРЕНИЕ ЗАРУБЕЖНОЙ ПРЕССЫ

КАК ВОСПИТЫВАЮТ ЗАПАДНОГЕРМАНСКУЮ МОЛОДЕЖЬ

Журнал **«Мейнстрим»** (США) напечатал статью молодого западногерманского поэта **Арно Райнфранка** о том, как используется культура в Федеративной Республике Германии для воспитания молодежи в определенном духе.

> «В прошлом образование и культурное развитие юношества находилось в руках таких организаций, как «Гитлерюгенд» и «Юнгфольк» *,— вспоминает писатель,— и теперь тоже культурные развлечения молодежи не могут не вызвать тревогу.
>
> Правда, «чиновники укажут вам на школьные учебники и радиопередачи (кстати, не свободные от искажений, когда дело касается истории), на юношеские библиотеки, книги и клубы, открытые для каждого из юных членов общества».

С виду все обстоит вполне благополучно. А на самом деле?

Райнфранк начинает с кино, одного из любимейших развлечений молодежи. Какие фильмы предлагаются ее вниманию?

Прежде всего, конечно, американские боевики:

> «Соединенные Штаты экспортируют много фильмов, предназначенных для всех возрастов. Фильмы эти таковы, как будто их изготовляли специалисты по всем видам убийств... Уже сами рекламные афиши неизбежно развращают ум и сознание детей и подростков. Подобные рекламы, фильмы и телепередачи — вот питательная среда для западногерманских стиляг, юношей и девушек, которые лишены более достойных развлечений».

Не меньший вред, пишет Райнфранк, приносят и военные фильмы, связанные с реваншистскими устремлениями правителей Западной Германии.

> «С тех пор как в Федеративной Республике усилилась ремилитаризация, на экранах появилась специальная киносерия «Комичный солдат». Такие фильмы слишком часто считают безвредными. Стоит ли говорить, что это совсем не так, ибо в них дана ложная, фальсифицированная картина войны и жизни в армии».

Автор статьи пишет, что создавались и хорошие фильмы о прошлом, и упоминает один из них, «Мост»*, который широко обсуждался среди студентов и старшеклассников. Но даже фильмы, описывающие ужасы нацистской Германии, нередко лишены воспитательного значения.

> Во-первых, изображение зверств часто «служит прекрасным предлогом для запрещения этих фильмов детям до 16 лет». Что же касается старших школьников, то показ этих фильмов «целиком зависит от решения преподавателя, а если сам он бывший нацист, то будет всячески саботировать их демонстрацию для школьников».

Зато «детям почти всегда разрешается» смотреть картины, проповедующие откровенную дискриминацию других народов, особенно народов Азии, антисоветские фильмы и фильмы, направленные против стран, не входящих в состав НАТО.

Конечно, указывает Райнфранк,

> «следует отметить, что многие протестуют против подобных картин. Я беседовал с учителями и лекторами, профсоюзными деятелями и священниками, и большинство из них высказывалось против подобных фильмов. Но они сами не очень-то верили, что их протест что-нибудь изменит, и даже боялись выступать против, несмотря на то что наша конституция 1949 года узаконила свободу мнений».

Так используется кино для воспитания молодежи в фашистском духе. Не лучше обстоит дело и в сфере литературы.

---

* Фашистские юношеские организации.

* По роману М. Грегора. «Иностранная литература» №№ 10—11 1960 г.

> «Хорошо изданные приключения, реалистические повести очень редки и дорого стоят. Также высока цена прекрасного сборника русских рассказов. Родители, которые не тратят много на книги для своих отпрысков, и школьники, у которых мало карманных денег, автоматически вынуждены обратиться к дешевым изданиям»...

А среди дешевых изданий первое место принадлежит

> «тому сорту литературы, которая издается под рубрикой «Военные рассказы». И в период, когда политическая и психологическая напряженность в Германии достигла своего апогея, эта литература представляет большую опасность, ибо войну в ней рисуют как естественное средство для разрешения спорных проблем... Во всех этих книгах оправдываются и восхваляются преступления, совершенные фашистскими войсками в европейских странах; интервенции и агрессии изображаются как явления положительные и необходимые».

Болью и возмущением дышат эти строки.

Здесь снова, как и в связи с кино, Райнфранк упоминает тех, кто пытается бороться с милитаристской пропагандой:

> «Значительное количество юношеских организаций заявило открытый протест против подобной литературы. Так поступили «Юные социалисты», «Красные соколы», социалистическое общество в защиту культуры, «Друзья природы», профсоюзная молодежь, студенты-социалисты и «Объединение немецкой молодежи». Их протест был поддержан многими университетскими преподавателями, юристами, писателями и священниками. В результате, в отдельных случаях, когда факты извращались слишком явно, был применен закон о запрещении подобных книг. Тем не менее,— с горечью добавляет Райнфранк,— в эту самую минуту вы можете купить любую из них в Федеративной Республике, а в Западном Берлине даже за полцены».

Нечего и объяснять, кто субсидирует это снижение цен для Западного Берлина, заключает он, намекая на реваншистов из ФРГ, которые используют Западный Берлин для переброски фашистской литературы на территорию ГДР.

Трудно приходится и юношеской периодике.

Райнфранк говорит в своей статье о тех мерах, какие пытаются принять профсоюзы, чтобы оздоровить атмосферу, в которой воспитывается молодежь. Профсоюзные деятели выступают с протестами против отравляющих сознание молодого поколения неофашистских фильмов и книг.

> «В Руре на ежегодной конференции Конгресса профсоюзов специально обсуждались вопросы воспитания и культурного воздействия на молодежь. На собраниях устраивали коллективное чтение произведений Бертольта Брехта, Максима Горького, Маяковского, Лэнгстона Хьюза и других, слушали пластинки Поля Робсона и Ива Монтана».

Но, с огорчением констатирует автор статьи, таких отрадных явлений еще немного, и влияние их невелико. Райнфранк не делает никаких выводов из приведенных фактов, но сами они настолько вопиющи, что вся его небольшая статья звучит как сигнал тревоги.

ГЕРОДОТЫ ИЗ ГАЗЕТЫ «ТАЙМС»

Как известно, английская пресса, предавая анафеме так называемую «пропаганду», в то же время никогда не упускает из виду собственных политических выгод.

Одним из рупоров официальной политики в области культуры служит литературное приложение к газете «Таймс». Несколько раз в год это приложение выходит в виде обширного обзора, состоящего из десятка статей по актуальным вопросам литературы и искусства. И хотя статьи безымянные (для пущей объективности) и принадлежат перу различных авторов, в сборнике всегда формулируется официальная точка зрения, отражающая политический климат.

Но, может быть, никогда еще пропагандистские цели литературных симпозиумов **«Таймс литерари сапплмент»** не выступали с такой обнаженностью, как в двух последних обзорах 1961 года — **«Литература стран Британского содружества»** и **«Европейские культурные связи»**.

Нет нужды пояснять, что вызвало к жизни эти симпозиумы. Первый из них представляет собой попытку сохранить хотя бы символическое культурное единство внутри распадающейся империи, второй — перебросить через Ла Манш мостик культурных связей и тем содействовать ликвидации более нетерпимого «островного» положения Англии.

> «Жалобы, которые чаще всего раздаются по адресу английских критиков со стороны писателей стран Британского содружества, большей частью сводятся к тому, что англичане слишком преданы своим узким местным интересам, что они меряют чужие произведения только на мерку английской литературы... не умеют оценить чисто национальные черты этих произведений и лишь снисходительно называют их местным колоритом».

Эти строки взяты из вступительной статьи к специальному номеру, посвященному литературе стран Британского содружества, автор которой осуждает высокомерное отно-

шение английской критики и заявляет, что «если до сих пор различные литературы стран Британского содружества не без основания рассматривались лишь как дети их общей матери английской литературы», то теперь становится все ясней и ясней, что «дети незаметно подросли».

Однако, с точки зрения составителей номера, взрослые дети все же остаются детьми, сколь бы самостоятельными они себе ни казались. Именно в этом духе и рассматриваются литературы стран Азии и Африки, ибо, с точки зрения авторов симпозиума,

> «можно с уверенностью предсказать, что вряд ли в какой-либо из стран Британского содружества может сейчас возникнуть произведение, которое... напрямую свяжет писателя с читателем; такое явление может возникнуть лишь при наличии давней и четкой традиции».

Что это за традиция, догадаться нетрудно. К тому же автор спешит ее назвать, чтобы не оставалось никаких сомнений:

> «В настоящее время, конечно, существует одна главная традиция. Сравнительное изучение более старых литератур Британского содружества показывает, что они повторяют друг друга в своем развитии. Дальность расстояния от метрополии, общественная борьба, духовная бедность, получение независимости одинаково влияют на все эти страны, и так как в каждом случае национальное самосознание именно в литературе старается осмыслить новую обстановку и обращается к английской традиции, то все эти литературы тесно связаны между собой и имеют общее происхождение».

Другими словами,

> «...Происхождение любой литературы... обязательно идет от Англии. Первые писатели либо родом из Англии... либо подражают английским образцам...»

А как же быть с национальной традицией? Сейчас нельзя уже скинуть ее со счетов, точно так же как нельзя отмахнуться от национально-освободительного движения; зато можно попробовать осторожно умалить его значение и переместить акцент на культурные связи.

В статье «Культура Африканского континента» говорится:

> «Совместные выступления против колониального правления создали общность интересов, которая и по сей день сохраняется на политическом уровне, но полная консолидация сил возможна лишь на основе культурных связей и достижений».

Во главе этих связей, как нам настойчиво твердят, стоит «материнская» традиция Англии.

Естественно, что английский критик старается дискредитировать попытки ученых освобождающейся Африки рассматривать национальную культуру как самостоятельное явление. Он не скрывает своего недовольства тем, что идеологи молодой Африки больше «озабочены непосредственно политическими задачами, нежели академическими проблемами», которые, по мнению критика, «в перспективе более важны для африканской культуры».

Таким образом, направленность симпозиума совершенно ясна. Но конкретный анализ литератур не подтвердил мысли автора передовой статьи. Прежде всего, здесь представлено очень мало стран: Новой Зеландии и Австралии нет вообще, из всей Африки упоминается лишь Южно-Африканская Республика (как известно, не входящая более в Британское содружество). Если прибавить довольно поверхностную статью об Индии, то вот, собственно, и все. За неимением достаточного материала авторам пришлось использовать статьи-заполнители, не имеющие никакого отношения к теме специального номера.

А наиболее серьезная и аргументированная статья об африканской литературе идет вразрез с устремлениями составителей, так как несмотря на усилия автора весь материал статьи убедительно доказывает, что развитие современной литературы молодой Африки прежде всего определяется национально-освободительной борьбой.

Идиллической картины не получилось. Перед нами скорее мечты да благие пожелания, лихорадочные поиски выхода, а не научный объективный обзор, как стараются представить его авторы «Таймс литерари сапплмент».

Однако неудача симпозиума по литературам стран Британского содружества не обескуражила «Таймс», и вслед за первым был выпущен второй специальный номер литературного приложения, «Европейские культурные связи», цель которого — показать культурное единство стран Европы и всячески подчеркнуть, что Англия отказывается от своей традиционной изолированности и считает себя членом европейского культурного «братства».

Примечательно уже начало вступительной статьи:

> «Историки склонны считать пятидесятые годы десятилетием, когда британская культурная изоляция наконец кончилась. Доказательством этого служат мелочи повседневной жизни: кафе-автоматы, прически, испанские гитары, новые блюда, вина, бакалейные товары с континента, дешевые автомобили по итальянским образцам — нельзя не видеть, как эти новые черты меняют облик сегодняшнего Лондона.
>
> Ушли в прошлое великие путешественники-одиночки... зато все мы, как никогда, пристрастились к более скромным экскурсиям. Каждое лето огромные пароходы пришвартовываются во французских портах и переправляют пожилых леди из Уэйкфилда и Глазго в Далмацию и Коста Брава; все возрастает число школьников, которых носит из страны в страну.
>
> Подобными же, хотя и менее очевидными чертами отмечены и высокие искусства... Совершенно отброшен кичли-

вый «британизм», которым столь гордилось искусство после второй мировой войны. Сегодня для нас приемлемы любые внешние стимулы. Ионеско, Брехт, Бергман, итальянское кино проникли к нам одновременно с появлением новых английских драматургов и привлекли ту же самую аудиторию. Почти совершенно исчез старый предрассудок, что лишь у французов есть еще чему поучиться английским джентльменам.

Эта новая широта в значительной степени определяет характер настоящего обзора, символом которого замечательный европейский художник Оскар Кокошка избрал Геродота, олицетворяющего древний дух пытливости и исследования, свойственный нашему континенту».

Это обращение к Геродоту, историку и путешественнику-космополиту, вполне понятно, ибо здесь. в европейском симпозиуме, и речи быть не может о каких-то «материнских» традициях Англии: в европейском обзоре на первый план выдвигается якобы исконная общность всех европейских культур.

> «Сейчас, когда мы колеблемся на пороге «Общего рынка», пора не просто совершить еще одно турне по Европе, а принять совершенно новую точку зрения, которая рассматривает Европу как единое целое».

Таким образом, выдвигается некая смутная идея культурной пан-Европы, где Англии, очевидно, предназначается не последняя роль. Увы, картина, увлекающая воображение составителей обзора, настолько абстрактна, что совершенно не соответствует фактам общественной жизни. Это с прискорбием вынужден признать и автор обобщающей статьи:

> «Результаты нашего экскурса вовсе не так убедительны, как следовало ожидать. Во-первых, Европа искусства и духа не совпадает с той Европой, о которой говорят политики... Во-вторых, вряд ли можно добиться культурной однородности лишь при помощи развития национальных политических и экономических институтов».

Примечательно, что автор не видит иных «великих уравнителей», кроме «абстрактного искусства и международного стиля в архитектуре». А в художественной литературе

> «различия настолько велики, что не может быть и речи об общих основах суждения... Европейские различия в национальных традициях и в образовательной системе мешают какому бы то ни было уравниванию. Даже христианство, которое исповедуют все жители континента, не способно создать единую литературу вне влияния национальных условий. Наиболее резкие различия существуют в области критики, что, очевидно, объясняется разницей государственных систем и мироощущений».

Идея общеевропейской культуры не может рассматриваться вне всякой связи с социальными и политическими силами, дей ствующими в мире.

Однако именно так пытались судить о ней авторы статей.

Пуще всего они избегают касаться политических и социальных проблем Западной Европы и оживляются, лишь когда переходят к странам социализма, дружно повторяя клеветнические нападки на социалистическую культуру.

Заведомо остерегаясь затрагивать «проклятые вопросы», стремясь увидеть в культуре Западной Европы одни кисельные берега и молочные реки, составители обрекли симпозиум на полную аморфность.

Следует сказать, что европейские читатели по достоинству оценили их «усилия». Не случайно в еженедельнике **«Ар»** появилась резкая статья **Доминик Арбан,** адресованная «Геродоту, эсквайру, главному редактору «Таймс литерари сапплмент». Арбан иронически благодарит за менторский тон, за «умные, компетентные, серьезные и к тому же анонимные статьи» и с негодованием укоряет авторов специального выпуска за равнодушие к самым насущным проблемам современности.

Им не слышен «страшный крик поэтов», блуждающих «между своей мечтой и кошмарами», как смеют они говорить о «европейской совести...» Арбан спрашивает, почему они не назвали имена Хуана Гойтисоло и Анны Марии Матуте, молодых испанских писателей, которым в фашистской Испании Франко «вместо правды... дали ложь, вместо морали — подлость, и вместо чувства — продажную любовь», почему в статье о Германии не упомянули Бёля и тех писателей, которые «взяли на себя ответственность лишь за немногое — за ту войну, которую их принудили вести?»

> «Может быть, ваш слух, ваш знаменитый чуткий слух изменил вам,— обращается Арбан к Геродоту.— Раздаются крики, которых вы не слышите. Я пишу не под впечатлением наших бедствий в Алжире, не под воздействием всеобщего нашего несчастья — Бомбы. Но мне кажется, что ваш бедекер — путеводитель по судьбам людей на континенте — помог вам избежать крутых тропинок маршрута. А ведь здесь есть много мест, где на всех языках звучит одна и та же нота, похожая на вздох или стон».

В заключительной части обобщающей статьи симпозиума автор вынужден сам сказать о недостатках специального номера и пытается спасти положение, формулируя «идейные» основы, которые сделали бы возможным культурное единство.

Однако его устраивают не всякие идеи, он ополчается на прогрессивное «направленное» искусство, критически заостренное против существующего порядка:

> «Во многих западных государствах большая свобода искусства и большая

благожелательность к художнику превратилась почти в официальный политический курс: это чревато опасностью, так как может привести к господству посредственности или к отчаянию.

В гневных и смутных требованиях служения идее я вижу известный смысл: одной абстрактной свободы мало, искусство должно пытаться играть важную роль в жизни, иначе оно будет лишь нигилистическим протестом против нашего общества, против самой жизни.

Безусловно, более тесные связи внутри Европы сделают нас более чуткими к этого рода опасностям и, может быть, помогут нам парализовать их с большей решительностью».

Без сомнения, постановка вопроса совершенно ясна и в комментариях не нуждается: борьба против критически заостренного искусства — вот вам и идейная основа единства буржуазных культур!

По-видимому, безымянный автор считает, что ради поддержания своего престижа Англии следует взять на себя инициативу в обеспечении этого единства. Иначе как понять следующий пассаж из его статьи?

«По крайней мере, мы можем убедиться, что за пределами «государства благоденствия» имеются не менее острые проблемы, чем моральные и психологические задачи внутри страны, и это может явиться источником определенного чувства ответственности, которое мы разделим с другими».

ПОЧЕМУ КОРОТКИЙ РАССКАЗ?

На страницах литературных журналов и газет Румынии большое внимание уделяется короткому рассказу, жанру, к которому сегодня обращаются и известные прозаики, такие, как Марин Преда или Еуджен Барбу, и молодые, начинающие писатели.

Чем объяснить этот интерес к жанру рассказа?

Вот как отвечает на этот вопрос в еженедельнике **«Лучафэрул» Д. Чесеряну:**

«Еще 4—5 лет назад в румынской литературной печати редко можно было найти малые формы прозы. Причины были разные. Некоторые писатели боялись строгости жанра. Другие думали, что лишь в романе можно глубоко и многосторонне охватить великие революционные преобразования, происходящие в Румынии. И те и другие ошибались. Литературной критике принадлежит заслуга настоятельной и постоянной пропаганды рассказа. Дело в том, что в новых исторических условиях необходимо ежедневно отображать революционные преобразования более оперативным жанром, чем роман, который долго вызревает и фиксирует факты лишь после глубокого их осмысления современниками. Вот почему так выросла роль рассказа как более прямого и целесообразного средства воздействия».

Вывод Чесеряну подтверждается и большой распространенностью репортажа, отвечающего потребности читателя в непосредственном познании всего нового. Благодаря некоторым общим чертам создается впечатление, что в основе короткого рассказа лежит такое же, как в репортаже, реалистическое и непосредственное восприятие повседневной действительности и одинаковые критерии выбора героев...

На страницах **«Газета литерарэ»** дискуссия сосредоточилась главным образом вокруг вопроса о специфических жанровых признаках рассказа. Газета не только посвятила целый номер этой теме, поместив ряд выступлений писателей и критиков, но и предоставила слово читателям.

Как явствует из опубликованных в газете материалов, сама дискуссия — свидетельство художественной зрелости румынских литераторов, их умения анализировать, классифицировать, обобщать. Отныне, говорится в газете, рассказ не только любимый жанр, но и предмет для серьезного разговора.

Как отмечает в цитированной выше статье Д. Чесеряну,

«Это определяет новую роль марксистской критики — стимулировать развитие нового жанра путем тщательного анализа произведений и формулировки конкретных требований в области содержания и формы».

Что касается содержания, то особо важное значение приобретает отражение революционных преобразований в румынской деревне, где социалистическая система труда в корне изменяет традиционный уклад жизни.

Об этом подробно пишет в журнале **«Вяца ромыняскэ»** литературный критик **Г. Димисяну.** С его точки зрения,

«центральной темой литературы является изображение общих усилий... крестьянства укрепить новые артели экономически и организационно. Естественно, что в ходе осуществления этой задачи многое меняется в духовной жизни крестьян, ускоряется процесс формирования новой морали, психологии коллективизма, появляется новое представление о любви и дружбе, иное отношение к женщине».

Димисяну отмечает, что

«первые ростки нового в общественной жизни лучше всего могут быть отражены в малых прозаических жанрах — в очерке или рассказе». Но он справедливо указывает, что при этом писатель «должен передавать самое существенное, не останавливаясь на незначительных деталях». Между тем, хотя темой социалистической деревни занимаются многие писатели, большинство их произведений,

> по мнению Димисяну, «страдает упрощением жизни и лишь констатирует факты». Критик сетует, что писатели нередко «не используют свою острую наблюдательность для показа таких моментов жизни деревни. когда особенно ярко выступает идеологический рост крестьянина».

Димисяну выступает за то, чтобы писатели по-новому изображали

> «богатую личность нового героя... По-настоящему интересным станет этот герой, если его характер будет раскрыт в момент предельного напряжения, подъема в борьбе за укрепление социалистических форм жизни».

Дискуссия не могла пройти мимо того, что новое содержание требует отточенной, своеобразной формы. «Истинный облик нового нельзя передать ни слишком упрощенно, ни в чисто психологическом плане», когда «психологический анализ превращается в манерность».

В поисках новых форм молодые писатели обращаются и к символу.

> «Стремление молодых прозаиков передать чувство настоящей жизни,— пишет в «Газета литерарэ» **Х. Залис**,— выделить наиболее значительные и прочные образы и факты заставляет их прибегнуть к самым различным художественным средствам. Этой цели служит и все чаще встречающееся использование символов в рассказах молодых писателей».

Приветствуя символику как средство «более широкого обобщения», как способ передачи «поэзии душевного состояния, острого морального конфликта», Димисяну в то же время предостерегает, что

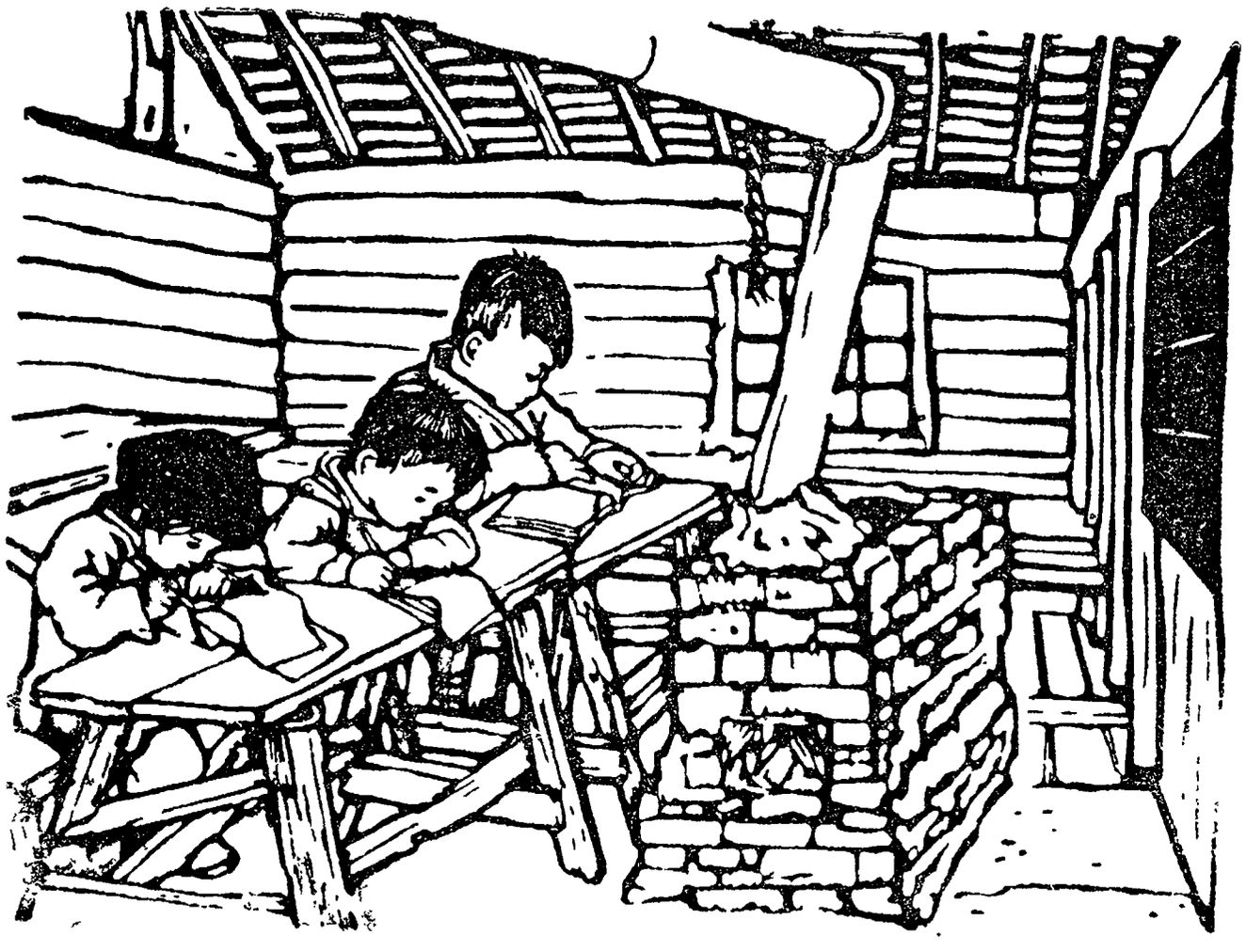
> «символ в прозе, как и метафора в поэзии, может привести к искажению повествования, если его появление не оправдывается содержанием. Условное применение символа, которое часто встречается в творчестве молодых писателей, встает между сюжетом и его художественным воплощением и может нанести много вреда малому прозаическому жанру».

Дискуссия о путях развития рассказа оказалась, по мнению литературной и читательской общественности, очень плодотворной. Особенно важно, что обсуждение, в силу самой логики жизни, проходило в русле тех задач, которые поставил перед писателями Румынии VIII съезд Румынской рабочей партии. В документах съезда отмечалось, что долг писателей заключается

> «в обобщении предельно убедительных фактов из жизни новой эпохи. И в разоблачении пережитков старой морали и норм буржуазного общества».

По мнению одного из участников дискуссии, критика **Е. Луки**, эти

> «тенденции утверждаются теперь в писательской практике... Только так,— пишет Лука,— и можно показать сложный процесс утверждения социалистического образа жизни, показать величие осуществляемой народом революции, в итоге которой создается новый человек».



«Лесная школа» — рисунок вьетнамского художника ХВАНГ ЮНГ Ю.

ВИКТОР ПЕРЛО

ВЕЛИКИЙ ПЛАН

(ЗАМЕТКИ АМЕРИКАНСКОГО ЭКОНОМИСТА)

ишь после долгих колебаний я решился написать статью для литературного журнала о новой Программе Коммунистической партии Советского Союза. Ведь этот документ является плодом длительного труда многих людей, которые играют руководящую роль во всех областях советской жизни. Проект Программы был обсужден, проанализирован и дополнен миллионами людей, и их ценные предложения были включены в окончательный текст Программы. Значение новой Программы было освещено со всех точек зрения на XXII съезде КПСС.

Что же могу я добавить такого, что было бы новым и важным? Тем не менее, быть может, читателям будет интересно познакомиться с мыслями человека, который находится на другом краю света и в географическом смысле и в смысле социальных условий, но именно поэтому особенно остро чувствует глубочайшую человечность Программы, ее резкий контраст всему тому, чем живет его окружение.

После моей поездки в СССР в прошлом году один друг задал мне вопрос: «А видел ли ты там Нового Человека?» Я ответил ему, что встречал уже некоторые черты человека коммунистического завтра у многих советских людей. Эти черты нового еще находятся в борьбе со старым, с отрицательным — с теми чертами человека, которые мне слишком хорошо известны в капиталистическом обществе. Однако новое побеждает.

Как экономист, я провел много времени на различных предприятиях, встречался с советскими экономистами и студентами, пытался изучить процесс зарождения нового, коммунистического общества. Я понимал первостепенное значение материальной базы, но я также стремился понять и изучить советского человека.

Я покинул СССР в уверенности, что наряду со строительством мощных гидроэлектростанций и заводов-автоматов растет и развивается новый, коммунистический человек. Я наблюдал людей в магазинах, интересовался их отношением к новой системе оплаты без кондуктора в московских автобусах, беседовал с членами бригад коммунистического труда. Я видел гордость обслуживающего персонала шестого этажа гостиницы «Украина», завоевавшего переходящее Красное знамя за лучшее обслуживание. Я разговаривал с шофером алма-атинского такси, который лучше меня разбирался в американской литературе. Я встречал огромное количество людей, стремящихся стать учеными или инженерами. Я отметил черты нового и у ведущих экономистов, с которыми мне пришлось столкнуться и которых волновали не только проблемы теории экономики, но и вопрос о том, как лучше организовать мой быт и отдых.

Да, я также видел и старое, ретроградное — то зло которое высмеивает «Крокодил» и которое так преувеличивает «Сэтердей ивнинг пост», изображая советскую действи-

тельность только этим злом. Да, я встречал спекулянтов, грубых служащих, недобросовестных официантов, способных смошенничать, подводя счет. Мне пришлось столкнуться и с проявлениями бюрократизма. Но эти отдельные факты тонули в атмосфере сотрудничества и общего благожелательства.

Ни разу не возникал вопрос, что является главным в советской жизни. Во время моего трехмесячного пребывания в Советском Союзе я убедился, что растет новое, смело наступая на старое, и что это новое придет к окончательной победе.

Вот в этом заключено самое глубокое, самое фундаментальное значение новой Программы КПСС.

«Нью-Йорк таймс» глубоко ошибается, когда утверждает, что Программа обещает все, кроме свободы. Ибо свобода развития человека во всех сферах созидательной жизни, такая свобода для каждого человека является главным смыслом новой Программы.

Коммунистическая партия Советского Союза опирается на реальную действительность, провозглашая в Программе эту цель, ибо под руководством партии новый человек уже зародился и его триумф обеспечен.

В своем докладе на XXII съезде КПСС Н. С. Хрущев сказал, что коммунистическое равенство предполагает «гармоническое сочетание личных интересов с интересами всего общества». Вместе с ростом материального благосостояния развиваются новые человеческие отношения. Если совершенный человек является целью, то экономика изобилия является средством к достижению этой цели, а само изобилие, в свою очередь, обеспечивается, конечно, новым отношением к труду.

Подобный план экономического развития на двадцать лет вперед не знает себе равных.

Этот план сочетает экономические и технические науки, а его отличительной чертой, даже по сравнению с предыдущими советскими планами, является возросшее значение естественных наук.

Социалистическое планирование не может более исходить лишь из задачи сбалансированного и пропорционального экономического развития существующих ныне отраслей производства и производственных процессов. Оно должно полностью отражать непрерывное обогащение структуры и средств производства в результате научно-технической революции.

Премьер Хрущев ясно выразил новые взаимоотношения между наукой и промышленностью, сказав, что «наука все более становится непосредственной производительной силой, а производство — технологическим применением современной науки».

Программа партии отводит ведущую роль техническому прогрессу и повышению производительности труда для обеспечения экономики изобилия. Программа предусматривает автоматизацию производства, широкое применение кибернетики, атомной энергии и новых, более эффективных материалов.

Из всего этого виден разительный контраст между капитализмом и социализмом.

В Соединенных Штатах Америки любая дискуссия о техническом прогрессе среди капиталистов всегда кончается одним: требованием новых налоговых уступок, которые позволили бы выжимать еще больше прибылей из внедрения более совершенного оборудования. Трудящимся при этом приходится думать о другом: как организовать борьбу, чтобы защитить себя от безработицы, голода и ухудшения условий труда, которыми сопровождается хаотическое внедрение новой техники с целью увеличения прибылей.

В Советском Союзе тот раздел Программы, в котором говорится о создании и развитии материально-технической базы коммунизма, был встречен с огромным энтузиазмом миллионами людей. Перечисляя те конструктивные предложения и поправки, которые были внесены во время обсуждения Программы и которые должны были быть включены в ее окончательный текст, премьер Хрущев в первую очередь назвал предложение «сильнее подчеркнуть значение ускоренного технического прогресса, более полного и рационального использования производственных мощностей».

Это говорит о непрерывных поисках советскими рабочими и колхозниками средств увеличения производительности их собственного труда, что представляет собой решительную победу нового, коммунистического отношения к труду над старым, характерным для капиталистического общества, где механизация и технические усовершенствования

неизбежно вызывают справедливое сопротивление рабочих, ибо влекут за собой рост эксплуатации и безработицы.

Признание великого значения науки самими трудящимися Советского Союза отражает также общественный интерес к научной работе. Широкое освещение и обсуждение серьезнейших научных проблем в советской прессе говорит о том, что все читающее население СССР знакомится с основами и главными направлениями современной науки и техники. Наукой интересуются даже те, кто непосредственно не занимается ею.

Первостепенная роль науки в полной мере учитывается в Программе при определении задач, которые должны быть решены к 1980 году.

Когда я впервые услышал о работе над этим планом, я был удивлен, не понимая, каким образом ученые и инженеры смогут с достаточной точностью предсказать будущие научные открытия и изобретения, чтобы избрать наиболее подходящую форму производства на 20 лет вперед. Ведь даже небольшая ошибка в таких предсказаниях может привести к огромной потере капиталовложений в не оправдавшие себя процессы и предприятия, к отставанию в ведущих областях технического прогресса и, наконец, к серьезному экономическому отставанию в целом.

Однако эту опасность удалось избежать. Создатели плана начертали двадцатилетнюю перспективу, но не установили незыблемых законов развития, которые могли бы со временем стать оковами для дальнейшего прогресса. Они дали лишь общую картину, но картину ясную и вдохновляющую, указали главные направления, на которых должны быть сконцентрированы силы для достижения самого высокого в мире уровня жизни, и в то же время оставили широкий простор для наиболее целесообразного решения частных вопросов. Никита Сергеевич Хрущев в своем выступлении подчеркнул необходимость сохранения гибкости плана, которая всегда давала бы возможность использовать новейшие достижения научно-технического прогресса.

Цветные металлы вытесняют сталь во многих отраслях промышленности, появляются более экономичные формы использования стали. В капиталистических странах, особенно в Соединенных Штатах, это грозит привести к упадку сталелитейной промышленности. В США производство стали начало падать с 1955 года и неуклонно сокращается с каждым новым производственным циклом.

В СССР, напротив, производство стали все еще довольно быстро возрастает, и вскоре в этой области Советский Союз обгонит Соединенные Штаты. Страны социализма нуждаются и еще долго будут нуждаться во все возрастающем количестве стали, хотя применение цветных металлов в этих странах быстро растет. Но такое положение вещей не вечно. С дальнейшим увеличением выпуска более легких металлов и с расширением сферы их применения потребность в стали перестанет расти или будет расти значительно медленнее.

Таким образом, уровень производства стали в 1980 году — примерно 250 миллионов тонн, то есть в 3,8 раза больше, чем в 1960 году,— запланирован не как максимально достижимый, а как отвечающий, по сегодняшним расчетам, потребиостям страны через двадцать лет.

Если же в силу технического прогресса потребность в стали уменьшится, то в области черной металлургии планы будут соответственно пересмотрены.

Добыча угля в капиталистическом мире постепенно уменьшается. В социалистических странах она все еще растет и будет продолжать расти, хотя вполне возможно, что в наиболее развитых из этих стран так будет недолго продолжаться. Необычные успехи в разведке новых месторождений нефти и газа в СССР позволяют переключить промышленность на эти более рентабельные виды топлива значительно скорее, чем предполагалось, и поэтому добыча угля в Советском Союзе за последние два года практически не увеличилась.

Вероятно, главным образом на этих более эффективных видах топлива и будут работать сотии новых сверхмощных термоэлектрических станций, которые намечено построить в Советском Союзе.

Поэтому я сомневаюсь, что добыча угля в Советском Союзе действительно вырастет за двадцать лет в 2,3 раза, как это предусмотрено в Программе.

Но я не сомневаюсь, что запланированное повышение производства электроэнергии до 2700—3000 миллиардов киловатт-часов в 1980 году будет осуществлено. Эта цифра останется в силе. Новые тепло- и гидроэлектростанции, атомные реакторы, конверторы солнечной энергии, установки, использующие энергию приливов и отливов, и, наконец, единая энергетическая система, общая мощность которой в 1980 году достигнет 600 миллионов киловатт,— вот что будет сердцем и артериями экономики коммунистического общества.

Годовое производство электроэнергии должно возрасти в десять раз. Это ключ к широкой автоматизации производства, к созданию изобилия промышленных товаров и прежде всего легких и прочных изделий из алюминия и пластмасс, к рекордной производительности труда в сельском хозяйстве, к обеспечению каждой семьи всеми современными удобствами и к бесперебойному снабжению населения продовольственными продуктами во все времена года. Без этого не может быть решена ни одна из общих задач, выдвинутых в Программе.

Производство электроэнергии является важнейшим моментом в соревновании двух систем. В Соединенных Штатах, где промышленное производство в целом за последние восемь лет все более явственно обнаруживает тенденцию к застою, производство электроэнергии продолжает расти, правда, в несколько замедляющемся темпе. Магнаты электрокомпаний с уверенностью, порожденной их возрастающими доходами, утверждают, что в этой области США сохранят свое превосходство над социалистическими странами.

Но они ошибаются. Они не отдают себе отчета в том, насколько их процветание за последние 20 лет зависело от военной экономики, от необузданной гонки вооружений и средств массового уничтожения. Потребление Соединенными Штатами электрической энергии только для производства атомного оружия значительно превосходит ее общий выпуск в Италии или во всей Латинской Америке. Можно с математической точностью предсказать, что эта нездоровая база для роста приведет и электропромышленность в тупик либо вследствие войны, либо в результате «перепроизводства».

В Советском Союзе электрификация рассматривается как важнейшее общенародное дело. Нельзя не восхищаться трудовыми подвигами рабочих и инженеров, строящих гигантские гидроэлектростанции, генераторные и турбинные заводы, высоковольтные линии, пересекающие всю страну.

Прилагаются огромные усилия для того, чтобы обобщить трудовой опыт этих людей, упростить и ускорить все производственные процессы на строительстве этих грандиозных сооружений.

План электрификации предусматривает серийное производство установок небывалой мощности и эффективности. Ежегодно будет вводиться в строй по пять, десять, двадцать таких установок. А как много делается для использования атомной энергии, а также энергии солнечного излучения и морских приливов! Те, кто запустил первые искусственные спутники Земли, станут пионерами и в этой области.

Таким образом, вырисовывается примерно следующая картина: еще до 1970 года, а может быть, и значительно раньше, ежегодный прирост производства электроэнергии в Советском Союзе будет больше, чем в Соединенных Штатах. К 1980 году производство электроэнергии в Советском Союзе не только окажется самым высоким в мире, но и будет возрастать каждые три года на столько же киловатт-часов, сколько Соединенные Штаты производят в настоящее время.

В течение многих лет пользующиеся поддержкой официальных кругов американские писатели клеветнически утверждали, что советское планирование рассчитано на укрепление мощи государства за счет общего уровня жизни. За последние годы так много американцев посетило Советский Союз, что этому измышлению уже никто не придает веры. Поэтому даже враги Советского Союза нехотя признают, что «имеют место некоторые улучшения», хотя в то же время используют все средства для того, чтобы очернить жизнь советских людей и дискредитировать планы, предусматривающие повышение благосостояния советского народа.

Согласно цифрам двадцатилетнего плана, к 1980 году производство товаров широкого потребления и культтоваров возрастет в 10 раз по сравнению с 1960 годом и, таким образом, будет идти в ногу с производством электроэнергии, которое планируется

с учетом возрастающего выпуска холодильников, телевизоров и т. д. По моим грубым подсчетам, к 1980 году производство этих товаров превысит в три раза уровень, достигнутый в Соединенных Штатах.

Касаясь соревнования двух систем, американцы всегда подчеркивают свое превосходство в производстве товаров широкого потребления. Да, в Соединенных Штатах имеется огромное количество этих товаров. Я знаю дома, где в каждой комнате есть телевизор или радиоприемник, а в кухне электрическая посудомойка, так что прислуге остается только нажимать кнопки. Но я также видел лачуги негров на юге Соединенных Штатов, лишенные элементарных человеческих удобств.

Я надеюсь, что советские люди никогда не станут такими «барахольщиками», какими стали американцы благодаря постоянной и упорной обработке при помощи рекламы. Но я уверен, что к 1980 году советские люди будут иметь все необходимое для благоустроенной современной жизни.

Что касается культтоваров и сети культурных учреждений, то в этом отношении советский народ уже сейчас обеспечен лучше, чем население многих капиталистических стран. В социалистическом обществе культурным ценностям придается первостепенное значение, а при коммунизме они будут играть в жизни человека еще большую роль. Этого никогда не было и не может быть при капитализме, и в этом заключается еще одно существенное различие между двумя системами.

Недавно в США министр здравоохранения, образования и благосостояния, чтобы пополнить и без того раздутый военный бюджет, урезал на 102 миллиона долларов ассигнования, предназначавшиеся для нужд Национального института здравоохранения, Администрации продуктов питания и лекарств и других учреждений, деятельность которых направлена на улучшение здоровья и быта населения. А в это самое время, идя навстречу пожеланиям трудящихся, XXII съезд КПСС внес в проект Программы поправку, согласно которой потребность населения в яслях и детских садах будет полностью удовлетворена не в 1970 году, как было запланировано, а уже в ближайшие годы.

В Программе партии уделяется особое внимание сельскому хозяйству. И это понятно. Во-первых, в общественных отношениях, сложившихся в деревне, еще дают себя знать пережитки прошлого, мешающие росту производительности труда и полному использованию достижений науки в сельском хозяйстве. Во-вторых, сельскохозяйственной науке необходимо еще многое сделать для того, чтобы урожаи не зависели от капризов погоды, чтобы улучшилась сортность семян и породность скота. А промышленности еще многое надо сделать для того, чтобы полностью обеспечить деревню химикалиями и машинами, чтобы создать ирригационные системы, которые так необходимы для решения проблем сельского хозяйства.

Я немного знаком с советской деревней. Я видел передовые, высокоорганизованные хозяйства. Я убедился в том, что использование достижений науки привело к процветанию многие колхозы и совхозы.

Я видел также и некоторые колхозы, где люди еще не втянулись в борьбу за освоение передовых методов ведения сельского хозяйства или еще не научились успешно применять эти методы.

Однако не подлежит сомнению, что сельское хозяйство Советского Союза на правильном пути. Советское руководство нашло много верных решений современных сельскохозяйственных проблем как в области использования достижений науки, так и в области финансирования и политики цен. Премьер Хрущев является неутомимым пропагандистом передового опыта среди десятков миллионов советских крестьян. Он терпеливо работает с людьми, помогая им найти наилучшие методы земледелия, применимые в данной местности.

Из того немногого, что я успел увидеть, я заключил, что основная разница, которая существует сейчас между двумя формами общественной собственности в СССР — общенародной и колхозной,— сойдет на нет в ближайшие 5—10 лет. И новая Программа выдвигает задачу поднять и колхозы и совхозы до уровня коммунистических хозяйств и уничтожить различие между ними, обеспечив постепенное сближение колхозной собственности с общенародной.

Эта цель несомненно будет достигнута, и вместе с тем будет обеспечено бесперебойное и полностью удовлетворяющее потребности страны производство продуктов питания и сельскохозяйственного сырья. К 1980 году производство сельскохозяйственных продуктов возрастет в 3,5 раза по сравнению с 1960 годом. Основной рост сельскохозяйственного производства намечен на первые 10 лет, так что к 1970 году оно должно вырасти в 2,5 раза.

Такой рост производства вызывает огромный интерес. Это чрезвычайно смелый замысел. Но даже если в первое десятилетие темпы роста окажутся несколько более медленными, чем предусмотрено в Программе, известное отставание сельского хозяйства от промышленности безусловно будет ликвидировано. Задача, которая поставлена в Программе, состоит в том, чтобы в целях удовлетворения постоянно растущих потребностей населения создать изобилие разнообразных продовольственных продуктов, отвечающих требованиям современной науки о питании.

■

В мире существуют две системы, между которыми лежит целая пропасть. Но жизнь не знает границ во времени и в пространстве, и богатство ее не исчерпывается социальными системами, несмотря на их решающее значение. Многие черты современной жизни переходят с Запада на Восток и с Востока на Запад. Это взаимодействие особенно велико между США и СССР, не только вследствие их мощи и ведущей роли в современном мире, но и в силу сходства национальных особенностей обоих народов, которое многим бросается в глаза.

Все научные, технические и организационные достижения, которые обеспечили Соединенным Штатам промышленное превосходство в капиталистическом мире, тщательно изучались и изучаются в Советском Союзе. Они использовались и будут использоваться, когда это уместно, в социалистической системе. Тщетны попытки антикоммунистов наложить эмбарго на опыт и знания, которые уже давно стали достоянием всего человечества.

Но уже сейчас социалистическим странам все меньше приходится учиться у капиталистических. В одной области за другой социализм оставляет далеко позади систему капитализма. В мировом масштабе ведущая роль уже принадлежит социализму, и его притягательная сила растет с каждым днем. Достижения и основные методы социалистического строительства в Советском Союзе послужили образцом для стран социалистического лагеря, которые осваивают их, творчески применяя к своим особым национальным условиям.

А ныне технические достижения социалистического мира, трудовой и научный опыт его передовых людей вместе с современными машинами и сооружениями передаются новым, освободившимся от колониального ига странам Азии и Африки, которые стремятся встать на путь независимого экономического развития и избавиться от трагических последствий господства империализма. Социализм оказывает мощное, нередко определяющее влияние на весь ход общественного развития во многих странах, и таких стран становится все больше и больше. В настоящее время это влияние приобретает решающее значение и в полуколониальных странах Латинской Америки.

И если рабочий класс западноевропейских стран, оккупированных Соединенными Штатами и Англией после второй мировой войны, не смог взять власть в свои руки для построения социализма, то все же рабочее движение в этих странах оказалось достаточно сильным для того, чтобы, вдохновляясь советской действительностью, добиться существенных изменений в социальном законодательстве.

На миллионы людей в Соединенных Штатах также оказывают могучее воздействие достижения Советского Союза в области культуры и экономического строительства и производит огромное впечатление соприкосновение с советской жизнью через посредство немногих советских фильмов, которые демонстрируются в США, редких делегаций, туристических поездок и расширяющегося в последнее время культурного обмена.

Какой отклик встречает новая Программа партии в Соединенных Штатах?

На памяти нынешнего поколения американцев различные политические партии под давлением народных масс не раз выдвигали смелые, далеко идущие программы эконо-

мических и социальных преобразований. Однако осуществление обещанных реформ неизменно срывалось усилиями американских монополий, прибегающих ко всякого рода политическим махинациям, среди которых не последнюю роль играет развязывание «холодной войны». Однако по духу своему сравнительно скромные требования, получавшие народную поддержку в Соединенных Штатах, родственны грандиозной Программе КПСС. Поэтому осуществление двадцатилетнего плана, равного которому не знает даже история Советского Союза, может дать толчок к возрождению народного движения за социальный прогресс в Соединенных Штатах.

Даже заклятые враги Советского Союза признают, что Программа КПСС является программой мирного строительства и что руководители и народ Советского Союза стремятся к миру, чтобы иметь возможность осуществить свои цели. Это имеет для нас самое актуальное, самое непосредственное значение.

Осознание этой непреложной истины поможет американцам найти выход из трясины милитаризма и маккартизма, социальной деградации, культурного упадка, шовинизма и страха перед войной, которую правители нашей страны всячески пытаются нам навязать.

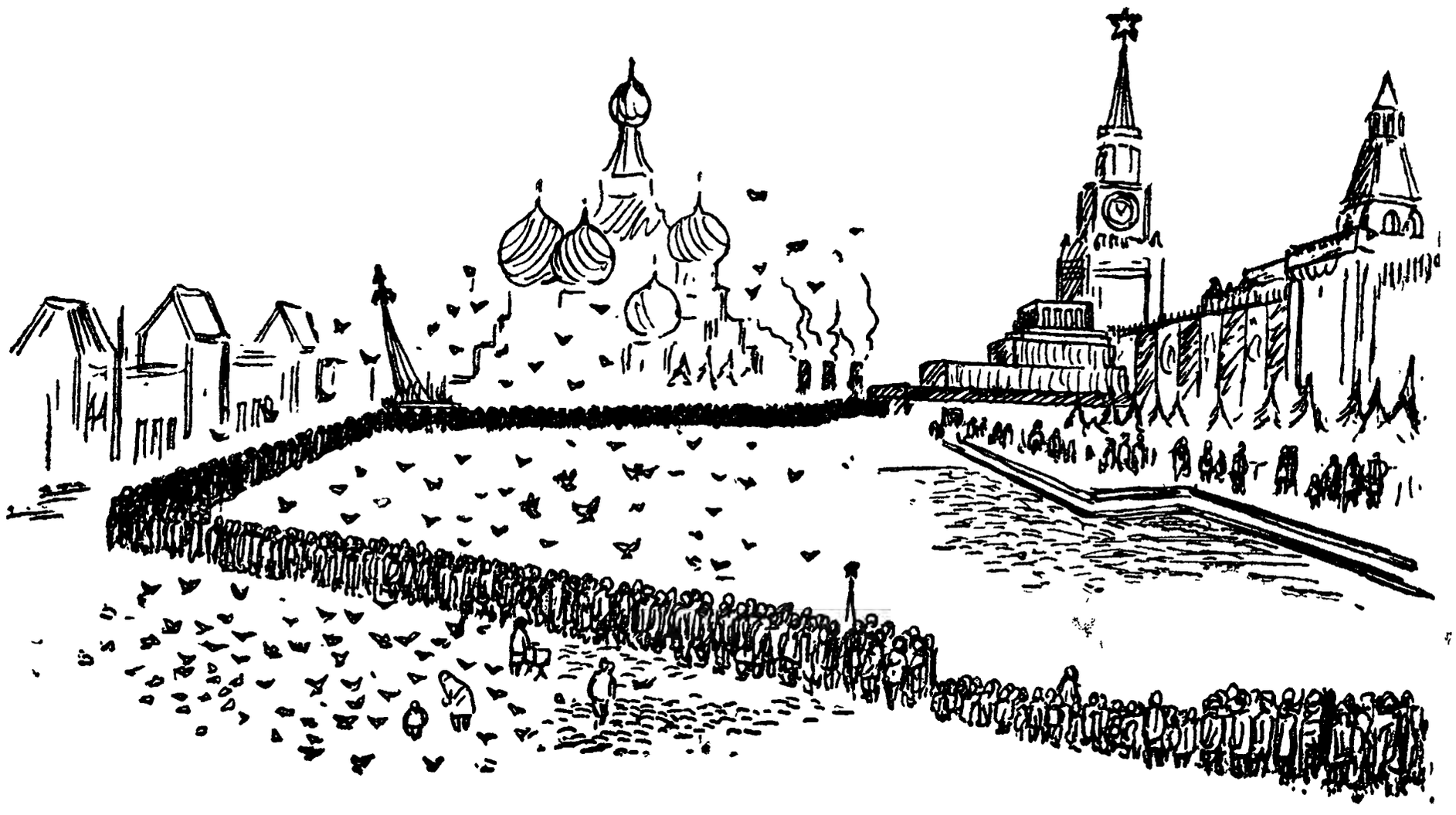
Новая Программа КПСС является мощным фактором победы в борьбе за мир — победы, которая будет одержана усилиями миллионов людей, в том числе и американцев, ибо тысячи американцев отстаивают дело мира, хотя и кажется, что их так мало.

Самый факт опубликования Программы партии вдохновил миллионы людей всего мира, показал широким массам Америки мирные, созидательные цели Советского Союза.

Люди всего мира должны выиграть борьбу за разоружение, за устранение угрозы атомной войны, во имя прогресса и счастья человечества.

г. НЬЮ-ЙОРК

Зарисовка мексиканской художницы САРЫ ХИМЕНЕС, сделанная в Москве для журнала «Иностранная литература».



ИВАН КРЖИЖ,
ЯРОМИР ТОМЕЧЕК

ИСТОРИЯ ДВУХ НЕДЕЛЬ

Если посмотреть на деда, которому досталось по наследству старинное имя Бене, то сразу увидишь, что он, несмотря на свой возраст, еще молодец. Дед сидит на кладбищенской ограде, среди католических крестов и протестантских памятников. Он держит в руках письмо.

И двух недель не прошло с тех пор, как первые весенние лучи блеснули над степью, а солнце палит, точно в разгар лета.

За кладбищем загремело, но молнии не было видно, это просто шумели моторы. Если гром усиливался, значит, машина подъезжала к селу. Обычно это была серая татра или желтая машина новой марки. Не доезжая до кладбища, она заворачивала в соседний заводской поселок, напоминающий скорее городской квартал где-нибудь в Братиславе, чем поселок на пустыре. Бене видел в просветах между заросшими мхом крестами и протестантскими памятниками жилые дома. Прямо перед ним светлел фасад магазина, рядом возле магазинов — почта, а чуть подальше буфет, возле которого толпятся люди. Приходят и уходят автобусы, соединяющие поселок не только со стройкой и с Кошице, но и с самыми отдаленными уголками восточной Словакии. Вправо и влево от этого людного центра двигались серые и желтые самосвалы — нагруженные и пустые. А подъемные краны между новыми стенами, воздвигнутыми рядом с уже заселенными домами, поворачивались и как бы указывали на эти механические бегунки.

Муравейник, подумал старик. Он наклонился и погрузился в чтение письма. Тяжелая рука брата с трудом укладывала на бумаге слово к слову, а адрес, скорее выкованный, чем написанный, со штемпелем и американской маркой, свидетельствовал о согласованности между почтовыми учреждениями по обеим сторонам океана, раз уж письмо, отправленное в таком виде, нашло дорогу с континента Колумба в степь, под Кошице, недалеко от венгерской границы.

Письмо начиналось приветствиями, которыми награждали своих родных еще в незапамятные времена их предки, а потом шли расспросы, бесхитростные и наивные, как в старинной песне. Неужели более полстолетия прошло с той поры, о которой шла речь в письме? Разве мог исчезнуть мир их молодости, мир под цветущими акациями, наполненный звуками народных песен?.. Разве могут исчезнуть садики под окнами, с клумб которых разносятся на волнах ветра в глубь степи запахи руты, гвоздик, розмарина? Сколько раз мы останавливались по дороге из корчмы под этими окнами, за которыми снились майские сны нашей юности! И неужели надо было целых полстолетия бродяжничать, проехать и пе-

реплыть тысячи километров, чтобы найти кусок хлеба, как будто родина была бесплодной скалой, а не плодородной долиной? Неужели прошло уже полстолетия? Наше сердце ничего не знает об этом, наша память не признает никаких столетий, и дни молодости навсегда остаются в настоящем времени, думал Бене, покачивая головой.

«Мой младший брат!

Прежде всего приветствую тебя и твою жену, мою невестку, которую я помню с той поры, когда приезжал на вашу свадьбу. Я помню ее белое личико и узнал бы ее даже сейчас среди сотен девушек. Привет и сыну твоему Эмилю, и снохе Марышке, и их детям, маленькому Эмилю и Руженке, если я правильно запомнил их имена, и всем знакомым. Ходят ли еще соседи к нам на посиделки, прясть и трепать кукурузу? Сейчас, когда я пишу это письмо, начинается весна и нива зазеленела. А как наша степь? В это время мы сиживали, бывало, на краю болота на копне сена и смотрели, как летят гуси, большие и маленькие, слушали, как кричат журавли. А летом! Мы околачивались вокруг табуна лошадей вместе с пастухом Лаци-бачи и устраивали состязания на неоседланных конях. Черные, как негры, мы бродили нагие под палящим солнцем по рву и ловили пескарей, а баба Лаци-бачи таскала их иногда ведром в Кошице на рынок. Никогда не забуду вкус ухи из пескарей. Как бы мне хотелось сейчас ее отведать! Ты умел щелкать длинным бичом не хуже Лаци-бачи, и с конем управлялся лучше меня. А что, маленький Эмиль тоже умеет так же хорошо скакать верхом? А кто теперь пасет коней в Таборжиске, и сохранился ли пастуший шалаш у Якубова хутора?

Мне здорово пришлось помучиться на машиностроительном заводе в Пенсильвании. Я, как ты знаешь, работал у плавильной печи, вручную. Пятнадцать минут тянули железо, пятнадцать минут отдыхали. Мы бегали после каждого раза к бочке с водой. От печи к воде и обратно к печи. Этого бы и дерево на бочках не выдержало. Сколько парней возле меня загнулось, а я выдержал — это, видно, степная закваска во мне с молодости осталась. Теперь кое-как перебиваемся. Я был бережлив и платил в нескольких местах страховку, иначе, бог знает, как бы я жил на старости. Я никак не мог собраться взять перо в руки, а теперь ощущаю потребность писать, и вы должны мне ответить. Напишите, как у нас теперь, как вам живется и как наша халупа, как деревня, что степь, как поле?

Буду с нетерпеньем ждать вестей о тебе.

Твой старший брат».

Бене читал это письмо уже не в первый раз, он всегда ходил с ним на кладбище, ибо лишь там находил желанный для раздумья покой. И дочитав письмо, он опять не знал: смеяться ему или плакать, злиться или жалеть брата? Да разве жизнь идет вперед только там, у них, или, наоборот, мир остановился там и торчит на одном месте? Журавли на болоте, Лаци-бачи и табун коней, нагие мальчишки и корзинки с пескарями, щелканье длинных бичей — да этот человек рехнулся, хотя он и мой брат!

Правда, у Якубова хутора до сих пор стоит пастушеский шалаш, но он выглядит здесь, на стройке, как хромой извозчик на автомобильной стоянке. Иногда объявится какой-нибудь конь, и эта одна лошадиная сила пригодится, если на стройке горит план, но во рву давно уже нет рыбы, и он превратился теперь в сток воды от промышленного строительства. Ведь именно там, в тех местах, где Лаци-бачи выгонял своих питомцев, выросло огромное чудовище — железобетонный костяк механического цеха, или черт его знает чего. Оно покрыто плитами опять-таки из бетона и четырехметровыми пластинами скрепленного проволокой стекла, тринадцать залов и каждый больше, чем собор. Моторы там ревут так, что слышно даже здесь, а он спрашивает — как пескари? Бене сплюнул от злости и посмотрел на заходящее солнце.

В его лучах мелькнул реактивный самолет, но это было так привычно, что дед даже не обратил внимания, продолжая мысленно беседовать с братом.

Напишите, мол, как у вас теперь, что в деревне, как степь, как поле? Что, я умею писать книги или все это поместится на одном листке? И с чего начать? Я — и вдруг писать! Мне и подпись-то свою ставить не очень хочется, а это всего-то два слога. И чего только тут не строят, прямая линия добрых двенадцать километров, не пройдешь и за два часа: Гэниска, Бочиар, Ида,— всюду строят — шоссе, железные дороги, каналы, электролинии, рвы глубиной в тринадцать метров... Железные и бетонные конструкции растут, куда ни посмотришь, в каждую целый град бы вошел. А он, туда же,— летают ли журавли и дикие гуси? Иисусе Мария! Есть у нас журавли, но у них шеи длиннее самых длинных, братец. Этот журавль по имени МБ-80 клюет зернышко весом в пару тонн!

Солнце село, и в поселке тут и там загорелись огни. Откуда-то донеслись звуки, такие вкрадчивые, словно гладят кротовую шкурку. Кто-то упражнялся на саксофоне, и новые звуки приправили вкус вечера. За оградой шел парень с девушкой, они громко смеялись. Маленький Эмиль, узнал Бене внука. «Маленький», а ему уже скоро призываться. Оба мы растем — он вверх, а я к земле. Мир изменится, пожалуй, скорее, чем ты успеешь постареть. Я-то еще кое-что увижу, прежде чем лягу там, между ними,— и дед посмотрел на деревянные надгробия. Или это мне только так кажется? Может быть, года сказываются?

Правда, годов мне стукнуло много, и чего только я не пережил! Когда-то мы, голые мальчишки, летали по степи на неоседланном конском хребте и смеялись над ветром, горделиво чувствуя себя соколами. В те времена восхваляли императора, просили господа сохранить его и экономили каждый крейцер, который обесценился, ибо его величество так хозяйничал, что государство пришло к краху. Я переступил порог столетия еще подростком, все ждали тогда конца света (появилась комета!), а потом мы разделались с турком и вступили в Боснию и Герцеговину. В Кошице появился первый автомобиль, и началась мобилизация на первую мировую войну. Империя развалилась, господь ее не сохранил, и на карте выскочила республика. Мы еще не забыли про военные несчастья, а на нас уже свалился хозяйственный кризис. Не успели мы выкарабкаться из него, как господа в Мюнхене и Вене порешили все за нас, и мы принялись восхвалять Миклоша Хорти, адмирала на белом коне, и нами командовали люди со свастикой. Стало совсем уж невтерпеж, но пришли добрые молодцы и послали адмирала к черту вместе с его конем.

А теперь я в сельскохозяйственном кооперативе, и стали мы жить хорошо на распаханной плодородной целине. И вырос тут завод, гигантский металлургический завод. И наперегонки с ветром летают теперь не голые мальчишки на конях, а реактивные самолеты. Обо всем этом мне надо было бы написать за океан брату, но лишь половину письма, а вторую должен был бы написать маленький Эмиль. Ведь у него все свежо в памяти, и от него все можно узнать из первых рук, он видит вещи иначе. Мы с ним одной крови, и я чувствую так же, как он, но я не понимаю его, а он не понимает меня, ибо не собирал пескарей в корзинку, не восхвалял он ни Ференца Йожку, ни Хорти, как ни в чем не бывало подымает МБ-80 двадцатитонные балки, а реактивный самолет в небе для него то же, что муха на окне. И вообще все бы должен был писать он, тогда бы братишка посмотрел. История — это только мельничное колесо, а вот восточнословацкие металлургические заводы — это действительность!

■

Но написать обо всем этом пришлось нам двоим. Мы тоже получили письмо, но не от родственника из Америки, а от друзей из Москвы: «Пришлите очерк, или репортаж, или рассказ, или отрывки из дневника»,— пишет нам редакция «Иностранной литературы». И с этим письмом в кармане мы помчались из Брно на восток, все дальше на восток, вдоль сорок девятой параллели. Мы объезжаем холмы, холмики и прославленные горы, а порой и некоторые участки шоссе (потому что здесь стройки дают себя знать на проезжих дорогах), но нас это не утомляет. Мы с удовольствием повторяем географические данные о нашей родине

и ту часть национального гимна, в которой говорится о земном рае для глаз. Мы едем беззаботно и смело, с гордой уверенностью знатоков и очевидцев происходящих великих перемен.

Тут было бы как раз уместно вклеить рассуждение о том, как обманчив порой бывает ореол знатоков, как он может ни с того ни с сего подвести тебя. И совершенно ничего не значит то обстоятельство, что ты здесь когда-то был, что-то бурно и страстно переживал и вернулся сюда со славой через десять лет. Но зачем забегать вперед! У нас будет еще много возможностей поразмыслить на эту тему, а пока мы отлично чувствуем себя в шкуре знатоков и в приподнятом настроении везем ее (шкуру) на восток, точнее говоря на юго-восток, «до самого Кошице, до самого Кошице, до самого Кошице». Шестьсот километров мы можем наслаждаться парафразой известной песенки, долгих шестьсот километров. Правда, в стране, для которой мы должны написать свой очерк, такое расстояние кажется до смешного маленьким, но в наших условиях это страшная даль. Целый мир. Когда мы хотим сказать, что речь идет о всей, действительно о всей республике, мы говорим: от Аша до самого Кошице. От одного конца до другого. А за Кошице уж нет ничего, только девственные леса, где лишь иногда попадается медведь, олень или дровосек. Но у нас сейчас нет времени рассеивать наивные предрассудки рядового чеха из центральных районов. Мы спешим на строительство Восточнословацкого металлургического комбината, поэтому мы и в Кошице долго не задержимся, а с разбегу ринемся к венгерской границе, прямо на Девичье поле.

Еще в Кошице на проспекте Ленина мы были полны самоуверенности: театр, Дом кошицкой программы, готический храм, магазины, рестораны — все на своем месте, все знакомо и имеет приветливый вид. Еще в Кошице. Ну а здесь?

Мы в растерянности стоим на перекрестке дорог, прямых, как удар бича,— постойте, этого шоссе тут не было, а то гигантское сооружение, похожее на средневековую замковую башню, что бы это могло быть? А там, ты помнишь?

«Жизнь в деревянных бараках на Девичьем поле пробудилась, шияровецкие молодые люди каждый вечер выходили на шоссе перед лагерем, с любопытством глядели внутрь ярко освещенных комнат, стиснутых между деревянными стенами, где чужие люди подогревали себе на электроплитках нехитрый ужин и толпились у открытых окон, чтобы лучше слышать шум и голоса дальних мест, доносящиеся из маленьких ящичков радиоприемников».*

Но что же это такое? Куда девались деревянные домишки с тысячью двумястами жителей? Ведь мы же не ошиблись. Шоссе, проселочная дорога на Иду, там напротив под сенью акаций — кладбище, низкая ограда, вот крайняя халупа Бузинка, вот халупа Бенеша. И поселок позади нас тоже изменился до неузнаваемости: вместо пары домов в степи — современный городской квартал, лабиринт улиц, вряд ли здесь встретишь знакомое лицо.

Это открытие свалилось на нас быстрее, чем сумрак на дорогу. Да, видно, мы не знатоки, а только очевидцы, а это здесь, кажется, ничего не значит.

С чувством смущения мы снова возвращаемся в Кошице. Мы мечтали проникнуть на стройку побыстрее и каким-нибудь необычным образом. Например, из леса (жаль, что тут нет настоящих лесов, а только заросли акаций да редкие островки лиственных деревьев), ведь есть же у нас какое-то право старожилов, в Кошице нам никто в нем не отказывал. Но здесь, на стройке, все иначе. Здесь водятся сторожа, и они имеют отвратительную привычку требовать удостоверения и пропуска. И пока что нам не остается ничего иного, как пойти по пути, который до нас протоптали уже десятки, а то и сотни любопытных из газет, кино, радио, телевидения.

Восточнословацкий металлургический — это звучит, что и говорить! Несчастный, ты еще не был там? И воображаешь, что тебе это сойдет?

С этой мыслью мы приступом берем казарменное здание на проспекте

---

* Цитируется роман Ивана Кржижа «Девичье поле», посвященный началу строительства Восточнословацкого металлургического комбината. Роман переведен на русский язык.

Ленина — временную резиденцию дирекции Восточнословацкого металлургического и горнозаводского строительства. Нам повезло. С первых же неуверенных шагов натыкаемся на двоих из тех, кто начинал здесь стройку десять лет назад. Тогда инженеры Грушка и Оратор принадлежали, можно сказать, к зеленой молодежи, а сейчас это опытные работники, занимающие ответственные посты. Директор строительства инженер Бегунчик находится в Советском Союзе в командировке, и они, оба его заместителя, представляют для нас в данный момент самую верхушку руководства стройкой. Не будем скрывать, мы взирали на них, словно на Гималаи, и были вне себя от радости, что они встретили нас как старых друзей, которые по-своему также связаны с первыми шагами этой стройки.

Не вредно, если мы расскажем об этих людях. Инженер Оратор вовсе не римлянин, как можно подумать, услышав его имя. Он урожденный мораван и занимает должность технического заместителя директора, а это означает, что он ведает цифрами, планами и вообще гехнической подготовкой работ. Оратор, можно сказать, «аристократ» среди строителей, весьма деликатный и корректный. Он представляет тот тип инженеров, которые увенчивают свою карьеру работой в научно-исследовательских учреждениях или на вузовских кафедрах. Оратор вырос и учился в Брно, но говорит по-словацки почти безупречно. Каждая его фраза точна и продуманна.

Инженер Грушка, заместитель по производственной части, так же долго живет здесь, на востоке, как и Оратор. Больше того, у него жена словачка, однако он говорит на характерной смеси чешского и словацкого и, наверно, до смерти не научится прилично говорить по-словацки. Но это ему не мешает. Его таланты совсем иного рода. Во многом он — полная противоположность своему другу Оратору; Грушка человек практики, тип инженера «с площадки», организатор большого масштаба. Я подозреваю, что он умеет ругаться сразу на пяти языках (именно столько национальностей работает на стройке) и что это дает гораздо больший эффект, чем безупречный словацкий язык Оратора.

Сначала мы ударились в воспоминания, ведь иначе и быть не могло, раз сошлись четыре «очевидца». Мы вспомнили 1951 год, когда здесь только начинали, затем 1953 год, когда работы были приостановлены в связи с пересмотром старого проекта, и наконец перешли к более веселым воспоминаниям, связанным с 1960 годом, когда работы были возобновлены почти на том же месте, но по новому, более современному и более экономичному проекту, с новыми техническими возможностями. Вслед за этим посыпались цифры, целый поток цифр, потрясающих, волнующих. Нам приходится защищаться от их наплыва, ведь мы все же пишем не техническую справку. Поэтому мы выбираем только некоторые, самые наглядные, самые характерные, самые фантастичные. Прежде всего — это самая крупная стройка социализма и самый грандиозный технический замысел, который когда-либо осуществлялся на территории нашей республики. Так говорили (и по праву) уже о старом металлургическом комбинате, который должен был выпускать ежегодно миллион тонн стали. Тогда мы произносили слово «миллион» с огромным уважением и понятной гордостью граждан маленькой страны, где осуществляется такое огромное, сложное, требующее колоссальных усилий строительство. А вот Восточнословацкий металлургический будет вырабатывать в четыре раза больше — четыре миллиона тонн стали в год. Это приблизительно столько же, сколько пять лет назад могли выплавить все наши металлургические заводы, вместе взятые. Здесь будет перерабатываться высококачественная советская руда, остравский уголь, магнезит и известняк из Кошице.

Посмотрим на стройку: она раскинулась на площади в 700 гектаров. Этого было бы, пожалуй, достаточно, но приведем еще несколько цифр, чтобы и у тебя, читатель, закружилась голова: объем земли, которую придется выкопать, 8 миллионов кубометров, бетона уйдет 1,5 миллиона кубометров, будет смонтировано 180 тысяч тонн стальных конструкций и 300 тысяч тонн технологического оборудования и т. д. и т. п.

А сейчас предоставим слово Эмилю Хлебецу, первому секретарю областного комитета Коммунистической партии Чехословакии в Кошице:

«Сооружение Восточнословацкого металлургического комбината окажется решающим фактором, способствующим тому, что Чехословацкая социалистическая республика достигнет одного из первых мест в мире по выработке стали. Выработка 1000 килограммов стали на одного человека, которая будет достигнута в 1970 году, оставит позади самые передовые капиталистические страны».

Но стройка — это люди, прежде всего люди.

— Люди?

Инженеры Грушка и Оратор на мгновение задумываются. Не удивляйтесь, выбрать из пяти тысяч (это количество еще значительно возрастет!) работников стройки самых выдающихся — не простая задача.

— Видите ли,— осторожно начинает Оратор,— не ждите, что тут у нас сотни ударных бригад и передовых работников. Можно было этого ожидать при таком количестве рабочих, но чего нет, того нет. Мы начинали, можно сказать, голыми руками, в шестидесятом году сюда пришла с нами из Грона лишь горстка опытных техников, мастеров и рабочих. Большинство у нас тут новые люди, без квалификации и опыта... Так что как бы вам не разочароваться.

Да нет, мы вовсе не разочарованы. Ведь, пожалуй, самое интересное на этом строительстве то, что тысячи людей без квалификации — дровосеки, пастухи, бывшие батраки — становятся бетонщиками, металлургами, плотниками, экскаваторщиками, крановщиками, короче говоря, строителями. Не говоря уж об их сыновьях, которые теперь в Витковицах учатся на литейщиков, прокатчиков, плавильщиков, словом на металлургов. Но хватит, пусть лучше продолжают Грушка и Оратор, пусть они говорят о людях. И вот имена падают, как град, страница блокнота заполняется: Руйбар, Воячек, Копорец, экскаваторщик Ириковский и крановщик Мишо Попаленый, а потом Дудейовцы, и Бина, и Тимко, и Боднар, и Прекоп, и Милтак, и та, ну да, инженер Мацкова, единственная женщина-техник, к тому же руководитель молодежных бригад. Мы чувствуем себя охотниками, идущими по следу, мы взволнованы, нетерпеливы и хотели бы, не мешкая, броситься и попытать удачу. И нам жаль, что сегодня уж поздно, что придется ждать до утра.

■

Рано утром мы ожидали в коридоре здания дирекции, когда освободится инженер Пекарек, который должен поехать с нами на стройку. Разумеется, на поиски инженера Мацковой. Но наш долгожданный проводник еще не собирается ехать. Он бегает от двери к двери, каждый раз улыбается нам, как бы прося извинения, а мы впадаем в тихое отчаяние. Ведь пропадает драгоценное время. Но не прошло и двух часов, как он выразил готовность сесть с нами в машину и ехать. Нас бесит его хорошее настроение: для человека, заставившего нас два часа ждать, у него уж слишком довольный вид.

— Я еду принимать участок,— сообщает он нам, расплываясь в восторженной улыбке, и кажется, будто бы хвастается.

Мы пока что не понимаем причину его неудержимого веселья, ведь мы не знаем о нем ничего, кроме того, что видно с первого взгляда: он молодой, загорелый парень, еще молокосос среди строителей, приблизительно такой, какими были Грушка и Оратор десять лет назад. Но в данный момент нас занимает исключительно инженер Мацкова. Понятно, что мы прежде всего заводим речь о ней.

— Мацкова? — это имя было произнесено без улыбки, скорее сконфуженным тоном.— Я, право, не знаю. Как бы вам не разочароваться!

Почему же? Это мы уже где-то слышали. Как будто здесь у всех лишь одна забота, как бы оградить нас от разочарования, и мы подозреваем молодого инженера в профессиональной зависти. И чего, в самом деле, можно от него ждать, раз он заставил нас промаяться два часа?! Тем не менее понемногу все выясняется.

— Знаете ли, она, Мацкова...— разговорчивый молодой человек вдруг с трудом подыскивает слова, и лоб его покрывается испариной, как будто он поднимает тяжелую кладь.— Она терпеть не может газетчиков и так далее... Ну не любит их, понимаете? — Он мучительно старался поприличнее объяснить это, чтобы не затронуть нашей профессиональной гордости.— Я знаю, вы тут ни при чем, это все те киношники. Они ее мучили целый день, заставляя ее вертеться, как им только вздумается, делать всякие выкрутасы... Она разревелась и теперь зла на всех. Лучше вам знать, как и что, если она вас ненароком...

Вдруг этот парень стал нам симпатичен, до чего же он старается спасти нас от разочарования, до чего же деликатен! Хотя все это лишь маленький кусочек пластыря на большую рану. Нить безнадежно ускользает из наших рук, мы упускаем первую же возможность, мы ясно видим нашу Мацкову, окруженную толпой журналистов, расписанную с головы до ног, отфотографированную, отснятую для кино и... плачущую. И, как на зло, она стала нам вдвойне желанной. То, что она разревелась перед киношниками, придало ей особое значение, мы почти уверены, что с этой необычной стороны к ней еще не подошел ни один наш коллега из газет. Но это ничего нам не дает, раз она заранее настроена против нас. И остаток дороги мы проводим в мрачном настроении, напряжение нарастает с каждым километром, и вопрос, не разозлится ли она на нас, становится роковым. Наконец мы на месте, сворачиваем с идеально прямого асфальтового шоссе и трясемся по ухабам, протоптанным в глине шинами грузовиков. Мы едем к центральному механическому цеху.

— Минутку,— извиняется наш проводник и незаметно ныряет через ограду внутрь первого объекта. А потом в другой, в третий... Наконец он исчезает в дверях временного помещения управления строительства.

Он вернулся еще более смущенным, чем ушел.

— Ее нигде нет,— сказал он,— может быть, она уехала в Кошице.

Может быть. Но мы подозреваем, что он преподнес нам это небольшое разочарование, чтобы спасти нас от большого. Наверное, она где-нибудь там, в проходах между постройками, и он встретил ее, но у него не хватает духа передать нам ее отказ. Так, или иначе, мы на него не сердимся. Не сердимся вообще. Скорее, мы испытываем облегчение. Мы немного боялись этой встречи и, признаться, заранее содрогались от своих «глубокомысленных» вопросов, боясь смущения и слез, которые, быть может, прольются по нашей вине. Мы, собственно, рады, что все так получилось. Ну не нашли ее, что ж, это еще не самое худшее. Мы все еще можем надеяться. На лице Пекарека снова появилась улыбка. Видимо, и он рад, что неприятный момент уже позади и мы так мужественно перенесли первое поражение. Кроме того, он радуется, что с завтрашнего дня получает самостоятельный участок здесь, в центральных механических мастерских. Откровенно говоря, мы не понимаем, почему ему так хочется перейти из обжитой канцелярии именно сюда, на стройку, где нет ничего, ну совершенно ничего хорошего, только разрытая земля и пыль, ни веточки зелени, ни кустика, лишь серая, пыльная земля, глыбы железобетона и жара, уже теперь, в апреле, мучительная жара. И сроки, убийственные сроки, от которых вспотеешь и при минус двадцати.

Мы хотели бы во всем этом разобраться и потому не отпускаем нашего проводника. Он молодой, веселый, разговорчивый, и никто ему не успел опротиветь репортерской дотошностью. И с чего бы, в самом деле! Ничего особенного он до сих пор не совершил и не пережил, его история обычна, очень обычна, мы действительно не можем вспомнить, чтобы кто-нибудь говорил нам о нем или чтобы его имя хоть упоминалось в «Голосе восточной стройки».

Серьезно, это совершенно обычная история.

Он кончил институт в Праге, там же поступил на работу в проектное бюро. И десятки его коллег завидовали ему. Подумайте только: местечко в Праге, и даже за письменным столом, отработаешь и выйдешь на асфальт, ни грязи тебе, ни сырости. Шагаешь, а кругом витрины, театры, кино, концерты, выставки, можешь выбрать, что хочешь: тут тебе Дом моды, а там Вацлавская площадь,

Градчаны, столичный комфорт. Словом, для многих это настоящая жизнь, жизнь с большой буквы. Но молодой инженер не был удовлетворен. Подумайте только! Он захотел на стройку, ему нужны практика, живое дело. Стройка! Такой он представлял себе жизнь с большой буквы. А уж если стройка, так не какая-нибудь, а самая большая и трудная. Стройка с большой буквы. Восточнословацкий металлургический. Кошице.

Не знаем, что сказала на это его жена. Мы встречали много «строителей», которые оправдывались: я бы рад, но, знаете, жена ни за что не хочет уезжать из города. Так вот мы не слышали, что сказала новобрачная Пекаркова, но знаем результат. Она пошла за ним, вернее, поехала или, еще точнее, полетела, потому что восемьсот километров — это далеко. Она прибыла вместе с ним на стройку Восточнословацкого металлургического, чтобы стать свидетельницей горького разочарования: вместо стройки молодого инженера снова послали в проектное бюро! Нужен был специалист по статистике, хороший специалист, а он, несчастный, прибыл сюда, имея опыт как раз в этой области.

Он стиснул зубы, удовольствовался надеждой и целый год покорно трубил в проектной. Потом он вымолил себе место в производственном отделе, у Грушки. Производственный инспектор все же ближе к строительству. А в те дни, когда мы с ним познакомились, он дождался уже осуществления своей мечты. Его посылают на стройку. Он хотел немало и получил то, чего хотел. Ну, мы не пожелаем вам тот орешек, который ему достался! Как все здесь выглядит, мы уже вам говорили, и о сроках тоже была речь. Если вы все это соедините и сопоставите, то потеряете сон от беспокойства за этого веселого парня. Но он счастлив; его широкое загорелое лицо сияет. «Наконец-то!» — говорит его улыбка.

Сам он молчит, о чем тут говорить, ничего интересного в нем нет, он один из пяти тысяч. И случай этот обыденный, ничем не замечательный, газеты о нем ни разу не писали.

Он исчез с наших глаз раньше, чем мы сумели расспросить, почему он так радуется, что его послали именно сюда, на самый тяжелый участок. И еще о разных других вещах. Он скрылся в лабиринте бетонных столбов, и мы не смогли найти его, ведь он побежал на работу — разве мы забыли, что он с нынешнего дня приступал к обязанностям начальника участка?

■

Собственно говоря, хорошо, что мы не встретили Мацкову,— утешаем мы себя. Теперь, по крайней мере, можно дать волю фантазии: молодая женщина, инженер, руководитель молодежной стройки, но прежде всего женщина, очень молодая женщина на этой огромной, тяжелой, требующей колоссальных усилий стройке... Мы знаем только, что она здесь и одним своим присутствием создает ту волнующую атмосферу, которая так привлекает писателя.

— Что ты думаешь? Как она выглядит? Я голосую за блондинку. Несомненно, она блондинка, маленькая и хрупкая, с виду беспомощная. Но невероятно мужественная и практичная и... Понимаешь? Контрасты, неожиданности... Масса контрастов, существующих рядом; бесконечная степь, море грязи и ветра, и посреди всего этого женщина, белокурая и миниатюрная, с девичьей повадкой, такая, каких играет в фильмах Яна Брейхова, понимаешь?

— Понимаю!

Нас начинает все это развлекать, и мы сочиняем наперегонки. Девушка в этой дикой местности, среди разрытых кратеров, в густых джунглях высоченных столбов, железобетонных пихт. Блондиночка среди орды диких парней, смуглых, огромных детин, может быть, цыган. Да, вот он настоящий контраст...

Хватит! Что же делать, если действительность совершенно иная, обыденная, не романтическая. Цыгане вовсе не страшные детины, а большей частью красивые, добросердечные и веселые ребята, такие же, как словаки, чехи или венгры. Они вообще как все строители, как все люди, но строители прежде всего, эти перелетные птицы, которые слетелись в степь между Шацой, Идой и Ганиской.

■

И все-таки мы ее встретили. Произошло это в понедельник после обеда, она на минутку остановилась перед бараком управления стройкой, зажмурив глаза от солнца и быстро шевеля губами. Ветер был сильный, как всегда в этой местности, и в этот день, несмотря на солнечную погоду, довольно холодный. Но она шла с непокрытой головой. Блондинка. Случайно мы угадали, но сейчас это вовсе не кажется нам таким уж важным, ведь мы не киношники. Самое важное, что она здесь, на этой стройке, и что она не боится тех трудностей, которые тут ежедневно преподносятся в полном ассортименте всем мужчинам и женщинам.

— С утра я страшно ругалась,— призналась она нам,— но теперь уже все в порядке.

Не надо даже спрашивать, почему она с утра ругалась. Понедельник — день тяжелый. Тут эта поговорка еще бытует. Что вы хотите, пять тысяч людей, и из них какая-нибудь тысяча настоящих строителей. А другие только учатся. Всему: и рабочей дисциплине, и точности, постигают смысл рабочей чести.

— Иногда я забудусь и начинаю слишком громко разговаривать дома,— смеется она.— Муж даже пугается.

Смеемся и мы вместе с нею. Нам приятно, что работа на ее участке закипела, что теперь все в порядке. Приятно нам и то, что она, видимо, принимает нас за работников стройки. Мы поговорили с ней обо всем, осторожно, без блокнота и ручки — ведь она не должна знать, что мы репортеры, нам нельзя ее пугать. И мы горды, что нам это удалось, и еще долго смотрим ей вслед, как она спешит к своему участку, как исчезает в здании столовой, которое строит молодежная бригада, которое строит она, именно она. Мы довольны, что она именно такая, конкретная, деловая и в то же время немного романтичная (черт возьми, ведь иначе она вряд ли бы строила Восточнословацкий металлургический!), что она умеет в понедельник утром ругаться, а потом, когда дело уже на мази, так хорошо улыбаться и что она может даже заплакать. Да, пожалуй, нам в ней симпатичнее всего то, что она могла заплакать, разозлившись на киношников, которые хотели превратить ее повседневный напряженный и самоотверженный труд в эффектный кинокадр.

■

Казалось бы, не имеет значения, где человек находился двенадцатого апреля 1961 года. Действительно, все равно! Но наша радость намного возросла от того случайного обстоятельства, что мы встретили этот день в самом восточном углу республики, недалеко от границ той страны, откуда пришло все наше счастье. За минуту до отъезда из гостиницы привратник выбежал вслед за нами и взволнованно сообщил:

— Человек в космосе!.. Зовут его Гагарин!

Мы стрелой мчимся в Кошице.

Солнце просвечивает сквозь верхушки сосен и бросает причудливые световые пятна на асфальтную дорогу. Мы молчим. Здесь еще ощущается необычность, величие момента, но на кошицких улицах, с первого взгляда, все как обычно. Мчатся автомобили, дребезжат трамваи, женщины торопятся за покупками — наверно, еще не знают.

— Как это возможно,— говорит Яромир.— Должны гудеть колокола, петь сирены, все должно петь. С тех времен...— Он не мог сразу вспомнить ничего, что можно было бы сравнить с таким подвигом.— С тех времен, когда Прометей принес людям огонь...

Я смотрю и вижу, что у него слезы на глазах. И мы судорожно ищем примеры из истории человечества. Может быть, совершенно неподходящие, неубедительные и слабые, но что с того, если у нас на глазах слезы.

В здании на Ленинском проспекте мы убеждаемся, что эта будничность только внешняя. На лестнице нас останавливают первые знакомые. Собственно,

это даже не знакомые, а просто мы где-то мельком встречались, но момент замечателен тем, как он сближает людей.

— Знаете?

— Знаем.

— Вот так так! Сенсация!

Конечно. Но несомненно нечто гораздо большее чем сенсация. Лица людей, открытые, праздничные, это доказывают. Мы стали свидетелями разговора.

— Уже приземлился.

— Правда?

— Точно! Пойдем послушаем.

И нас потащили к приемнику. И мы услышали собственными ушами это имя. Гагарин. Майор Гагарин. Юрий Алексеевич. Мы впервые слышим это имя, но никогда его не забудем. Весь мир его слышит одновременно с нами. И не забудет. Юрий Алексеевич Гагарин. Имя первого человека, который достиг космических высот. Советского человека, коммуниста.

Вечером мы в шацовском Доме культуры. Приехала кошицкая труппа с какой-то пьесой. Зал на тысячу мест быстро наполнился. Товарищи из заводского клуба завидуют. С тех пор как существует Дом культуры, никто не помнит такого наплыва публики. Мы понимаем, откуда этот интерес. Дело тут не в театре, а в Гагарине. Сегодня будний день и все же праздник. Люди хотят собраться вместе, им не сидится дома, хочется поговорить о нем, об эпохе, которую он открыл своим подвигом.

Перед началом представления выступает оратор, чтобы объяснить значение полета Гагарина. Ученый, его привезли из самого Кошице. Жаль бензина. Читает по бумажке, что-то нудно мямлит, объясняет, констатирует. Мы злимся на него, хочется, чтобы выступил кто-нибудь из нас, обычный человек, не ученый, чтобы он с тем самым восторгом, который мы все испытываем, совсем просто воскликнул: «Товарищи, человек долетел до звезд. наш человек. Советский человек!» И мы бы встали, и все, сколько нас есть, кричали бы и ликовали вместе с ним. Но этот ученый нас расхолодил, черт бы его взял! И как может ученый иметь такую холодную кровь, так мало сердца, такой скрипучий голос! К счастью, в нас так много ликования, мы так глубоко взволнованы и счастливы, что ему не удалось надолго испортить нам настроение. В этот день мы поздно отправились спать, никак не могли разойтись — сколько таких дней суждено человеку пережить?

■

Постепенно мы обжились на стройке. Вокруг нас, словно метеориты, появляются, а потом исчезают все новые и новые люди. Мы наталкиваемся на недостатки, о которых нас предупреждали Грушка и Оратор. У коксовых печей мастер Виктор Валахы страшно недоволен.

— Мы выполняем план на четыре миллиона и не можем получить бетон. Только восьмая машина завернет из центральной бетономешалки к коксовой печи, а первые три идут, конечно, в центральный механический цех. Постепенно перестаешь здесь и слышать о чем-нибудь, кроме этого механического. На такой стройке бетон могли бы развозить двадцать татр, в две смены, днем и ночью. Мы пробовали бетонировать ночью, да разве получишь бетон. Вот опозорим мы стройку, а тогда построим себе собственную бетономешалку,— бушует он.

Бушует и дает продукции на четыре миллиона (ежемесячно, в кронах), это не пустое громыхание, кому же еще громыхать, как не этому мастеру!

— Я еду в центральный механический, поедемте со мной,— предложил нам Яно Кер, всеведущий и вездесущий. Этот Яно бесценный парень, и напрасно не было о нем речи раньше. Он тоже один из тех, кто тут сражался десять лет назад; не удивительно, что он влюблен в свою стройку и подлинный ее знаток. Настоящее наслаждение колесить с ним по строительству, и поэтому мы быстро соглашаемся и едем в механический — а почему бы и нет, разве не следует повторять визиты, ведь ничто не открывается с первого раза?

И действительно, там мы открыли его. Он явился нам, Он с большой буквы. Фигура для очерка, рассказа, романа. Семь раз, может быть, десять раз мы обошли строительство центрального механического, мы здесь как дома, мы познакомились здесь со многими людьми. И вот лишь сегодня, когда мы пришли сюда с Яно Кером просто так, без конкретной цели, посмотреть, как растет лес двадцатидвухтонных столбов, вот тут-то мы его и повстречали. Случайно, как подобает и приличествует необыкновенным, поразительным встречам.

Он вез со своей бригадой бетон, этакую железобетонную штучку, каких-нибудь десяток тонн весом, и надо было переправить ее немного подальше на высоту метров в двадцать. Голова кружится от этой тяжести, помноженной на высоту, но ребята обходятся с такой махиной играючи, легко и даже с каким-то изяществом. Мы смотрим, как они переправляют бетон по скрипучим рельсам и как один из них обогнал других.

— Это он,— сказал Яно Кер и показал на человека, который обогнал других.— Это Деммер.

Мы не знали, кто такой Деммер, и, поверьте, даже не устыдились этого, как следовало бы. За последние дни спесь знатоков с нас совершенно соскочила, и если бы не пыль, здешняя страшная, немилосердная пыль, которая украсила нас непроницаемым фасадом типичных строителей, издалека было бы видно, что мы здесь зеленые новички.

И, не стыдясь, мы признались, что не знаем, кто такой Деммер!

— Подождите,— сказал Яно,— я его позову.

И прежде чем мы успели остановить Кера — нам не хотелось мешать человеку работать,— он уже был перед нами и представился: «Деммер, Тибор Деммер»,— а затем вытащил пачку сигарет, самых дорогих. Он держался спокойно, самоуверенно, даже не злился, что мы его задерживаем, сразу было видно, что он понимает газетчиков и умеет говорить с ними.

Но уже с первой фразы он нанес нам смертельную рану.

— Ваше счастье, что вы не журналисты,— заявил он.

— Почему?

— Довели они меня. Я только что звонил в Кошице в редакцию. Разве так работают? Одним росчерком пера наградили меня орденом Труда, а у меня пока только награда «За отличную работу». Зато бригаду обидели. Будто мы боремся за звание бригады социалистического труда. А оно у нас полгода в кармане. Мы первые на этой стройке получили его, самые первые.

Этот парень сразу же стал нам симпатичен. Видите, как разобиделся, что в газетах ему прибавили почету, а бригаде убавили! И нас уже не огорчает, что он встретил нас равнодушным взглядом человека, привыкшего к объективу репортерских камер.

— Что о вас писали? — спрашиваем мы осторожно, но ничего уж нас не спасет. Мы выглядим глупо, невежественно, как зеленые новички.

— Да об этом обязательстве.— И, заметя наше недоумение, он объясняет: — Да вот, Гагарин... Как только вчера мы услышали, было десять утра, устроили короткое собрание... Радость была большая, вы ведь знаете. И тут же мы взяли обязательство, что закончим монтаж цеха на шесть дней раньше срока. В честь Гагарина...

Послушайте, а не пора ли нам кое-что сообщить об этом цехе. Пару слов, несколько цифр, ради наглядности. Дадим расчет: 40 000 квадратных метров! 40 000! Хороший танцевальный зал, правда!? И здесь здорово попляшут вокруг разных там кусков стали. А пока все выглядит как в лесу: стройные ели из железобетона высотой в двадцать метров, вместо ветвей ребра перекрытий и металлические конструкции крыши — это для Томечка, такой лес даже он, известный знаток, и то не видел. И пока вырастают все новые и новые столбы, над головой уже трещат автогены, а внизу прорывают в сто раз перевернутой глине последние ямы и бетонируют фундамент для тяжелых машин. А за пару километров отсюда на строительной базе в Бочиаре организуется производство этернитовых панелей для стен вместо традиционных кирпичей. И все-таки, хотя ты знаешь обо всей

усиленной подготовке, у тебя сжимается сердце при мысли о приближающемся сроке — да, надо вам сказать, что помещение должно быть сдано в эксплуатацию через каких-нибудь два месяца с небольшим. И когда подумаешь, что еще тут должно быть сделано, построено, возведено, сварено и смонтировано, покрыто сводами и, само собой, вырыто, забетонировано и что сюда надо привезти машины, огромные машины, привезти, и распаковать, и смонтировать, и пустить в ход,— когда подумаешь обо всем этом, у тебя голова закружится только от солидарности с теми, кто отвечает за выполнение этого плана. Но сами они как будто спокойны. Они, как, например, этот Тибор Деммер со своей бригадой, даже берут обязательство сократить этот фантастический срок.

— Вы не боитесь этого срока? — спрашиваем мы Тибора Деммера и недоверчиво оглядываем разрытую вокруг площадь.

Он поймал наш взгляд и усмехнулся.

— Не бойтесь, ребята, мы не берем обязательства на ура. Мы обдумываем, а когда надо, умеем нажимать. Можем и ночью выйти, если уж на то пошло.

И он рассказывает нам, как они работали тридцать семь часов подряд; день и ночь и еще день и ночь — тогда, когда «горел» срок.

— Мы изучали в нашей бригаде метод Сейферта,— сказал он,— и больше всего нас взволновало то, что говорится о доверии. Это, знаете ли, основа основ, и мы боремся изо всех сил, чтобы начальник участка верил нам, а мы могли положиться на его слово. Теперь уж дело идет. Мы знаем, что начальник участка для нас все подготовит, а он может быть уверен, что мы хорошо и вовремя выполним свою работу. Это самое главное: доверие, взаимное доверие, и дело идет. Теперь уж не приходится устраивать такой аврал, как те тридцать семь часов.

Мы внимательно вглядываемся в его молодое, ясное и интеллигентное лицо.

— Вы не выглядите очень усталым.

— В нашей работе одной силой не возьмешь.— И он указал на многотонные части гигантских зданий, чтобы мы его лучше поняли.— Надо работать головой. Головой, машиной, сноровкой и немножко руками! — смеется он.

Каждое слово убеждает нас, что это он, человек, которого мы искали,— главный герой произведения, произведения из современной жизни, опорный столб нашего репортажа о крупнейшей стройке социализма. И даже своим видом, своим опрятным костюмом, своими ясными и умными глазами, своим лицом интеллигентного человека, инженера или ученого, он воплощает наше представление о рабочем будущего, рабочем с высокой квалификацией и разносторонними интересами, о владыке совершенной техники, рабочем высококультурном, рабочем эпохи коммунизма. Мы жаждем узнать о нем больше, как можно больше. И он охотно рассказывает.

Вот его биография. Не ждите никаких неожиданностей, никакого перерождения, сложного и драматического, никаких сенсационных разоблачений. Все нормально, может быть, даже слишком нормально для писателей. Слишком бесконфликтно, никакой волнующей драмы на этой истории не построишь. Рабочее происхождение, рабочее прошлое, рабочее настоящее. Выучился на слесаря, и кроме тех лет, когда он улучшал кадровый состав какого-то братиславского банка и мучился за письменным столом, кроме этих нескольких пропащих лет, он кормил себя трудом своих рук, тяжелым трудом рабочего. На стройку он пришел из этого банка. Он начал с монтажа легких зданий, так называемых коровников,— строил их месяц за месяцем. Уже тогда он стал сокращать сроки, совершенствовать рабочие методы, налаживать соревнование. Позднее он перешел на тяжелый монтаж, а теперь работает на самом тяжелом, какой у нас вообще можно найти. Он любит эту работу потому, что она требует, кроме рук, еще и смекалку. Конечно, налицо и результаты — в прошлом году бригада Деммера была отмечена десять раз как лучшая бригада стройки. В этом году пока три раза, но все еще впереди. Кроме награды «За отличную работу», Тибор Деммер имеет значок лучшего работника министерства. А в прошлом году в мае он был премирован за хорошую работу поездкой в Советский Союз.

— Не знаю, кто придумал,— говорит он,— посылать людей за хорошую работу за границу, и именно в СССР. Не знаю, кто это придумал, но это светлая голова. Еще ни от одной награды я не имел большей пользы и большей радости. Знаете, ведь в Советском Союзе есть на что посмотреть. И если вы действительно будете о нас писать в Москву, так передайте привет товарищам с московского — я уж не помню, как этот завод называется,— там изготавливались панели, это огромное производство блочных конструкций, огромное, факт...

Слово «огромное» произносится на этой стройке, которую никак не назовешь маленькой, с особенным уважением. Товарищ Деммер отправляется водружать следующую порцию бетона на крышу зала, а мы ковыляем по разрытой земле к дороге, к тому более ровному отрезку дороги, где могла проехать наша машина.

Весь обратный путь мы говорим только о нем, ведь Тибор Деммер — наш главный герой, мы это ясно ощущаем, и все же чего-то нам не хватает. Все уж слишком на своем месте, слишком правильно, слишком ясно, слишком он сознателен, слишком совершенен. Мы почти желаем, чтобы у него были недостатки — ведь, конечно, они есть у него, как у каждого,— и хотели бы знать о них.

— Тебе не кажется, что он слишком целеустремлен, слишком честолюбив?

— Не знаю, мне он показался очень уравновешенным человеком. Честолюбия у него не больше, чем способностей. Стремления выдвинуться — не больше, чем стремления приносить пользу. А потребность хорошо заработать уравновешена потребностью хорошо выполнить работу, не подвести.

— Ты думаешь о том, что он усвоил от Сейферта? Вопрос о доверии? Это замечательно, правда. Я тоже обратил на это внимание.

— А как он хорошо говорил о своей жене! И тут чувствовалась уверенность, равновесие. Жена, семья, это его тыл. И к этому относится сейфертовское «доверять». Не подвести друг друга. Без твердого, надежного тыла человек не устоит на передовой. В такой работе, где важно каждое движение, где требуется спокойствие и сосредоточенность, душевная собранность, где работа ведется на страшной высоте и с огромными тяжестями, где каждое неосторожное движение может означать катастрофу...

— Понимаю, но все же это стечение удивительно благоприятных обстоятельств. Способный, инициативный, старательный парень, хорошая жена, умная, понимающая, не эгоистичная — просто счастье.

— Скажи лучше — целеустремленное счастье: человек не ждал, пока оно придет, работал над ним, создавал условия. Такое счастье не дается даром, поверь мне. И он это хорошо знает. Вспомни, как он говорил о ребятах из своей бригады, с каким уважением, с какой симпатией. Он знает, что без них ничего бы не значил. Он видит и дальше. Отдает себе отчет, что условия для успешной работы ему создает все общество. Что все это должен был сначала кто-то завоевать, вырвать, оплатить кровью. И он очень точно знает, кто это был: революционеры, коммунисты, партия! Это она окружила славой труд, творение и человека, который творит. Ты заметил, как он вспоминал о своей молодости, о нищете, в которой вырос? Когда он дежурил у вокзала в Банской Быстрице, чтобы поймать пассажира с тяжелым чемоданом и поднести его, и как на заработанные гроши бежал купить хлеба. Да, да, хлеба. Что ж тут удивляться, если такой человек трудится изо всех сил, чтобы все это не повторилось, чтобы эти времена не вернулись. Да он и сам об этом говорил. сам это так или иначе высказал. Он очень хорошо знает, чем обязан нашей эпохе. Я не забуду, с какой гордостью он сообщил, что является членом партии. Бывают люди, которые пережили очень много, еще больше, чем он, но забыли обо всем. Слишком быстро забыли. А он помнит. По-моему, это хорошо.

— Да, это хорошо, вся беда в том, что все это уж очень хорошо. Но не слушай меня. Может быть, я подхожу к нему слишком эгоистически и смотрю на него лишь с профессиональной точки зрения. Видишь ли, я вижу в нем возможного героя произведения, литературного произведения, рассказа, а может быть, романа, и тут-то он и кажется мне слишком... ну, словом, мне как-то не хочется о нем писать. Что с ним делать? Он слишком целеустремленный, слишком положитель-

ный, примерный, идеальный, все ему уж очень ясно. Он говорил с нами откровенно, ничего не скрывал. Сердился, что в газетах ему приписали орден Труда, но не скрывал, что хотел бы его иметь.

— Ну вот видишь, думает об ордене Труда.

— Он работает так, чтобы быть достойным его. Это плохо?

— Нет. Если он работает так, чтобы заслужить орден, это хорошо. Но если он во время работы думает о нем, если старается его получить, это уже не так хорошо... Впрочем...

Мы замолчали, отдавая себе отчет в том, что Деммер — это человек, о котором приходится думать много и напряженно, но говорить о нем надо осторожно, чтобы не оскорбить его. И все-таки что мы за болваны! В поте лица (точнее было бы сказать — в пыли лица!) охотимся тут за человеком, который несет в себе черты нового, изо всех сил старается работать и жить по-социалистически, размышляет о своем прошлом, настоящем, будущем и много уже понял,— а теперь, когда мы его в конце нашли между многими хорошими людьми, мы чуть ли не воротим нос и пытаемся насильно втиснуть его в какую-то заранее приготовленную форму... Ох, проклятое ремесло, разве мы совсем поддались иллюзии, что не «проблематичный», ясный и цельный человек мало интересен и мало жизнен, недостаточно привлекательный объект для писателя, что только сложный и конфликтный, а?.. Нет. Это не иллюзия. Скорее боязнь трудностей. Мы знаем, что писать рассказы или очерки о таких людях, как Тибор Деммер, чертовски трудно.

Иное дело бывший священник. Но это, собственно говоря, совсем другая история. Мы столкнулись с ним в последний день нашего пребывания на востоке Словакии. И тоже случайно. Мы искали Антона Жатка, чтобы попрощаться как подобает. Нам сказали, что он на совещании рационализаторов, и мы нашли его в Доме культуры, где совещание шло полным ходом. Ну что ж, не вредно немножко послушать. Как раз выступал бригадир плотничной бригады. Он нас заинтересовал. Невысокий паренек, лицо маленькое, интеллигентное, выразительное, можно сказать, лицо. Но не это главное — он оратор, прирожденный оратор, мы давно не слышали такой блестящей речи. Нам только не нравится, что он волнуется и сердится как-то холодно, утонченно вежливо, словом, не по-плотничьи. Он внес рационализаторское предложение, что-то насчет производства стропил, оно было принято, а он... что ему, собственно, нужно?

— Это бывший унистский священник,— шепнул нам Антон Жатко.

Вот оно что! Начал с кропильницы, а кончил плотничьим топором; и мы уже не так восхищаемся его красноречием. Оно профессиональное. Проповедник. Но тут, видимо, его прошлое никого не смущает, и его слушают с уважением, хотя им, может быть, также не совсем ясно, чего он хочет, во что сегодня верит. Говорит — партия, профсоюзы, новая техника. «Я учился и не хочу держать то, чему научился, при себе». Может быть, в этом есть что-то от поповской демагогии, но звучит это вполне симпатично. Невозможно не испытывать к этому парню интереса, уважения, хочется дорисовать его образ, узнать, как глубоки изменения, происшедшие в нем, и насколько они искренни.

— Я взял обязательство,— говорит он,— что до окончания строительства Восточнословацкого металлургического подам рационализаторские предложения, которые сэкономят 1 000 000 крон.

Обязательство звучит весьма солидно, и его веса не убавляет даже та демонстративная манера, с которой он сообщал о нем руководству строительства. И еще он заявил, что его бригада вступила в соревнование за звание бригады социалистического труда.

Действительно, любопытный парень, мы с удовольствием бы познакомились с ним получше. Может быть, все с ним гораздо сложнее, возможно, был какой-нибудь проступок, какая нибудь вина, которую он искупает с топором в руках. Жаль, что нет времени с ним поговорить, ближе узнать его, поразмыслить о его судьбе. Завтра мы уезжаем, ничего не поделаешь! И с тяжелым сердцем мы выпускаем из рук нить, которая могла бы оказаться золотой.

Час отъезда настал. Мы глядим на пейзаж, расстилающийся перед нашими глазами, и сердце сжимается: наша работа подходит к концу, а ведь толком мы ее еще даже не начали. Нас влечет обратно к людям, которые управляют тяжелыми машинами и которых вы встречаете тут на каждом шагу.

Да, надо было еще навестить крановщиков и экскаваторщиков и тех, кто работает на бульдозере. Хорошо хоть, что мы успели поговорить с Ферой Ириковским. Как только произносим это имя, в нашей памяти встает Клак, партизанская деревня под Втачником, страшный день во время оккупации. Каждый, кто только мог держать в руках топор или автомат, партизанил. Разъяренные эсэсовцы согнали оставшихся стариков, женщин, детей и поставили их к стенке под стволы пулеметов. Только счастливая случайность помешала кровопролитию. Жена Ириковского, тогда еще девочка, была среди тех. Теперь они живут в Кошице, но в Клак в халупу возле школы они заезжают регулярно. Мы были когда-то в Клаке, хотели посмотреть те места, по которым прошла смерть, поговорить с героями, поверить в невероятное...

Сколько молодых ребят уже научил Ферко работать на кранах новых типов, а сам пошел на старую машину и победил в соревновании. Плохое зрение помешало ему работать на землечерпалке, не мог из-за этого стать он и мастером. Сейчас Ириковский заведует фотолабораторией и благодаря изобразительным чудесам еще полезен стройке. Сколько уж строительных площадок разрыл он своей землечерпалкой с тех пор, как партизанил здесь! И как не вспомнить тебя, милый, милый Ферко Ириковский, ведь ты сам — готовый сюжет романа. Эти землечерпалки не дают ему покоя даже в полумраке фотолаборатории, его сердят недостатки новых образцов, и он предлагает улучшения. Эта механика сидит у тебя в крови, как будто в ней пульсирует вся стройка. Не знаем, не знаем, но кажется, что ты однажды удерешь от этих эмульсий назад к землечерпалке!

А чего только не расскажешь о Бочиаре, с тех пор как десять лет назад на этом месте обосновалась стройка металлургического комбината! Теперь здесь извергаются стандартные блоки, производство которых возглавляет (еще один римлянин, кроме Оратора) инженер Акципитер. Возводятся стены производственных помещений, где будут изготавливаться этернитовые панели. Правда, сегодня Бочиар отдален от основной стройки, но разве не здесь первое, самое первое производство Восточнословацкого металлургического? Мы уже говорили, что хорошо было бы начать отсюда, от старой стройки, с Девичьего поля, и сравнить!

И цыгане тут есть, пожалуй, седьмая часть всех рабочих, но и для них у нас не хватило времени. И с ними связана социальная проблема, вернее, проблема воспитательная. Да, воспитательная проблема. Старики, видимо, уже доживут свой век без библиотек, не подписываясь на «Восточнословацкую правду», но молодым надо уделять внимание, тем, кто составляет значительный процент работников стройки. Многое им пока трудно дается, но и они будут когда-нибудь управлять домнами, прокатными станами или трудиться в лабораториях. Люди становятся другими. Мы это видели своими глазами.

Вот приехал Ферко Бутноки на стареньком «Пионере». Он заплатил за него 1 400 крон. Это куча денег за очень подержанную машину, но ему не важно, зарабатывает он прилично, почему же не заплатить, раз уж кто-то взял на совесть грех — обманул цыгана. Машина доставляет ему детскую радость, и ему надо разделить ее с товарищами. Он надел для этого случая черный праздничный костюм, белую рубашку, пестрый галстук и, наряженный таким образом, прискакал в седле своего конька на стройку.

«Ай да франт, Ферко,— смеются над ним ребята.— Ты похож на знатного иностранца. Даже механизирован». Ферко усмехается и, довольный, смотрит, как его машина переходит из рук в руки. Каждый хочет испытать кабриолет цыгана. Длинноногие верзилы ездили на «Пионере» через кучи глины и щебня, через ямы и выбоины, каждый сделал один круг вокруг барака и конторы строительства, и тебе страшно, что следующего ездока машина уж не выдержит. Но Ферко

беззаботно смеется, его не волнует, что у него на глазах портят его собственность, он счастлив, что товарищам весело; собственнический инстинкт и скупость не отягощают душу цыгана.

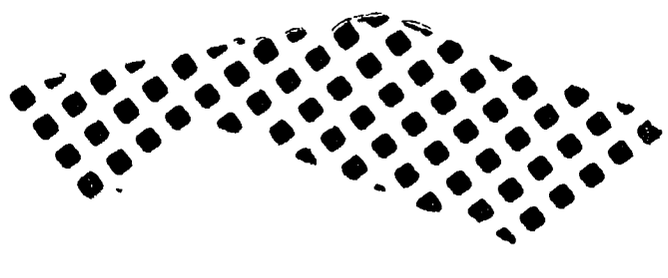
Да, правы были вы, дед Бене: какое там письмо, книгу бы понадобилось написать, новое «Девичье поле», ведь старое, как мы убедились, уже почти исторический роман. Но времени нет, всюду не проникнешь, всего не охватишь, и с этим приходится примириться!

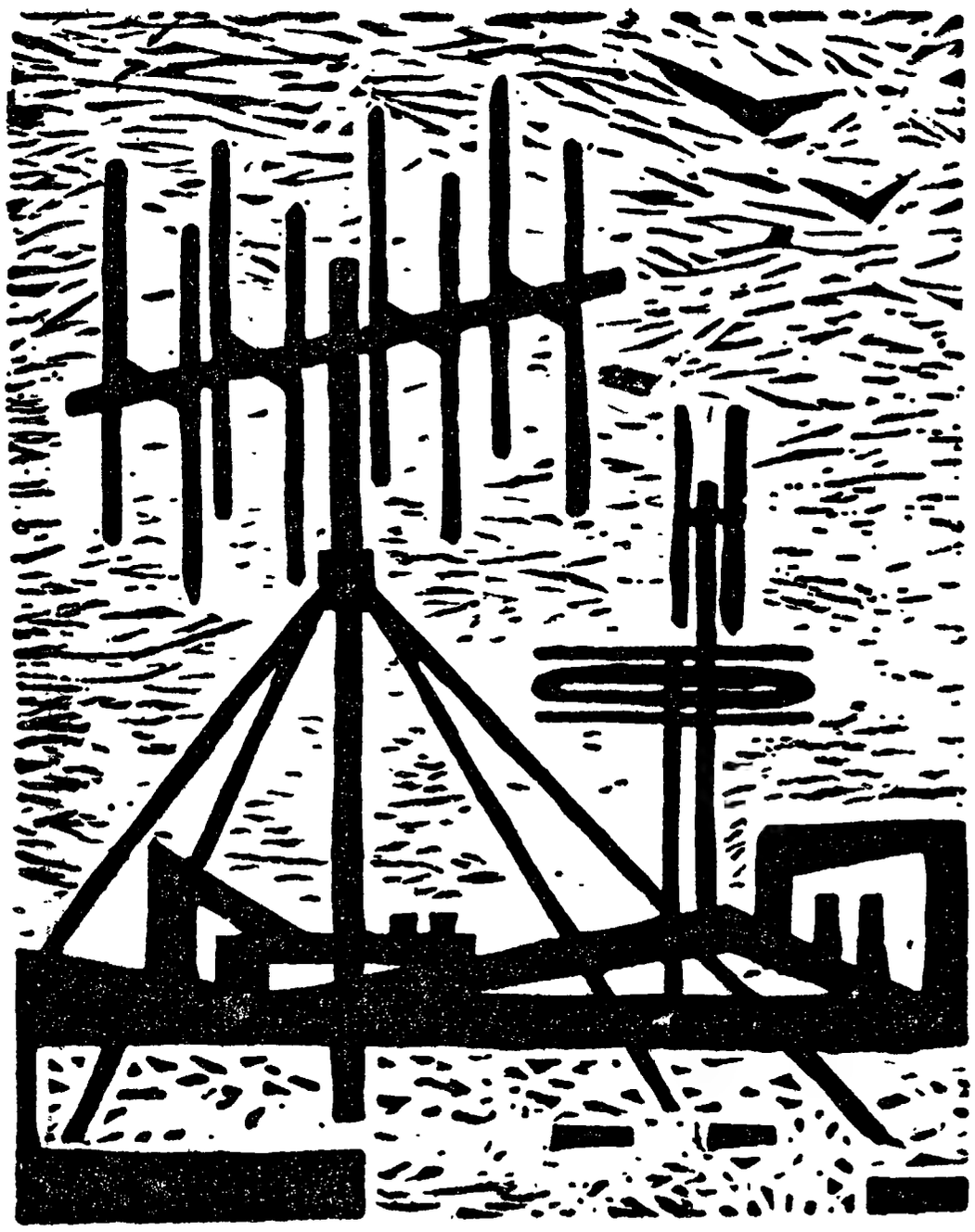
Мы уезжаем!..

Уезжаем и оставляем на стройке старую шкуру знатоков, мы ее здесь окончательно утратили, похоронили, закопали. А новая у нас еще не выросла. Одно мы знаем: на Девичьем поле продолжается огромное и славное дело, во многих отношениях оно у нас самое, самое... Мы знаем, что в нем участвуют тысячи людей, хороших, добрых, самоотверженных, сознательных людей, порой совершенно образцовых. А также много таких, которые только еще учатся. Всему. И работать и жить. И когда закончится стройка, можно будет добавить: по-социалистически.

Мы должны уехать. Едва только начали, едва только успели второй раз очинить карандаш — а здесь все только начинается. Да, для этого в прошлом забытого и задавленного нуждой уголка, для Кошице, которому уже сто лет и который ни на йоту не менялся уже несколько поколений, для него все только начинается.

...Ленинский проспект, театр, дворец Кошицкой правительственной программы. И здание, где помещается мозговой трест крупнейшей в республике стройки, с которой все, собственно, и началось, здание на улице Владимира Ильича Ленина.





ФЕРО КРАЛЬ *(Чехословакия)*
«Прогресс»

АНРИ АЛЛЕГ

Годы в плену

Перевод с французского В. ФИНКА и К. ХЕНКИНА

Одну из соседних камер, на дверях которой было написано «свободна», снова заняли. Среди трех новичков оказался и мой старинный друг Иахиа Брики, бывший заведующий провинциальным отделом в газете «Альже репюбликэн».

Товарищи по камере несколько моложе его: Редуану двадцать пять лет, Абдезину — двадцать. Всех троих арестовали в конце 1956 года по делу о покушении на генерала Массю, автомобиль и свита которого были обстреляны на проезде Фре-Валлон. После многодневных пыток Иахиа наконец был препровожден к судебному следователю Катерино. Этот следователь считается специалистом по политическим делам и задолго до восстания прославился усердием, с каким подводил под обвинение участников освободительной борьбы и покрывал все совершенные против них беззакония и насилия. Брики не провел в Барберус и нескольких дней, как полицейские пожалели, что слишком быстро отпустили его. Тогда они обратились к этому следователю с просьбой вернуть ускользающую от них добычу. Полицейские, должно быть, уже не раз убеждались на опыте, как высоко развит у этого следователя дух сотрудничества: они без всяких затруднений добились незаконной передачи им подследственного заключенного и снова подвергли его беспрерывным пыткам. С тех пор Брики стал слепнуть.

До того как их дело было передано в высшую инстанцию, я видел Брики, а также Редуана и Абдезина, которых я тогда еще не знал, на прогулке. Они проходили все трое в цепочке приговоренных к смерти. Брики был на голову выше всех остальных. Казалось, этому гиганту трудно сдерживать себя, ходить размеренным шагом, укрощать свою силу, чтобы не обгонять товарищей. Он махал закованными руками, посылая нам приветствия, и каждый раз у меня сжималось сердце, потому что я вспоминал Брики мальчиком, каким видел его лет двенадцать назад в Акбу, в долине Сумама, где у его отца была какая-то торговля. Вместе с братом они сумели объединить деревенскую молодежь и уже тогда подверглись преследованиям местных властей, зорко следящих за тем, как бы «туземная молодежь» не вздумала организоваться. Он содействовал также созданию профессионального союза шахтеров в Тимезрите. Расположившись среди вагонеток на одной из шахт, где уголь добывается открытым способом прямо из склона горы, бородатые усталые рабочие, еще наполовину феллахи, с трогательным вниманием слушали этого юношу, рассказывающего им о свободе и лучшей жизни.

Затем Брики приехал в город Алжир, где стал работать в газете. Когда «Альже репюбликэн» была запрещена, он продолжал борьбу в рядах Сопротивления.

С какой радостью увидел я Брики без ручных кандалов и зловещей одежды смертников! Его камера рядом с нашей. Стоит постучать в стену — и он уже знает, что с ним хотят поговорить.

— Иахиа, ты слышишь?

— Слушаю. «Альже репюбликэн» слушает,— отвечает он, смеясь.

Вплотную прижавшись к решеткам оконец, чтобы наши голоса были слышны как можно дальше, мы предаемся воспоминаниям о былой борьбе за «Альже репюбликэн» — газету, которую власти постоянно грозились запретить. Они не терпели, чтобы какой-нибудь печатный орган разоблачал их репрессии или писал, что алжирцы — не французы и что они не довольны рабством, в которое попали.

Мы беседуем так долго, как нам это позволяет отсутствие надзирателя. Вспо-

---

Окончание. Начало в № 1.

минаем весь состав нашей редакции. Там были и коммунисты и не коммунисты. Алжирцев различных убеждений объединял один и тот же энтузиазм и уверенность в полезности выполняемого дела. Это и позволяло им идти на любые жертвы. Мы говорили о тех, кого уже нет: об Анри Майо, чье имя навсегда останется у нас в памяти, об алжирце Абделькадере, который в двадцать лет погиб в бою под Палестро, и о других, которые воюют в джебеле * или томятся в тюрьмах и лагерях.

Оба товарища Брики внимательно слушают нас: перед ними раскрывается вся его прошлая жизнь. Редуан и Абдезин питают к Брики любовь и уважение, как к старшему. Редуан был краснодеревщиком в Эль-Биаре. Он костляв, но крепок, с широкими плечами спортсмена, квадратная челюсть и глаза, глубоко сидящие под нависшими бровями, придают ему вид человека энергичного и рассудительного. Абдезин меньше его ростом и моложе. Он скромен, застенчив, очень мягок, не лишен иронии. Под внешней робостью в нем кипит непримиримая страстность, свойственная алжирской молодежи. Недавно его навестил какой-то родственник и сказал, что купил себе новый автомобиль. Абдезин с ним поссорился.

— Народ всем жертвует во имя революции,— заявил юноша,— и тот, у кого имеются лишние деньги, может найти им хорошее применение! Нечего покупать новые машины! Я больше видеть тебя не хочу.

Как только будет закончено новое следствие по их делу, все трое снова предстанут перед военным судом.

— И как, по-вашему, закончится процесс?

— Ну, до тех пор,— говорит Брики,— многое может измениться. Иначе нам придется спуститься этажом ниже, в 1-е отделение, к смертникам, это уж наверняка.

Праздники Рамадана кончились. Две казни назначены на среду 23 апреля. Три на четверг.

В тюрьме объявлена голодовка. Мы не выходим из камер.

Двух патриотов отправили сегодня утром на гильотину. Крики заключенных и пение женщин, грозное, как отточенный кинжал, снова проводили их до места казни. Слова де Голля, который воздал честь мужеству наших бойцов, навели нас на мысль, что смертные приговоры прекратятся. Четыре месяца протекли без казней, и надежда еще более окрепла. Но вот все опять пошло по-прежнему, несмотря на красивые речи Гробовая тишина царит в 1-ом отделении, словно, после того как надежда рухнула, людям надо снова взять себя в руки и свыкнуться с мыслью о смерти.

О том, что ожидается какая-нибудь официальная комиссия, всегда можно догадаться по многим признакам: еще накануне начинается побелка, медный колокол на площадке надраивается до блеска, сор выметается из самых отдаленных уголков, в приемную медицинского пункта с утра вносят вазоны, служащим выдают чистенькие халаты и белые шапочки, которые делают их похожими на американских моряков, в парикмахерском «салоне» посеревшие и рваные салфетки заменяются новенькими, да и персонал подтягивается ради такого случая. Не забыт даже прислуживающий в душевой: ему на это время выдают новую обувь, чтобы посетителям не бросались в глаза его рваные плетеные туфли.

Прихорошившись таким образом, Барберус готова к приему гостей.

Раньше, когда политические еще не составляли здесь большинства, проводилась одновременно и «психологическая» подготовка. Если член комиссии выражал желание поговорить с кем-нибудь из заключенных, ему подсовывали старосту, а тот уже знал свою роль наизусть:

— Тюремные условия?
— Жаловаться не на что.
— Пища?
— Хорошая.
— Обращение надзирателей?
— Вежливое.

Но с тех пор как уголовные перестали быть хозяевами, в тюрьме опасно вводить посетителей в камеру, где всегда найдутся смельчаки, которые не упустят случая рассказать правду о тюремной жизни. Такие разоблачения, конечно, остаются без последствий для высоких начальников, но администрация тюрьмы предпочитает не рисковать.

Ничто, однако, не предвещало, что сегодня ожидается комиссия. Никакой побелки, никаких чистых халатов! Поэтому мы особенно удивились, когда надзиратель скомандовал: «Смирно!» — и к нам вошел пожилой господин, высокий, лысый, слегка сутулый, в очках и с орденской ленточкой в петлице. Его сопровождает целая свита официальных лиц, но часть пришедших остается в коридоре: наша камера слишком мала, чтобы всех их вместить. Здесь находится и начальник тюрьмы. Он очень раскраснелся и нервничает. Видимо, гость пожаловал против его воли. Рядом с начальником стоит помощник старшего надзирателя. У него удрученный вид. Какой-то полковник, явно взволнованный, задержался на пороге и нехотя пропускает молодого человека, по-видимому секретаря пожилого господина. Он называет его «господин председатель», и мы догадываемся, что это председатель недавно организованной «Комиссии по охране личных прав и свобод».

Он обводит взглядом камеру. Она кажется еще меньше от столпившегося здесь народа, и старый господин видит всю ее постыдную обстановку: слежав-

---

* Джебель — горы.

шиеся грязные тюфяки, неопрятные веревки из обрывков тряпья — на них сушится наше белье, стены с проступающими на них пятнами, открытые уборные, рядом с которыми приходится спать и принимать пищу, слишком маленькое оконце, не пропускающее достаточно воздуха, ржавые котелки, валяющиеся на полу, обломанные и почерневшие от времени деревянные ложки — словом, все убожество, которого мы уже не замечаем. Ироническая улыбка нашего посетителя на секунду уступает место выражению ужаса, и тогда, его глазами, мы как-то по-новому видим, в каких нечеловеческих условиях находимся.

— Здесь вы и находитесь? У вас нет ни стола? Ни постелей? Ни стульев? — растерянно спрашивает он.

Нам хочется расхохотаться. Сейчас он увидит приговоренных к смерти, те месяцами сидят в кандалах, по четыре человека в крошечных камерах-подвалах. Быть может, они расскажут ему, как над людьми измываются здесь, как убивают их прямо в камерах смертников.

— Мы не раз протестовали против этих нечеловеческих условий,— говорит Андре,— и требовали сытной пищи, права читать газеты, книги, права покупать бумагу... Сейчас даже тетради и те запрещены... Приходится писать на обрывках старых конвертов...

Начальник тюрьмы, собиравшийся было выйти, отвечает с порога, размахивая руками:

— Приказ военных властей! Сами виноваты, что в тетрадях рисовали автоматы...

На него не обращают внимания, и разговор продолжается:

— Мы требуем, чтобы с нами обращались как с взятыми в плен солдатами, обращались достойно, согласно международным обычаям, а не как с преступниками. Впрочем, к уголовникам здесь лучше относятся, чем к политическим.

Тут в камеру врывается полковник:

— Политические? Какие такие «политические»? Нет никаких «политических»!

Он оборачивается к начальнику тюрьмы и почти кричит:

— Вы знаете «политических»? Они существуют на свете, «политические»?

Начальник тюрьмы качает головой, словно говоря, что таковых не существует, но вслух не произносит ни слова: он, видимо, не знает, кому сейчас надо угождать — приехавшему из Парижа или местному полковнику.

— Мы расследуем это,— говорит председатель перед уходом.

Дверь закрывается, но мы слышим, что он направляется в сторону тюремного двора, увлекая за собой всю свою взбешенную свиту.

Вскоре, как и следовало ожидать, начальник тюрьмы принял крутые меры против тех, кто имел смелость сказать председателю комиссии правду о Барберус.

Дня через два утром надзиратели врываются в камеры и под предлогом обыска снова перерывают все наши вещи, сваливают в кучу на пол платье, фотографии, продукты, вытаскивают из стен крюки, срывают веревки. Они уносят с собой все записи, накопившиеся со времени последнего обыска жандармов, все бумаги, относящиеся к судебным делам, и даже несколько совершенно случайно уцелевших чистых листков. Похоже на то, что они решили запретить нам всякие умственные занятия. «Личные» обыски и новые придирки дополняют эту операцию, цель которой ясна: научить заключенных быть поскромнее, в случае если подобные посещения повторятся, заставить их почувствовать, что протесты никого не ограждают от наказаний, а, напротив, навлекают их.

Дни тянутся за днями, унылые, бесконечные, никто уже ни на что не надеется. Внезапно все меняется, и каждый день приносит сенсационные вести.

В тюрьме ходят слухи о переговорах. Несмотря на фарс с референдумом в Алжире, несмотря на неразбериху во Франции, на двусмысленность заявлений де Голля, который ничего не имеет против того, чтобы ему приписывали либеральные намерения, а сам проводит чисто колониалистскую политику, некоторые продолжают думать, будто он собирается начать мирные переговоры с Фронтом национального освобождения. Однако люди более осмотрительные задают себе все тот же вопрос: может ли человек, которого привели к власти события 13 мая, пойти на такой шаг, не отмежевавшись предварительно и самым отчетливым образом от «ультра» и не объединившись с левыми партиями?

Но не эти сомнительные заявления вызывают у нас прилив веры и оптимизма, а формирование Временного Правительства Алжирской Республики. Лица озаряются улыбками, когда заключенные узнают, что арабские страны и народный Китай уже вступили в официальные переговоры с ВПАР.

В коридорах и отделениях гремит: «Саха! Саха!». Десятки раз заставляют смертники повторять им эту новость. Они хотят увериться, что не произошло ошибки.

— Сколько стран уже признали наше правительство?

— А кто министры? Как их имена?

Все сознают, что сформирование ВПАР вызовет подъем борьбы за независимость, придаст ей новые силы. И к тому же каждый из нас черпает в этом событии как бы личную радость в предвкушении счастья и гордости завтрашнего дня, когда освобожденный Алжир узнает самого себя в своем правитель-

стве, в своих собственных установлениях и заставит уважать свое национальное достоинство.

Прошла еще одна зима, еще одна весна. Скоро снова лето. Вот уже почти два года, как я в Барберус. Неделя за неделей, месяц за месяцем все те же дурацкие переклички, свистки, окрики: «По местам!», «Смирно!», вызовы через громкоговоритель, хлопание оконцев, которые открывают по утрам и закрывают вечером, лязг железа и звон цепей, волочащихся по каменному полу. Через оконце под потолком к нам проникают шумы города и смешиваются с шумами тюрьмы. Мы слышим рокот вертолетов, которые кружат в небе или держат курс на Баб-аль-Уэд, куда переправляют раненых солдат, военные марши и лозунги, взятые из листовок об «умиротворении Алжира», которыми усыпает улицы Казбы «психологическая служба» армии, вой сирен санитарных машин и полицейских джипов, выстрелы, а иногда прорывающиеся сквозь гул города, как бы в напоминание о 13 мая, условные гудки — два длинных, три коротких,— означающие: «Алжир остается французским».

Такова наша жизнь. В камере тесно, как в железнодорожном купе, а мы походим на пассажиров, которые совершают нескончаемое путешествие, глядя на однообразный и унылый пейзаж — его заменяют нам решетки и камни. С закрытыми глазами можем мы показать на стенах камеры каждое пятно, каждое отверстие, каждую неровность и можем ощупью найти каждый предмет. Но лучше всего здесь узнаешь людей, их узнаешь так, как никогда бы не узнал на свободе.

— В тюрьме,— говорит один товарищ,— все мы друг перед другом голые.

Здесь достоинства и недостатки выявляются словно под увеличительным стеклом, и при совместной жизни в этих ужасных условиях всякое притворство становится невозможным. Мы уже все знаем друг о друге, знаем чувства, вкусы, хорошие и дурные привычки каждого, знаем, кто как ест и как спит, даже угадываем мысли. Зато существующие между нами различия составляют наше богатство, а вера, объединяющая нас, и наша общая воля учиться и работать позволяют нам бороться с той ржавчиной, которой тюрьма медленно, незаметно покрывает сознание узника.

Известие о помиловании смертников вызвало у всех нас надежду на то, что скоро начнутся переговоры и будет заключен мир. Надежда эта была обманута. Очевидно, французские власти просто хотели поиграть в благородных умиротворителей, посулив «прощение заблудшим». Они рассчитывали, что алжирские патриоты попадутся на эту приманку и позволят себя усыпить пустыми обещаниями.

— Помилование ни к чему не привело. Стало еще хуже,— говорит надзиратель Белая Крыса, повторяя циничные комментарии газеты «Эко д'Альже».— Покушения продолжаются. Эти люди понимают только силу...

Как далеко то время, когда Белая Крыса верил, что по мановению волшебной палочки великого человека Армия национального освобождения будет раздавлена и все спорные вопросы решены. Несмотря на красивые — и туманные — фразы, ничто по сути дела не изменилось, и новые смертники заполняют камеры первого отделения. 7 июля, всего несколько недель спустя после «помилований», на полигоне Усейн-Дэй пал первый алжирец, расстрелянный Пятой Республикой. Теперь уже не гильотинируют, а расстреливают — вот и все перемены. Чтобы выиграть во мнении публики, жертве оказывают видимость уважения, но тем, кого ведут на казнь, от этого не легче.

Три года назад Лакост хвастался, что запретил говорить алжирцам «ты», как это всегда делали военные и европейцы расисты (может быть, после этого министерского циркуляра парашютисты стали говорить «вы» тем, кого они пытали?). В настоящее время проводится с большим размахом целая серия подобных пропагандистских мероприятий. Например, по случаю избрания де Голля президентом республики были сокращены на десять процентов сроки заключения. Алжирскому патриоту, приговоренному к двадцати годам тюрьмы, говорят теперь с полной серьезностью, что он отсидит лишь восемнадцать. Освобождение по случаю праздников Аид и рождества нескольких сот «подозрительных» (в лагерях их тысячи) сопровождается оглушительной шумихой в печати. Высказывают лицемерное негодование по поводу преследований и пыток, имевших место раньше, и лживо утверждают, будто всему этому положен конец, а палачи между тем остаются на свободе и только тщательнее заметают следы своих преступлений. Под предлогом «децентрализации» созданы военные трибуналы, которые будут заседать вдали от крупных городов, где проходило до сих пор большинство процессов. Благодаря этому нововведению открывается еще больший простор для колониального произвола, а возможности защиты, и без того ничтожные, вообще сводятся к нулю.

Так, извлекая уроки из прошлого, власти пытаются принудить к молчанию истерзанный Алжир и в то же время создать видимость умиротворения. Для отвода глаз какие-то комиссии посещают время от времени лагеря и тюрьмы, и по их предложению заключенным дают кое-какие поблажки.

Нехотя и очень, очень медленно, словно не понимая этих сложных политических расчетов, начальство тюрьмы Барберус начало перекрашивать ее согласно требованиям времени.

Новая «парикмахерская» заменила грязную каморку, носившую до сих пор это название. Там поставлены умывальники и даже металлические зеркала. Как странно после долгих месяцев вновь увидеть собственное лицо! Каждый из нас подолгу вглядывается в свое отображение, словно желая познакомиться с изменившимися чертами, с новыми морщинами. «Я не думал, что так похудел»... «Я и не знал, что стал совсем седым»... «Я постарел...».

Каждое утро, даже в те дни, когда происходят казни, в течение получаса по радио передают музыку. Но под аккомпанемент вальсов и танго по-прежнему звучат грубости и брань. Это не переменилось. Надзиратели громко выражают свое недовольство новшествами, которые их коробят.

— Это не тюрьма, а бордель! — орет в коридорах Лу.

Начальник тюрьмы — теперь он уже деголлевец и награжден орденом Почетного Легиона — все так же держит нос по ветру. Со свойственной ему жестокостью применяя наказания (недавно он на три месяца лишил смертников свиданий, а также права пользоваться тюремной лавкой и покупать табак), он вместе с тем играет в либерализм. Он даже решил приобщить тюремщиков к новым веяниям и читает им лекции, чтобы сделать из них «воспитателей», как сказал нам один наивный надзиратель. Когда начальник тюрьмы спускается со своего Олимпа и команда «Смирно!» возвещает о его прибытии, он снисходительно, по-отечески машет рукой, разрешая нам стать «вольно». Он даже дает советы заключенным, которые выслушивают их настороженно, недоверчиво, иронически. Порой в беседе с нашими представителями он высказывает свои взгляды на политическую обстановку, все изменения которой отлично улавливает, или попросту болтает о том, о сем, с невероятной быстротой выпаливая все, что взбредет ему на ум.

В отношении «изолированных» и «старожилов» вроде нас он проявляет особенную гибкость и явное желание избежать новых «инцидентов», которые могли бы вызвать отклик на воле.

Иногда, надеясь поколебать наш непонятный ему оптимизм, он заканчивает свой монолог словами:

— Такое положение может продолжаться долгие годы. Ведь идет война на истощение. Да, долгие годы! Вы понимаете, что это значит?! Много лет вы еще просидите здесь без всякой пользы для дела! Вы как бы умерли!..

Словно бросая подачку, он иногда уступает нам в мелочах. Так, например, увеличено время прогулок и надзиратели не запрещают заключенным играть в самодельный мяч из старых тряпок. Эта игра — нечто вроде волейбола — дополняет гимнастические упражнения, которые каждый делает самостоятельно. Почту выдают теперь скорее, разрешено получать книги, кормить стали немного лучше.

Но по сути дела ничто не изменилось. Остаются правилом обращение на «ты» и другие проявления питаемого расизмом презрительного отношения к алжирцам. На патриотов продолжают смотреть как на преступников, в то время как настоящие уголовники, прислуживающие администрации, пользуются некоторыми преимуществами, да и кормят их сытнее, чем остальных.

Между тем, алжирцы, отбывающие тюремное заключение во Франции, недавно добились режима, который, хотя и не соответствует предусмотренному для «политических», все же отличается от внутреннего распорядка, установленного для уголовных преступников. Помимо некоторого улучшения тюремных условий они получили право назначать своих представителей для связи с администрацией, а также право выписывать парижские газеты. Здесь же, в Алжире, тот, кто напишет или передаст записку, по-прежнему рискует угодить на три месяца в карцер.

Когда помощник начальника тюрьмы отваживается заговорить с кем-нибудь из политических и тот его спрашивает, почему в Барберус с алжирцами не обращаются так же, как с их соотечественниками во Франции, он отвечает:

— Франция — это Франция, а Алжир — это Алжир, тут нет ничего общего.

Эта истина, которую забавно слышать из уст такого человека, как помощник начальника тюрьмы, отнюдь не кажется ему несовместимой с провозглашением Алжира неотъемлемой частью Франции. Такова логика колониалистов!

Заключенным ясно лишь одно: никакого облегчения они не получат, если не вырвут его в борьбе, как это сделали узники тюрьмы Санте и Френ.

Между куббой и фасадом тюрьмы, глядящим на нас мертвыми глазницами зарешеченных окон, люди собираются группами вокруг Абделькадера, Лахдара и Ахмеда, которые любят поболтать на ходу. Или же, прислонившись к стене, слушают Шатэна, самого старшего из «новичков», который предпочитает отдыхать, покуривая сигарету.

В начале 1958 года он просидел несколько лет в Барберус, пока его не перевели в другую тюрьму. Тогда мы могли лишь издали приветствовать друг друга. Я знал, что его жестоко пытали.

— Все в порядке,— говорит он с улыбкой.— Седые волосы — это пустяки, следы ударов и ожогов зарубцуются, и ребра срастутся. Вот только новые зубы не вырастут.

Он открывает рот и показывает десны — палачи выбили ему передние зубы. Он пожимает плечами:

— Когда я выйду на волю, надо будет заказать протезы... Просто диву даешься, как это человек остается жив после всего, что с ним делают!..

— Ты крепыш!

— Вот это самое мне сказал комиссар, которого вызвали из Алжира, чтобы опознать меня,— со смехом подтверждает он.— Как только меня схватили, за мною в горы прилетел вертолет и меня переправили на командный пункт. Там-то этот тип и увидел меня. «Обработкой» руководил лейтенант. Началась она с избиения ремнем и бычьей жилой, а закончилась, как обычно, пыткой электричеством. Потом палачи оставили меня голого в палатке, приковав руку к щиколотке. Представляешь себе — в согнутом положении?! Так мне пришлось провести ночь. Холод был собачий. Комиссар улегся тут же, на походную кровать в теплой канадской куртке, да еще укрылся несколькими одеялами. Среди ночи этот сукин сын, который никак не мог заснуть, потому что ему было холодно, спрашивает: «Тебе не холодно?» Я говорю: «Нет».— «Как это ты ухитряешься не замерзнуть, сидя голым на земле? Я, например, подыхаю от холода... До чего же вы живучие!» Самое смешное, что это была правда. Он меня так избил, что я даже не чувствовал холода.

Шатэну было под пятьдесят, когда раскрыли его подпольную деятельность в Блиде. Он знал, что его вот-вот арестуют, и ушел к партизанам, в ущелья Шиффа в Атласских горах, между Блидой и Медеа. Он рассказывает мне, как попал в плен:

— Меня окружили на вершине холма, спрятаться было негде. Я попал прямо в лапы к ним. Наши рассыпались и утекли, а я не успел. А ведь мне было не привыкать к прочесыванию. Бывало, тысячи человек окружали маки, а взять никого не могли. Много раз я видел солдат совсем близко. Мы прятались в каких-нибудь десяти метрах от них, слышали их голоса, даже говоры различали — солдаты-то ведь из разных мест родом,— а они шли, не подозревая, что мы тут, совсем рядом. В этом и состояла жизнь в маки: прятаться, когда их много, нападать, когда они этого не ждут. Порой мы делали многочасовые переходы ради короткой стычки. Потом «мусблины» (вспомогательные группы) собирали оружие врага, и мы двигались дальше. У колонистов другая тактика. Увидят лес, где могли бы укрыться бойцы, и подожгут его бомбами. Разыщут дуар, который оказывает нам помощь или снабжает нас провиантом, и сначала разбомбят его, потом расстреляют мужчин, вырубят фруктовые деревья, забьют скот. Если же кто-нибудь из алжирцев останется в живых, его вместе с семьей угоняют в лагерь. А поскольку нет ни одного дуара, который не боролся бы за независимость, можете себе представить, что творится... Во всем горном районе не осталось камня на камне, ни одной уцелевшей хижины... Неподалеку от Блиды,— продолжает он,— французские солдаты связали феллахов, бросили их на землю и раздавили гусеницами танков за то, что жители их дуара укрывали повстанцев...

— Но колониалисты ничего не добьются,— вставляет Бабу.— Когда отряд повстанцев проходит через дуар, старики, женщины и дети выходят на улицы, аплодируют, встречают бойцов приветственными криками «Ю-ю-ю» и «Тахиа-аль Джазаир!» У Армии народного освобождения никогда не будет недостатка в людях. Ребята мечтают об одном: поскорей вырасти и взять в руки оружие, чтобы вместе с отцами сражаться за независимость...

Одни считают, что болтовня на тему об умиротворении и будущем индустриальном строительстве — это все та же программа колониалистов, рассматривающих Алжир как неотъемлемую часть Франции, но только под новым названием. Другие видят в этом признак поворота во французской политике в сторону признания права алжирцев на независимость.

Вот уже две недели из медицинского пункта, из приемной и других отделений до нас доходят противоречивые слухи, и мы безуспешно пытаемся уяснить себе, что же такое сказал в действительности де Голль 16 сентября. Нас поразило, что алжирское правительство так долго не высказывалось по поводу его речи, ведь ответ на нее был дан лишь 28 сентября. Наши сведения об этом ответе тоже довольно неточны, но уже тот факт, что он последовал не сразу, говорит сам за себя: по-видимому, речь главы французского правительства содержала ряд положительных моментов и заслуживала изучения, а не простой отповеди.

Мы ожидали получить на этот счет разъяснения от парижского адвоката, который должен был 8 октября защищать Лахдара Каиди и Андре Руиса. Но мы узнали все раньше, и к тому же совсем неожиданным образом. Администрация тюрьмы раздала нам официальное заявление, напечатанное в форме листовок.

Это не беспрецедентный случай, ведь уже несколько месяцев как нам еженедельно раздают «Ле Блед», газету французской армии и ее «психологической» службы, иногда печатающую страницу на арабском языке. Никто не удостаивает даже взглядом этот листок, и все экземпляры его даже не развернутые валяются в углу, пока надзиратель не прикажет их убрать. Но сегодня розданный нам текст все читают внимательно.

Каждый реагирует по-своему, в зависимости от характера и политической подготовки. Активисты, умеющие находить в каждом тексте основное, пропускают пустозвонные пропагандистские фразы, не обращают внимания на оскорбительный тон, пренебрегают апокалиптическими заклинаниями по адресу тех, кто «играет с огнем», и находят наконец ключевую фразу, где впервые упоминается право алжирского народа на самоопределение. Но фраза эта тонет в таком лабиринте оговорок, в таком потоке слов, что при первом чтении ее просто трудно обнаружить.

Молодые, а их большинство в тюрьме, полны неукротимой патриотической гордости и возмущаются тем, что после многолетней борьбы и бесчисленных жертв алжирцев все еще не хотят признать нацией. Те, чьих близких принудили во время референдума ответить «да» и избрать ставленников оккупационной армии, задыхаются от гнева, видя, что результаты выборов выдаются за успех политики умиротворения.

Но, как только разгоревшиеся страсти утихают, всякому становится ясно, что пройден важный этап. Вот уже пятьдесят лет Алжир борется за право свободно решать свою судьбу. Сегодня он это право завоевал. И хотя такое признание делают против воли, как бы сквозь зубы, оно является лишним доказательством того, что страна всем обязана не великодушию и благородству генерала, а своей собственной борьбе.

Ну, а как же теперь? — думает каждый из нас.— Неужели мы действительно достигли цели?

— Посмотрим,— говорит учитель К., которого я встретил на медицинском пункте,— есть ли здесь что-нибудь, кроме слов. Мы так привыкли к обещаниям!.. Боюсь, что они только подкрасили свою старую политику, как красят стены у нас в тюрьме...

В самом деле, тюрьма меняет кожу. По приказанию Лу бригада уголовников красит в яркие цвета решетки, железные колонны и даже балюстраду главной галереи. Под натиском этой ярмарочной пестроты красок — синей, красной, желтой, зеленой — отступает привычный серый цвет, но и в плаще арлекина Барберус остается все той же.

Да, ничего не изменилось. За неделю с 7 по 15 — еще две казни, словно каждый шаг к решению проблемы должен быть отмечен кровью. Только расстрелы происходят теперь позже, чем происходили казни на гильотине, так что призыв к утренней молитве, который раньше освобождал смертников от мучительной неизвестности, уже ничего больше не означает.

Надо ли после этого удивляться тому, что военные преступники сплошь и рядом освобождаются, подпав под амнистию или получив помилование. Солдат, изнасиловавший маленькую девочку, и сержант, перестрелявший посетителей кафе в Усейн-Деи, оба на свободе. Они могут снова вернуться на военную службу. Почему бы и нет?

Заключенные холодно взирают на свежевыкрашенные решетки, на белые кафельные плитки, которыми Лу и его подручные покрывают цементный пол, на матовые колпаки лампочек, освещающих центральный двор, а также на напускное добродушие начальника и его помощников. Этой «показухе», от которой наша клетка не перестает быть клеткой, заключенные предпочли бы действительное улучшение тюремного режима.

Год назад председатель комиссии по надзору за местами заключения, явно пораженный условиями, в которых содержались заключенные в Барберус, сказал в конце своего посещения:

— Увидим, что можно будет сделать.

Но мы ничего не увидели, кроме некоторых мелких поблажек. Поэтому всеми овладело желание действовать, чтобы добиться существенных перемен. Мы энергично готовимся к голодовке. Несмотря на все трудности, из камеры в камеру и даже из одного корпуса в другой передаются записки. Голодовка продлится четыре дня. Тюремное начальство, конечно, знает об этих приготовлениях, ибо для связи приходится часто пользоваться услугами уголовных, а они не могут не проболтаться. Но чего начальство не знает — так это сроков: когда голодовка начнется и сколько она продлится. Наши руководители решили, что об этом будет сообщено в последнюю минуту.

Кроме основных требований, а именно: уважения человеческого достоинства заключенных и признания их алжирскими патриотами,— мы решили выставить и более конкретные требования. Мы добиваемся улучшения питания, выступаем против побоев, оскорблений и издевательств, в частности при обысках, мы требуем права выбирать своих делегатов вместо назначаемых тюремным начальством старост, смягчения цензурного режима (нам не дают даже журналов, разрешенных правилами внутреннего распорядка), возможности подписываться на газеты, продления прогулок и, наконец, обеспечения элементарных норм гигиены. «Изолированные», со своей стороны, требуют, кроме того, чтобы их разместили без расовой или политической дискриминации.

На следующий день после начала голодовки, в которой участвуют все заключенные, кроме пятнадцати человек из АНД *. начальник тюрьмы явно стал нервничать. Ему хочется, чтобы голодовка поскорее кончилась, но он не может

* Алжирское национальное движение — правобуржуазная националистическая организация.

при нынешних условиях сломить ее силой.

Поэтому он отказывается от угроз и напускает на себя озабоченный вид отца семейства, чьи дети неосторожно подвергают опасности свое здоровье, ввязавшись в безумную затею:

— Молодежь, бог с ней. Но я за стариков болею. Они сами себя вгоняют в гроб...

Подобные опасения не тревожили его, когда, чиня суд и расправу, он готов был сгноить этих самых стариков в карцерах подземелья.

В Алжир приехали два парижских адвоката. Они снова оказывают заключенным ценную помощь, хлопоча за них в областном тюремном управлении. Они наблюдают там такую же нервозность, ибо начальство боится, как бы голодовка не распространилась на другие тюрьмы. Она особенно неуместна сейчас, за несколько дней до обсуждения в ООН алжирской проблемы, в момент, когда французское правительство, главным образом в расчете на заграницу, афиширует либеральную политику.

Но, хотя начальство и стремится все уладить как можно скорее и не допустить огласки, оно отказывается удовлетворить наши требования, боясь собственноручно подорвать существующий порядок, и ограничивается уговорами:

— Разберемся... Сделаем все необходимое, чтобы узнать точку зрения Парижа... Как только будут приняты новые кредиты...

Поскольку обещания эти более чем расплывчаты, голодовка продолжается. Но все же начальник тюрьмы идет на уступки. Он соглашается (вещь почти невероятная) на то, чтобы три товарища, представляющие политических — Мерах, Ахмед Аккаш и Мустафа Феталь,— собрались для обсуждения его ответа на наши требования и решили, как должны поступить заключенные.

И вот на глазах у ошеломленных надзирателей Ахмед официально обходит всех «изолированных», которых во время голодовки не выпускают из камер, и информирует их, как обстоят дела.

Голодовка увенчалась успехом. Нам даны твердые обещания. Больше не будет ни грубостей, ни издевательств. Во время обысков заключенным уже не придется раздеваться донага, и надзиратели обязаны вежливо обращаться с ними. Питание будет немедленно улучшено.

Правда, вопрос о перемещении «изолированных» отложен на неопределенное время. Кроме того, администрация отказалась брать на себя какие бы то ни было обязательства в отношении подписки на газеты.

Все же по части информации мы добились большой победы: последние известия радио Алжира будут ежедневно передаваться тюремными громкоговорителями.

Ожидая своей очереди в приемной медицинского пункта, я разговаривал с новичком, пока надзиратель не разлучил нас.

Моему собеседнику девятнадцать лет. Когда его арестовали, ему было шестнадцать. За эти три года он не раз побывал в застенках у палачей и уже сидел в тюрьме Барберус, а потом в лагерях — в Бени-Месус, в Поль-Казеле, в Берругья. Его имя всплыло в связи с одним старым делом, и он снова попал в тюрьму. Я расспрашиваю его о своих друзьях, находящихся в лагере. Он их не знает:

— Ведь нас там были тысячи...

— Как дела на воле? Вам что-нибудь известно? Что говорят в лагерях?

— Да все то же: прочесывания, пытки, казни. Но бои продолжаются, и сражаемся мы хорошо. Провоевали пять лет, провоюем еще пять, если понадобится, будем драться, пока не добьемся независимости!

Он говорит это с суровой убежденностью и в то же время с детской мягкостью, свойственной очень юным бойцам, еще не сознающим собственного героизма, хотя они жертвуют лучшими годами жизни и всегда готовы заплатить за свободу родины еще более дорогой ценой.

Колониалисты бессильны против такой молодежи!

Прижав ухо к оконцу, мы слушаем в 7.30 и в 13 часов последние известия, передаваемые громкоговорителями. Не так-то легко нам это дается. Надзирателям доставляет явное удовольствие мешать нам, и во время передач они кричат и шумят больше, чем обычно. Поэтому, гуляя по двору, мы собираемся группами, чтобы общими усилиями связать и осмыслить долетевшие до нас обрывки фраз. И все же это во много раз лучше, чем полное неведение, в котором мы находились раньше.

Еще три недели назад начальник тюрьмы преследовал всех, кто передавал политическую информацию, и замеченных в этом сажал в карцер. Теперь, вероятно по указанию военных властей, он развивает бурную деятельность как раз в обратном направлении.

Дело, правда, не доходит до «промывания мозгов», которое безуспешно практикуется в лагерях под видом бесед и докладов. Но нам раздают тошнотворные по своей подлости и глупости писания одного журналиста, который раньше не гнушался ни одной кормушкой в алжирской прессе, а потом стал рупором «ультра» на радио. Кроме того, нас водят на киносеансы. Сначала — и это было неглупо придумано — нам показывали фильмы документальные, без особой политической окраски. Давно ничего не видевшие, кроме решеток и серых стен, мы жадно насыщались образами и красками. Нам показывали леса Кабилии с трепещущей от ветра листвой, золотые

берега Сахеля, окаймленные пеной волн, зеленые оазисы среди песков пустыни, выразительные лица женщин и детей родной страны.

Никто из нас не слушал комментариев. Наши мысли были далеко за пределами тюрьмы.

Но в последующих фильмах, прославляющих колониализм как «открывателя, строителя, целителя», уже очевидна пропаганда. Она так глупа, полна такого тупого презрения к алжирцам, что сначала все зрители смеются, потом раздаются протестующие голоса. Нас даже наказали однажды за то, что мы освистали такую картину, но показывать пропагандистские фильмы не перестали. Похоже, начальство «прощупывает» нас, чтобы узнать, как далеко может зайти пропаганда умиротворения... Это ничуть не мешает начальнику тюрьмы одновременно прибегать и к старым методам. Со времени голодовки возобновлено наказание карцером (для этого используются камеры, которые прежде занимали смертники). Обещания забыты, опять сыпятся оплеухи, и слышится площадная брань. После того как заключенные добились некоторых успехов, тюремщики стали еще злее. Однако, как правило, они отнюдь не торжествуют: энтузиасты, участвовавшие в событиях 13 мая, разочарованы. Они сомневаются, что в результате победы французского оружия в Алжире наступит мир, и больше не верят в де Голля, особенно после 16 сентября...

А иные устали и смутно отдают себе отчет в неизбежности переговоров с ВПАР. Они, правда, опасаются этого, но все же питают надежду, что можно будет «устроиться» и покончить с войной.

— Надоело! Осточертело! И ничего не поймешь,— говорит Ант.— Согласен на любой конец, лишь бы настал конец!..

— Никогда мы из этого не вылезем, и все кончится мировой войной! — замечает вскользь Белая Крыса, и нельзя понять, говорит ли он это с опасением или с надеждой.

Но наиболее «твердые», в том числе «Мишель Симон», оружия не складывают. Вместе со своими друзьями «ультра» они мечтают о новом «деле» и не скрывают этого.

Стоя на галерее, «Мишель Симон» повторяет достаточно громко, чтобы все слышали, фразу, облетевшую все кафе от Баб-аль-Уэда до Белькура:

— В первый раз, в феврале, с Ги Молле, был недолет. Во второй раз, с де Голлем, был перелет. В третий раз мы попадем прямо в цель!

После двухдневного разбирательства суд над нашими товарищами из Блиды закончен. Они возвращаются возбужденные, улыбающиеся и, не обращая внимания на окрики надзирателей, пожимают руки, которые тянутся к ним в окошечки камер.

У нашей двери останавливается Абделькадер Бабу. Остальные окружают его. Пиджаки и галстуки на тех, кто вернулся из суда, придают коридору непривычно парадный вид.

— Ну, как?

— Все прошло отлично! Отлично! Мне удалось сказать все, что я хотел. Моим друзьям тоже...

— А приговор?

— Такой, как мы и предполагали. Ничего неожиданного. Буабдала, Шатэну и мне — по двадцать лет. Али и остальным — по пятнадцать и по десять.

Да, ничего неожиданного!..

Сегодня утром мы возобновили голодовку. Это было неизбежно, ибо тюремная администрация не выполнила своих обещаний и нарушила принятые решения. Как и в ноябре, к голодовке присоединились все заключенные. Их требования изложены в письме начальнику тюрьмы. Он еще ничего не ответил.

Сколько времени продлится голодовка, заранее не установлено.

Голодовка длится уже десять дней. Все чаще люди теряют сознание. Больных уносят на медицинский пункт. Они не могут сопротивляться, когда им делают уколы, но решительно отказываются от бульона, который им затем предлагают, никто не желает сдаваться.

— Не хочешь есть? Значит, ты не болен... Убирайся!

И надзиратели уводят их обратно в камеры.

Наши руководители дали приказ прекратить голодовку. Радуясь, что тяжкие испытания его друзей кончились, Эль Хадж разносит горячий бульон. До завтра никакой твердой пищи. У нас уже есть опыт голодовок. Подходя к нашей двери, Эль Хадж видит, что у него остался лишь один котелок. Через несколько минут он приносит еще два. Мы соревнуемся в вежливости, уступая друг другу ржавую дымящуюся посудину, поставленную прямо на пол.

— Ну, хватит глупостей. Бульон остынет!

— Да ну, пей же!

— Пей! — говорит Андре, пододвигая миску ко мне.

Они молча следят за мной, словно наблюдая какое-то необыкновенное зрелище. Я глотаю бульон и оживаю от его аромата и тепла.

— Вкусно? — спрашивают они.

— Ве-ли-ко-леп-но!

И мы все трое смеемся впервые за долгое время.

Во время этой голодовки было проявлено исключительное мужество и упорство. В ней участвовало более тысячи за-

ключенных — почти вся тюрьма. Поэтому отказ удовлетворить наши требования никто не воспринимает как поражение. Напротив, каждый убежден, что начальнику тюрьмы и высшему начальству придется считаться с нашим боевым духом, даже если непосредственно после голодовки будут введены дополнительные строгости.

Вот уже двенадцать дней, как мы не выходили на воздух, а он нам так же необходим, как пища. Мы изнурены, исхудали, грязные, обросли бородой, но, несмотря на смертельную усталость, довольны, что дали эту битву, в которой проявили такую сплоченность.

События 24 января поразили нас не больше, чем события 13 мая. Брошенные вскользь замечания усердствующих надзирателей — вроде того, что «скоро де Голля пошлют к черту»,— агрессивный тон колониалистских ассоциаций, чьи коммюнике услужливо передавало алжирское радио и, наконец, умоляющая, слезливая речь, которую произнес Девуврие после отозвания генерала Массю,— все это предвещало новый путч «ультра».

Но если в мае 1958 года опасность, грозившая узникам Барберус, была настолько очевидна, что мы могли следить за ее приближением, то теперь, в январе, она тихо подкрадывалась к нам, скрытая и непонятная.

Иногда только проезжали вереницы машин. Громко сигналя, они терялись в извилистых улицах, и шум их сливался с шумом Баб-аль-Уэда. Но не было ничего подобного гулу майского мятежа, и мы не столько старались разобраться в проникавших к нам редких звуках, сколько истолковать непривычную тишину, придавившую город...

В самой тюрьме Барберус также царила удивительная тишина. С 24 числа было выключено радио, прекращены свидания и вызовы в суд. Заключенных не выпускали из камер, и никогда еще нам не было так трудно поддерживать связь с внешним миром и общаться между собой. Все же во вторник по тюрьме распространился слух о том, что в воскресенье произошла перестрелка. Нам рассказал это служащий медицинского пункта. Как всегда, новость так исказили, к ней примешалось столько выдуманных подробностей, что нам было трудно отделить истину от вымысла. Но в самом факте мы не сомневались, зная, что «ультра» способны на любую, даже кровавую авантюру, лишь бы оказать давление на французское правительство.

Желая хоть что-нибудь узнать об умонастроении европейцев, мы следили за нашими надзирателями. У них ничего не осталось от восторженного и победоносного единодушия майских дней. Напротив, мы почувствовали раскол между ними. Наиболее рьяные исчезли в первые же дни: они либо бастовали, либо участвовали в мятеже. Остальные продолжали нести службу. Если они и испытывали симпатию к мятежникам, то старались не скомпрометировать себя, ввязавшись в рискованную авантюру, тем более что она не носила полуофициального характера, как это было 13 мая.

В начале февраля, после того как администрация тюрьмы восстановила свидания и приказала включить радио, мы получили возможность уяснить себе ход событий.

Узнав, что «ультра» стреляли в блюстителей порядка и засели за баррикадами, причем их даже не пытались изгнать оттуда, многие товарищи говорили, качая головами:

— Милые дерутся — только тешатся. Если бы это сделали алжирцы, власти не колеблясь перебили бы всех!

Только впоследствии мы узнали, какой опасности подвергались, находясь в тюрьме. Оказывается, после того как «баррикадные стратеги» освободили участников «покушения с базукой» из банды Ковача, содержавшихся в госпитале Мустафа, и показали их как героев с балкона дома Ортиза, было решено взять заложников из числа заключенных в Барберус. Но то ли возникли какие-то препятствия, которых не было 13 мая, то ли Лагаярда, де Сериньи, Гарда, Сузини и их сообщников отвлекли более неотложные дела, только это решение так и осталось неосуществленным.

Наконец после ареста Лагаярда и некоторых других вожаков мы узнали об аресте де Сериньи, а затем о его прибытии в Барберус, где он оказался в привилегированных условиях, на что вполне мог рассчитывать. Однако если такое лицо все-таки попало в тюрьму, значит, «ультра» уже не были полновластными хозяевами в Алжире. Не близится ли дело к миру, не будет ли заключено соглашение о гарантиях самоопределения, которому они всех более противились? Мы готовы были поверить в это, особенно после обращения Ферхада Аббаса к европейцам 17 февраля. Несколько дней спустя де Голль своей неумной речью убил всякую надежду на мирное урегулирование. Война продолжалась.

Вожаки «ультра» сначала держались в тюрьме скромно и даже робко. Они явно боялись наказания. Но очень быстро к ним вернулась их обычная спесь. На этот раз мы не могли не согласиться с Белой Крысой, когда, заглянув к нам в оконце, он сказал:

— Лагаярд и де Сериньи? Ну, эти-то скоро будут на свободе...

И снова потекли недели — отчаянно медленно, когда переживаешь их день за днем, и невероятно быстро, когда о них вспоминаешь.

После того как кассационная жалоба наших товарищей из Блиды была отклонена и приговор вступил в силу, их пере-

вели из третьего отделения в Мезон-Каре. Здоровье Фернана Б. сильно пошатнулось после двух с половиной лет заточения, и он был временно освобожден. «Изолированных» в тюрьме стало теперь еще меньше.

В апреле исполнилось 14 месяцев с тех пор, как следствие по нашему делу было закончено, а слушание его в военном трибунале еще не назначено. Однажды к нам явился господин Патен, председатель «Комиссии по охране личных прав и свобод». С ним были помощник прокурора и полковник, которого мы уже видели полтора года назад. Начальник тюрьмы привел их к нам, а сам исчез. Увидев, что мы живем в тех же отвратительных условиях, что и раньше, председатель комиссии не проявил возмущения, которого не смог скрыть при своем первом посещении. По-видимому, он успел свыкнуться с различными аспектами алжирской войны и решил, что в конечном счете заключенным живется не так уж плохо. Между ним и алжирским полковником не чувствовалось больше никакой натянутости. Напротив, у них, видимо, установились отношения вежливого сотрудничества, как это бывает с людьми, соблюдающими определенную договоренность.

Теперь уже не было и речи о столах и кроватях.

— Тюремное ведомство не располагает мебелью в Алжире,— сказал он.

— А газеты?

Он что-то записал, как полтора года назад.

— Вы объявили голодовку? Таким путем заключенные ничего не добьются.

— Однако голько так мы и добились некоторого улучшения тюремного режима.

Затем он расспрашивает нас о нашем положении с точки зрения юридической:

— Сколько времени вы находитесь в предварительном заключении?

— В августе будет три года.

— Ваше дело не может слушаться в Алжире. Вы понимаете... оно связано с делом Одэна, и в такой атмосфере людей вашего толка невозможно судить с должным беспристрастием.

Про себя мы улыбаемся. Мы не ждем беспристрастия от колониалистского суда, где бы он ни заседал — в Алжире или в другом месте. Разве неправомочные судьи, которым предстоит разбирать наши дела, бывают беспристрастны, когда перед ними предстают алжирские патриоты?

— Я предложил, чтобы для суда вас перевели во Францию. Дело Одэна будет выделено особо. Напишите мне.

Зачем нам писать? Чтобы снять ответственность с тех, кто до сих пор не решался судить нас, опасаясь, как бы Одэн не стал обвинять их самих, их политику, их наемников — палачей и убийц? Ведь не мы боимся публичных объяснений. Нас заботит не то, что суд, который мы не признаем, не обладает необходимым беспристрастием, а то, что нам мешают высказаться. Едва мы заговариваем о пытках, о безнаказанности парашютистов и о деле Одэна, Патен нас прерывает:

— Дело сейчас находится у следователя в Ренне. Предоставим ему решать...

Да, это может тянуться еще года три, пока дело не прекратят за отсутствием состава преступления или не будет объявлєна амнистия.

Наконец наступило 31 мая. После всего того, что сказал наш посетитель, мы уже не ждали перемен, но вот мы получаем повестку с вызовом в военный трибунал на 13 июня. Итак, после почти трехлетней волокиты было решено ускорить процесс, предоставив нам лишь минимум времени, чтобы подготовиться к защите и предупредить адвокатов. Уже из этого ясно, что будут приняты все меры, чтобы по возможности заглушить наш голос. Об этом же говорит и выбор председателя суда. Это не кто иной, как Катерино — алжирский следователь, специализировавшийся еще до начала восстания на преследованиях алжирских патриотов. Он вел когда-то дело Ахмеда Аккаша, а затем дело руководителей газеты «Альже репюбликэн». Он же, не задумываясь, противозаконно передал Брики в руки его палачей.

— Вам подобрали председателя как по заказу! — говорит Ж., либеральный адвокат из Алжира, часто имевший дело с Катерино.

— Все это плохо вяжется с тем, что нам говорил председатель комиссии,— с насмешкой замечает один из наших товарищей.— Он ведь требовал беспристрастного правосудия. Если и в других случаях происходит то же самое, то напрашивается вопрос, что же охраняет эта комиссия?

Она охраняет приличия.

Конечно, после суда нас надолго здесь не оставят. Но еще несколько недель мы будем иметь перед глазами то зеркало многострадального Алжира, которым всегда была тюрьма Барберус и которым она остается, несмотря на ремонт и новые порядки. Нет, Барберус не уродливый нарост, обезображивающий «умиротворение», а так же, как убийства и пытки, лишь естественный плод колониальной войны, один из элементов машины, предназначенной мучить, унижать и калечить людей.

Я недавно видел на медицинском пункте совсем юного алжирца, который бросился с галереи вниз головой. Он лежал на носилках посреди палаты. Упав, он сломал себе обе ноги. Надзиратель и уголовники проходили мимо раненого, не обращая на него ни малейшего внимания, точно его и не было. Лишь

какой-то служащий заметил своему коллеге:

— За десять дней уже второй бросается с галереи. Да еще один старик пытался перерезать себе горло! Просто какая-то эпидемия...

Лицо раненого было в красных и синих пятнах, на подбородке запеклась кровь. Он лежал неподвижно, словно ничего не слыша и не видя, и взгляд его был устремлен вдаль.

— Он здесь недавно,— сказал санитар.— Новичок. Не привык еще...

Мы тоже не привыкли, хоть мы и «старики», а в последние месяцы даже считаемся ими официально: к нашим номерам прибавили букву «с», что значит «старый», чтобы не путать их с теми же номерами, выданными вновь прибывшим. Каждый раз, когда записывают десятитысячного заключенного, в книге проводят черту и начинают новый счет.

Значит, с тех пор как я прибыл сюда, через тюрьму прошло больше десяти тысяч человек! Мои товарищи, проявившие в страдании столько достоинства и духовного величия, такие разные по внешности и характеру, но одинаково исполненные героизма и веры, прошли здесь как единый грозный отряд борющегося народа!

Каждый вечер, в один и тот же час, два сизых голубя, живущие на карнизе, шурша крыльями, спускаются к нам в гости и без опаски клюют крошки, разбросанные по двору неподалеку от куббы.

Видя их, мы понимаем, что скоро появится тюремщик с криком «По местам!» и надо будет идти спать. Но еще до этого почти каждый вечер нас окликают голоса смертников. Их в тюрьме человек двадцать. «Параллельное правосудие», которое скорее дополняет правосудие официальное, чем конкурирует с ним, не допускает, чтобы смертников было столько же, сколько в 1957 году. Для этих людей ожидание стало, вероятно, еще мучительнее, ибо прежде тяжесть его ложилась на плечи многих и каждый постоянно ощущал горячую поддержку коллектива. Теперь они размещены в обоих крыльях первого отделения, камеры их находятся далеко одна от другой, и они боятся, что на рассвете перед казнью даже не смогут предупредить своих братьев по борьбе.

И правда, лишь среди дня стало известно об одной из последних казней (в апреле и мае их было три). Просто соседи обнаружили, что камера пуста. Стража схватила человека внезапно, тотчас же заткнула ему рот кляпом и молча увела, так что заключенные даже не сказали ему последнего прости. Поэтому смертники теперь еще более чутко, чем раньше, прислушиваются к малейшему шороху среди тишины бессонной ночи.

Собравшись у водоема, мы поворачиваемся к окошку, из которого доносится голос. На темной решетке мы видим лишь бледные пальцы смертника Хаджереса. Следуют обычные приветствия, а потом, присев на край водоема, Ахмед повторяет и комментирует по-арабски передаваемые по радио известия. Когда де Голль ездил в Америку, Хаджерес спрашивал нас каждый вечер:

— Вернулся?

Он знал, что, пока длится путешествие, казней не будет, ибо один лишь президент республики подписывает или отклоняет ходатайства о помиловании. Когда ему говорили: «Мазал!» (Нет еще!) — он отвечал: «В эту ночь можно будет поспать!»

И так продолжалось до того дня, когда пришлось сказать ему, что путешествие окончено. Тогда он заметил:

— Снова начинается ожидание!

Хаджерес всего несколько месяцев в Барберус. Вначале он был приговорен к 20 годам каторжных работ и переведен во Францию. После четырех лет заключения его снова привезли в Алжир, судили по другому делу и на этот раз приговорили к смерти.

— Итак, братья,— говорит он,— через несколько дней будет ваш суд. У вас остается мало времени, чтобы беседовать с нами. Скоро вы уйдете.

— Да, скоро!

— Но мы снова увидимся! Мы увидимся... если будем живы! (Он немножко поэт, и в памяти у него воскресают стихи, заученные в детстве). «Мы снова увидимся после бури, когда вернемся в тихую гавань». Как приятно будет вспоминать тогда даже тюрьму! Не будь ее, мы бы никогда не встретились. Разминулись бы на улице, даже не взглянув друг на друга. Мы познакомились благодаря Барберус. Об этом, братья, мы и будем вспоминать прежде всего, а уж потом о страданиях... Завтра, когда будет разрушена тюрьма Барберус...

Завтра... Когда умолкнут выстрелы и крики жертв, когда разрушенные бомбами дуары поднимутся из развалин, когда на пропитанных кровью полях взойдет новая жатва. когда снова заговорят о дружбе между народами, разделенными сейчас глубоким рвом, когда знамя независимости свободно взовьется над алжирской землей... Об этом завтра и думает тот, кто говорит: «Мы разрушим Барберус!»

Как мечтали узники об этом дне!

— А что будет построено на ее месте? — спрашивали мы.

Мнения расходились.

— Больница!

— Жилые дома... Больше не должно быть трущоб.

— Университет для молодежи!

— Лучше уж парк — здесь совсем нет зелени!

Да! Лучше всего парк. Пусть радостные голоса ребят свободного Алжира

звенят там, где раздавались лишь крики узников, пусть звучит счастливый смех матерей там, где в ночи казней слышались душераздирающие слова прощания. В память о каждом герое, погибшем под пулями или на гильотине, пусть вырастет высокое зеленое дерево. В память о каждом унижении и каждой минуте страданий пусть расцветет куст прекрасных цветов.

У детей Казбы будет чудесный сад.

ЧИТАТЕЛЯМ ЖУРНАЛА «ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

СТРАНИЦЫ, НАПИСАННЫЕ НА СВОБОДЕ

Со странным чувством сажусь я писать эти несколько страниц, которые должны послужить послесловием к «Бойцам в плену», спустя восемнадцать месяцев после того, как меня перевели из алжирской тюрьмы во Францию, и через несколько недель после моего побега из Ренна.

Условия моей жизни сегодня так контрастируют с обстановкой, в которой я находился, когда кончал эту книгу, что мне нужно сделать усилие над собой, чтобы мысленно вернуться в тот мир — далекий и страшный. Тогда мне приходилось принимать бесконечные меры предосторожности, прятать мои листки, обманывать бдительность стражников, и я, как и все алжирские узники, чувствовал постоянный гнет.

Теперь я свободен и нахожусь в социалистической стране, где окружен дружеским вниманием и теплом, в то время как мои товарищи по заключению еще томятся в застенках и колониалистская война продолжает опустошать и разорять Алжир.

Каменные мешки, черные решетки, казалось, рассекавшие небо и скупо отмерявшие воздух, которым мы дышали, оскорбления стражников, шум их шагов и звяканье ключей, заменявшее нам бой часов,— все то, что по-прежнему изо дня в день как проклятие тяготеет над моими братьями, уже превращается для меня в воспоминания. И, как предвидел Хаджерес, приговоренный к смерти, с которым мы беседовали во дворе Барберус, в памяти остаются не столько страдания сами по себе, сколько дружба и братство, рожденные в общих страданиях.

Одно из последних и самых волнующих впечатлений, которые я унес из Алжира, оставила у меня толпа друзей, теснившихся на тротуарах вокруг здания Военного трибунала, где нас должны были судить. Улица, где находится это здание, называется улицей Кавеньяка — по имени генерала, который воевал против алжирского народа до того, как стрелял во французских рабочих в 1848 году. Это очень удачное, поистине символическое название.

За кордоном полицейских и вооруженных солдат видны были напряженные, печальные лица и влажные глаза женщин в чадрах, которые с нежностью смотрели на нас, когда мы садились в тюремную машину. В знак приветствия мы поднимали руки, скованные наручниками, и улыбались, чтобы выразить им свою дружбу и немеркнущую надежду, но никто не отвечал на нашу улыбку в этой толпе, слишком потрясенной нашими цепями и возмущенной зловещим фарсом, который именовался судебным процессом. Что это был за процесс! Хотя следствие заняло очень мало времени, правительство в течение трех лет держало нас в предварительном заключении по одной-единственной причине: оно боялось, что алжирские коммунисты публично разоблачат политику, проводимую в Алжире. Оно боялось также, что тени двух коммунистов, убитых парашютистами,— молодого ученого Мориса Одэна и студента Омара Джегри — станут опасными обвинителями. Но, так как нас все же надо было судить, колониалистское «правосудие» поспешно (после трехлетнего ожидания!) подготовило слушание дела и в последний момент назначило дату процесса. Власти рассчитывали, что таким образом они смогут нас осудить прежде, чем будет мобилизовано общественное мнение. Эта операция была возложена на судью Катерино, а мы знали, что он был сообщником палачей, в контакте с которыми имел обыкновение «работать». Разве мог он позволить нам высказаться и разоблачить его друзей, а равно и политику, которой он так ревностно служил? Однако могли ли мы думать, что у деголлевского правительства хватит цинизма дать указание под предлогом «безопасности» слушать

дело при закрытых дверях, чтобы помешать нам публично ответить на оскорбления колониалистов и разоблачить убийц наших товарищей и тысяч других алжирцев?

Перед тем как было вынесено постановление о слушании дела при закрытых дверях, Ахмед Аккаш, секретарь Алжирской коммунистической партии, используя те несколько минут, которые нам предоставили для заявлений, сумел, несмотря на окрики и угрозы председателя суда и правительственного комиссара, непрестанно прерывавших его, высказать в немногих фразах то, что мы думали об этих методах: «Мы считаем,— говорит он,— что слушания дела при закрытых дверях требуют для того, чтобы помешать моим товарищам и мне, представляющим здесь Алжирскую коммунистическую партию, разъяснить нашу политику и, в частности, наше отношение к Фронту национального освобождения. Я заявляю, что Алжирская коммунистическая партия всеми силами поддерживает его борьбу... Мы требуем права публично ответить на оскорбления, которые нам публично наносятся. Нам говорят: «Вы бандиты, убийцы». Между тем меня, например, после ареста шесть дней и шесть ночей пытали в подвалах виллы Сесини. Там же находился другой алжирский коммунист Омар Джегри, арестованный вместе со мной и подвергавшийся чудовищным истязаниям. В апреле 1957 года он был еще жив. Что вы с ним сделали?.. Я обвиняю убийц Джегри в том, что они убили и Мориса Одэна. Мы, члены Алжирской коммунистической партии, борясь за национальное освобождение вместе с нашими братьями из Фронта национального освобождения, соблюдаем женевские конвенции, как об этом заявляет Временное Правительство Алжирской Республики. Но земля Алжира залита кровью!.. Подлинные террористы не в нашем лагере, а в лагере тех, кто вот уже больше века навязывает Алжиру свои законы. Я — алжирец и горжусь моей родиной. Я полон ненависти к тем, кто несет ответственность за бедствия моей страны, но полон чувства солидарности по отношению к моим братьям, французским трудящимся...»

«Довольно! Вы оскорбляете французскую армию!» — орал председатель суда. «Прекратите вашу пропаганду!» — ревел правительственный комиссар.

Никто из нас не строил себе иллюзий относительно «правосудия», которое предназначалось для нас, ибо единственной миссией этих судей, как и парашютистов, было подавлять стремления алжирцев к свободе. Тем не менее я, в свою очередь, сказал, что эти офицеры покроют себя несмываемым позором, если осудят подвергавшихся пыткам алжирских патриотов, не дав им даже высказаться. Это было уже слишком. Председатель, потеряв самообладание, приказал стражникам, которые стояли возле нас, готовые вмешаться, надеть на нас наручники и вывести из зала. Заготовленное постановление о слушании дела при закрытых дверях было оглашено. Солдаты и полицейские очистили зал от публики и журналистов. Теперь нас можно было безопасно судить.

С этой минуты мы решили больше не раскрывать рта. Отвечать на вопросы значило бы лишь придать видимость законности этой пародии на судебный процесс. Таким образом, в течение двух дней мы оставались немы перед лицом судей в военной форме, приходивших в бешенство от презрения и иронии, которые они чувствовали в этом молчании. Время от времени председатель суда вне себя от ярости разражался бранью, которая гулко отдавалась в пустом зале, отделанном в старомодном вкусе. За его спиной, над высокими креслами, обитыми зеленой кожей, возвышалась Марианна — аллегория французской республики. Ее каменные глаза видели сотни раз, как судьи этого пошиба приговаривают к смертной казни алжирских патриотов. Мы не отвечали на оскорбления и прервали тишину лишь один раз, крикнув хором, когда публику пустили в зал выслушать приговор: «Да здравствует национальная независимость Алжира!» О, с какой ненавистью посмотрели на нас судьи в эту минуту!

После этих драматических дней перевод в Ренн, несмотря на разлуку с товарищами и с Алжиром, был для меня как бы передышкой. При мысли о том, что я больше не увижу стен Барберус и злых лиц надзирателей, не услышу больше их ругани, я, хоть и знал, что попаду в другую тюрьму, на минуту почувствовал себя чуть ли не свободным. Обстановка в реннской тюрьме сама по себе была неважная. Это — старое здание, темное и обшарпанное, населенное полчищами крыс и мышей. Заключенные даже называли ее в шутку «крысиной казармой». Но уже то, что у меня была кровать, доска, заменявшая стол, и доска, служившая полкой, и я мог купить в тюремной лавке немного мяса и яиц, казалось мне после Барберус давно забытой роскошью. Однако меня держали в такой строгой изоляции, что я не мог общаться ни с одним другим узником-алжирцем. В продолжение четырех месяцев я оставался в одиночке и не видел никого, если не говорить о свиданиях с женой, разрешавшихся мне время от времени. Эти свидания были для меня огромной радостью, которой я не знал в течение долгих лет.

Итак, я оставался один, пока протест заключенных-алжирцев и вмешательство извне не вынудили администрацию тюрьмы поставить меня в такие же условия, как и остальных. Несколько месяцев до побега я жил в необычайной атмосфере. У нас были организованы занятия по французскому и арабскому языкам, а также по истории, и доморощенные «преподаватели» учили читать и писать учеников в возрасте 25—40 лет. Разумеется, мы много говорили о политике, несмотря на запрещение тюремной администрации. Пока буду жив, я не забуду моих товарищей по несчастью, окру-

жавших меня горячей привязанностью и щедро даривших мне все богатства своей дружбы. Но слово «дружба» здесь слишком слабо. Мы называли друг друга братьями и действительно жили, как братья.

В Ренне я тоже имел очные ставки с четырьмя убийцами Одэна, офицерами-парашютистами, которые пытали и меня. Впрочем, официальной причиной моего перевода во Францию и была необходимость снять с меня показания по этому делу. Итак, в кабинете следователя я вновь увидел всех четверых. Они были не способны смотреть мне в глаза, но, по-видимому, не очень-то беспокоились. Да и чего им было бояться? Деголлевское правительство, вероятно, желая показать им, что не таит зла против них за то, что они покрыли позором французскую армию, вознаградило их за рвение, повысив в чинах этих палачей. Шарбонье и Ирюлен, которые четыре года назад были всего лишь лейтенантами, стали капитанами, а Деви и Фолька, которые были тогда капитанами, произвели в майоры. Что им оставалось, как не отрицать факты, не лгать? «Пытки? Их не было и в помине. Убийство Одэна? Сказки». Что оставалось следователю, как не делать вид, что он принимает эти заявления всерьез? С убийцами-офицерами он был изысканно учтив, как бы давая им понять, что все это только формальность, а со мной говорил ледяным тоном, как блюститель закона со злоумышленником, едва сохраняя вежливость. Такое поведение говорило само за себя. Его одного было более чем достаточно, чтобы доказать неискушенному человеку сообщничество между «правосудием», которое представлял этот следователь, и заплечных дел мастерами. Если расследование все же было начато, то только под давлением общественного мнения, но общественнное мнение не могло принудить французское правительство арестовать и осудить убийц. Ведь это было бы равносильно для него осуждению своей собственной политики, ибо именно от правильства исходили указания о физическом унижении патриотов и о пытках, указания, которые и выполняли его слуги в Алжире.

После этих очных ставок, нарушивших на несколько дней монотонное течение времени, для меня снова началось знакомое каждому узнику странное ожидание какого-то события, которое перевернуло бы его жизнь, но которое все не происходит. Большинство из нас мечтало о побеге. Я в течение нескольких месяцев готовился к нему, изучая ночное патрулирование стражников, замечая, в какие часы они проходят и сколько времени им требуется, чтобы дойти от одного крыла тюрьмы до другого. Я собирал также обрывки бечевок, намереваясь сделать из них веревку, и прятал старые лезвия ножей, при помощи которых можно было бы одним способом, известным заключенным, перепилить решетку.

Все это, однако, оказалось ненужным, потому что я нашел удобный случай для побега в больнице Поншайю, куда меня поместили в сентябре 1961 года. Опередив на несколько недель Ахмеда Аккаша, которому тоже удалось совершить побег, я обманул бдительность охранявшего меня полицейского и распилил решетку в моем окне. 20 октября около трех часов утра я перелез через ограду больницы и спрыгнул вниз. По эту сторону ограды была свобода и борьба, которую мне предстояло возобновить.

АНРИ АЛЛЕГ

Январь 1962 г.
г. ПРАГА

КАРЛ ЭРИХ МЮЛЛЕР *(ГДР)*
Из цикла «Алжир»

БОРИС ПОЛЕВОЙ

СВЕТЛЫЙ ТАЛАНТ

К 80-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ МАРИИ МАЙЕРОВОЙ

Как-то недавно, в Праге, один из добрых чешских друзей показал мне старую фотографию. На ней с редкой удачей была запечатлена площадь, вся заполненная людьми в одеждах начала века, штурмующими какое-то массивное здание с торжественным порталом, утвержденным на толстых колоннах. Чувствовалось, толпа эта кипит в крайней степени возбуждения. Возле самого здания высоко приподнятая чьими-то руками юная девушка с развевающимся красным флагом в руке. Обернув к толпе свое горящее вдохновением, прекрасное лицо, она к чему-то зовет, и видно, что люди откликаются на ее клич.

— Тебе это никого не напоминает? — спросил коллега, показывавший мне эту фотографию.

— Пожалуй, «Свободу» Делакруа.

Тогда мне дали лупу.

— Рассмотри как следует

И вдруг эта девушка показалась мне очень знакомой. Ну да, то же круглое, милое славянское лицо, те же мягкие, пышные и так же коротко остриженные волосы, тот же короткий, энергичный нос, те же глаза... Но костюмы начала века, толпа, красный флаг... Может ли это быть?

— Неужели Мария Майерова? — неуверенно спросил я.

— Ну да. Это тысяча девятьсот пятый год. Митинг у здания парламента, а «Свобода» — это же Марженка, наш общий друг.

Давно, в юные годы прочел я грустную и страстную книгу Марии Майеровой «Прекраснейший мир», повесть о несчастной девушке, пытающейся вырваться из мещанской среды на широкую дорогу борьбы. И уже тогда заинтересовался писательницей. Замечательный роман «Сирена», по праву считающийся одной из лучших книг о рабочем классе, прочтенный позже, заставил меня полюбить мощный реалистический талант писательницы. А познакомились мы в день освобождения Праги, когда ликующие пражане бросали желтые одуванчики — эти первые весенние цветы — на пыльную, промасленную броню советских танков и украшали стволы танковых пушек веночками из липовых ветвей. Тут, среди ликующих людей, празднующих первые часы своего освобождения от гитлеровского гнета, встретили мы с Сергеем Крушинским взволнованную женщину в традиционном чешском костюме. Она стояла на обочине тротуара. В руках у нее был графин сливовицы Смеясь, шутками отвечая на шутки, она угощала этим богатейшим напитком советских танкистов. Растроганные ребята, только что проделавшие свой последний легендарный марш через чешские Рудные Горы, жали ей руки. Она стояла растроганная, смеющаяся, со слезами на глазах...

Лишь после мы узнали о том, что это знаменитая писательница Мария Майерова, книги которой так волновали нас. С тех пор знакомство переросло в дружбу. Я с нетерпением прочитываю все, что выходит из-под ее пера. Мне казалось, что я достаточно знаю писательницу и ее биографию.

И все-таки старинное фото, показанное мне недавно, поразило своей неожиданностью.

Мария Майерова — художник большого, разностороннего, многогранного дарования. Но в какой бы литературной ипостаси она ни представала бы перед читателем, что бы ни выходило из-под ее пера — большой ли роман или маленькая новелла, путевые заметки, критическая статья или просто газетная корреспонденция, или короткая реплика, поданная на злобу дня,— все это написано всегда своим особым, майеровским почерком, который не спутаешь ни с чьим другим, проникнуто майеровским, активным, страстным восприятием жизни, отмечено глубокой народностью.

Майерова выросла в доме своего отчима, рабочего-столяра Как-то сразу после войны мы ездили с ней в старинный центр чешской металлургии, который старожилы его и конечно сама Мария любовно называют «наш черный Кладно» Там, на заводе, носящем теперь имя маршала И С. Конева, мы еще застали потомственных здешних пролетариев, которые помнили, как юная Марженка в ситцевом платьишке приносила отчиму в цех, к мартену, еду и пиво на обед. Со знаменитой писательницей они разговаривали, как с доброй подружкой, отпускали соленые шуточки, хлопали ее по плечу

Когда наблюдаешь ее в закопченных цехах, возле печей, время от времени исторгающих потоки расплавленного, белого, как манная каша, металла, или среди горняков шахты «Мария», названной так в ее честь, или за столом среди крестьян сельского кооператива, или в учительской среди педагогов, или в кулуарах какого нибудь международного конгресса — всегда как-то исчезает ощущение, что перед тобой писательница с мировым литературным именем. Всюду она своя среди своих, доброжелательная, внимательная, любопытная, понимающая.

Искусство слушать людей столь же верно отличает истинно большого художника, сколь болтливость и стремление все время торчать в центре беседы изобличают литератора поверхностного, пустопорожнего Ах, как умеет слушать людей Мария Майерова! Под взором ее внимательных, заинтересованных и в то же время требовательных глаз даже застенчивый или скрытный человек поневоле разговорится. И расскажет ей, писательнице, то, о чем, быть может, и не рассказал бы самым близким. И думается мне, что именно это ее счастливое умение слушать людей, проникаться их заботами, волнениями, переживать их беды, радости дает писательнице возможность в своих книгах точно рисовать любую среду, характеры, прослеживать душевное движение людей самых различных социальных слоев.

Но ближе всего знает, глубже всего любит она рабочих людей своей страны Образы женщин-тружениц, нарисованные во многих ее книгах, неповторимы. Несомненно способствует этому и то, что Мария еще в юности приобщилась к социалистическому движению, активно участвовала в нем уже в 1905 году, когда в ответ на бурю первой русской революции поднялся и чешский рабочий класс. Она была делегатом III конгресса Коммунистического Интернационала, посетила в те дни Москву, слушала Ленина, и, когда социал-демократическая партия Чехословакии раскололась, она встала с теми, кто организовывал славную боевую Коммунистическую партию Чехословакии.

С тех же давних пор Майерова — крепкий, верный друг Советского Союза, которому она посвятила много статей, очерков, целые книги.

«Я приветствую богатырский народ — сынов революции! — писала она в статье «Победоносное шествие» — Посмотрите, как он при помощи волшебства силы вдохновения и непреодолимости воли совершает чудеса. Он поднимается ввысь вместе со своими творениями — целый мир с изумлением и восхищением следит за тем, как этот народ своими руками воздвигает новые города, новые заводы, стадионы, выращивает леса, как его воле покоряются течения рек и разливающиеся зеркала новых морей, как его мысли и чувства вдохновляют миллионы передовых умов и героических сердец!»

А какие слова находит она для того, чтобы охарактеризовать гигантскую творческую, созидательную работу нашей партии! «...Едва достигнув одной великой цели, Коммунистическая партия Советского Союза переводит стрелку на новый путь и с новой неисчерпаемой силой берется за новые проекты, точно сформулированные и целенаправленные. И советский народ вновь бросается в наступление, во имя счастья и процветания будущих поколений. Его пример, как электрический ток, проходит через сознание рабочего класса всех стран».

Как свежо звучат эти уже давно написанные слова, в особенности сейчас, когда советские коммунисты приняли свою новую Программу!

Эти строки пишутся к восьмидесятилетию прекрасной писательницы. Но я, человек, хорошо с ней знакомый, совсем недавно видевший ее, как всегда увлеченную новыми планами, замыслами, интересующуюся абсолютно всем на свете, участвующую во множестве различных больших и малых общественных дел, как-то сам внутренне не верю в эту дату. У старых коммунистов Чехословакии есть свои обычаи. Товарищам, сколь бы высокий пост они ни занимали, они всегда говорят «ты» и называют друг друга по имени. Помня этот обычай, мне хочется от имени миллионов советских почитателей светлого и боевого таланта Марии Майеровой, от имени множества ее советских друзей и коллег сказать:

— Будь здорова, дорогая Марженка! Мы ждем твоих новых книг, мы рады видеть твою милую улыбку, слышать твои боевые, пламенные слова.

В. КАВЕРИН

О ДИККЕНСЕ

К 150-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ

Диккенс для меня — это исступленное детское чтение в маленьком провинциальном городке, это первая в моей жизни библиотека, где под висящей керосиновой лампой стояла гладко причесанная женщина в очках, в черном платье с белым воротничком. Я пришел за «Дэвидом Копперфильдом», и, хотя барьер был слишком высок — по крайней мере, для меня,— а дама в белом воротничке показалась мне необыкновенно строгой, я принудил себя остаться Так началась диккенсовская полоса в моей жизни, полоса, которая, в сущности, продолжается и до сих пор. Как же иначе объяснить то чувство изумления, с которым я узнаю своих знакомых, а иногда и самого себя в диккенсовских героях?

■

В мировой литературе найдется немного писателей вошедших с такой силой и определенностью в русскую культуру, как Диккенс. Еще в 1844 году «Литературная газета» сообщала, что «имя Диккенса более или менее известно у нас всякому образованному человеку». Кто не знает о глубоких расхождениях между «западниками» и «славянофилами»? К Диккенсу, однако, и те и другие относились с равным восторгом. Белинский не сразу оценивший его, написал В. П. Боткину (в 1847 году), что «Домби и сын» — «это что-то уродливо, чудовищно прекрасное» и что такого богатства фантазии он «не подозревал не только в Диккенсе, но и вообще в человеческой натуре». Чернышевский не мог оторваться от Диккенса и не занимался ничем другим, пока на письменном столе лежали его романы. Писарев проницательно поставил Диккенса рядом с Гоголем и Гейне; Салтыков-Щедрин теоретически обосновал превосходство Диккенса над Гонкурами и Золя.

Что же сказать о советском периоде, когда Диккенса в течение сорока лет издают в миллионах экземпляров, переводят, изучают и снова переводят и издают? На каждом прилавке, в каждом уголке страны лежат его книги. Горький в разговоре со мной однажды шутливо назвал себя «великим читателем земли русской». В этом, продолжавшемся всю его жизнь, действительно «великом чтении» одно из первых мест занимали книги Диккенса, «постигшего труднейшее искусство любви к людям».

■

В середине двадцатых годов режиссеры Козинцев и Трауберг предложили Юрию Тынянову и мне написать сценарий, действие которого должно было происходить в одной комнате. Мы написали этот сценарий. В основе его лежит история убийства, происходящего вне фильма, за сценой. Три разные точки зрения высказываются героями сценария, и перед зрителями проходят эти три совершенно не похожие друг на друга и даже во многом противоположные варианты. Когда сценарий был закончен — мы назвали его «Окно над водой», и он до сих пор хранится в моем архиве,— режиссеры решили что самый принцип киноискусства, его вездесущность, его возможность проникать всюду, нарушен в этом замысле и что поэтому не стоит тратить на него время и силы.

Теперь мне кажется, что режиссеры были неправы. Недавно я смотрел превосходную картину Сиднея Ланета «Двенадцать разгневанных мужчин». Действие происходит в одной комнате. В основе — история убийства, происходящего вне фильма, за сценой. Перед зрителями — двенадцать присяжных, двенадцать характеров. Непохожие и даже противоречащие друг другу варианты происшедшего за сценой убийства открываются один за другим. Вездесущность кино, его способность проникать всюду ограничена здесь, она почти не существует. Тем не менее картина не только удалась, но представляет собой в известной мере новое слово в киноискусстве.

■

Мне могут возразить, что «Двенадцать разгневанных мужчин» — звуковой фильм, а в середине двадцатых годов киноактеры молчали Да, человеческий голос облегчает задачу, хотя еще недавно мы видели «Голый остров», где плеск воды оказывается более выразительным, чем человеческое слово. И это естественно, потому что плеск воды говорит именно то немногое, что должен сказать человек.

Нет, дело не в том, что герои «Двенадцати разгневанных мужчин» говорят и даже говорят много. Новое заключается в том, что этот фильм представляет собой убедительный пример вторжения прозы в кино — того вторжения, о котором мы читали в интересной статье Евг. Габриловича, опубликованной «Литературной газетой». Это вторжение или, лучше сказать, завоевание происходит за последние годы с нарастающим,

многообещающим размахом. Замечу, что речь идет не о скрещении жанров. Еще Чаплин смело перепутал их, показав (хотя бы в «Диктаторе»), что одна и та же картина может быть сатирической комедией, фантасмагорией психологической драмой. Речь идет о скрещении искусств. Проза ворвалась не только в кино. То, что у Бернарда Шоу было в скобках, было ремаркой, ворвалось на сцену и победоносно распоряжается действием. В пьесах Артура Миллера герои рассказывают о себе, не только когда это нужно им, но когда это нужно автору. Время, которое недавно было одним из самых незыблемых законов драматургии, сдвинуто. Еще Пристли в пьесе «Время и семья Конвей» предложил зрителям посмотреть сперва второй акт, а потом четвертый. «Хоры» в пьесах Алексея Арбузова — не что иное, как псевдоним автора, который более осведомлен, чем его герои.

Эти примеры можно умножить до бесконечности. В разных аспектах они говорят об одном: влияние прозы на кино и театр усиливается с каждым годом.

■

Я не стану делать широких сопоставлений, тем более что они далеко увели бы меня от Диккенса, о котором я еще почти ничего не сказал. Должен заметить, однако, что подобное явление характерно и для науки. Одна область смело вторгается в другую, находящуюся на противоположном полюсе человеческих знаний. Археологические находки датируются с помощью углерода 14. Физика исправляет историю, проникая в глубины времени на двадцать тысяч лет в то время как археология располагает достоверными данными лишь за какие-нибудь пять тысяч лет. На линиях скрещений вспыхивают новые открытия, догадки, обобщения фактов.

■

Вернемся к Диккенсу, который вошел в мировую литературу, когда проза еще не была такой силой. Для того чтобы завоевать театр, кино, а в последнее время и телевидение, она должна была в свою очередь подвергнуться влиянию театрального начала. Она должна была воспользоваться этим началом, переработать и расширить его. И в этом процессе, происходившем на протяжении почти всего XIX века, Чарльзу Диккенсу следует отвести одно из первых мест.

Проза XVIII века была (за редкими исключениями) лишена объемного, трехмерного, реалистического героя. Даже герои великого Филдинга в конечном счете представляют собой двигающиеся формулы, которые автор то рекомендует, то порицает. Фонвизин с его «Недорослем», с его простаковыми, скотиниными и правдиными находился на литературной магистрали века.

Диккенс был одним из изобретателей трехмерной, объемной прозы, одним из создателей героя, который живет сам по себе, независимо от воли автора. Для этого открытия ему понадобилось многое и прежде всего — театр.

■

Книга английского литературоведа Хескета Пирсона называется «Диккенс. Человек, писатель, актер». Это действительно хорошая книга. Сила Пирсона — в его современности. Он пишет о Диккенсе как человек середины XX века. Он прекрасно понимает, что́ в Диккенсе интересно и важно сегодня, и одновременно нигде не упускает возможности объяснить причины и следствия его фантастического успеха. Для него важно (как в данном случае и для меня), что Диккенс был актером. Не следует понимать это в узком, профессиональном смысле слова, хотя Диккенс действительно «часами сидел перед зеркалом, тренируясь в умении садиться, вставать, раскланиваться, придавать своему лицу то презрительное, то обаятельное выражение, изображать любовь, ненависть, отчаяние, надежду». Болезнь помешала ему явиться на пробу в Ковент-Гарденский театр, а к началу нового сезона он был уже преуспевающим парламентским репортером. Любопытно, что парламент представился ему прежде всего театром — и далеко не первоклассным: «Никогда еще, пожалуй, наш политический «театр» не мог похвастаться такими сильными актерами, как в наши дни... Нельзя сказать, что, устраивая на потеху всей страны бесплатные представления, да еще когда настоящие театры закрыты, эти люди внушают уважение к своей высокой профессии».

Едва научившись грамоте, он вообразил себя драматургом. «Это мои первые шаги,— писал он об «Очерках Боза»,— если не считать нескольких трагедий, написанных рукой зрелого мастера лет восьми-девяти и сыгранных под бурные аплодисменты переполненных детских».

«Записки Пикквикского клуба» должны были, по замыслу издателя, представлять собой серию приключений членов охотничьего клуба Однако на первое место Диккенс сразу же выдвинул странствующего актера Альфреда Джингля, одного из истинно диккенсовских героев.

Нечего и говорить о том, какую роль в первом и, быть может, лучшем романе Диккенса играет сценическое начало. По мнению Пирсона, «эта книга содержит наиболее блистательные в английской литературе юмористические сцены». Характерно, что сразу же после «Записок Пикквикского клуба» Диккенс непосредственно обратился к театру, написав два фарса и комическую оперу «Сельские кокетки». Но еще более характерно, что это были очень плохие пьесы. Так думал и автор, заметивший незадолго до смерти, что если бы все экземпляры оперы хранились в его доме, он охотно устроил бы пожар, лишь бы опера сгорела вместе с домом.

В. КАВЕРИН
О ДИККЕНСЕ

Я думаю, что по меньшей мере одно условие необходимо, чтобы написать жизнь необыкновенного человека. Нужно найти ключ к его биографии, ту психологическую отгадку, которая поможет «открыть» характер понять его главные черты, определяющие свойства. Пирсон убежден — и с ним нельзя не согласиться,— что для Диккенса эта отгадка заключалась в том, что он был актером и прежде всего актером «Заветной мечтой его юности было сделаться профессиональным актером, и о том, что это не удалось, он горько сожалел в зрелые годы. К нашему счастью, его сценический талант проявился в создании литературных героев, от которых почти всегда веет чем-то специфически театральным и которые написаны так выпукло и живо, что, если бы автору хоть десяток из них удалось сыграть в театре, он был бы величайшим актером своего времени... Трудно представить себе актером Филдинга или Смоллета Теккерея, Гарди, Уэллса, но Диккенс был актером с головы до пят. Его герои, его юмор, его чувства сценичны, он живо подмечает причудливые стороны человеческой натуры, он умеет воспроизводить их с поразительной точностью и, как истинный Гаррик или Кин, возвращается к ним снова и снова. Он не пишет, а ставит бурю как поставил бы ее на сцене гениальный режиссер. Его герои и героини так и просятся на подмостки. Некоторые сцены его как будто созданы для театра... В наши дни он стал бы королем киносценаристов, и Голливуд лежал бы у его ног».

■

О том что Голливуд лежал бы у ног Диккенса задолго до Пирсона написал Сергей Эйзенштейн. В смелой и оригинальной статье «Диккенс, Гриффит и мы» он не только прочел «Оливера Твиста» как сценарий, показав необычайную кинематографическую пластичность героев Диккенса, но открыл у него целый трактат о принципах монтажного построения сюжета. И действительно в XVII главе «Оливера Твиста» Диккенс излагая свой композиционный принцип, уверенно перекидывает мост между прозой и театром. Если бы в те времена существовало кино — перед нами был бы прочный теоретически обоснованный мост между кино и прозой. Эйзенштейн убедительно доказывает, что Гриффит не только знал этот «трактат», но энергично использовал его в собственной работе.

■

Может показаться парадоксальным, но многочисленные инсценировки романов Диккенса не удаются именно потому что он «актер с головы до пят, а его герои, его юмор, его чувства сценичны» (Пирсон). Театр входит в его прозу как органическое начало, и это могущественное художественное средство каждый раз отработано, использовано до конца. Нельзя сделать из театра театр, как нельзя снова родить ребенка.

Кстати сказать, я думаю, что возникновение внутреннего монолога, играющего такую заметную роль в современной литературе, тоже в известной мере связано с вторжением театра в прозу. Вспомним, например, ту знаменитую страницу «Холодного дома», где в ткань объективного повествования вдруг врывается негодующий голос «Умер, ваше величество! Умер, леди и джентльмены! Умер, преподобные, достопочтенные, высокочтимые и совсем не почтенные господа всех званий и рангов. Умер добрые люди, у которых еще не окаменело сердце. Умер, как умирают вокруг нас каждый день!..»

Правда, это внутренний монолог автора а не героя, но по своей структуре, по тональности — это именно монолог. Я не хочу сказать, что этот художественный прием близок к тому «потоку сознания», который со времен Джойса занял заметное место в мировой литературе. Но, может быть, это как раз и хорошо, что он хотя и родствен, но далек от него.

Мне кажется, что сейчас в литературе идет борьба между внутренним монологом и объектирным повествованием и что, например, Грэхем Грин умело соединяет в своей работе оба художественных приема.

■

Случалось ли вам, сидя в театре, почувствовать, что между сценой и зрительным залом как бы возникают и натягиваются нити, какой-то трепет проходит по рядам общий интерес, общее волнение передается от одного зрителя к другому и мощной волной идет на сцену, где происходит то, что мы *узнаем*. А узнаем мы себя, свои чувства, свои горести свою радость. Вот основа диккенсовского успеха. В его книгах, написанных десятки лет назад, в его «театре» мы находим себя.

Недавно в Англии вышла книга некоего мистера Кокшута, который пытается доказать, что Диккенс был «фарисей и сноб», «человек с грубым умом», «невежда, одержимый нездоровым интересом к насилию». Не думаю, что эти смешные и крайние суждения общеприняты сейчас в Англии. Но и мне случалось слышать от англичан, что они почти не читают Диккенса, что он кажется им старомодным. Так пускай отдают его нам! Мы давно научились не замечать его торопливых развязок, его сентиментальности, его занимательности во что бы то ни стало. У нас он нужен всем — читателям и писателям, мальчикам и девочкам, завоевателям космоса рабочим, студентам и пенсионерам.

НАШИ ГОСТИ

ДЖЕЙМС ОЛДРИДЖ

ГЛАВНОЕ — ПОНИМАТЬ СВОЮ ЭПОХУ

— Какие традиции кажутся вам наиболее важными для молодой английской литературы?

— Как правило, об английских писателях нельзя сказать, что они сознательно следуют той или иной литературной традиции. Да и сами по себе традиции могут подчас становиться очень опасными для литературы, особенно если их неверно понимают. Ведь иногда необходим и разрыв с традицией, и без разрыва с некоторыми традициями литература просто гибнет. Поэтому, с моей точки зрения, молиться опасно даже и на классические традиции. Я считаю, что в литературе вообще не должно быть поклонения никаким «богам». Поклоняться писатель должен только самой жизни.

Влияние современности проявляется в творчестве каждого из наших писателей очень по-разному. А литературные процессы и вообще-то протекают очень сложно и причудливо. Конечно, невозможно представить себе такого писателя, у которого все поступки героя вытекали бы только из чисто социальных мотивировок. Но несомненно: чтобы стать в наше время действительно хорошим писателем, нужно быть марксистом, уметь мыслить диалектически, потому что диалектика — основа основ романа. Да и не только романа — всякого произведения искусства. Писатель должен видеть жизнь, и притом его видение жизни должно быть диалектическим, он должен уметь проанализировать ее как марксист. Это учение — самое мощное орудие в руках писателя, самый точный инструмент, который он только может получить в свое распоряжение. И мне кажется, что разобраться в этом важней всяких классификаций литературных традиций.

Термин «классические традиции» включает в себя, по-моему, какие-то высшие достижения всего человечества. Классиками становятся художники, правильно понявшие свою эпоху. И я считаю, что самое главное для писателя — это правильно понимать свое время. И те сегодняшние писатели, которые пишут, глубоко чувствуя и понимая современность, тем самым верны классическим традициям, даже если сами они и не думают об этом.

Я считаю, что самое главное сейчас — показать человека, который действует сознательно. Потому что читатель на Западе привык к героям, поступками которых движут, в соответствии с психологией Фрейда, лишь подсознательные побуждения.

Сам я никогда не расстаюсь со своими героями до наступления момента, когда они прозревают, открывают мир. Каждого из своих героев я привожу к той точке, когда мир для них проясняется и они начинают, так сказать, понимать, что к чему.

У нас многие проходят этот путь. Помню, когда мне было 15 лет, я верил в бога. И когда один из друзей доказал мне, сделав это, правда, очень осторожно, невозможность существования бога, то я всю ночь промолился, чтобы бог сохранил мне веру в него. А утром все мысли о религии представились мне чепухой.

Из стенограммы беседы в редакции журнала «Иностранная литература».

В течение долгого времени мне рассказывали о социализме, коммунизме, марксизме. Сначала я сопротивлялся, упорствовал. Но мой знакомый, коммунист, настойчиво проводил свою линию. Он терпеливо объяснял мне устройство жизни, как сам его понимал. И я помню момент, когда мне вдруг все стало ясно и я впервые понял мир. Диалектика называет такой момент резким переходом количества в качество.

Я горжусь, что принимаю участие в приближении будущего, потому что верю в него.

Меня толкнула к рабочему классу сама жизнь, хотя мой отец был интеллигентом. В юности я жил и трудился, как рабочий парень. Я знаю рабочий класс, я жил его жизнью, но если бы я считал своим долгом писать о рабочем классе только поэтому — это было бы, на мой взгляд, оскорблением для рабочих. Если представитель рабочего класса пишет о своем классе, о его жизни только потому, что чувствует себя обязанным сделать это, только из чувства долга, то это — оскорбительно.

Такие английские писатели, как, например, Силлитоу и Уэскер, пишут о своей работе и о рабочем классе не только потому, что хорошо знают эту среду, но еще и потому, что хотят понять свой класс, разобраться в своей эпохе. Это не дается без усилий. Если вы посмотрите пьесу «Вкус меда» Шейлы Делани, имевшую шумный успех, то увидите, собственно, не рабочих, а людей, являющихся в обществе отщепенцами,— проституток, бродяг. Хотя все действие пьесы проходит в рабочей среде, вернее, на фоне жизни рабочего класса. У нас эту пьесу расценивают даже как своего рода современную английскую разновидность «На дне».

Но если вы прочтете пьесу, то увидите, что это довольно тонкая вещь, изображающая драму молодой девушки, дочери проститутки. На сцене же вся тонкость пьесы пропадает. Она поставлена грубо, вульгарно, постановка слишком уж выпячивает блатную экзотику.

Но зритель и идет на пьесу чаще всего именно потому, что критика широко разрекламировала ее постановку как спектакль, со всей обнаженностью рисующий жизнь «дна», людей, выброшенных из жизни. Такие постановки специально рассчитаны на самые вульгарные запросы буржуазного общества.

Арнольд Уэскер же, например, действует в своем творчестве методом, прямо противоположным методам постановщиков «Вкуса меда». Если эти постановщики, приспособляясь к низменным вкусам зрительного зала, стараются им в угоду принизить персонажей, прямо или косвенно представляющих рабочую среду, то Уэскер таких персонажей стремится приподнять.

Книга Алана Силлитоу «В субботу вечером, в воскресенье утром» правильно отражает некоторые настроения английской рабочей (и не только рабочей!) молодежи. Правда этот роман не в моем вкусе, я таких книг не люблю. Но когда читаешь ее, чувствуешь, что нигилизм и мятежный дух современной английской молодежи выражены в ней очень точно.

Чтобы правильно оценить эту книгу, нужно учесть многие факторы, расстановку классовых сил в Англии. Сам Силлитоу — хороший парень. Он все время учится, и тот факт, что он не перестает учиться и сейчас, когда к нему пришла известность, внушает надежду, что он может в будущем стать великолепным писателем. И я убежден, что он никогда не предаст интересы своего класса. Тем не менее по своим взглядам Силлитоу — совершеннейший анархист. До такой степени анархист, что отрицает буквально все и вся и ненавидит «их», а «они» — это представители не только любой власти, но и любого руководства: будь то правительство, профсоюзные руководители или владельцы предприятий.

— Как вы оцениваете место Силлитоу в современной литературе о молодежи?

— Я мог бы написать на эту тему целую статью. В ней я исходил бы, между прочим, из различий в представлениях о жизни Алана Силлитоу и французской писательницы Франсуазы Саган.

И Силлитоу, и Саган — оба, так сказать, выступают против общественной морали. Но каждый по-своему, причем у Силлитоу — выходца из рабочего класса — даже сама его аморальность становится в известном смысле силой: он восстает против существующих в Англии порядков, верит, что в жизни нужно бороться. Именно поэтому фильм по роману «В субботу вечером, в воскресенье утром» стал триумфом Силлитоу в Англии. Его спросили как-то: что он хотел сказать своим романом? И он ответил, что этой книгой он хотел бороться. Он не сказал, с кем, но — бороться, прежде всего бороться.

Франсуаза Саган стоит на совершенно иной точке зрения. Она пишет о тех, в чьи руки, по существу, и отдана послевоенная Франция. Она пишет о богачах, о крупной буржуазии, которым и служит вся система угнетения в классовом обществе. У них нет ни нравственных, ни религиозных убеждений, у них есть только деньги.

В книгах и Алана Силлитоу и Франсуазы Саган уделено большое внимание вопросам секса. И для западной литературы это — сложная проблема. Проклятая проблема, в значительной мере объясняющаяся большим влиянием фрейдизма. Влияние фрейдизма проникает у нас буквально во все поры духовной жизни и очень заметно сказывается на литературе.

Что касается меня, то я полностью отвергаю фрейдизм. Последние два года я подробно изучал фрейдизм, ознакомившись, в частности, и с фрейдистской литературой, написанной иезуитами. Надо признать, что они мастерски приспособляют фрейдизм к религии.

Чем же объяснить такое широкое распространение фрейдизма и, в частности, в среде английской молодежи? Я полагаю, что главное здесь — социальные причины. Фрейдизм «освобождает» молодежь от со-

знания необходимости отвечать за свои поступки, так как все и вся объясняет подавлением сексуальных инстинктов. Если следовать фрейдизму, то придется сказать, что молодой человек не может отвечать за свое социальное поведение, ибо и в его основе тоже — половые инстинкты. Фрейдизм учит распознавать лишь сугубо индивидуальные особенности психо-физического склада личности. Таким образом, фрейдизм нужен, прежде всего, для оправдания права личности на отказ от участия в общественной жизни.

Говоря об Алане Силлитоу, следует подчеркнуть, что он сохраняет тесную связь с рабочим классом. Рабочие в Англии читают мало. Не они были основными читателями романа Алана Силлитоу «В субботу вечером, в воскресенье утром», но они пришли на снятую по этой книге картину. Теперь и книга Силлитоу проникла в рабочую среду, и рабочие воспринимают ее как отражение своей жизни. И тем не менее изображение главного героя — самое слабое место романа. Артура с его анархизмом и нежеланием задумываться о будущем нельзя принимать за типичного представителя сегодняшней английской рабочей молодежи. Пример тому — сам Силлитоу, тоже выходец из рабочей среды. Он совсем не похож на своего героя — у него крепкая семья, он принимает активное участие в общественной жизни, участвует в кампании по борьбе за запрещение ядерного оружия. Да ведь, по существу, и большинство участников этой кампании составляют представители рабочего класса. Слишком много молодежи принимает участие в стачках, чтобы можно было не замечать этого факта и полагать, что английская рабочая молодежь, подобно Артуру, избегает политической деятельности.

— Не расскажете ли вы нам, над чем сейчас работаете!

— Хемингуэй любил охотиться за акулами. И побережье Флориды — самое подходящее место для этого. Каждый день Хемингуэй ездил в эти места и оттуда направлялся на охоту за акулами. А вечерами он возвращался и шел в прибрежный кабачок, чтобы поесть и отдохнуть. Но однажды посетители кабачка не увидели там Хемингуэя, он перестал заходить туда, и когда его спросили, почему он больше не приходит, он ответил: «Я люблю ловить рыбу, но не люблю говорить о ловле рыбы»...

Я не хочу оказаться невежливым, но я просто не люблю много говорить о своей работе. Моя будущая книга будет небольшой по объему, и я думаю, что она заинтересует советского читателя. Я пишу новый роман. Он посвящен отношениям между англичанами и русскими. Три четверти действия романа происходит на Северном полюсе, где оказались два совершенно изолированных от остального мира человека: англичанин и русский.

Пожалуй, мой англичанин — не совсем обычная личность, он богат, к тому же он арктический летчик и по характеру — типичный англичанин.

Роман начинается с того, что англичанин летит над Северным полюсом. Внизу он замечает какое-то темное пятно. Далее выясняется, что это потерпевший аварию самолет. Выбросившийся на парашюте раненый летчик оказывается русским.

По своему характеру эти двое в чем-то очень близки друг другу, и в то же время во многом — резко различны. Действие последней части романа развертывается в Советском Союзе. Я хочу, чтобы мой англичанин узнавал правду о Советском Союзе, видел не только то, что бросается в глаза, лежит на поверхности, но и причины ваших трудностей. И если даже что-то в вашей жизни и будет толкать его к неприятию ее, то хорошее, что он увидит в вашем народе, заставит его понять Советский Союз. В результате он приходит к принятию советской действительности.

По всей видимости, в романе будет затронута и проблема социалистической морали. Один из его персонажей — советская девушка.

Разумеется, в самом романе все будет гораздо сложнее. Я объясняю сейчас лишь самую общую схему романа, чтобы показать, каким путем иду к поставленной задаче, которая в общем такова: чтобы помочь людям на Западе узнать правду о Советском Союзе, необходимо прежде всего научить их проникать сквозь завесу лжи о нем. Основная мысль романа — люди должны научиться видеть за внешним, за случайным суть того, что делается в стране, в жизни ее народа. И я надеюсь, что мне удастся донести эту мысль — столь важную для понимания нашей эпохи — до читателя.

ИЗДАНО В СССР

БУДУЩЕЕ ЗАВИСИТ ОТ НАС

Анна ван Гог-Каульбах. Страна солнца. Перевод с голландского Г. Баумана, под редакцией И. Эльконин. Предисловие Л. Черной. Москва, Гослитиздат, 1961. 351 стр.

Ее первый роман вышел в 1896 году, последний — в 1958. Свыше 60 лет творческого труда, активной революционно-демократической деятельности — таков итог жизни Анны ван Гог-Каульбах (1869—1960), замечательной голландской писательницы. Большой радостью для нее было узнать, что книга «Страна солнца», ставшая ее последней книгой, переводится на русский язык.

Хотя действие романа развертывается в послевоенной обстановке, кровавые события недавнего прошлого бросают зловещую тень на настоящее. Из концлагерей возвращаются узники, изувеченные физически, сломленные морально, в газетах появляются списки убитых на войне. Навсегда разрушен семейный очаг музыканта Кунрада; разбита вера его дочери Мариан в духовную стойкость мужа, не выдержавшего пыток в гестапо и предавшего товарища; неисцелимо горе матери, потерявшей в войну двух сыновей.

Бывшие бойцы Сопротивления, молодые рабочие, все те, кто задумывается над судьбами своей страны, приходят к убеждению, что в буржуазной Голландии, в сущности, мало что изменилось после ее освобождения от нацистов. Сотрудничавший с немцами делец Вахтер становится крупным предпринимателем; служивший в армии оккупантов капрал Клаас Фервурт только изменил цвет мундира и ныне служит в голландской военной полиции. Офицер канадской армии Генри Дастер считает возможным жениться на молодой женщине и признать своим ее ребенка, если она отречется от матери-еврейки, погибшей в Майданеке, и переменит имя. Люди живут в нетопленых жилищах, голодают. На политическом горизонте вновь сгущаются тучи, голландские колонизаторы не хотят примириться с тем, что Индонезия обрела независимость, империалисты всего мира раздувают военный психоз.

«Наше будущее зависит от нас самих»— к этой мысли приходят и профессор истории Эрнст Схилтен, и студентка Лэни, и молодой рабочий Кейс. Надо бороться. Но в одиночку ничего не сделаешь. И Лэни с Кейсом вступают в коммунистическую партию, которая объединяет и направляет лучшие силы народа в этой борьбе за светлое будущее.

В романе «Страна солнца» много действующих лиц, много судеб, тесно переплетающихся друг с другом. Несмотря на трагическую участь некоторых героев, книга Каульбах заставляет читателя поверить в то, что эра всеобщего мира и благоденствия — не утопическая мечта, что эту мечту можно осуществить.

И. ВОЛЕВИЧ

ЧЕЛОВЕК ОСТАЕТСЯ УЗНИКОМ НА СВОБОДЕ...

Суад Дервиш. Анкарский узник. Перевод с турецкого и послесловие Р. Фиша. Москва, Издательство иностранной литературы, 1960. 131 стр.

Небольшая газетная заметка из раздела полицейской хроники дала прогрессивной турецкой писательнице Суад Дервиш материал для книги, в которой показаны многие стороны сегодняшней жизни ее страны. С глубоким волнением следит читатель за трагической историей интеллигента, столкнувшегося с суровой действительностью.

Студент медицинского факультета Васфи, единственный сын и единственная надежда матери, влюблен в молодую девушку Зейнеб. Но она отвергает любовь бедного студента и выходит замуж за старого богатого торговца. Васфи «убедил себя, что Зейнеб согласилась на этот брак по настоянию родителей, ради благополучной и обеспеченной жизни... Он знал, что она никогда не полюбит своего мужа, но почему-то был уверен, что она будет ему верна». И, услышав брошенные вскользь слова двоюродного брата о любовнике Зейнеб, Васфи в гневе, считая его клеветником, наносит смертельный удар.

...Двери тюрьмы закрылись за братоубийцей, чтобы вновь отвориться только через двенадцать лет. Заключенный вышел из анкарской тюрьмы, но и на свободе он остается узником — узником волчьих законов буржуазного общества.

Васфи не может вернуться к прежней жизни. Теперь в глазах «почтенных» буржуа он — бывший преступник, ему опасно дать даже работу дворника или уборщика мусора. «Он больше не был арестантом. Но жизнь воздвигла перед ним каменные стены, через которые он не мог перелезть, и снова заключила его в тюрьму. Этот голодный человек умирал от голода и усталости не по своей воле». Потеряв мать, которую сломило горе, не имея родственников, без копейки денег бывший интеллигент опускается до положения бездомного бродяги, попадает на самое дно.

Волчьи законы буржуазного общества, где основным мерилом человека являются деньги, уродуют и жизнь Зейнеб Жажда наживы превращает ее в алчную торговку, готовую ругаться из-за мелкой монеты. Она предстала перед Васфи «уродливой, страшной бабой, нацепившей золотые коронки на здоровые прекрасные зубы, чтобы выставить напоказ свое богатство».

Постепенно в Васфи возникает и начинает жить протест против социальной несправедливости Он понимает, что его судьба — не исключение в сегодняшней Турции.

Случай помогает Васфи найти работу и вырваться из стамбульских трущоб.

В романе Суад Дервиш нет положительного героя. Тема протеста, раскрытая писательницей в думах Васфи, не вырастает в тему борьбы с существующим строем Возможно, эту задачу она и не ставила перед собой или не могла поставить по цензурным соображениям — ведь правящие круги Турции понимают свободу печати в стране как свободу восхваления существующих порядков, а тех, кто разрешает себе критику в их адрес, как и прежде, бросают в тюрьмы.

Но, рассказав о тяжелой жизни многих своих соотечественников, талантливая писательница заставляет задуматься о необходимости изменения порядков на ее родине.

Г. САВИН

АРТЮР РЕМБО НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Артюр Рембо. Стихотворения. Перевод с французского. Вступительная статья Павла Антокольского. Составитель В. Тыщенко. Москва, Гослитиздат, 1960. 93 стр

В прошлой весной отмечалась девяностая годовщина Коммуны 1871 года Эта годовщина приобрела особый смысл, так как совпала с особенным годом, со всенародным обсуждением новой Программы нашей партии дума о будущем коммунистическом обществе ярко осветила и славную страницу, вписанную героями 1871 года в историю борьбы за коммунизм.

У советских людей, которым случается посетить Париж, само собою вошло в обычай среди бега парижских часов найти время постоять у стены кладбища Пер-Лашез — Стены коммунаров. И тогда многим

из нас приходят на память стихи. Но это не унылые строки кладбищенских элегий, а слова, где звучит и революционный гнев, и любовь к народу, и вера в будущее,— стихи поэтов Коммуны 1871 года. «Знаменательно,— пишет составитель французского сборника «Поэты Коммуны»,— что именно советский ученый, профессор Данилин посвятил себя тщательному исследованию поэзии Коммуны. Мы должны выразить ему особую признательность за его труды — мы обязаны им почти всем, что знаем, и широко ими пользовались».

Однако, если творчество Эжена Потье, Ж.-Б. Клемана, Луизы Мишель и многих других поэтов-коммунаров нашло у нас и исследователей, и переводчиков, то их современник, великолепный поэт Артюр Рембо, лучшие стихи которого насыщены дыханием 1871 года, до последнего времени не находил себе настоящего места в советской культуре. Даже в книге Ю. И. Данилина «Антология поэзии Парижской коммуны 1871 года», где восстановлены давно забытые имена многих и многих певцов Коммуны, об А. Рембо сказано так: «Артюр Рембо (1854—1891) — поэт, известный декадент, по-видимому, принял участие в Коммуне, но в Париж попал уже накануне ее падения». Эта характеристика отражает отношение к А. Рембо, господствовавшее до последнего времени в нашем литературоведении.

Маленькая книжечка «Артюр Рембо», выпущенная Гослитиздатом, всем своим содержанием полемизирует с подобной оценкой одного из замечательных французских поэтов.

Вводная статья П. Антокольского сливается в одно целое с его переводами из А. Рембо, образующими основной состав книги. Остальные переводы, несмотря на многочисленность переводчиков (В. Брюсов, А. Арго, Н. Банников, А. Кублицкая-Пиотух, Б. Лифшиц, Г. Петников, В. Парнах, И. Эренбург), почти нигде не нарушают художественного единства сборника.

Замысел книги определяется стремлением освободить поэтическое наследие Артюра Рембо от односторонних толкований. В своей статье П. Антокольский возражает против настойчивых попыток превратить А. Рембо то в поэта-эклектика, то в кающегося богохулителя, то в анархиста и социального отщепенца, то просто в чудаковатого неудачника.

Нельзя без горечи вспоминать о том, как, появившись в 1871 году, семнадцатилетним юношей, в Париже с ворохом рукописных стихов и сразу получив признание у самых различных мастеров поэзии — среди них у В. Гюго и П. Верлена,— молодой А. Рембо уже через несколько лет навсегда порывает с литературой и предается бесцельным скитаниям по Европе, становится грузчиком в Марселе, учителем в Лондоне, циркачом в Скандинавии; как, заброшенный судьбою в Африку, он пытается сколотить себе состояние, выступает то агентом торговых фирм, то неудачливым дельцом на свой страх и риск; как, наконец, опустошенный духовно, искалеченный физически, возвращается он на родину — только затем, чтобы умереть на койке марсельского госпиталя. Нельзя без горечи вспоминать о литературных блужданиях Рембо, о том, как после прекрасного начала его творческой деятельности, к которому относится основная часть его стихов, юноша-поэт, еще недавно мечтавший о коммунистическом обществе и даже набрасывавший план конституции этого общества, начинает метаться от магической зауми к изобретательству в области «цветного слуха», к религии и как в таких метаниях постепенно иссякает его поэтический дар.

Но этот поэт, до смерти замученный условиями буржуазного существования, эта поэзия, до смерти заласканная декадентством 70-х годов, в свою лучшую пору оставили такой отчетливый след в истории гражданской лирики, что недаром передовые поэты современной Франции считают А. Рембо своим предтечей; и во вступительной статье П. Антокольский убежденно и убедительно показывает, что к такому восприятию стихов А. Рембо есть все основания.

Еще убедительней это показывают сами стихи, собранные в книге. Читая страницу за страницей, все больше поддаешься обаянию поэзии А. Рембо. Она многострунна и прихотлива, а вместе с тем цельна и проста, потому что говорит о любви к человеку и ненависти ко всему бесчеловечному, о радости жизни и о тяжких испытаниях душевного сиротства, о победах и поражениях революции, о бесшабашной неприкаянности самого автора и о его твердой вере в силы народа.

Стихотворение «Завороженные» дышит таким сочувствием к детям бедняков, столпившимся перед окном пекарни, что чудится, будто поэт вместе с ребятишками не может отвести глаз от пылающей печи, жадно втягивая в себя запах свежего хлеба. Во французском тексте «Завороженных» есть одна смешная и трогательная подробность: карапузы так сильно нагнулись к подвальному окну хлебопека, что у них полопались штанишки и из прорех выглядывают хвостики рубашек, трепеща на зимнем ветру,— жаль, что в хорошем переводе А. Арго все же не передан нежный юмор этой концовки, пропала мягкая интонация сердечной доброты, уживающейся в А. Рембо с озорством и резкостью.

Чистой верой в народ, в правду и красоту народной борьбы за свободу звучит стихотворение 1871 года «Руки Жан-Мари» — восторженный гимн простой французской женщине, воплощающей в себе для поэта революционную Францию. Образ героической женщины весь насыщен живою теплотой, и у Жан-Мари—участницы народного восстания

Под кожей пальцев
опаленных
Огонь рубиновый бежит,—

как очень свободно, но, по существу, очень точно перевел П. Антокольский. И, характерно, сливаясь с народом в чувстве революционного гнева, поэт видит над восставшим Парижем «великое солнце, переполненное любовью»,—досадно, что в этом месте перевода такое определение революции (не только как великого гнева, но и как великой любви) начисто исчезло и мы читаем о «безжалостном солнце мая» (да и то исправив опечатку: вместо «солнце» стоит «сердце»).

Клокочущая ненависть к врагам народа и светлая любовь к человеку вдохновляют А. Рембо в стихотворении «Кузнец», где широкоплечий сын Франции, потрясая кузнечным молотом, обращается к Людовику XVI с речью истинного революционного трибуна — грозного обвинителя и народного печальника. Воскрешая один из эпизодов далекого прошлого — известный случай, когда революционный народ, ворвавшись в Тюильри, потребовал, чтобы король надел на себя красный фригийский колпак, эти стихи непосредственно примыкают к циклу сонетов, которые А. Рембо посвятил недавнему тогда прошлому и злободневной современности — предательским деяниям нового кесаря, Наполеона III, и позорному крушению Второй империи. Отсюда совершенно закономерен переход к произведениям поэта, внушенным ему прекрасными и трагическими днями Коммуны, к образу Жан-Мари, к грозным словам, обращенным к версальцам в стихотворении «Парижская оргия, или Париж заселяется вновь» (в переводе П. Антокольского напрасно опущено первое, подчеркнуто памфлетное заглавие и уже совсем неправомерно слово «подлецы», lâches, обращенное к душителям Коммуны, заменено безобидным «зеваки»).

Не нарушается внутреннее единство поэзии А. Рембо и группой стихотворений сборника, в центре которых — судьба и личность, пристрастия и причуды самого поэта, или картины природы, или раздумья. Здесь и задорный сонет «В Зеленом кабаре» (искусно, хотя и суховато переведенный В. Брюсовым); и богохульная «Вечерняя молитва» (хорошо переведенная Б. Лифшицем, пожалуй, только слишком увлекшимся натуралистическими мотивами подлинника); и своеобразная декларация любви к человеку в «Добрых мыслях поутру» (бережно воспроизведенная в переводе Н. Банникова, нежном и легком по ритму и по словесному рисунку, как это и требовалось, но — что уже не требовалось! — порою впадающем в романсную чувствительность); и своевольное парадоксальное обоснование идеи «цветного слуха» в стихотворении «Гласные» (данном в тщательном переводе А. Кублицкой-Пиотух, матери А. Блока).

Все эти стихи неравноценны по своему поэтическому смыслу, но все они, как к полюсу, тяготеют к поэме «Пьяный корабль», находят в ней свое лирическое обобщение. «Пьяный корабль» — шедевр французской поэзии, тем более поразительный, что А. Рембо создал его на заре своей юности. В строках поэмы звучит опьяненность жизнью, движением, широкими горизонтами, дыханьем бури и свеченьем морских глубин, головокружительная стремительность все новых и новых встреч с морями и землями нашей планеты, отвращение перед самодовольными торговыми флагами и понтонами каторжных тюрем — и ласковая привязанность к родной стране, к французскому мальчугану, пускающему по темной, холодной луже свой кораблик навстречу благоуханным сумеркам. Эта ласковость, к сожалению, недостаточно передана в превосходном, вообще говоря, переводе П. Антокольского, лучшем среди всех его переводов из А. Рембо.

Французские поэты Сопротивления самоотверженно потрудились над тем, чтобы возвратить своему читателю подлинного А. Рембо. В советском издании поэзия А. Рембо начала, наконец, и на русском языке обретать полнокровную жизнь.

Валентина ДЫННИК

ИЗДАНО ЗА РУБЕЖОМ

ОГНИ НОВОЙ ЖИЗНИ

Тодор Монов. Смърт няма. София, Български писател, 1960.

В течение последних лет у нас в Болгарии немало создано произведений на современную тему. Большинство этих произведений принадлежит молодым писателям, таким, как Ивайло Петров, Иордан Радичков, Милчо Радев, Лиляна Александрова, Цилия Лачева, Тодор Монов и др.

С особым интересом болгарские читатели встретили роман Тодора Монова «Смерти нет». О нем написаны большие статьи, о достоинствах и недостатках книги много говорилось на дискуссии о художественном мастерстве в Союзе болгарских писателей.

Произведение Монова посвящено жизни рабочих-горняков, строящих туннель в Родопских горах. Сюжет романа прост. На объект «Орлы» приезжает новый бригадир Васил Караджов. У этого человека тяжелый харак-

тер. Он долго не может сработаться с коллективом, и поначалу горняки относятся к нему с подозрением и даже со скрытой ненавистью. Постепенно в труде раскрываются лучшие черты Караджова. Его самоотверженность, его горячая, искренняя любовь к людям проявляются в самый напряженный момент, когда в шахте происходит обвал. Караджов погибает, спасая товарищей.

Тодор Монов пишет о буднях социалистического строительства, о том, как в ходе этого строительства формируется новый человек. Писателя интересует работа горняков в забое, взаимоотношения коммунистов и беспартийных, бригады и бригадира и, конечно, личная жизнь героев.

С первых же строк автор вводит читателя в жизнь горняков. Это происходит как-то непринужденно, без предисловий. Васил Караджов вылезает из кабины грузовика, нагруженного песком, ищет звеньевого Пешо и вместе с ним идет в лавку. А в лавке уже собрались почти все горняки, там, естественно, и продавщица Лиляна Горненская, жена бухгалтера. Так читатель оказывается в кругу своих новых знакомых, и многие из них вскоре начинают казаться ему людьми, которых он где-то встречал.

Что это за люди? Т. Монов не скрывает их недостатков. Но Монов сумел донести до читателя очень существенную мысль: пусть кое-кто из них в отдельности не лишен каких-то отрицательных качеств, однако все вместе они представляют собой великую силу, делают большое дело. Поэтому «...и теперь, когда Караджову стукнуло сорок пять, жизнь представлялась ему тяжелой, трудной, но стоящей штукой».

Есть что-то очень симпатичное в молодежном звене Боляры. «У этой молодежи нет никакого опыта — эти ребята спустились под землю лишь около года назад, — но работали они с увлечением и радостью».

Сознание того, что они создают нечто новое, значительное, наполняет души горняков особой гордостью, дает им право открыто заявить: «Не всякая мать родит горняка!» Эта мысль проходит через все произведение, она дает читателю ключ к пониманию того, почему никто не смыкает глаз в ту грозную ночь, когда происходит обвал и бригада Караджова не может выйти из шахты, почему Лиляне Горненской, которую перестала удовлетворять должность продавщицы, нравится ее новая работа у насоса и она радуется каждой, хотя бы незначительной, похвале. Эта мысль помогает читателю понять, почему во время соединения туннелей возбуждение нарастает до предела и все хотят быть там, где блеснет первый луч через «окошко».

Члены звена Боляры, получив вымпел первенства, оставляют вымпел в забое — там, где они работают, там его место. Ведь и получен-то он был за труд! Перед выходом из забоя они прикрепляют его к последней раме и приколачивают дощечку с надписью «Не трогай!». А когда соседнее звено отняло у них вымпел, ребята с болью, но и с гордостью за своих товарищей, говорят: «Конечно, нас опередили, но ведь какие ребята...»

Автору удалось показать моральное единство горняков, он сумел заставить читателя поверить в их дружбу. Очень характерны в этом отношении размышления Пешо, заваленного в шахте. «Пешо осветил черную преграду, отделявшую его от мира людей, словно для того, чтобы слышать лучше. Сердце его сжималось, переполненное любовью к этим голосам, встревоженным и ободряющим... Он подумал, что никогда никого не полюбит сильнее своих товарищей-строителей, которые теперь собрались все вместе, чтобы спасти их».

В центр романа автор поставил Васила Караджова — образ интересный и в то же время спорный. О Караджове говорится много — с первой страницы и до последней. И все-таки до момента обвала читатель спрашивает себя: что это за человек? Он появляется в романе как злой демон, которого все боятся. Автор пишет о Караджове: «Когда он жевал, все лицо его то морщилось, как у старика, то вытягивалось — тощее, костистое, острое». Что-то «костистое» и «острое» есть во всем поведении Караджова. Он не дружит ни с кем из горняков, даже готов за отставание прогнать со строительства всех этих людей, которые пришли на объект раньше его и прожили там уже два года. Почти до конца романа Караджов остается мрачным, одиноким.

По-видимому, Монову хотелось создать образ сложного, противоречивого человека. Горняк-коммунист, готовый на все, чтобы выполнить государственный план, чтобы не запятнать честь рабочего, Караджов любит людей, разбирается в них. Но все эти качества таятся так глубоко, а «неприятным» сторонам его характера придан такой большой вес, что художественная логика образа в чем-то нарушается, и он звучит порой не совсем убедительно.

В романе выведено много лиц: партийные работники Младенов, Станко Велев и бай Стамен; инженер Бонев, начальник строительства Панов, бывший хозяйчик Златан. Все они более или менее живо обрисованы (хочется особо отметить интересный и художественно убедительный образ секретаря партийной организации бай Стамена). Описание их личной

жизни играет второстепенную роль для развертывания сюжета и служит для того, чтобы показать атмосферу, царящую в «Орлах». Нужно признать, что временами писатель сгущает краски: он слишком много внимания уделяет недисциплинированности, пьянству, дракам, которые Караджов застал на строительстве.

Мы не спорим, многие отрицательные явления, описанные в романе «Смерти нет», существуют. Монов пишет о предмете, хорошо ему знакомом. Но автору, очевидно, не удалось до конца преодолеть дистанцию между очерком и художественным повествованием: в книге порой чувствуется перо очеркиста.

В заключение хочется сказать о некоторых сценах, которые особенно удались писателю. Хорошо, например, описание смерти героя романа. Последние минуты жизни Караджова, который спасает всех, но сам не успевает уйти, насыщены внутренним драматизмом. Но когда читатель ожидает стонов и грохота рушащихся скал, вдруг наступает гробовая тишина — гибель неизбежна, но описания самой гибели нет. Здесь богатство в неожиданной мысли, в неожиданном обрыве напряжения. Заслуживают внимания встречи Караджова с Лиляной.

Роман Т. Монова «Смерти нет» — интересное явление в нашей литературе. Это произведение дорого нам своей современной тематикой, попыткой создания образов новых людей, показом тех огоньков новой жизни, которые автору удалось подметить и донести до сознания читателя. Оно дорого нам своей основной идеей, которая выражена в заглавии романа,— утверждением бессмертия, обретаемого человеком в труде на благо социалистического общества. Этот труд преображает и сплачивает людей, именно благодаря ему, говорит писатель, люди становятся бессмертными.

Стефана ДИМИТРОВА

г. София.

БРАТЬЯ МОИ — В БОЯХ

Stanisław Wygodzki. Człowiek z wózkiem. Warszawa, Czytelnik, 1961.
Stanisław Wygodzki. Serca mego zodzeństwo. Warszawa, Wydawnictwo MON, 1961.

«— Ты уже не пишешь стихи?- спросил он се однажды.

— Нет, отец.

— Почему?

— Кому нужны стихи?

— Как кому? Стафф. Тувим... Ивашкевич, смотри, сколько книг у меня в библиотеке... Писатели не задают этого вопроса. Они пишут.

— Отец, они еще зададут его, они должны будут задать этот вопрос...» (С. Выгодский. «Куда глаза глядят»).

Станислав Выгодский — один из тех деятелей современного польского искусства, чье творчество содержит ясный ответ на этот вопрос. Поэт-революционер, знавший тюрьмы буржуазной Польши 30-х годов, прозаик, который отразил в своих книгах страдания и борьбу польского народа в годы гитлеровской оккупации,— таков облик этого писателя-коммуниста.

Почти каждый год в Польше выходят новые рассказы С. Выгодского. Построенные на материале и опыте пережитого, опыте прошедшей войны, они не дают забыть об угрозе фашизма. Полны сурового мужества рассказы-воспоминания о польских коммунистах и деятелях рабочего движения («Шесть рассказов», 1958), значительным событием в литературной жизни Польши стали сборники «Знойный день» (1960) и в особенности «Концерт по заявкам» (1960). Две новые книги писателя — сборник рассказов «Человек с тележкой» и повесть «Братья и сестры моего сердца» — подтверждают: если Выгодский, условно говоря, писатель одной темы, то сама эта тема огромна и неисчерпаема.

В сборнике «Человек с тележкой» семь рассказов. Их герои — юноша и старик, солдат и ребенок, городской рабочий, художник, сельская учительница... Это разные люди, но взгляд их удивительно схож: в нем ненависть и непримиримость, все они — граждане одной, страдающей под сапогом оккупанта страны. Иногда в этих глазах появляется надежда, но это у тех, кто знает, как надо бороться. Иногда — и трагический финал не исключение у Выгодского — в них отражается только смерть.

Есть в сборнике рассказы, в которых торжествует тьма. В камеру пленных немецкий охранник бросает веревку со словами: «Хочу, чтоб к завтрашнему утру вас стало на одного меньше». И вот каждую ночь, пользуясь веревкой как якорем спасения от ужаса допросов, пленные, один за другим, кончают жизнь самоубийством («Веревка»). В голове фашистского офицера созревает садистский план: в знойный день он выводит группу заложников на берег реки и велит идти в воду — только вперед, не оборачиваясь,— под угрозой полу-

чить пулю в лицо. И пленные медленно уходят в глубину реки, вода смыкается над ними, они гибнут, парализованные страхом, без единого выстрела с берега, под хохот палачей («Будь счастлив»).

Но не эти рассказы — хотя и страшные в своем обвинении фашизма — определяют общую тональность сборника; лучшие из них («Человек с тележкой», «Милосердие», «Скульптор» и в особенности «Куда глаза глядят») отмечены стремлением найти обобщенный образ своих переживаний и своего героя, поисками утверждающего итога.

В рассказе «Скульптор» проблема борьбы с фашизмом развернута перед читателем в диалоге двух переживших войну людей, в философском и публицистически остром размышлении: как вызревает бацилла фашистской чумы, как и где, в какой момент человек превращается в тупого, озлобленного зверя, как готовится преступление и где лежат те «полигоны» смерти, на которых муштруют будущих убийц и отправляют их в поход на Восток, на коммунизм?.. Скульптор хочет создать грандиозный памятник жертвам фашизма и готов воплотить свой замысел в олицетворенном страдании, в распятии, подобном религиозному образу вечных мук. Нет, отвечает ему человек, переживший Освенцим, такое искусство бесцельно, безнадежно, бесполезно.

И вот рядом с жертвами фашистских убийц в произведениях Выгодского поднимаются те, кто не примирился и борется. Так борется ежечасно за жизнь преследуемого нацистами человека героиня небольшой, замыкающей книгу повести «Куда глаза глядят». История о том, как простая польская женщина сельская учительница Калиновская в течение двух лет, рискуя собственной жизнью, прятала в подвале своего дома старика еврея, рассказана сдержанно, без ложного пафоса. Калиновская не одинока: не чудо, а живые люди каждый раз встают за ее плечами и спасают от неминуемой смерти. Мужественный Калита, коммунист Велецкий и безымянные участники подпольной дружины коммунистической партии, которые «убирают» грозившего предательством бандита Юзека,— вот та линия борьбы, которая проходит в книгах Выгодского через трагедии, страдания и гибель героев.

Но нелегок выбор пути в борьбе — эта мысль лежит в основе второй книги писателя «Братья и сестры моего сердца». В центре повести — опытный революционер, коммунист Ежи. Прошлое Ежи — это героическое прошлое польских коммунистов, сидевших в тюрьмах за революционную работу еще в 30-х годах, в довоенной «свободной» Польше Пилсудского и Бека, темные площади, на которых Ежи разбрасывал листовки, подготовка к 1 Мая и полицейская облава... Потом — ночи во мраке карцеров. «Связанный, затянутый в смирительную рубаху... с вывернутыми назад руками лежал на бетоне в черной горячке, под веками плыл розово-кровавый туман, тяжелый гул стоял в голове...»

Спустя десятилетие на темные площади оккупированной немцами Варшавы выходит с оружием шестнадцатилетний сын Ежи — Ромек.

Для Ромека и его друзей борьба за свободу Польши только начинается. Но уже сразу встает перед ними проблема, от решения которой они не имеют права уйти,— будет ли их освобожденная родина социалистической или останется буржуазной? Молодежь должна выбрать — на чьей стороне сражаться. Ромек, пылкий и романтичный, рвется в бой с фашистами, но оказывается в центре противоречивых влияний, отдаляющих его от отца. Не сразу отвергает он тактику заговоров и покушений, но дорогой отца он идти не готов.

Вся повесть построена на поисках пути друг к другу людей двух поколений — отца, который всю жизнь боролся за коммунистические идеалы, и сына, который еще не сделал выбора. И писатель не обходит сложных моральных сторон этой проблемы. Отец переживает глубокую внутреннюю драму: желая видеть юношу бойцом коммунистического партизанского отряда, он, вместе с тем, не чувствует в сыне внутренней зрелости, боится за жизнь мальчика, горячо желает его сохранить. И, главное, Ежи понимает, что не уговоры, а только сознательно выбранный, выстраданный путь борьбы может иметь подлинную ценность. Даже если это стоит жизни.

Драма Ежи могла бы приобрести черты безысходности, замкни ее автор в кругу сугубо личном. Но переживания Ежи становятся частью общей трагедии его страны. Особое место в повести занимает образ опытного подпольщика-коммуниста Старого — «человека с мощно вылепленным лбом» и усталыми глазами. Такие люди, как Старый, собирали в годы войны силы польских коммунистов, вели свой народ к победе над фашизмом, к социализму.

Вызревание характера, говорит писатель, в исключительных обстоятельствах борьбы происходит быстрее, чем в «обычной» жизни. Ромек сознательно идет на выполнение задания коммуни-

стического партизанского отряда, и, хотя оно заканчивается катастрофой, гибель юноши нельзя назвать бессмысленной: он принимает открытый бой с отрядом фашистских солдат. «...Ромек прильнул к земле. Полы распахнувшегося плаща чернели на светлом поле; пригнув голову, он стрелял. Где-то на уровне груди вспыхивало короткое пламя и гасло, вспыхивало и гасло...» — таким видели Ромека товарищи в последние его минуты.

Не ради еще одного крика о страданиях человека в годы фашистской оккупации — теме трагической и глубоко личной в творчестве Выгодского — написаны его книги Для того чтобы не возвратилась никогда ночь фашизма, нужны стихи, рассказы, повести о силе человеческого духа. Вера в торжество братства людей неотделима в творчестве Выгодского от веры в коммунистические идеалы.

Н. БАШИНДЖАГЯН-АРУТЮНОВА

зданий становилась для него все более чуждой Почувствовав опасность такой деятельности для себя как художника, Куэрри пытается строить гражданские здания, но выясняет, что он, как он сам выражается, «не верит в политику», иными словами, чужд всякой социальной идее. С ужасом Куэрри убеждается, что его творчество, лишенное социального и морального содержания, умирает, что невозможно сохранить живую душу искусства, довольствуясь одним лишь соблюдением эстетических пропорций.

Сходные очертания имеет кризис в его личной жизни. Его отношения с женщинами, близкими людьми становятся все более бездушными и аморальными. Он опустошен, не может отвечать на любовь любовью, делается жесток и циничен Чувствуя, что он опасно болен болезнью, гибельной для него самого и для окружающих, Куэрри бежит, хочет спрятаться от мира и от себя, потерять себя так, «чтобы ничто не напоминало ему, что он когда-то был жив», избавиться от всего, что было его привычным миром, впасть в спячку, которая должна окончиться его естественной смертью.

В докторе Колене Куэрри находит не только человека, вызывающего в нем уважение, но и проницательного врачевателя моральной проказы. Колен не согласен с тем, чтобы Куэрри стирал бинты в лепрозории и сделал бы тем самым еще один шаг в «забвении себя», он объясняет Куэрри, что со стиркой бинтов отлично справляются монахини. Колен хочет, чтобы Куэрри помог своим опытом архитектора в постройке нового больничного корпуса для прокаженных, чтобы он обратил хотя бы малую частицу своего призвания и таланта на помощь другим людям. Подвигнуть на это Куэрри оказывается не так просто: его моральная проказа зашла слишком далеко. «Эксперимент, который

ЦЕНОЙ ПОТЕРИ

Graham Greene. A Burnt-Out Case. London, Heinemann, 1961.

По илистой реке в глубине африканского континента ползет катер. На нем один-единственный каютный пассажир Он изнемогает от зноя, духоты и москитов, но тем не менее равнодушен к неудобствам и тяготам путешествия. Катер подходит к небольшому поселку прокаженных — лепрозорию Узнав, что это конечный пункт рейса, пассажир выходит на берег и остается в лепрозории

Администрация лепрозория состоит из нескольких католических монахов, присланных в Африку на послушание, и доктора Колена, врача-атеиста, посвятившего свою жизнь лечению проказы Пришельцу дают приют, хотя, по вполне справедливому замечанию доктора Колена, лепрозорий — не курорт. Пришельца зовут Куэрри, он замкнут, ничего о себе не сообщает, слушает рассказы доктора Колена о трудностях, с которыми тот сталкивается в своей работе. Через некоторое время он заявляет, что хочет быть чем-нибудь полезен, не поручат ли ему стирать бинты прокаженных?

Так начинается новый роман Грэхема Грина «Ценой потери». Наш читатель, уже знакомый с романами Грина «Тихий американец» и «Наш человек в Гаване», знает, что за острыми, подчас сенсационными сюжетными построениями Грина кроется анализ серьезных проблем современного буржуазного мира.

Куэрри — модный архитектор с громким европейским именем. В один прекрасный день, словно охваченный «амоком», он пускается прочь от своей благополучной жизни и бежит куда глаза глядят, пока случай не приводит его в лепрозорий, затерянный в африканских джунглях. Как выясняется, он пришел по правильному адресу. Его болезнь относится к разряду моральных недугов, но автор приравнивает ее по тяжести и трудности излечения к проказе.

И сам Куэрри, и его беда — порождение буржуазной цивилизации. Куэрри добился того, что рекомендуется этой цивилизацией как цель жизни,— личного успеха. Славу ему принесла модернизация церковной архитектуры, он строил из стали и стекла католические соборы, «которые можно было принять за концертный зал и даже за оранжерею». Однако уже в молодости он утратил религиозные чувства, и идея сооружаемых

вы задумали, невыполним,— говорит ему доктор Колен.— Человек не может жить только одним собой». «Еще как может!» — отвечает Куэрри.

И тем не менее доктор Колен одерживает победу. Он исподволь знакомит Куэрри с состоянием лепрозория. Больница существует на нищенский бюджет, который складывается из пожертвований церкви и жалких грошей, отпускаемых колониальными властями. Не хватает персонала, не хватает медикаментов, не хватает современной медицинской аппаратуры. Жестоко страдающие от своей ужасной болезни негры лежат на грязных подстилках, которые приносят с собой в больницу из дома. Новых больных нельзя своевременно госпитализировать: каждый день, в удушающий зной, доктор Колен принимает десятки «амбулаторных» пациентов, приходящих из негритянских поселков в джунглях, и сумрачно констатирует, что война с болезнью только еще начинается. Наглядевшись на прокаженных, в особенности на больных детей, Куэрри соглашается помочь выстроить новый больничный корпус, сделать строительство практичным и дешевым.

Степень выздоровления Куэрри не переоценивает ни доктор Колен, ни он сам. Доктор Колен рассказывает Куэрри об одном из типических случаев выздоровления от проказы. Далеко зашедшую болезнь не удается унять, пока она, как лесной пожар, не сжигает все, что горит. Потом она затихает. Больной становится не опасен для окружающих. Он выздоравливает, но «ценой потери»: остается калекой, обычно теряет пальцы на руках и ногах. Люди, спасшиеся от проказы таким путем, слишком изувечены и слишком подавлены своим увечьем, чтобы вернуться к прежней жизни и к прежним занятиям, часто они предпочитают остаться при лепрозории.

Куэрри уже не может обрести себя полностью как человек и художник, как творческая индивидуальность. Но перед ним открывается возможность выздоровления «путем потери», и он настойчиво идет к избавлению от болезни, перестает быть «бациллоносителем», как он выражается сам. «Он научился служить людям и даже смеяться,— говорит доктор Колен вскоре после гибели Куэрри,— странный это был смех, но все же смех».

Обстоятельства гибели Куэрри играют важную роль в романе Грина. Куэрри — беглец из буржуазного мира, и, хотя он бежит не в лагерь противников буржуазии, а всего лишь на «ничью землю», он — «ренегат» и, следовательно, опасен для престижа капиталистической культуры. Как это оскорбительно для самолюбия буржуазного мира, что человек, которому были даны все высшие призы этого мира — деньги, слава, довольство, комфорт,— не только отказывается от них, но и еще плюет в лицо своим «благодетелям».

Мир, из которого он бежал, внешне как будто бы равнодушен к ускользнувшей добыче. Однако затерянный в джунглях лепрозорий связан с городом Люк, центром колонии, Люк связан с метрополией, а пресса метрополии связана с мировой капиталистической прессой. И здесь с удивительным мастерством романиста и с глубоким пониманием психологии буржуазного общества Грин показывает, как без всякого предварительного замысла или участия организующей руки, на одних лишь случайностях, растущих из инстинктивной хищности и пошлости буржуазного мира, вокруг Куэрри сплетается интрига, из которой он уже не может выпутаться. Вокруг него целым роем кружатся какие-то чудища, бесы буржуазного мира. Они выспрашивают его, цепляются за него, обвиняют его, тянут назад. В конце концов его попросту пристреливает один из взбесившихся буржуа, вообразивший себя обманутым мужем.

Деятельным участником этого «неорганизованного заговора» против Куэрри выступает журналист Паркинсон, примчавшийся в африканские джунгли, чтобы поведать читателям бульварной прессы сенсационную историю о великом архитекторе—баловне судьбы, добровольно удалившемся в «пустыню». Паркинсон второстепенный персонаж в романе, и все же трудно назвать в новейшей западной литературе другой столь убедительно и разоблачающе написанный образ желтого журналиста. Паркинсон был когда-то человеком, даже стремился в молодости стать писателем, но фигура, которую показывает Грин, уже почти не имеет человеческих черт. Паркинсон сам готов признать, что оскорбить его практически невозможно. Единственное, что может его серьезно огорчить, это чек, в котором будет проставлена сумма, меньшая, нежели он ожидал. Фигура Паркинсона гротескна, но гротескна и современная желтая капиталистическая печать и ее «корифеи».

Интересно указать, что у Куэрри хватает проницательности и уважения к истине, чтобы разглядеть в этом уродливом порождении буржуазной культуры своего собрата. «Мы с вами два сапога — пара»,— говорит он журналисту. Он видит в Паркинсоне лишь более низменный случай своего собственного заболевания, результат духовной деятельности, руководимой одной лишь жаждой успеха, без идеи, без чувства моральной ответственности.

Убийца Куэрри, маргинальный фабрикант Рикэр,— представитель местных колонизаторов и верующий католик. Грин, как известно, связан с католицизмом, хотя, надо отдать ему справедливость, больше делает для разоблачения католицизма и религии, нежели для их возвеличения. В Рикэре он показывает, как религия, нераздельно сплетшаяся с лицемерием и эгоизмом, становится прикрытием и орудием бесчеловечности и безнравствен-

ности. Моральная проказа Рикэра страшнее самых страшных случаев физической проказы в больнице доктора Колена.

Смерть Куэрри как бы подводит итог задуманному Грином моральному этюду из жизни современного буржуазного общества, Куэрри хоронят на кладбище лепрозория в «улочке атеистов», где лежит жена доктора Колена и оставлено место для него самого. Доктор Колен глубоко поражен гибелью своего «пациента», которого уважал за черты искренности в его натуре и с выздоровлением которого от моральной проказы связывал некоторые надежды на дальнейшее сотрудничество в борьбе с проказой физической. Доктор переходит к своему повседневному тяжкому труду. Снова удушающий зной африканского полдня. Несколько десятков прокаженных больных у докторского порога. Чернокожая женщина вводит трехлетнего малыша, и доктор определяет у него первые симптомы проказы. «Сдерживая ярость», как сказано у Грина, доктор Колен дает себе клятву через год-два вылечить ребенка от страшной болезни, вылечить без увечий, не «ценой потери».

На этом можно было бы закончить рассказ о новой книге Грина, но она требует еще небольшого «постскриптума».

В предпосланном роману посвящении Грин пишет, что для выполнения задачи, которую он поставил перед собой, ему требовалась обстановка, «далекая и от мировой политики и от мелких повседневных тревог». Между тем место действия романа — Бельгийское Конго. Правда, роман написан до прогремевших на весь мир трагических событий 1960—1961 года. Можно также добавить, что Конго нарисовано у Грина довольно условно, по многим признакам это могла бы быть какая-нибудь другая африканская колония, принадлежащая Франции или Англии. И тем не менее странно читать, что в поисках политически нейтральной обстановки писатель избирает именно эту многострадальную и давно уже бурлящую колонию бельгийских империалистов в самый канун ее превращения в политический вулкан.

Творчество Грина вплоть до «Тихого американца» оставалось в большей своей части затянувшимся путешествием по лабиринту упадочного буржуазного сознания, причем писатель охотнее задерживался в тупиках этого лабиринта, чем искал выхода из него. Потрясенный событиями «грязной войны» во Вьетнаме, Грин впервые сумел увидеть и почувствовать подлинную драму народной жизни. В «Тихом американце» узколичные конфликты и более или менее заслуженные страдания пресыщенного меньшинства оттесняются с авансцены романа незаслуженными муками и порывом к справедливости голодных и страждущих миллионов. «Тихий американец» стал событием в творчестве Грина, и его моральные искания приобрели небывалую дотоле глубину и содержательность.

Следующим произведением Грина был «Наш человек в Гаване», острая и умная книга, отмеченная некоторой странностью. Странность заключалась в том, что действие этого романа развертывается на Кубе в самый канун революционного взрыва, однако ничего о надвигающихся событиях, кроме глухих упоминаний о повстанцах, собирающих свои силы где-то в горах, в романе нет.

И сейчас в «Ценой потери» — аналогичная странность с Конго, да еще сопровождаемая нелепо звучащей оговоркой об отдаленности места действия романа от мировой политики. И здесь брошенные вскользь два-три замечания, два-три намека на какие-то назревающие события — и все.

На протяжении нескольких лет — Вьетнам, потом Куба, потом Конго. Если бы Грин располагал сейсмографом социальных потрясений, который подсказывал бы ему, в какой уголок мира направить свое писательское внимание, он не мог бы выбрать вернее. Однако, если писатель наделен таким острым чувством политической современности, это накладывает на него и политическую ответственность. Какой читатель, живущий передовыми идеями нашей эпохи, примирится с тем, что в романе о Конго нет Конго. Нет того главного, что характеризует жизнь сегодняшней Африки, антиколониального движения африканцев?

Возникает второй вопрос. Не оказывает ли Грин и себе дурную услугу, не обкрадывает ли себя как художника, избегая в своих последних книгах писать о народных движениях, передавая их в лучшем случае лишь как напряженный эмоциональный фон для личных переживаний героев?

Было бы неправильно делать поспешный вывод, что Грин повернул назад от «Тихого американца». Разоблачительный пафос романа «Ценой потери» обращен против капиталистического мира, его лицемерия, аморальности, враждебности человеку. Больше того, можно с уверенностью утверждать, что доктор Колен, самоотверженный, непритворно любящий людей, здоровый в интеллектуальном и моральном отношении, никогда не станет на сторону колонизаторов в их столкновении с народными массами. В творчестве Грина — это новый герой, перед которым, без сомнения, большое будущее.

Чего следует пожелать Грэхему Грину? Меньше оглядываться назад, не искать нейтральных уголков там, где их нет и быть не может, смелее развивать то новое и важное видение современного мира, способность к которому он убедительно показал в «Тихом американце».

А. СТАРЦЕВ

Из путевого альбома

А. ЖИТОМИРСКИЙ

На берегах Дуная

БУДАПЕШТ

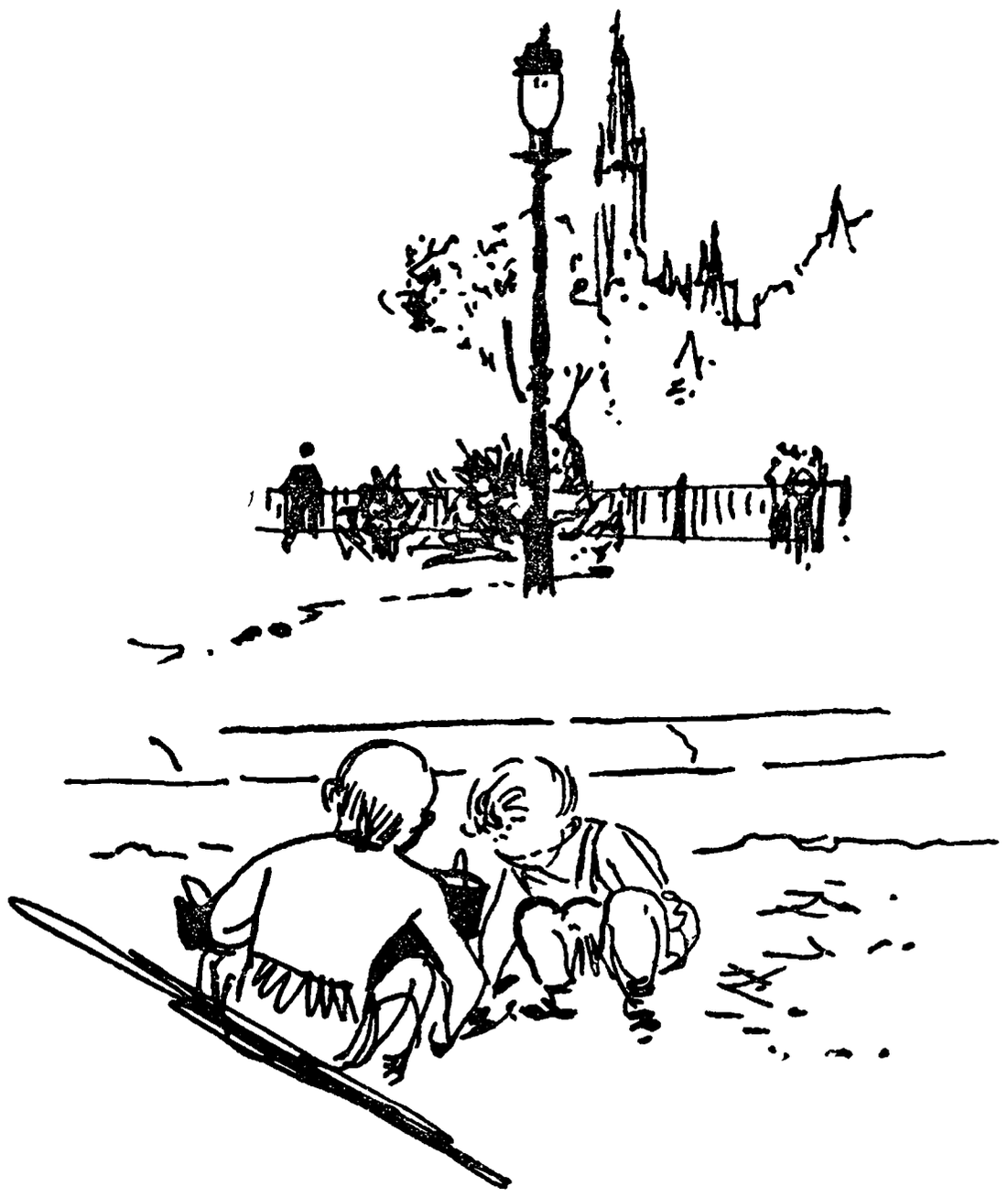
Набережная Дуная. Возле величественного готического здания парламента под тенистыми платанами в песке возятся дети. На длинных ступенях, сбегающих к самой воде, не обращая внимания на прохожих, целуются парочки. Молодость! Ярко светит солнце, тихо плещут воды Дуная. А поодаль в тени деревьев в легких креслах сидят старики и старухи. Кто читает, далеко отставив газету, кто просто смотрит вдаль, положив на колени тяжелые кисти натруженных рук. Для художника это красивые руки.

Неподалеку на большом сером доме с американскими флажками у входа белилами сделана надпись на английском языке: «КУБА — ДА! ЯНКИ — НЕТ!»

Кто написал это? Не старики и не дети, должно быть, кто-то из тех, что целуются на ступенях.

За кружевным парапетом по отливающей металлом воде проплывают груженые баржи и по-праздничному нарядные пассажирские пароходы. Суда идут под флагами разных стран. Они проходят под прекрасными новыми и старинными мостами, мимо красивого Рыбачьего замка, мимо готических храмов и современных домов, мимо веселого, зеленого острова Маргит с его гостиницами, бассейнами для плавания и толпами отдыхающих, мимо горы Геллерт, на вершине которой высится бронзовая фигура женщины, вознесшей над головой лавровую ветвь,— созданный Ж. Штроблом прекрасный памятник советским воинам, освободившим Венгрию от фашизма. И люди на палубах,

Они очень заняты...



наверно, думают: «Красивый город Будапешт, один из самых красивых в Европе».

Будапешт хорош и на рассвете, когда голубая дымка тумана, встающего над Дунаем, стелется по узким старым улочкам и широким проспектам и люди торопятся на заводы и в учреждения, хорош он и днем, когда бесчисленные кафе — часто это несколько столиков прямо на тротуаре — заполняются рабочими и служащими: обеденный перерыв.

Но особенно красив Будапешт в сумерки. Мы стоим на балконе обвитого плющом дома моего друга венгерского художника Шандора Эка, на вершине Розового холма. Внизу раскинулся Будапешт. Сиреневая дымка, огромный горизонт. Вдали дымятся трубы Чепеля.

На светлом еще небе появляется первая звезда. Загораются огни. Зеленые и кое-где красные. Почему зеленые? Наверно, так выглядят издали лампы дневного света. Бесконечные кущи деревьев и черепичные крыши. На первом плане островерхая крыша пересекает горизонт, слева от нее на другом берегу Дуная маячит серый силуэт парламента Совсем близко шумят мощные тополи, сопровождая концерт сверчков. Быстро темнеет. Уже не видно ажурных мостов и стройных башен. Город поглощает синяя мгла. Огни Будапешта сливаются со звездами.

ШАНДОР ЭК — ХУДОЖНИК-КОММУНИСТ

У каждого есть свое увлечение. Шандор Эк выращивает диковинные цветы и карликовые деревца. Ими уставлены оба балкона и большие окна. На уродливом кактусе раскрылся белый нежный цветок, а небольшое деревце покрыто красными тяжелыми цветами. По парапету балкона пробежала маленькая ящерица. В крохотном саду, окружающем дом,— фруктовые деревья и серебряные ели. Воркуют горлицы, где-то ведет длинный счет кукушка. Дом поэтичен, как и вся Венгрия. Гостеприимная Эржи, жена Эка, говорит по-русски, его две очаровательные дочки тоже: девочки изучают в школе русский язык. Нам с ними легко. Впрочем, в Венгрии все относятся к нам приветливо, и вдвойне приветливо, когда узнают, что мы из Москвы. И в музеях, и на заводах, и на озере Балатон — словом, всюду мы чувствуем себя среди друзей. Беседы с Шандором затягиваются до глубокой ночи. Он вспоминает про две свои встречи с Лениным — на III конгрессе Коминтерна, где он был делегатом венгерского комсомола, и в общежитии Вхутемаса. Там один молодой «новатор» прибил селедку гвоздем к написанному маслом натюрморту. Владимир Ильич мягко и терпеливо объяснял молодому и горластому автору этого натюрморта, что будущее покажет, нужно ли такое искусство народу, а время теперь голодноватое, и селедку дают для того, чтобы ее ели. Это было в феврале 1921 года...

В мастерской художника мы увидели много рисунков углем, этюдов, картин. Отличный рисовальщик, Эк с некоторых пор стал хорошо работать и цветом. Творчество его проникнуто любовью к Венгрии. Все главные события в жизни венгерского народа за последние 15 лет — освобождение Венгрии от фашистского гнета, восстановление Будапешта, строительство социалистической индустрии, разгром контрреволюции в 1956 году — стали темами его картин.

Недавно Шандор Эк побывал в Ираке. Этюды, которые он привез оттуда, послужили ему материалом для картины, отображающей нищету, оставленную в наследство иракскому народу колониальным режимом. Картина интересно скомпанована. Выразительны фигуры просящих подаяние детей, выделяющиеся темными пятнами на фоне залитой солнцем стены. В своих рисунках

На покое...

В двадцать лет...

Памятник советским воинам на горе Гелерт.

Шандор Эк поэтично и тепло показывает труд и отдых, заботы и радости простых людей. За это и любят его искусство венгры. Он награжден высокими званиями лауреата премий Кошута и Мункачи. В этом году Шандору Эку исполнится 60 лет. Энергичный и жизнерадостный, он по-юношески полон творческих планов.

У СТРОИТЕЛЕЙ КОРАБЛЕЙ

Я сделал много рисунков в Будапеште, но нельзя представить себе этот город без верфи, без строителей судов.

И вот я в пролетарском районе Ангиальфельд, на верфи имени Георгиу Деж — самой большой в Венгрии. Здесь я нарисовал грузовые суда, построенные для СССР. Одно из них выкрашено суриком и пламенеет на солнце. Блики от него лежат на воде, а зайчики от воды бегают по красным бортам. Неподалеку стоит почти готовое судно для Египта. На носу красивой арабской вязью написано название. Путаница кранов. Краны-гиганты и краны-малютки. Внизу холодным пламенем сверкают огни электросварки.

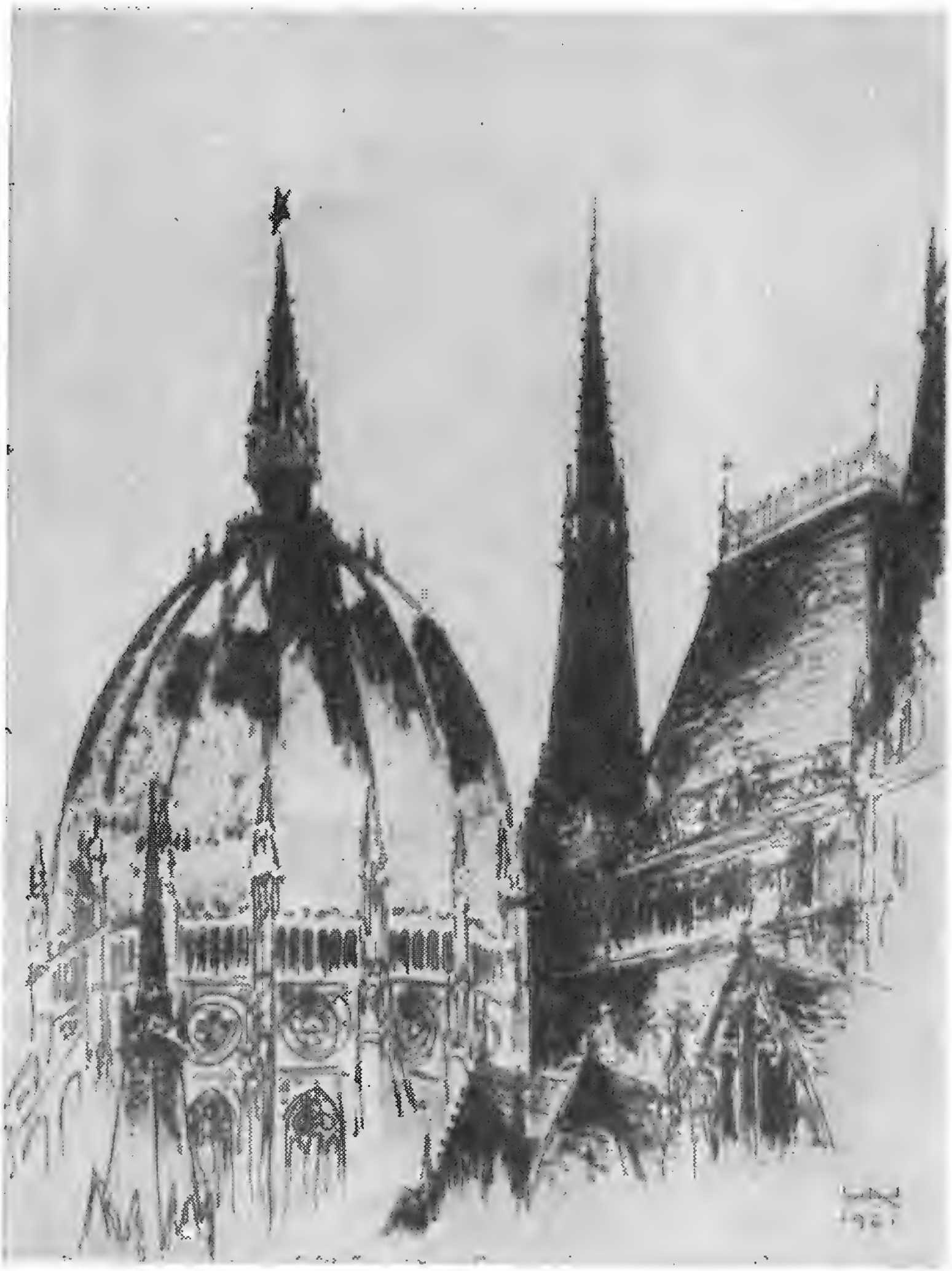
По узким вертикальным и, как мне казалось, бесконечным лестницам я вскарабкался на самый большой кран. Мой переводчик остался внизу, и с крановщиком Дюлой Кишем объясняться нам было нелегко, но все же мы понимали друг друга. Дюла Киш тоже любит рисовать. Хотя его стеклянная будка довольно прсстorна, жара стоит в ней одуряющая. Маленький усердный вентилятор направлен прямо на крановщика. Возле пульта лежит самодельный карманный радиоприемник, работающий на полупровод-

Будапешт строится.

никах. Из него льется приятная музыка. Дюла нажимает рычаги, кнопки, говорит по телефону. Кран легко двигается по рельсам, делает тур, как девушка на танцплощадке, и переносит огромные тяжести, осторожно опуская их, словно слон хоботом. Простенки между стеклами и шкафчиками оклеены вырезанными из журналов портретами актрис и просто хорошеньких девушек. Дюла Киш еще молод, но, как сказали мне внизу, работает он хорошо.

С трудом уговорил я славного и застенчивого Варгу Дежи, главного инженера, позировать мне. Пока я его рисовал, вокруг нас собралось несколько рабочих. Трое из них говорили немного по-русски. Разговор стал общим. То и дело слышалась хорошая, добрая шутка. Варга позвал всех в свой кабинет, находящийся здесь же, в порту. Пока он варил черный кофе, мы рассматривали его дипломы на стенках: «За отличную работу», «За перевыполнение плана», «За организацию народной дружины» и «За 25 лет работы на верфи».

«Сколько же вам лет, Варга?» — спросил я его. Он ответил, что ему 40, а работает он здесь с четырнадцати лет. Варга Дежи — потомственный судостроитель: на этой же верфи всю жизнь работал его отец.



Башни парламента.

Я горжусь тем, что приобрел таких друзей в пролетарском районе Акгиальфельд, на верфи имени Георгиу Деж.

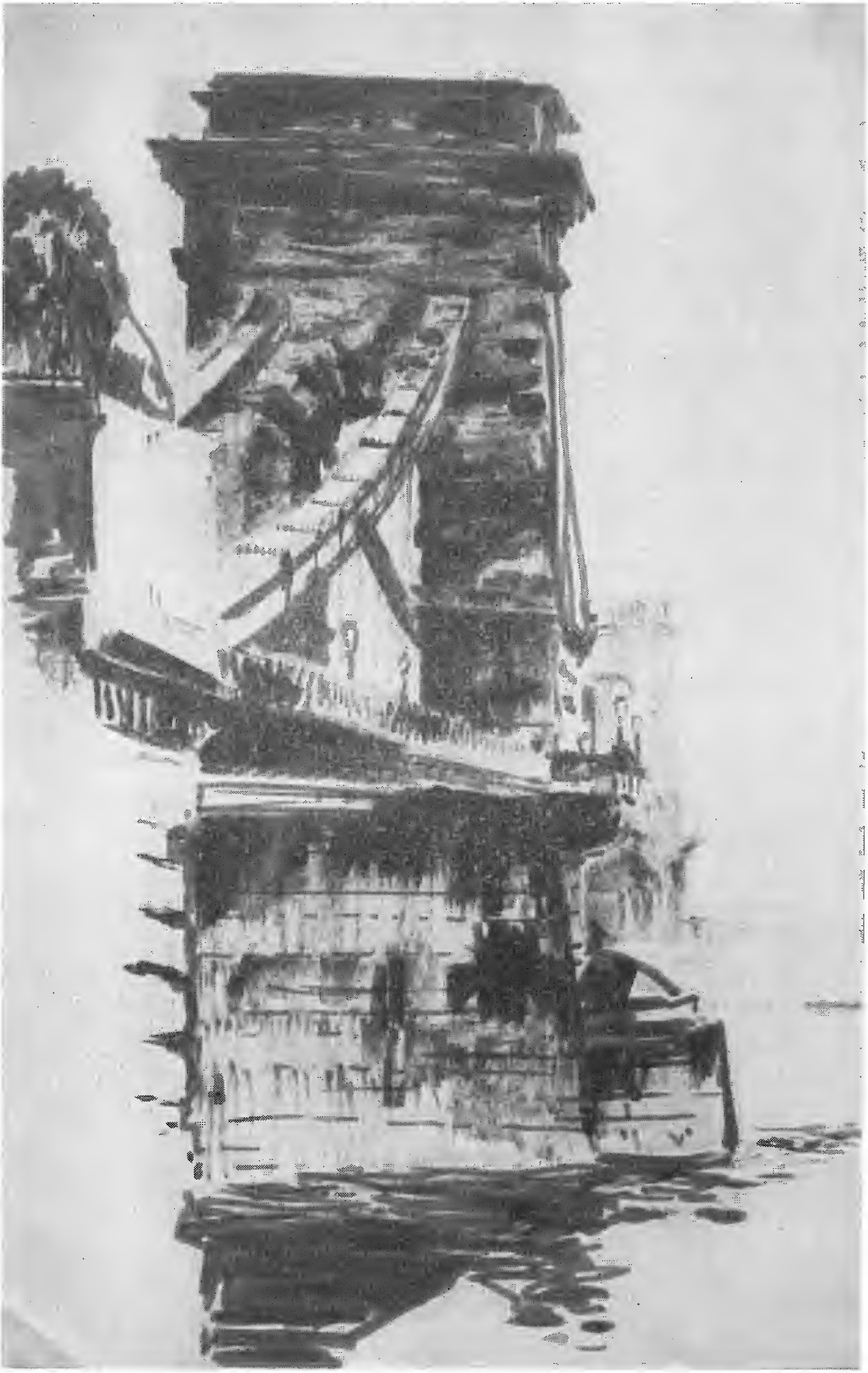
АЛЬБА РЕГИЯ

Секешфехервар, или, как его еще называют, Альба Регия, основан в одиннадцатом веке и в те времена был резиденцией Стефана I, первого венгерского короля.

Это маленький городок, сохранивший, однако, следы былого величия: бронзовые конные памятники, окруженные могучими деревьями, прекрасные средневековые дворцы и готические соборы с органами и образами святых. На мостовой можно выспаться, не рискуя попасть под машину Только возле ресторана на перекрестке главной улицы и шоссе, что ведет от Будапешта к Балатону, все кипит и бурлит. Автотуристы облюбовали этот ресторан в качестве места привала.

В этом католическом городке в годы войны, когда он был захвачен немецкими фашистами, произошел случай, который является прекрасным свидетельством советско-венгерской дружбы. Венгерский врач с риском для жизни спрятал у себя советскую радистку. Эта история стала темой известного фильма «Альба Регия», созданного творческим содружеством венгерских и советских кинематографистов.

На рынке.



← Цепной мост через Дунай.

В МАСТЕРСКИХ СКУЛЬПТОРОВ

Шандор повез нас к своему другу — скульптору Агамемнону Макрису, греческому коммунисту, эмигрировавшему в Венгрию. Макрис — рослый мужчина, с прекрасным благородным лицом и красиво посаженной головой. Его искусство пленило нас. Созданные им монументальные и гневные скульптуры поистине незабываемы. Вот памятник жертвам Маутхаузена. Группа людей. Словно ожившие тени трагического прошлого, стоят они, подняв руки и грозно сжав кулаки. Вот памятник героям Советской Армии в городе Сексарде. Летящая фигура женщины, сильная и динамичная. За спиной у нее развевается широкое полотнище, напоминая и крылья и знамя.

Вместе с Макрисом мы пошли в мастерскую к Шандору Микушу, который показал нам целый цикл небольших бронзовых фигур и групп, отличающихся строгим ритмом и пластичностью линий. В мастерской Микуша мы видели также огромные фигуры для фронтонов и памятников.

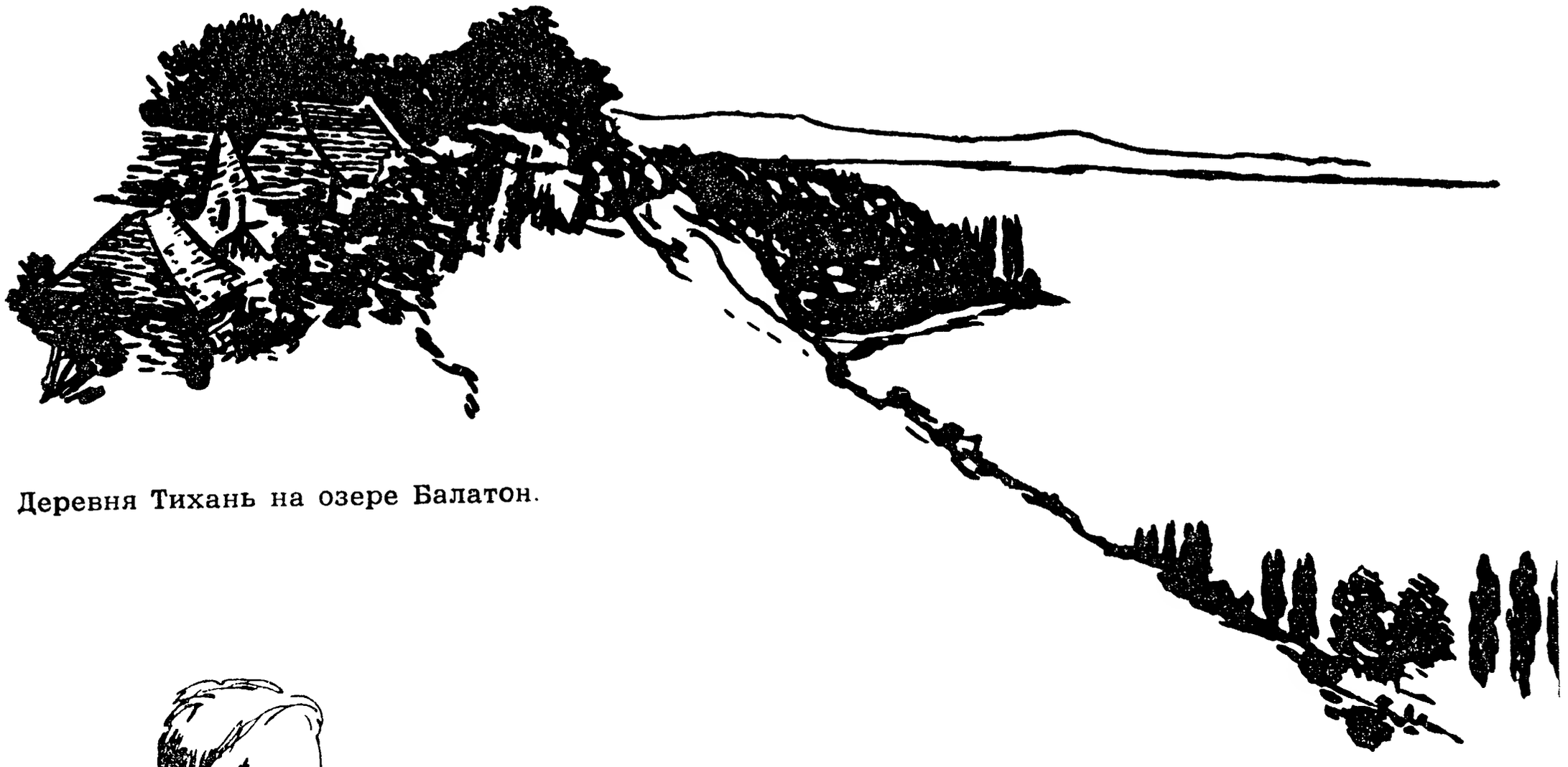
Шандор Микуш и Агамемнон Макрис, так сказать, обеими ногами стоят на земле. Их искусство гуманно и прогрессивно. Разные индивидуальности, разные «почерки», но одинаковое понимание реализма. Мы долго беседовали, запивая добрым венгерским вином вкусные вещи, приготовленные веселой Катариной — женой Микуша. На прощание, в память об этом вечере, Микуш подарил мне бронзовую медаль с портретом известного венгерского художника Риппль-Ронаи.

ЕЩЕ ХОТЕЛОСЬ БЫ РАССКАЗАТЬ...

...о красной земле, зеленых виноградниках и бескрайних полях кукурузы, о стройных длинноногих де-

Крановщик Дюла Киш

Замок в Вышеграде.



Деревня Тихань на озере Балатон.

В кафе.

вушках и спортсменах, о голубых бассейнах для купанья и крохотном готическом городке Сентендре, о рассветах на Балатоне и рыбацких харчевнях, о прекрасных домах отдыха и живописной деревне Тихань, и о многом, многом другом.

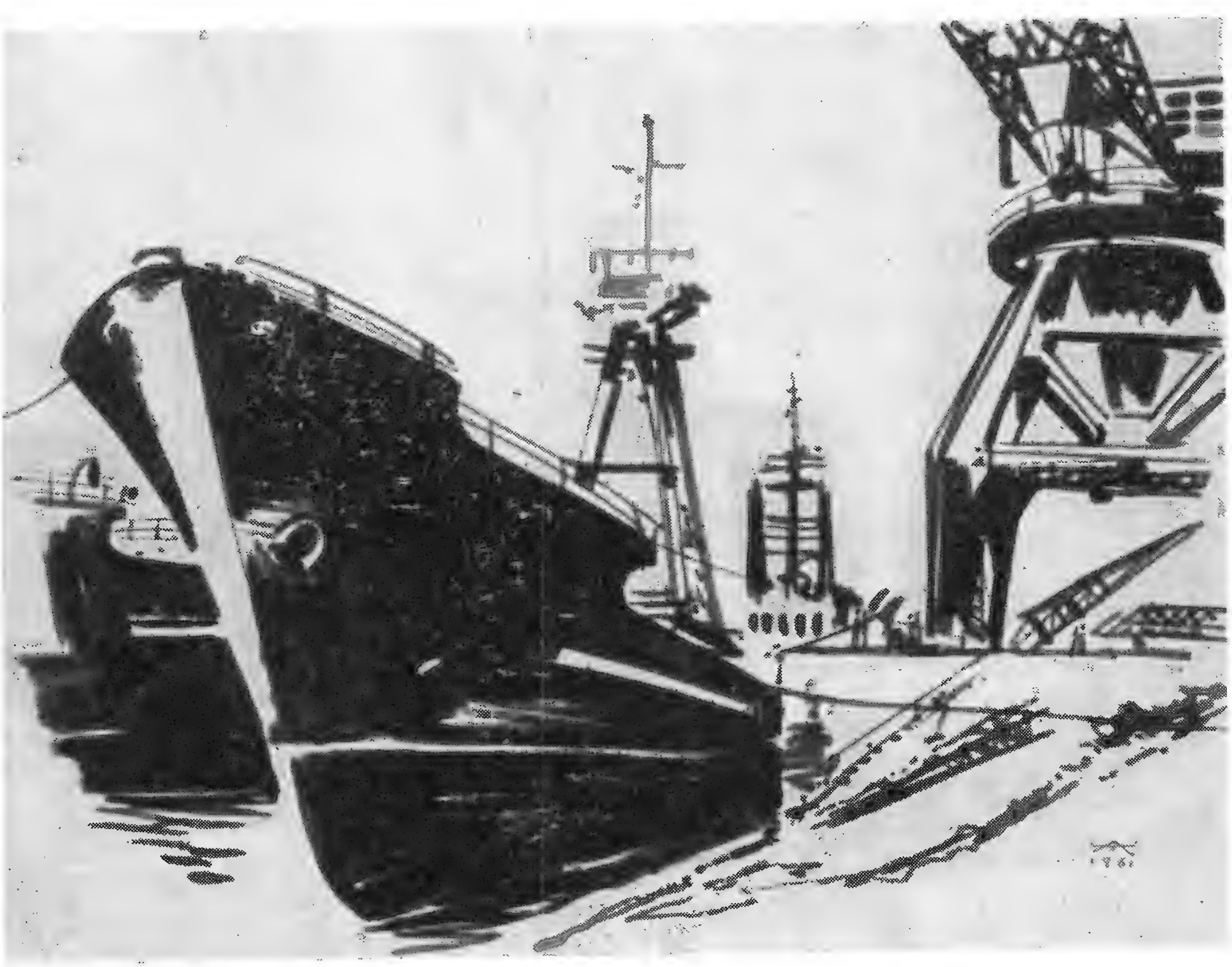
Но места в журнале всегда мало, даже если он толстый. А художник всего лучше рассказывает о том, что он видел, своими рисунками, которые я и представляю на суд читателей.

Строитель

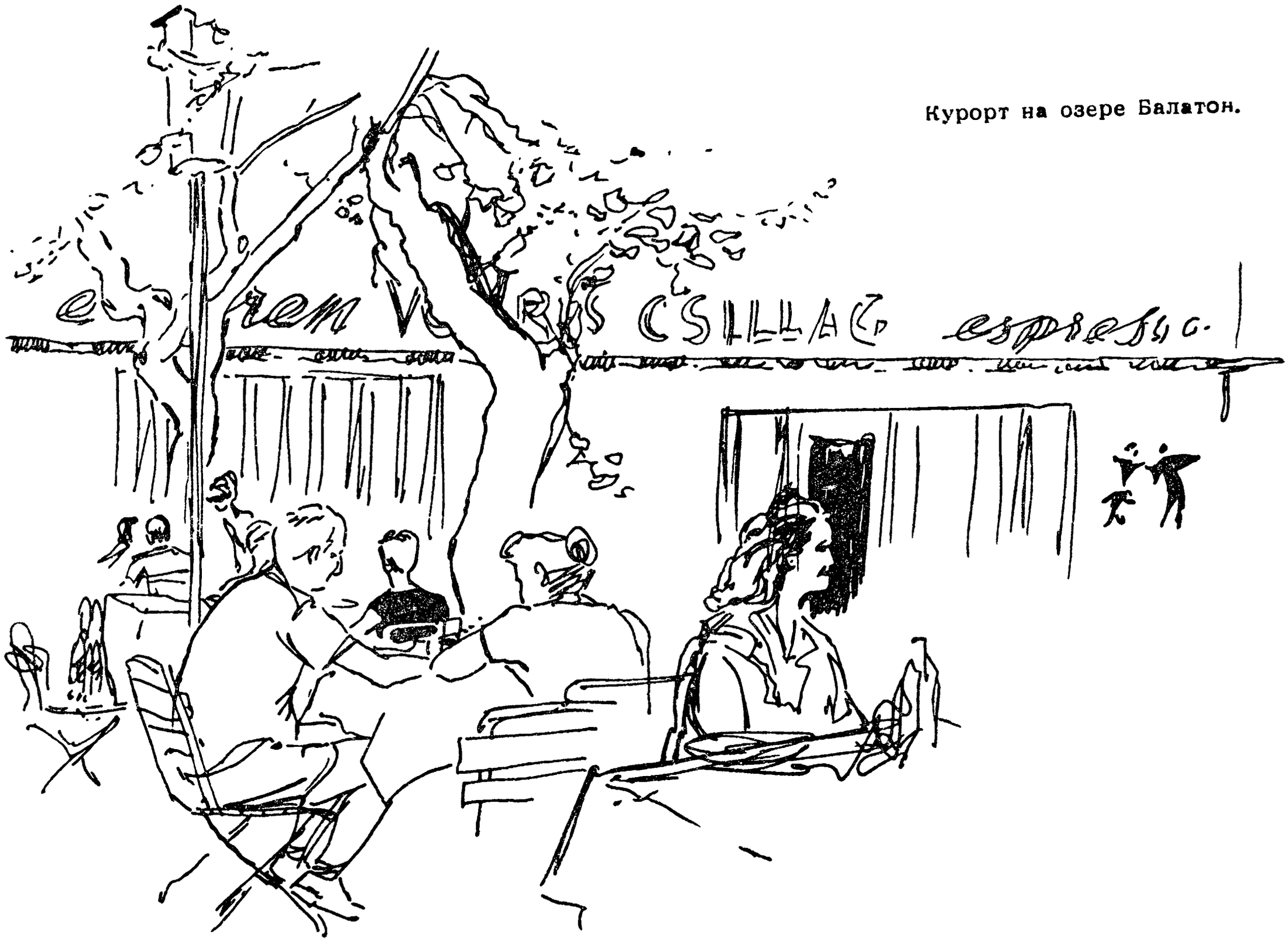
Что-то не клюет

На верфях.

Рождение кораблей.

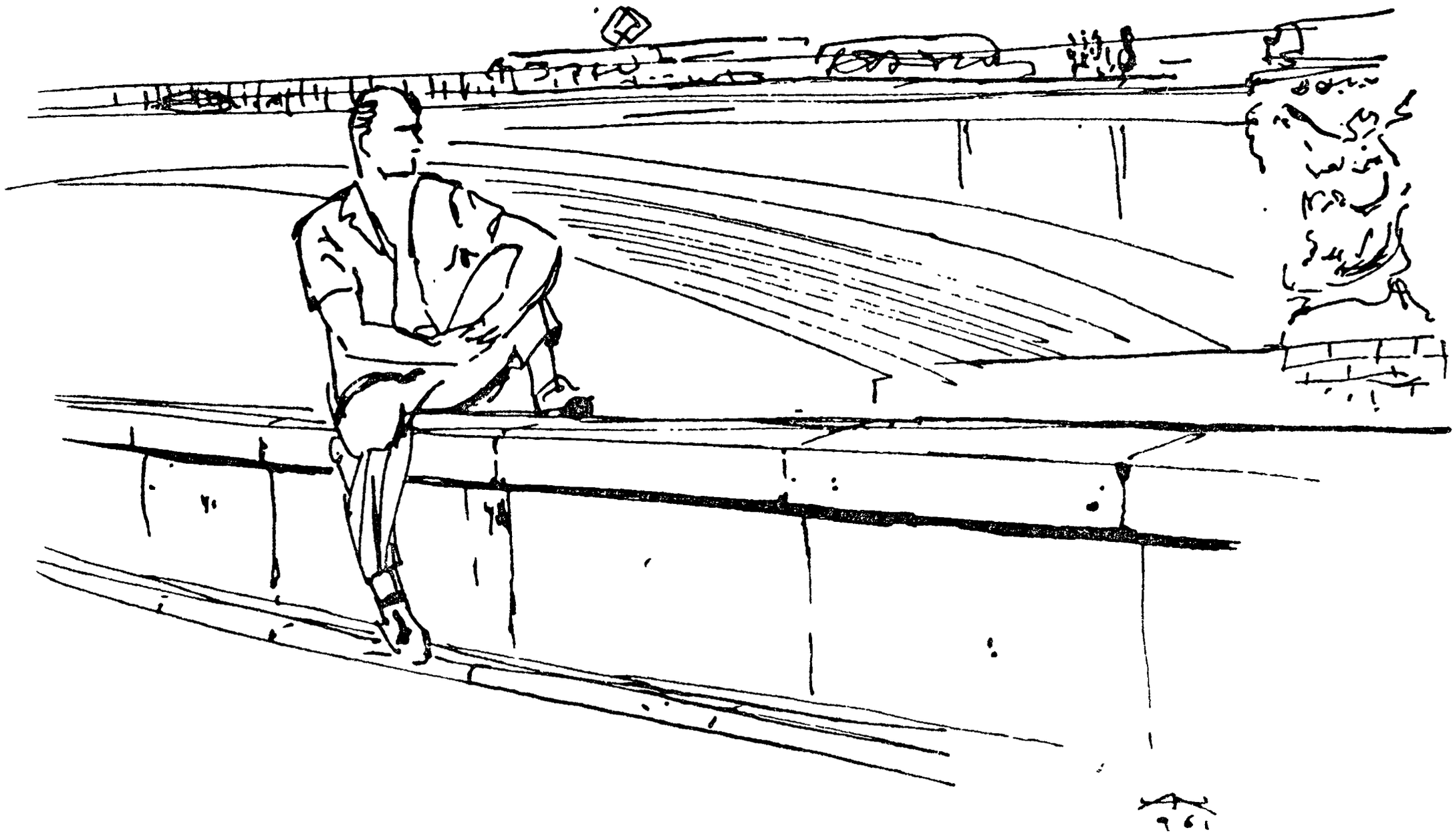


На холмах Будапешта.



Курорт на озере Балатон.

На набережной.



НА ВСЕХ ЯЗЫКАХ

Как сообщает вьетнамская печать, в переводе на вьетнамский язык изданы пьеса М. Горького «На дне» и повесть Д. Фурманова «Чапаев».

Приветствуя появление на английском языке сборника произведений Владимира Маяковского, куда вошла пьеса «Клоп», а также избранные стихи и поэмы в переводе Макса Хейуорда и Джорджа Риви, рецензент лондонского еженедельника «Таймс литерари сапплмент» пишет, что «эта книга — желанное пополнение к имеющимся у нас довольно скудным изданиям сочинений Маяковского». Для Запада. отмечает рецензент, Маяковский представляется особенно интересной фигурой, «так как он пытался свершить революцию в эстетике, которая перекликалась бы с политической революцией».

В заключение автор рецензии высказывает сожаление по поводу того, что редакторы и составители не включили в сборник столь патриотическое произведение, как «Стихи о советском паспорте».

По сообщению израильского библиографического журнала «Кирьят сефер», в переводе на иврит вышла поэма Владимира Маяковского «Облако в штанах».

Кубинское государственное издательство «Импрента насьональ де Куба», по сообщению гаванской газеты «Революсьон» недавно выпустило в свет произведения советских писателей: «Чапаев» Д. Фурманова «Как закалялась сталь» Н. Островского и «Герои Брестской крепости» С. Смирнова.

Книга Софьи Виноградской «Молодые годы» вышла в бухарестском издательстве «Эдитура пентру литература универсалэ» в переводе на румынский язык Алины Миря и Ирины Андрееску.

Иллюстрация художника Курта Циммермана к роману Николая Островского «Как закалялась сталь», вышедшему в берлинском издательстве «Нейес лебен» (ГДР).

(Газета «Берлинер цейтунг»)

По сообщению болгарской печати, в течение нынешнего года в переводе на болгарский язык выйдет много произведений советских писателей. В числе этих книг — «Избранные произведения» Михаила Шолохова, «Костер» К. Федина, «Хлеб и соль» М. Стельмаха, «Капля росы» В. Солоухина, «Сильнее бури» Ш. Рашидова, «Черное море» К. Паустовского, «Синяя тетрадь» Э Казакевича, «Иначе жить нельзя» В. Кетлинской, «Молодо-зелено» А. Рекемчука.

Издаются сборники стихов С. Есенина, А. Твардовского, Н. Асеева, М. Светлова, Я. Коласа, М. Бажана, А. Прокофьева и других советских поэтов.

В австрийском издательстве «Бухгемейнде» вышел в свет сборник «Таджикские народные сказки». «Неожиданно, ново, увлекательно, захватывающе — не только для детей, но и для взрослых, которые уже давно не держали в руках такую книгу сказок»,— пишет критик газеты «Фольксштимме». Критик выделяет особую поэтичность и народную мудрость таджикских сказок. По словам критика, томик сказок «Сундук из вишневого дерева» — настоящий клад высокохудожественных литературных произведений.

Публикуя новую пьесу Константина Симонова «Четвертый», софийский журнал «Пламк» помещает статью об этой пьесе болгарского писателя Славчо Васева, который пишет: «Такие произведения, как пьеса Константина Симонова «Четвертый»,— точные выстрелы в поджигателей новой войны. Они наполняют сердца ненавистью, будят совесть, заставляют работать мысль, мобилизуют волю и силы на действенную защиту мира».

Повесть Вадима Кожевникова «Знакомьтесь, Балуев», как сообщает журнал «Бёрзенблатт фюр ден дейчен буххандель», вышел в издательстве «Культур унд фортшритт» (ГДР).

Драматический театр чехословацкого города Оломоуца поставил пьесу Бориса Горбатова «Закон зимовки». На снимке Сцена из пьесы в постановке режиссера Ю. Свободы

(Журнал «Свет в образех»)

В финском издательстве «Кансанкулттуури» вышел в свет роман Даниила Гранина «После свадьбы». Рецензент газеты «Кансан уутисет» называет книгу «настоящим романом большого читательского круга, герои захватывают читателя».

Советский писатель Александр Бек, как сообщает газета «Кансан уутисет», знаком финским читателям по замечательному роману «Волоколамское шоссе» который, по мнению финской критики является одним из лучших романов о второй мировой войне. Недавно в Хельсинки вышла в свет повесть А. Бека «Резерв генерала Панфилова» («Панфиловцы») в переводе на финский язык Юхани Конкка.

Японское издательство «Синдокусекан» выпустило в свет повесть В. Тендрякова «Тугой узел». Перевод на японский язык сделал Сакаки Тоси. В предисловии к книге Сакаки Тоси пишет, что переводом этой повести он хочет познакомить японских читателей со значительным произведением советской литературы.

В переводе того же Сакаки Тоси другое японское издательство, «Ринонся», издало книгу А. Некрасова «Приключения капитана Врунгеля», по оценке автора предисловия, «жизнерадостную и полную оптимизма».

В будапештском издательстве «Эуропа» вышел в свет в переводе на венгерский язык роман А. Авдеенко «Я люблю».

«О таланте молодого Авдеенко писал еще Горький»,— напоминает обозреватель «Тайекозтато».

Венгерский журнал «Надь вилаг» опубликовал подборку стихов Беллы Ахмадулиной, Евгения Винокурова, Андрея Вознесенского, Светланы Евсеевой Евгения Евтушенко, Леонида Мартынова Ильи Сельвинского, Александра Твардовского.

«Акварель казахской степи» — так назвал повесть С. Антонова «Аленка» критик польского журнала «Нове ксенжки». По словам критика, повесть открывает польскому читателю новые черты в творчестве советского прозаика — умение проникнуть в детскую психологию и взглянуть на мир глазами ребенка. Антонов создал поэтическое произведение о простых людях, об их работе, об их чувствах и привычках, повесть о жителях целины — «этого огромного тигля, в котором люди различного возраста, профессии, характера и национальности создают единую для всех социалистическую мораль».

Мюнхенское издательство «Нимфенбургер ферлаг» (ФРГ) выпустило в свет книгу К. Паустовского «Далекие годы».

«Конармия» И. Бабеля вышла в издательстве «Дейчер ташенбух-ферлаг» (ФРГ).

ИЗ МЕСЯЦА В МЕСЯЦ

Хроника

АВСТРАЛИЯ

ПОД УДАРОМ

Талантливый актер-абориген Роберт Тудавали, исполнитель главной роли в фильме «Джедда», подвергается унизительной дискриминации, сообщает газета «Миррор ньюс-пикториал». Департамент по «благосостоянию» аборигенов, например, отобрал у него почти весь гонорар, причитающийся ему за участие в телевизионном спектакле. Вместо положенных 160 фунтов он получил на руки лишь 10.

Сделано это на основании закона, который приравнивает аборигенов к малолетним детям, нуждающимся в опеке. Этот унизительный для человеческого достоинства закон уже погубил замечательного художника Альберта Намаджиру (см. «Иностранную литературу» №№ 7 и 12, 1959 г.).

«Тудавали,— пишет корреспондент газеты, — обаятельный и остроумный человек, великолепно говорящий по-английски, во время пребывания в Сиднее заходил со своими коллегами-актерами и в рестораны, и в бары и там вел себя гораздо лучше многих тысяч мужчин с абсолютно белой кожей. Если бы он осмелился войти в ресторан или кафе в любом городе Северной территории, где свирепствуют законы апартеида, его подвергли бы суровому наказанию, а человек, обслуживший его, получил бы шесть месяцев тюрьмы. В прошлом году в Дарвине Тудавали был оштрафован на два фунта только за то, что «полиция видела его неподалеку от отеля».

АВСТРИЯ

ПРОГРЕССИВНУЮ ЛИТЕРАТУРУ — В МАССЫ

«Уже свыше десяти лет венское издательство «Бухгемейнде» выполняет почетную и важную задачу распространения среди австрийских читателей прогрессивной художественной литературы»,— сообщает газета «Фольксштимме».

Это издательство выпустило для австрийского читателя известный антифашистский роман писателя из ГДР Бруно Апица «Голый среди волков». Это же издательство напечатало ряд произведений австрийских литераторов-коммунистов, которых бойкотировали другие австрийские издательства, играющие в либерализм и демократию. Так, «Бухгемейнде» издало книги Эрнста Фишера, Бруно Фрея, Евы Пристер, Гуго Гупперта и других писателей-коммунистов. Недавно в издательстве «Бухгемейнде» вышел роман писателя из ГДР Эрвина Штриттматтера «Чудодей».

Отмечая выход в Австрии романа «Чудодей», газета извещает читателей о том, что «по политическим соображениям» это произведение не было издано в Западной Германии. Издательство «С. Фишер-ферлаг», как известно, не выпустило подготовленный тираж романа первого секретаря Союза писателей ГДР Эрвина Штриттматтера «в знак протеста против событий 13 августа 1961 года в Восточном Берлине».

Резко осуждая этот позорный факт, столь ярко показывающий суть «свободного мира», «Фольксштимме» пишет, что издательство «Бухгемейнде» поступило правильно познакомив австрийского читателя с романом «Чудодей».

АНГЛИЯ

В ПОИСКАХ ОБРАЗОВ

Давно литературное произведение не вызывало столь большого отклика и не получало столь широкого освещения в английской печати, как это случилось с дневниками Грэхема Грина «В поисках образов».

«В поисках образов» — это два дневника. Один из них привлекает особое внимание английских читателей: этот дневник писатель вел в 1959 году во время пятинедельного путешествия

по тогдашнему Бельгийскому Конго, когда он побывал, в частности, в лепрозории, послужившем местом действия его последнего романа «Ценой потери» (см. рецензию в этом номере «Иностранной литературы»). Второй дневник рассказывает о морском путешествии автора в Западную Африку в 1941—1942 гг

«Ни один из этих дневников,— пишет Грэхем Грин в своем предисловии к книге,— не велся в расчете на опубликование. Они могут представить некоторый интерес как образчики того сырья, которое накапливает писатель».

Автор рецензии в лондонском еженедельнике «Спектейтор» подчеркивает ценность дневников для ознакомления с творческой «лабораторией» писателя. Особенно важно, по мнению рецензента, то обстоятельство, что записи в дневниках сопровождаются еще и отдельными комментариями автора. «Любопытно,— пишет критик,— познакомиться с мыслями Грина о построении романа. Например, он придает огромнейшее значение самым первым фразам книги».

Дневники, по словам рецензента, раскрывают процесс создания литературного произведения: «На этих страницах — колебания, сомнения, ход мышления писателя. Можно, конечно, знать его творчество, быть знакомым с автором лично и все же не иметь представления о том, как работает его воображение».

Вот некоторые записи Грэхема Грина из дневника, который он вел в лепрозории, «в поисках образов» главных персонажей своего последнего романа.

31 января 1959 года. «... Я еще ничего не знаю о задуманном романе, кроме того, что герой «где-то подвернется», и по этой причине я нахожусь в самолете где-то между Брюсселем и Леопольдвилем. Однако «поиски образа» не могут закончиться здесь: Икс наверняка знал Леопольдвиль, проезжал через него, а место, где он вступает в мое сознание,— это лепрозорий, к которому надо добираться много сот миль вверх по реке Конго Может быть, это Ионда, а быть может, один из меньших лепрозориев в четырех днях пути оттуда».

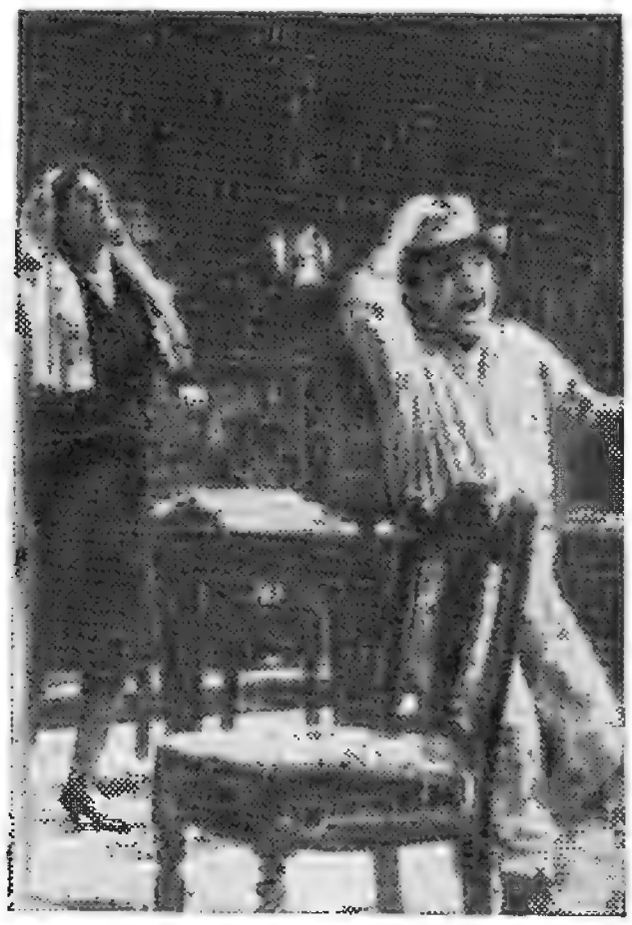
Герой романа еще является «Иксом» для его создателя, записывавшего в дневнике: «Мой роман — это неизвестный мне человек, и я должен найти его: всю ситуацию еще не могу себе представить даже в самом туманном виде; окружение так же ново для меня, каким оно было с самого начала и для него».

2 февраля Грин пишет: «Устал от жары и от чересчур большого числа незнакомых людей... Что-то уныло. Комната кажется мне слишком пустой, негде даже повесить одежду, а в общей душевой — пять больших тараканов. Зачем я здесь?»

Время от времени попадаются записи уже целеустремленного характера, которые потом целиком вошли в роман, и Грин сопровождает их отметкой: «Для книги»

«Пассажир записал в своем дневнике: «Я жив, так как я ощущаю неудобство». Он не знал как следует, зачем, собственно, ведет дневник, «быть может, от ощущения страха, особенно перед мелочами, перед тараканами в каюте». Далее в скобках Грин комментирует: «Те важнейшие первые фразы, которых я так боюсь, кажется почти что найдены. Вот одна из них: «Пассажир каюты записал в дневнике, перефразируя Декарта: «Я ощущаю неудобство, следовательно, существую»,— и застыл с пером в руке, больше ему уже нечего было записывать»

Дневники Грэхема Грина, по оценке критики, свидетельствуют о труде строгого, требовательного к себе художника, никогда не удовлетворенного полностью, постоянно ищущего.



Пьеса Шона О'Кейси «Костер епископа», по словам драматурга, явилась попыткой показать жизнь современной Ирландии — страны, где церковь играет господствующую роль. Новая постановка этой пьесы в лондонском театре «Мермейд» привлекла внимание зрителя, как отмечает критика именно потому, что она изобличает клерикалов и ханжей. На снимке: Сцена из спектакля.

(Журнал «Тиэтр уорлд»)

ТОЛЬКО ЛИ ФАНТАЗИЯ?

Выход в свет романа Ангуса Уилсона «Старики в зоопарке» вызвал разноречивые отклики английской печати, хотя в одном все критики сходятся, это произведение — вне зависимости от того, нравится оно или нет,— производит сильное впечатление и заставляет читателя призадуматься.

Книга Уилсона — фантастический роман. В предисловии автор предупреждает: «Описанные здесь события, которые будто бы произойдут в 1970—1973 годах, совершенно неправдоподобны». Тем самым автор защищается от тех, кто может упрекнуть его за весьма неблагоприятные характеристики некоторых английских политических деятелей—пусть имена их он не указывает — и в весьма критическом отношении к английской действительности. Известно, по словам одного критика, что порой писатели заставляют своих героев действовать «в будущем», чтобы иметь возможность показать критическую картину настоящего,— это дав-

но применяющийся, испытанный литературный прием.

В книге изображена будущая война в Западной Европе. Население Лондона, обезумевшее от голода, идет на штурм зоопарка, узнав о том что зверей кормят мясом, которое могло бы спасти человеческие жизни. К власти приходит неофашистская партия, начинаются чудовищные репрессии против ее политических противников. «Сатирическая фантазия,— пишет рецензент газеты «Обзёрвер»,— как это хорошо знал еще Свифт, должна иметь корни в правдоподобных, реальных вещах». Поэтому никого не могут уверить слова автора, что все описанное им «совершенно неправдоподобно».

Этот политический и фантастический роман, правда, перегружен символизмом. У Ангуса Уилсона ранее проявлялась известная склонность к сюрреализму; кстати, рецензент «Обзёрвер» отмечает, что некоторые части книги написаны так, будто он их создавал в сотрудничестве с Кафкой.

Еженедельник «Таймс литерари саппл-мент»» считает, что писателю не удалось сделать достаточно убедительным тот фантастический мир, в котором живут и действуют его персонажи.

Так или иначе, книга Ангуса Уилсона — явная и откровенная сатира на современное буржуазное общество — не прошла в этом обществе незамеченной.

БЕЛЬГИЯ

ПЬЕСА КОЛЛАБОРАЦИОНИСТА

Брюссельский театр дю Парк, получающий дотацию от городских властей, включил в свой зимний репертуар пьесу Фелисьена Марсо «Яйцо».

В связи с этим бельгийский сенатор Жан Вандервельде направил бургомистру Брюсселя протест, в котором говорится: «...Я не хочу ничего говорить о пьесе, но давать возможность коллаборационисту показывать свои пьесы за счет налогоплательщиков — это уж чересчур!».

Газета «Либерасьон» пишет, что за сотрудничество с гитлеровцами Фелисьен Марсо был осужден бельгийским судом. Однако он принял французское гражданство и преспокойно проживает в Париже.

БОЛГАРИЯ

ИСТОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ

Директор болгарского Литературного института профессор Георгий Цанев сообщил, что в ближайшее время заканчивается работа над четырехтомной историей болгарской литературы. Первый том выйдет в начале нынешнего года.

В настоящее время, как сообщает газета «Работническо дело», готовится к изданию ряд других интересных научных работ, в том числе коллективный труд о болгарском фольклоре.

В скульптуре «Рабочий-поэт» ваятель Николай Шмиргела запечатлел образ Николы Вапцарова.

(Журнал «Изкуство»)

БРИТАНСКАЯ ГВИАНА

ГОРЬКИЕ СТРАНИЦЫ

Действие романа «Последний варвар» Джэна Кэрью, писателя из Британской Гвианы, развертывается в убогих гарлемских трущобах Нью-Йорка, куда в поисках лучшей доли приехали негритянский художник из Бразилии и группа негров из Вест-Индии, ставших его друзьями.

«Это книга,— пишет рецензент журнала «Уэст Африка»,— о жизни чернокожих женщин и мужчин, влачащих жалкое существование на убогих улицах Гарлема, добрых и великодушных по отношению друг к другу, глубоко интересующихся делами своих друзей, благодаря чему их жизнь становится в какой-то мере сносной, несмотря на окружающую нищету».

Немало горьких страниц посвятил автор «цветному барьеру», с которым так часто приходится сталкиваться неграм в Америке.

ВЕНГРИЯ

ГОВОРЯТ МОЛОДЫЕ ПИСАТЕЛИ

Кипучей жизнью живет литературная Венгрия, активно участвует в этой жизни писательская молодежь.

Недавно будапештский бюллетень «Тайекозтато» на своих страницах предоставил слово молодым венгерским прозаикам и поэтам.

«Мне 25 лет,— говорит поэт Лайош Папп,— и никогда моя жизнь не была столь полна мечтами и замыслами, как сейчас. Хочется писать и писать, но писать интересней, глубже и правдивей. Я работаю сейчас над поэмой о рабочих — наших современниках.

Становление нового всегда происходит в борьбе со старым. И мне хочется показать, как в этой борьбе новые идеи, новые стремления и новые помыслы оказываются сильнее старых и побеждают. А убеждаюсь я в этом лично: как журналисту, мне то и дело приходится сталкиваться с людьми,

Засуха грозила погубить все живое... О мужественной борьбе людей со стихийным бедствием рассказывает новый фильм «Они победили», кадр из которого здесь воспроизведен. Сценарий фильма написан Лайошем Галамбошем по мотивам новелл Иштвана Алмаши и Дюлы Кекешди.

(Еженедельник «Элет эш иродалом»)

с их работой. Так вот и живу — днем встречаюсь с трудящимися и пишу о них в прозе, а вечерами и ночами — в стихах. Трудно, но усталости не знаю».

В издательстве «Сепиродалми» вышел томик новелл писателя Яноша Фюлепа. Это его вторая книга. Его роман, вышедший десять лет назад, был отмечен премией на конкурсе рабочих писателей.

На просьбу корреспондента «Тайекозтато» рассказать о своих планах, Янош Фюлеп ответил: «Их у меня много. Готовлю книгу очерков. Хочу написать рассказ к 20-й годовщине антифашистского митинга перед памятником Петефи — 25 марта 1942 года и, наконец, пишу роман. Во всем стремлюсь не порывать связи с жизнью».

У Эндре Герейеш недавно был «литературный день рождения» — вышел первый томик его рассказов «Среди камней». Молодой писатель работает над вторым сборником.

Вторую книжку стихов выпустил поэт Дьердь Харш. Если в первом своем сборнике он с гневом и болью писал о событиях 1956 года, выступая против контрреволюции, то в новом сборнике он с радостью и гордостью пишет о сегодняшних трудовых буднях своего народа.

«Мои произведения публикуются в периодической печати с 1958 года,— рассказывает Карой Сакони,— однако теперь у меня особая радость: вышел превый сборник моих новелл, получивший высокую оценку старейшего писателя-коммуниста Йожефа Лендьеля. Это меня ко многому обязывает».

Поэта Михая Ваци можно по праву считать «ветераном» среди молодежи. Вышедший недавно поэтический сборник «Повсюду дома» — четвертый по счету. Его стихи повествуют о неузнаваемо изменившемся мире, о новой жизни соотечественников.

Все произведения молодых писателей, о которых идет речь, подчеркивает обозреватель «Тайекозтато», с интересом встречены читателями и критиками и успели завоевать заслуженное признание.

ВЕСТ-ИНДСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

НЕСБЫВШИЕСЯ НАДЕЖДЫ

Поистине трагична судьба писателей, художников, артистов из английских колоний, расположенных на островах, составляющих Вест-Индскую федерацию. Не имея никакой возможности для творческой деятельности у себя на родине, они вынуждены уезжать в Англию. Однако и здесь их ждет горькое разочарование.

Талантливый негритянский драматург Бэрри Рэкорд, приехав из Вест-Индии в Англию, поселился в Лондоне, где, как ему казалось, он будет иметь все возможности для творчества.

Однако ни первая, ни вторая пьесы не дали их автору возможности не думать о насущном хлебе. Чтобы заработать себе на жизнь, драматург вынужден тратить массу времени и сил на поиски случайных уроков.

«Ему, конечно, хотелось бы,— пишет корреспондент выходящего в городе Кингстоне (Ямайка) журнала «Уэст индиан ревью»,— чтобы его пьеса была поставлена в Вест-Индии, но нет денег для этого. Трудности постановки пьесы чересчур велики».

ГАНА

ПЕРВЫЙ КОНГРЕСС ЛИНГВИСТОВ

Изучение и развитие языков народов Ганы — животрепещущая проблема для ганских писателей, журналистов, учителей, для всех деятелей ганской культуры.

Вот почему столь важным событием в культурной жизни страны стал первый конгресс лингвистов стран Западной Африки, состоявшийся в Гане.

На конгрессе, как сообщает журнал «Африка», присутствовали специалисты-языковеды из Ганы, Нигерии, Сенегала и других африканских стран.

О ГЕРОИЧЕСКИХ ДЕЛАХ ГОРНЯКОВ

Иоганнесу Арнольду всего 33 года, но он уже автор нескольких репортажей, рассказов и повестей. В прошлом году вышел его роман «В первые часы», который переносит читающего в родной город автора — Хемниц 1945 года.

Внимание читателей привлекла книга Арнольда «Тысяча рук», повествующая о героических делах немецких горняков. Несколько лет назад выполнение плана на угольных шахтах страны стояло под угрозой срыва — горняки из города Карл-Маркс-штадта организовали бригады помощи своим товарищам. Самоотверженная работа горняков Карл-Маркс-штадта послужила хорошим примером для шахтеров других шахт: совместными усилиями план добычи угля был выполнен.

Рецензент газеты «Берлинер цейтунг» отмечает, что эта книга Иоганнеса Арнольда свидетельствует о горячем стремлении ее героев — горняков — построить социалистический уклад в республике. По словам рецензента, в творчестве Иоганнеса Арнольда глубокое отражение находит тема современности.

Свой новый роман «Менестрель» Арнольд посвящает жизни членов рабочей бригады. Показывая жизнь маленькой горсточки людей, молодой писатель поднимает большую тему социалистической морали.

«Арнольд дал республике хорошие и нужные повести и романы,— пишет рецензент «Берлинер цейтунг».— Талант писателя позволяет ожидать от него еще много интересного о жизни человека нового общества».

НОВЫЙ АВТОР — НОВАЯ ТЕМА

«Многие молодые авторы писали и пишут о войне и послевоенном периоде. Заслуга Гюнтера Штейна состоит в том, что в новой немецкой литературе он избрал еще никем не затронутую тему из послевоенного периода»,— таково мнение критика газеты «Нейес Дейчланд».

«Аудитория № 92» — это первый роман Гюнтера Штейна, недавно вышедший в издательстве «Нейес Берлин».

Место действия романа — университет имени Гумбольдта, вновь открытый в демократическом секторе Берлина в первые годы после разгрома гитлеризма. Своего героя, студента факультета славистики, выходца из буржуазной семьи и бывшего моряка, Гаральда Линка автор сразу же ставит в обстановку напряженной классовой борьбы — борьбы между буржуазной частью студенчества и группой Союза свободной немецкой молодежи.

Гаральд Линк пытается избежать «черного рынка» и других сомнительных делишек, которые в то время могли бы дать ему средства к существованию. Однако прошлое тяготеет над ним. Старые друзья по Грейсвальдскому университету и бывшие офицеры гитлеровской армии используют его в качестве слепого орудия против демократических преобразований в университете.

Когда наконец Гаральд, в душе ненавидящий войну, понял планы реакционных студентов и свою незавидную роль, он отходит от фашистов. А когда ему пригрозили убийством, он окончательно порывает с ними... В душе его происходит перелом.

По мнению критики ГДР, ценность книги молодого автора, который до сих пор был известен как переводчик русской и советской литературы, состоит в том, что она доказывает — нельзя оставаться «между двумя фронтами». Каждый противник войны должен быть активным борцом против восстановления фашизма в Германии.

«Несмотря на некоторые недостатки книги, роман «Аудитория № 92» — хороший вклад в нашу современную литературу»,— полагает рецензент «Нейес Дейчланд».

«Готовы к обороне» — репродукция картины Хорста Шлоссера, экспонированной на выставке дрезденских художников. *(Газета «Нейес Дейчланд»)*

ПОВЕСТИ О ДРУЖБЕ

Вышли в свет три повести молодого писателя Гюнтера де Бруина. По сообщению рецензента газеты «Нейес Дейчланд», первая из них, повесть «Встреча на Шпрее», рассказывает о дружбе между советским и немецким народами.

Мобилизованный в конце войны, ученик-старшеклассник — под влиянием своего учителя-антифашиста — спас от гибели нескольких советских военнопленных. За это гитлеровцы казнили мальчика.

Десять лет спустя друг казненного, от имени которого ведется повествование, случайно обнаруживает его письмо из тюрьмы к учителю — мальчик рассказывает о том, что с ним произошло и что его ожидает. По адресу на письме друг казненного направляется в Западный Берлин на поиски учителя...

Вторая повесть «Рената» — лирическая история любви. В купе поезда встретились полька — медицинская сестра и учитель из Западной Германии.

В третьей повести, «Божена», немецкий юноша в форме солдата гитлеровской армии знакомится с польской девушкой Боженой.

Три повести — три произведения о дружбе между народами.

«Теплыми, спокойными словами Гюнтер де Бруин ведет рассказ о сложных человеческих чувствах,— отмечается в рецензии «Нейес Дейчланд».— Эпическая манера письма автора достигает значительно большего, чем громкая декларация. Он убеждает читателя в правоте мыслей, заключенных в его произведениях. Пока этот молодой автор находится под впечатлением пережитого им за войну. Теперь читатель ожидает от Гюнтера де Бруина таких же талантливых произведений о современной жизни республики».

...Семья немецкого инженера Хейльмана шестнадцать лет назад жила в оккупированной гитлеровцами Польше. Тогда и произошла трагедия. Старший сын Хейльмана — Дитер виновен в смерти польской девушки Галины, которую пыталася спасти младший сын инженера — Ульрих. Гибель Галины расколола семью Хейльманов, воспоминания о погибшей довлеют над каждым членом этой семьи. И вот наступает день, когда раскрывается ужасная правда об убийстве девушки. Это судный день для убийцы Галины — Дитера и для его отца, из-за трусости ставшего соучастником убийства. Это судный день и для Ульриха, не принявшего действенных мер к спасению Галины. Это, наконец, судный день и для жены Хейльмана, которая только сейчас узнала всю правду и которая после мучительной внутренней борьбы решила выдать правосудию преступника. Таков сюжет психологической драмы «Тень девушки», поставленной берлинским театром имени Максима Горького. На снимке: Артистка Рут-Мария Кемпер в роли Галины

(Газета «Нейес Дейчланд»)

ФЕДЕРАТИВНАЯ РЕСПУБЛИКА ГЕРМАНИИ

«СОУЧАСТНИК»

Писатель Мартин Бехейм-Шварцбах назвал свой роман «Соучастник». Главный герой романа, вышедшего в гамбургском издательстве «Рюттен унд Лёнинг-ферлаг»,— лишь маленький винтик в фашистской машине, но тем не менее он страшен и отвратителен...

Это человек с бархатным голосом, красными, как сардельки, пальцами и широко расставленными ушами «слоновьей величины». Во всем он старался быть нейтральным. Самым же существенным в этом человеке были его уши. Как выразился автор, герой «жил ими и для них». Именно этим ушам, необыкновенному мастерству прислушиваться и подслушивать он был обязан своему взлету, блеску и своему падению.

Герою пришлось выждать, когда наконец наступили для него благоприятные времена. Начинать пришлось со скромной должности парикмахера в маленьком городке. И эта профессия помогла ему отточить свое оружие — слух. «Подслушивание стало для него сладострастием». Позже он перебрался в Берлин, рассчитывая там найти богатые возможности. Старая профессия здесь не пригодилась, и он стал официантом. Выдав гестапо нескольких «врагов нации», кельнер обрел вкус к этому делу и нашел наконец практическое применение своей страсти и своим бесценным ушам... Агент гестапо стал получать важные задания. Послужной список рос...

«Читая эту книгу,— отмечает рецензент еженедельника «Дейче фолксцейтунг»,— не можешь отделаться от чувства отвращения». Мартин Бехейм-Шварцбах дал своему роману подзаголовок «Хроника одного шпика». За этим скромным пояснением, пишет еженедельник, прячется «одна из острейших политических сатир, один из ужаснейших гротесков из всех когда-либо написанных».

ПРОВАЛ БОЙКОТА

«Культурные» власти Бонна и «фронтового города» запретили на сценах подвластных им театров постановки пьес Бертольта Брехта. Под страхом личной ответственности интендантов (директоров), они потребовали исключения из репертуаров всех произведений выдающегося драматурга.

Как сообщает печать, 66 интендантов западногерманских театров выступили с публичным совместным протестом против попытки ввести фашистские порядки в искусстве. Им последовали лучшие представители искусства, культуры и науки. Среди подписавших заявление, по сообщению еженедельника «Дейче фольксцейтунг», восемьдесят процентов всех руководителей театров ФРГ.

Руководитель драматического театра во Франкфурте-на-Майне Гарри Буквиц решил продолжать ставить пьесу Бертольта Брехта «Жизнь Галилея». Спектакль идет в переполненном зале.

Борьба прогрессивных сил в Западной Германии против фашистского мракобесия увенчалась успехом. Ежемесячник «Культур унд гезельшафт», выходящий в Карлсруэ, пишет: «Конечно, силы, которым Бертольт Брехт не подходит, при удобном случае могут повторить эту кампанию и будут это делать до тех пор, пока «антикоммунизм» остается официальной политикой боннского государства. Но на этот раз они не достигли своей цели. Более двадцати запланированных на текущий сезон пьес Бертольта Брехта будут идти на сценах театров Западного Берлина, Мюнхена, Франкфурта-на-Майне, Эссена, Бремена, Кёльна, Штутгарта и других городов Западной Германиии».

Сцена из пьесы «Жизнь Галилея» Брехта в постановке театра во Франкфурте-на-Майне.

(Газета «Берлинер цейтунг»)

Выходящий в Бремене (ФРГ) журнал «Нейес эхо» опубликовал эту карикатуру с подписью «Как эти картины похожи». Надпись вверху — «Не покупайте у евреев!», внизу — «Не играйте Брехта!».

«АГАТА, ОСТАВЬ УБИЙСТВА!»

«310 убийств, 642 мошенничества, 165 краж, 74 насилия и свыше 200 нарушений супружеской верности показаны в четырехстах фильмах, демонстрировавшихся в Западной Германии в прошлом году»,— сообщает печать.

Недавно на экраны вышел фильм «Агата, оставь убийства!». Хотя десяти сценаристам, работавшим над фильмом, не хватило таланта, чтобы создать высокохудожественное произведение на нужную и хорошую тему, постановщику — западногерманскому режиссеру Дитриху Хаугу удалось направить острие сатиры против литературы, воспитывающей преступников.

Хорошенькая Агата запоем читает криминальные романы. Чтобы отучить ее от этого увлечения, друг Агаты — адвокат Петер Брент разыгрывает все сцены последней прочитанной ею «страшной» книжонки. Перед глазами Агаты снова проходят и семь гробов в погребе, и смерти, и привидения. Она все принимает за чистую монету. И только, когда в этой игре чуть-чуть не доходит до убийства ее Петера, Агата начинает понимать происходящее.

ДАНИЯ

ГЕРОЙ «РАЗГНЕВАН»...

Известный датский писатель Ханс Кирк с одобрением отзывается в газете «Ланд ог фольк» о повести Кнута Барнхольдта «Натри башмаки мелом и стой прочно».

В центре повести — молодой человек, которого можно отнести к категории «разгневанных». Однако, как пишет Кирк, в отличие от некоторых «сердитых» героев современной литературы, живущих в обстановке полного материального благополучия и восстающих лишь против отдельных условностей буржуазного существования, герой Барнхольдта действительно имеет все основания быть «разгневанным». Он — молодой рабочий, которому нельзя отказать в чувстве классового сознания. Однако это чувство никак не проявляется в действии. По мнению Кирка, такой тип рабочего сформировался в Дании под влиянием реакционной политики социал-демократов. Весь гнев и горечь героя оказываются бесплодными. В конце концов он сам становится предпринимателем.

«Горькая, резкая книга, безнадежная история,— пишет о повести Ханс Кирк.— Едкий рассказ о грубом капитализме и выродившейся социал-демократии».

В Бомбее был проведен фестиваль бенгальских фильмов. Семь лучших произведений бенгальских мастеров кинематографии познакомили зрителей с жизнью и бытом культурой и искусством, традициями бенгальского народа Глубоко взволновал аудиторию фильм «Дорожная песня» крупнейшего режиссера Сатьяджита Рэя, который создал правдивое художественное полотно о трудной доле бенгальского крестьянства. Большое впечатление на зрителей произвела и картина продюсера-режиссера Раджана Тарафдара «Ганг» (кадр из которой здесь воспроизведен), рассказавшая бомбейцам о жизни далекого рыбацкого поселка в современной Бенгалии.

(Журнал «Филмфэр»)

ИНДИЯ

НОВЫЕ КНИГИ КРИШАНА ЧАНДАРА

В Бомбее опубликованы две новые книги видного прозаика на урду Кришана Чандара.

«Одна девушка и тысяча мужчин» — так писатель назвал свою повесть о печальной истории молодой цыганки Лачи. Девушку угнетает бродячая жизнь племени. Она тщетно рвется к оседлой жизни, мечтает иметь свой очаг, создать свою семью. Неожиданная болезнь наносит новый удар по Лачи...

Критик индийского еженедельника «Бхарат джоти» отмечает, что автор рисует «жестокую, но реалистическую картину» быта и нравов бродячих цыган Индии. Повесть написана с большой теплотой и знанием жизни, хотя, по мнению рецензента, Кришан Чандар пользуется слишком мрачными красками. Во вторую книгу, вышедшую под общим заголовком «Цветочная ваза», включено двенадцать коротких рассказов. Все они «раскрывают глубокий поэтический талант автора». Его острая сатира «ставит под обстрел социальное зло». Писатель, по словам критика «Бхарат джоти», «стремится нацелить человечество на борьбу с социальной несправедливостью».

ИСПАНИЯ

МОЛОДЫЕ ПИСАТЕЛИ ПЕРЕД СУДОМ

По сообщению мадридского корреспондента французской газеты «Монд», недавно в столице Испании проходил судебный процесс по делу «о молодых писателях». Среди обвиняемых — молодые испанские прозаики и поэты: Хулиан Маркос, Фернандо Санчес Драго, Хесус Лопес Пачеко, Энрике Мухика, Хулио Диаманте, Хаиме Маэстро и Матэо Ногарес. Все они обвиняются в «незаконной пропагандистской деятельности» и в издании подпольной литературы. Хулиан Маркос обвинен также в нанесении оскорбления генералу Франко несколь-

кими фразами из своей до сих пор не напечатанной поэмы.

Процесс над молодыми писателями проходил при закрытых дверях. Как отмечает корреспондент «Монд», эти литераторы (в возрасте от 25 лет до 31 года) в феврале 1956 года, еще будучи студентами, пытались созвать в рамках мадридского университета первый конгресс молодых писателей. Запрещение созыва конгресса франкистскими властями вызвало крупные волнения среди студенческой молодежи.

ИТАЛИЯ

«ЧЕРСТВОЕ СЕРДЦЕ»

Так называется новый роман писателя Карло Кассолы, главное действующее лицо которого, как и в предыдущем его романе «Девушка Бубе»,— простая итальянская девушка.

Действие романа происходит в 30-е годы в приморском курортном городке; жизнь там оживляется лишь летом с приездом отдыхающих, а зимой царит мертвая скука. Восемнадцатилетняя Анна — так зовут героиню — влюбляется в жениха своей сестры и становится его любовницей. Отъезд этого человека в Америку спасает девушку от тяжелой драмы. Это рано испытанное сильное чувство помогает Анне не стать такой же лицемерной, как другие девушки в ее городке, душевный опыт делает ее взрослее, суше, трезвее. «Черствое сердце»,— говорят про Анну. Но под ее «черствостью» скрываются внутренняя чистота, честность, хотя она и не следует законам лживой морали.

В рецензии на роман газета «Унита», признавая несомненные достоинства нового произведения Кассолы, отмечает, что в нем все же ощущается нарочитость моральной схемы, построенной автором. События, конкретные люди для Анны не важны, они словно не существуют. Она живет своим внутренним мирком, в своих интимных переживаниях. «Черствость» ее сердца автор возводит в добродетель, видит в ней защиту от приспособленчества, безответственности, лживой буржуазной морали. Однако в целом, заключает газета, Кассола сумел создать в этом романе своеобразный женский характер, который при всей своей символичности весьма ярок, поэтичен и жизнен.

ПРОТИВ КЛЕРИКАЛЬНОЙ ЦЕНЗУРЫ

Борьба против цензурных преследований и ограничения свободы творчества, которую непрерывно приходится вести прогрессивным писателям и деятелям искусства Италии, приняла особенно напряженный характер.

Ныне представители коммунистической и социалистической партий выступают в парламенте против реакционного законопроекта о цензуре, который пытаются протащить правящие круги. Вся передовая общественность на митингах, собраниях, на страницах печати выражает свое возмущение новым проявлением клерикальной нетерпимости — гонениями против французского антивоенного фильма «Не убий!», поставленного режиссером Клодом Отан-Лара (см. «Иностранную литературу» № 1, 1962 г.).

Кадр из фильма «Нищий».
(Газета «Унита»)

Итальянские писатели и все передовые деятели итальянской культуры выразили свой протест против произвола цензуры на «Общеитальянском совещании по борьбе против цензуры», состоявшемся в римском театре «Элизео». В совещании участвовали писатели Либеро Биджаретти, Карло Леви, Леонида Репачи, Уго Пирро, Франко Солинас, Гоффредо Белончи, кинорежиссеры Лукино Висконти, Джузеппе Де Сантис, Пьетро Джерми, Алессандро Блазетти и многие другие видные деятели искусства и культуры. С докладом выступил Гвидо Пьовене.

Продолжаются выступления общественности и в защиту фильма «Нищий», поставленного писателем Пьером Паоло Пазолини, впервые выступившим в качестве кинорежиссера (см. «Иностранную литературу» № 8, 1961 г.). После того как ведающие делами кино итальянские органы воспрепятствовали включению этого фильма в число конкурсных на последнем Венецианском кинофестивале, против него ополчились клерикальные круги и цензура. «Пазолини в их глазах запятнал себя страшным преступлением,— пишет кинокритик Мино Арджентьери,— создав произведение, свободное от болезненных переживаний и зрелищных эффектов, показав мир римских окраин. Нищета, голод, отчаяние людей, живущих вне цивилизованного общества,— вот темы, которые звучат и переплетаются в фильме Пазолини. Эти вопросы — «табу», приводящие в ужас благомыслящих».

В сенате запрос правительству о преследованиях фильма «Нищий», как сообщает газета «Унита», внесли сенаторы-коммунисты и социалисты, указавшие, что нынешние цензурные преследования — средство помешать созданию антифашистских и остросоциальных фильмов.

КИТАЙ

ТВОРЧЕСКАЯ ДИСКУССИЯ

Что такое типическое в литературе и искусстве? Как определить его сущность? Такие вопросы были подняты на дискуссии, развернувшейся на страницах китайского журнала «Вэньи бао» в связи с обсуждением романа Юй Фэна «На золотых отмелях». В романе воссоздан тот период, когда во многих провинциях Китая, в том числе в Гуандуне, обострилась классовая борьба в деревне. О тех днях и повествует роман «На золотых отмелях».

Об этом произведении со стороны широкого читателя были высказаны многочисленные и притом самые разнообразные критические замечания. Именно поэтому журнал «Вэньи бао» поместил несколько редакционных статей, в которых акцент сделан не столько на положительных сторонах и недостатках романа, сколько на понимании специфики литературы и проблемы типического.

Типичность, по мнению авторов статей, обуславливает силу реалистического искусства, его способность создавать полнокровные художественные образы. «Проблема типического,— пишет один из авторов,— основная в марксистской эстетике и в литературной практике».

Нельзя отражать правду жизни, копируя действительность, не пропуская ее через призму своего художественного видения, не прибегая к созданию типических характеров. «Притом,— замечают авторы,— в нашей действительности типические характеры могут быть самые разнообразные и многоликие. В жизни можно встретить миллионы людей разных индивидуальностей, столько же должно быть их и в нашей литературе».

Проблему критической и эстетической оценки художественного произведения авторы статей непосредственно связывают с понятием типического как основной формы проявления художнической принципиальности и партийности в литературе и искусстве.

На сценах многих театров Китая идут пьесы старейшего китайского драматурга Тянь Ханя, который за последние сорок лет написал свыше пятидесяти драм и трагедий, рисующих жизнь трудового народа. На снимке: Сцена из популярной пьесы Тянь Ханя «Сучжоусские сказания».

(Журнал «Сицзюй луньцун»)

ЭПОПЕЯ ДВАДЦАТЫХ ГОДОВ

На тему о крестьянском движении в Китае написано немало романов. Об одном из них — «Солнце взошло на Востоке» Сю Цана, недавно вышедшем из печати, положительно отзывается литературовед Янь Ган на страницах журнала «Вэньи бао». Роман, по словам рецензента, воспроизводит картину революционного движения крестьян на юге Китая в двадцатых годах. Произведение отличается не только умело найденной композицией, но и представляет собой красочный познавательный материал.

ПОЛЬША

Мария Домбровская.

(Еженедельник «Пшеглёнд культуральны»)

НОВЫЙ РОМАН МАРИИ ДОМБРОВСКОЙ

Как значительное событие в литературной жизни Польши расценивается появление в еженедельнике «Пшеглёнд культуральны» отдельных глав из нового романа выдающейся польской писательницы Марии Домбровской — «Приключения мыслящего человека».

С момента появления романа «Ночи и дни», поставившего Домбровскую в первый ряд польских литераторов, прошло двадцать лет. За это время писательница публиковала повести, рассказы, статьи, очерки, каждый из которых вызывал живой интерес польской общественности.

В беседе с корреспондентом газеты «Жице Варшавы» писательница указывает, что действие романа «Приключения мыслящего человека» развертывается в период двадцатилетия между двумя мировыми войнами. Эта история нескольких человек, жизнь которых тесно сплетена с событиями того времени.

В предисловии к первым напечатанным главам Мария Домбровская пишет, что роман будет двухтом-

ным, рассчитанным на 30—40 глав. Отдельные главы возникли в разное время — еще до войны, в период гитлеровской оккупации Польши, в первые послевоенные годы, а четыре начальные главы, которые печатаются в настоящее время,— зимой 1960 года.

Интересны замечания писательницы о форме ее нового романа. «Я намерена использовать в нем свои и чужие письма, дневники и воспоминания, напечатанные и случайно обнаруженные в рукописях», — пишет Домбровская.

По словам писательницы, в первые главы, посвященные судьбам детей в довоенные годы, включена часть одного из публиковавшихся в Польше «Дневников крестьян». В связи с этим Домбровская напоминает, что еще до войны ей хотелось создать по этому дневнику киносценарий.

Само название книги — «Приключения мыслящего человека» — Домбровская рассматривает как временное, до окончательного оформления романа. Она указывает: «Названия моих произведений рождаются обычно после их окончания, и для этого романа я имела несколько названий».

По сообщению редакции еженедельника, первоначальное название оставлено писательницей в связи с просьбами читателей.

«ПЫЛАЮЩИЕ ГОРЫ»

Книга писателя Яна Герхарда «Пожары в Бескидах», повествующая о борьбе с реакционными бандами в южных районах Польши в первые годы народной власти, легла в основу сценария кинофильма «Пылающие горы», который поставили режиссеры Ева и Чеслав Петельские.

О ратном пути солдата Каленя и его гибели в тот момент, когда народная Польша уже делала первые шаги на пути социалистического строительства, рассказывает фильм. Отгремела война, по всей стране шло широкое строительство новой жизни, а в Бескидах продолжалась кровопролитная и жестокая борьба — гибли люди, горели деревни, без сна и отдыха солдаты госбезопасности преследовали банды реакционеров. Солдат Калень воевал за счастье простых людей и погиб, защищая жизнь женщин и детей.

Высоко оценивая фильм режиссеров Петельских, критик журнала «Экран» пишет, что «Пылающие горы» можно назвать повестью о судьбе солдата. Особо отмечается хорошая игра Веслава Голаса, исполнителя роли солдата Каленя. Большая работа была проделана режиссерами, которые из объемистой и сложной книги Герхарда сумели выбрать главное, передать в фильме напряженное дыхание дней борьбы, показать солдат, подобных Каленю, тех, кто и в мирные дни боролся и умирал за счастье всего народа.

Кадр из фильма «Пылающие горы».

(Журнал «Фильм»)

США

АТОМНЫЙ БРЕД

Нельзя безнаказанно оглуплять народ, оглушать его, запугивать, ввергать в военную истерию и в особенности в атомную истерию. В американской литературе появляются один за другим мрачные плоды подобной политики.

Некий писатель Хью Сайкс Дэвис, например, выступил со своим «научно-фантастическим» романом «Записки Эндрью Мэлмота». Автору мерещится наша планета без людей. Но это еще не все. Он предусмотрел, кто придет на смену человечеству, которое, по его мнению, должно погибнуть от радиоактивных излучений атомной войны. Смакуя детали гибели человечества, автор избрал ему в качестве «наследников» — крыс, обитательниц канализационных и сточных труб.

Крысы — таковы, в представлении Дэвиса, будущие хозяева Земли, повелители вселенной и светочи разума!

Герой книги — Эндрью Мэлмот, молодой и блестящий ученый, занимающийся исследовательской работой в области генетики крыс, внезапно исчезает. Все усилия друзей разыскать его ни к чему не приводят. Они решают попытаться выяснить тайну путем внимательного изучения его заметок, дневников.

Мэлмот, оказывается, обнаружил необычайно быстрые темпы эволюции у обыкновенных крыс, обитающих в сточных трубах. Они развиваются и размножаются примерно в тридцать раз быстрее человека. Радиоактивные излучения в результате ядерных испытаний воздействовали на них таким образом, что они стали атомоустойчивыми, и не подвержены радиации. В то же самое время, поскольку в сточных трубах концентрируется особенно сильная доза радиоактивности от выпадающих осадков, крысы стали быстро эволюционировать

и уже достигли уровня развития примерно пещерного человека. Мэлмот убежден не только в неминуемой страшной гибели человечества, но и в неминуемом приходе к власти на земле крыс. Все свое время он проводит в канализационных и сточных трубах, общаясь с будущими хозяевами земли. Однажды он оттуда не вернулся, предпочел остаться с крысами. Они ему ближе. Последняя его записка гласит: «Оставьте меня в покое. Для вас я умер, ушел, если хотите. Дело в том, что сейчас для меня важнее рассказать им о вас, чем рассказывать вам о них».

Насаждаемый в США военный психоз, превращающий многих напуганных людей в кротов, забивающихся в персональные атомные убежища, доведен до крайних пределов в книге Дэвиса.

Книга Дэвиса «Записки Эндрью Мэлмота» охарактеризована многими журналами, в том числе «Нэйшн» и «Нью рипаблик», как отвратительный, пугающий кошмар.

Знакомый советскому зрителю по фильму «Двенадцать разгневанных мужчин» режиссер Сидней Ламет работает над экранизацией автобиографической драмы Юджина О'Нила «Долгий день уходит в ночь». В театре эта пьеса идет четыре часа. Фильм снимается без сценария, прямо по тексту пьесы. Главные роли исполняют Кэтрин Хепберн и Ральф Ричардсон (на снимке).

(Газета «Нью-Йорк геральд трибюн»)

«Как преуспеть в большом бизнесе» — таково название музыкальной комедии, с успехом идущей на сцене нью-йоркского «Театра 46 улицы». В комедии, высмеивающей американский образ жизни, показана история некоего Финча, пробивающего себе «путь в высшее общество» с помощью разных махинаций. Действие комедии происходит на Уолл-стрите. На снимке: Сцена из спектакля.

(Газета «Нью-Йорк таймс»)

«МИРОТВОРЦЫ»

Американский журналист Маркиз Чайлдс, один из виднейших вашингтонских обозревателей, написал роман «Миротворцы». Время действия романа — «когда-то» в будущем. Место действия — Женева, где происходят заседания конференции по ослаблению напряженности в Африке и на Среднем Востоке. Ситуации и действующие лица таковы, отмечает рецензент «Нью-Йорк геральд трибюн букс», будто действие происходит в наши дни, настолько метко и остро Чайлдс описывает и героев и их столкновения.

Из современных государственных деятелей в книге фигурирует лишь один: автор изобразил в своем фантастическом романе Дага Хаммаршельда, который, достигнув на страницах книги преклонного возраста, продолжает играть свою прежнюю роль — генерального секретаря ООН (роман, видимо, написан до гибели Хаммаршельда). Президент США — «нечто среднее» между Эйзенхауэром и Кеннеди; государственный секретарь — Калеб Фултон, бывший промышленный магнат, ударившийся в политику, напоминает Нельсона Рокфеллера; Джоффри Хоукс, ловкий британский министр иностранных дел,— типичный образчик опытного западного дипломата; генерал Джерри Гэхаген—начальник генштаба США, подобно некоторым нынешним агрессивным генералам из Пентагона непрерывно подстрекает правительство к «решительным мерам против русских» и к введению в действие ядерного оружия. Имеется и некий сенатор из штата Огайо, произносящий непрерывные напыщенные речи, не понимающий ничего в политической ситуации, но государственный секретарь вынужден с ним считаться, так как обязан ему своим министерским портфелем.

Чайлдс, бывалый журналист, показывает, как иногда опасны репортеры, которые неправильным, а то и тенденциозным истолкованием какого-нибудь слова

или выражения могут приблизить мир к опасной «грани», за которой разразится война.

Самое главное в этом романе — показ той роли, которую ныне в США играют крайние правые круги, возглавляемые сенатором Бэрри Голдуотером (сам сенатор не выведен в книге). Эти круги обвиняют президента в «умиротворении», как только заходит речь об ослаблении международной напряженности и разумных переговорах по всем вопросам с Советским Союзом.

«Основная тема романа,— пишет рецензент,— это дилеммы, стоящие перед дипломатией в наш атомный век. Автор достойно справился с этой задачей».

КРИТИКА КРИТИКОВ

Издательство «Сикстиз пресс» (г. Мэдисон, штат Миннесота) выпустило листовку, начинающуюся словами: «Долго ли будет продолжаться фарс «Нью-Йорк таймс бук ревью»?»

Составитель листовки Роберт Блай утверждает, что многие из публикуемых в еженедельнике книжных обозрений и рецензий «скучны и однообразны», а рецензенты предпочитают «завертывать разбираемую книгу в вату, боясь причинить ей вред». За редкими исключениями рецензии заказывают второстепенным и третьестепенным лицам.

Особенно резкой критике подвергается главный редактор «Нью-Йорк таймс бук ревью» Фрэнсис Браун, которого Блай считает неподходящим для такого поста. «Литературная критика — дело серьезное,— говорится в листовке.— Неспособность газеты «Нью-Йорк таймс» организовать печатание солидных и умных рецензий уже сама по себе является фактом, позорящим нашу страну».

ЧТО МОЖЕТ ПОВРЕДИТЬ КНИГОТОРГОВЛЕ

Несколько месяцев назад в Соединенных Штатах появилась книжка «Обвинитель: мисс заместитель районного прокурора». Автор книги, некая Террис Олендер, рассказывает о своей пятилетней судебной практике в Лос-Анжелесе. Она была первой женщиной в городе, выступавшей обвинителем по делам крупных преступников.

На суперобложке книги говорится, что в ней описываются «удивительные и зачастую шокирующие случай из практики женщины-юриста по разбору дел об убийствах, грабежах и необычных половых преступлениях». Дав книге такое напутствие, издатель и автор, видимо, считали, что успех ее теперь обеспечен.

«Каково же было их негодование,— сообщает еженедельник «Сэтердей ревью», когда рецензент газеты «Инкуайрер» (г. Колумбус, штат Джорджия) Эрвин Зискайнд охарактеризовал книгу как «чистую». Олендер сочла эту рецензию недоброжелательной и обратилась к Зискайнду с письмом. «Что значит «чистая»? — жаловалась она.— Разве в книге мало говорится о случаях половых извращений?» На это рецензент ответил: «Я имел в виду не содержание книги, а чистый и ясный язык, которым вы пользовались при описании даже самых отвратительных дел. Я готов разрешить своей юной дочери прочесть эту книгу».

«Ничто не может так повредить торговле книгами секса,— с иронией комментирует автор статьи в «Сэтердей ревью»,— как замечание о том, что эти книги «чистые» и родители разрешают читать их своим дочкам».

БУЛЬДОЗЕР ПРОТИВ ДОМА УИТМЕНА

Дом, в котором 113 лет назад в Бруклине (Нью-Йорк) Уолт Уитмен сам набирал (национальный поэт Америки был по профессии наборщиком) и сам печатал первое издание своих стихов, сборник «Листья травы», предназначен на слом. Мощный бульдозер стоит наготове, чтобы смести с лица земли это дорогое сердцу американца здание и освободить место для строительства еще одного богатого отеля.

Варварское отношение к национальной реликвии вызвало в США большое возмущение. Журнал «Ньюс уик» сообщает о создании комитета защиты дома Уитмена, в который вошли, в частности, известный драматург Артур Миллер, композитор Аарон Копленд.

ТАНГАНЬИКА

ПРЕМИЯ ПИСАТЕЛЮ

Комитет фонда памяти Маргарет Ронг, как сообщает журнал «Африка», принял решение присудить очередную ежегодную премию и медаль танганьикскому писателю Шаабану Роберту за его выдающийся вклад в дело развития поэзии и прозы на языке суахили, на котором говорит большинство коренного населения Танганьики.

ФИНЛЯНДИЯ

ЮБИЛЕЙ ЯРНЕФЕЛЬТА

Финская общественность, как сообщает газета «Кансан уутисет», широко отпраздновала 100-летие со дня рождения одного из вы-

Арвид Ярнефельт.
(Газета «Кансан уутисет»)

дающихся реалистов конца XIX — начала XX столетия Арвида Ярнефельта.

Выходец из знатной семьи и блистательно начавший свою карьеру юриста, Ярнефельт порвал со светским обществом и поступил учеником сначала в сапожную мастерскую, а затем слесарем в железнодорожное депо, вызвав тем самым «скандал» в высших светских кругах Финляндии. Посетив в Москве Льва Толстого, Ярнефельт опубликовал «Дневник моего путешествия в Россию и посещения Льва Толстого весной 1899 года».

«КИЙЛА» НА ПОСТУ

25 лет назад в Финляндии было основано литературное общество прогрессивного направления под названием «Кийла» («Клин»).

За время своего существования «Кийла» выросла в крупнейшую культурную организацию, объединяющую около ста представителей различных отраслей искусства. В трудный период разгула реакции в стране в 30—40 гг. молодое литературное общество смело подняло знамя борьбы за социальные интересы, за международное сотрудничество и мир во всем мире. Среди первых его членов были такие видные писатели, как Ирис Уурто, а также Пентти Хаанпяя.

В связи с юбилеем газета «Кансан уутисет» опубликовала список членов общества-юбиляра, среди которых — известные советским читателям писательница и драматург Хелла Вуолийоки и поэтесса Эльви Синерво, поэт Эльмер Диктониус.

В день юбилея общество «Кийла» в своем обращении к народу Финляндии торжественно заявило: «...Как и 25 лет назад, «Кийла» будет бороться рядом с теми силами, которые говорят войне свое резкое и решительное «Нет!» ...Как и во времена своего основания, «Кийла» призывает всех финских писателей и художников присоединиться ко всемирной армии защитников всеобщего мира и прогрессивной культуры».

Новое издание романа «Семеро братьев» Алексиса Киви, основоположника финского критического реализма, вышло в свет с иллюстрациями известного финского художника Эркки Тантту. Мы воспроизводим одну из этих иллюстраций.

(Газета «Кансан уутисет»)

ФРАНЦИЯ

ЗА ЧТО ПРИСУЖДЕНА ГОНКУРОВСКАЯ ПРЕМИЯ

Присуждение Гонкуровской премии 1961 года Жану Ко за книгу «Милосердие божие» вызвало удивление в прогрессивных литературных кругах, по мнению которых роман не представляет никакой художественной ценности, а имя автора не известно не только читателям, но и литераторам и лицам, связанным в той или иной степени с литературой. Один из книготорговцев из парижского предместья Сент-Оноре сказал в ответ на вопрос корреспондента газеты «Либерасьон»: «Гонкуровская премия в наше время никого не интересует. Издательства заранее подбирают кандидата, причем премии всегда дают за плохие книги...»

Действие романа «Милосердие божие» происходит в тюремной камере. Когда и где — неизвестно. Заключенные рассказывают друг другу о своих преступлениях — может быть, истинных, а может быть, и вымышленных. В их рассказах бред смешивается с реальностью. Заключенные живут в каком-то ирреальном мире.

«Этот роман, в котором трудно что-либо понять, свидетельствует о полной безответственности автора»,— пишет Андре Стиль в газете «Юманите». Андре Стиль иронически замечает, что ныне получить Гонкуровскую премию не так уж трудно. Надо лишь выбрать несколько не совсем нормальных персонажей и поместить их в исключительные условия, а потом перемешать все факты, перемешать до абсурда. Получится экзистенциалистский роман. И если обстановка сложится благоприятно, автору обеспечена Гонкуровская премия.

Лауреат Гонкуровской премии 1961 года Жан Ко родился в 1925 году. По окончании лицея работал личным секретарем Жана-Поля Сартра.

В ТЕАТРЕ МОЛОДЕЖИ

В репертуар основанного режиссером Клодом Сантели театра молодежи включены инсценировки произведений классиков мировой литературы: «Принц и нищий», «Дон-Кихот», «Козет-

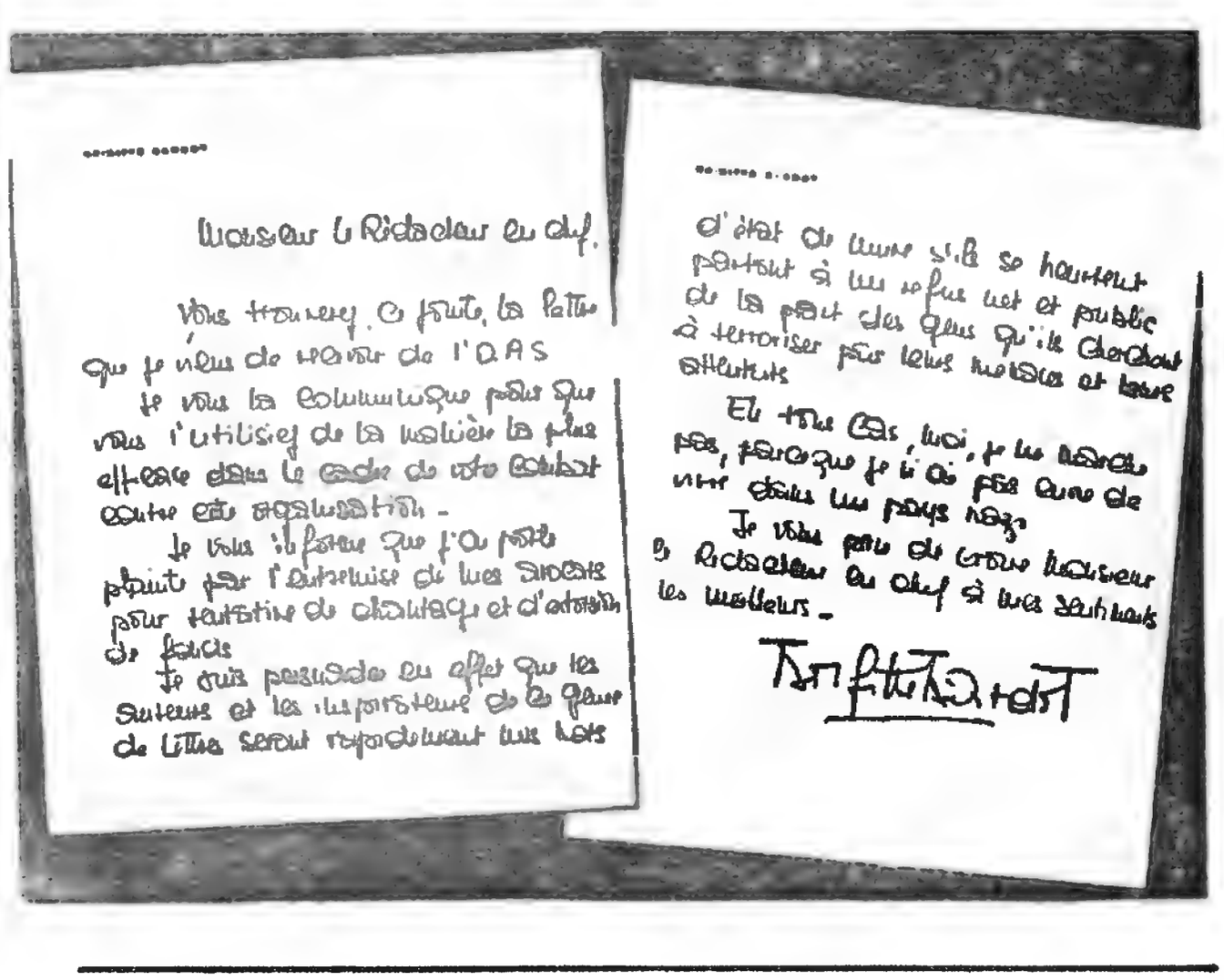
---

Прогрессивная печать с похвалой отозвалась о постановке пьесы Бертольта Брехта «Швейк во второй мировой войне» в парижском «Театр де ла Ситэ». Сотрудники театра провели много бесед с рабочими об этой пьесе, с тем чтобы привлечь рабочего зрителя на спектакль. На снимке: Артист Жан Буиз в роли Швейка.

(Еженедельник «Юманите-диманш»)

«Господин главный редактор! Вы найдете здесь письмо, которое я получила от ОАС. Я посылаю его Вам для того, чтобы Вы наиболее эффективно использовали его в борьбе с этой организацией. Сообщаю Вам, что через посредничество моих адвокатов я обратилась в суд с жалобой в связи с попыткой шантажа и посягательства на денежное имущество Я действительно убеждена, что авторы и вдохновители этих писем будут вскоре обезврежены, если повсюду они встретят резкий и четкий отпор со стороны людей, которых они хотят запугать своими угрозами и террористическими актами. Во всяком случае, я не согласна подчиняться им, так как не хочу жить в нацистской стране...» Это письмо знаменитая французская киноактриса Брижитт Бардо (фото слева) прислала в редакцию парижского еженедельника «Экспресс», получив предписание от фашистской ОАС (секретной вооруженной организации) с требованием выплатить в фонд ОАС 50 тысяч франков. Смелый поступок Брижитт Бардо встретил широкую поддержку передовой французской интеллигенции.

(Еженедельники «Синемонд» и «Экспресс»)



Monsieur le Rédacteur en chef.

Vous trouverez ci joint la lettre que je viens de recevoir de l'O.A.S

Je vous la communique pour que vous l'utilisiez de la manière la plus efficace dans le cadre de votre combat contre cette organisation -

Je vous informe que j'ai porté plainte par l'intermédiaire de mes avocats pour tentative de chantage et d'extorsion de fonds

Je suis persuadée en effet que les auteurs et les instigateurs de cette lettre seront rapidement mis hors d'état de nuire s'ils se hasardent partout à une action nette et publique de la part des gens qu'ils cherchent à terroriser pour leurs menées et leurs attentats

En tous cas, moi, je les attends pas, parce que je n'ai pas envie de vivre dans un pays nazi.

Je vous prie de croire Monsieur le Rédacteur en chef à mes sentiments les meilleurs -

Brigitte Bardot

та», «Ласарильо с Тормеса» и другие.

Недавно молодежный театр Клода Сантели осуществил телевизионную постановку по повести А. С. Пушкина «Дубровский». Критик газеты «Монд» с восторгом отзывается об этой постановке, выделяя игру всей актерской труппы и особенно талантливое исполнение главных ролей артистами Жаном-Мари Фертей и Клодиной Ожер. По оценке критика, текст инсценировки «Дубровского», адаптированный Аленом Будэ, сохраняет «благородные идеи, вдохновившие Пушкина».

Режиссер Сантели, по сообщению «Монд», считает, что репертуар театра привлечет не только молодежь, но и широкие круги зрителей.

ЧЕХОСЛОВАКИЯ

ГЛАЗАМИ ЧЕШСКОГО КРИТИКА

В издательстве «Малой современной энциклопедии» вышла книга М. Дрозды «Русская советская литература». Глубокое понимание общественной роли советской литературы, ее связи с политикой партии, ее исторической и воспитательной функции, новаторского значения как первой в мире литературы социалистического реализма — вот что, по словам рецензента еженедельника «Литерарни новины», характеризует труд М. Дрозды.

Заслугой автора, как отмечает рецензент, является то, что центр своего внимания он сосредоточивает не на монографических портретах и не на описании отдельных произведений, а на проблематике советской литературы, на специфических чертах и закономерностях отдельных периодов ее развития.

Отметив отдельные недостатки в книге М. Дрозды «Русская советская литература», рецензент «Литерарни новины» подчеркивает, что этот труд является «результатом тщательного и глубокого исследования... Это — лучшее, что было написано в Чехословакии о советской литературе».

«МЕРТВЫЕ НЕ ПОЮТ»

Словацкое народное восстание — неисчерпаемая тема в творчестве писателей Словакии. Новым подтверждением этого является вышедший недавно в издательстве «Словацкий писатель» роман Р. Яшика «Мертвые не поют». Смерть помешала автору закончить роман, однако и незавершенный, он представляет собой талантливое художественное произведение.

«В словацкую литературу вошел новый большой роман, посвященный новейшей истории народа»,— пишет рецензент еженедельника «Литерарни новины».

«Репортаж с петлей на шее» Юлиуса Фучика экранизирован режиссером Я. Баликом по сценарию Я. Балика и Я. Отченашека. Роль Фучика исполняет актер одного из пражских театров Илья Рацек. «Репортаж» лежит передо мной,— пишет И. Рацек.— Первое издание 1945 года. Листки сильно потрепаны, на обложке едва различишь заглавие. Еще пятнадцатилетним юношей я был захвачен «Репортажем». То были счастливые дни победы над фашизмом...» Исполнитель главной роли тщательно изучил все материалы, связанные с жизнью и деятельностью Юлиуса Фучика. Съемки фильма, кадры из которого здесь помещены, происходили в Панкрацкой тюрьме, где стены — свидетели жестоких злодеяний гестапо, здесь мучили Фучика и других антифашистов. Товарищи, лично знавшие Фучика по партийной работе, по совместному пребыванию в Панкрацкой тюрьме, оказали постановочному коллективу большую помощь

(Журнал «Кино»)

ШВЕЦИЯ

АРТУР ЛУНДКВИСТ И «ДРУЗЬЯ» ООН ИЗ УПСАЛЫ

Известный шведский писатель, член бюро Всемирного Совета Мира Артур Лундквист был приглашен Обществом друзей ООН в Упсале выступить в связи с днем Объединенных Наций.

Получив приглашение в Упсалу, Артур Лундквист прежде выступил в Стокгольме на собрании, организованном Обществом просвещения трудящихся совместно с обществом «Швеция—СССР», с докладом на тему «Советский Союз и мир».

Очевидно, что именно это выступление писателя вызвало требование упсальского общества представить письменный текст доклада Лундквиста.

— В своем докладе,— заявил Лундквист в печати,— я говорил о международном взаимопонимании, а также приводил ряд критических замечаний в духе решений Белградской конференции неприсоединившихся стран. Я выступал за права народного Китая в ООН, а также говорил о том, что западные державы должны потесниться в учреждениях ООН в пользу нейтральных стран и стран социалистического лагеря. Кроме того, я кое-что добавил о своих собственных впечатлениях о Латинской Америке. Мне заявили, что от такого доклада они отказываются и предложили переработать его. Но ведь, приглашая меня, они знали о моих взглядах и не могли ожидать от меня чего-либо другого. Я не счел возможным согласиться на такое предложение.

Как сообщает газета «Ню даг», упсальское общество отказалось от участия Артура Лундквиста в праздновании дня Объединенных Наций, мотивируя свой отказ «слишком смелыми» взглядами писателя.

КОРОТКО ОБ АВТОРАХ

ПАВЕЛ КОГОУТ
PAVEL KOHOUT
(род. в 1928 г.)

Чешский поэт, драматург и деятель кино. Ему принадлежат поэтические сборники «Стихи и песни» («Verše a písně», 1952), «Время любви и борьбы» («Čas lásky a boje», 1954), комедия «Сентябрьские ночи» («Zářijové noci», 1956).

Пьеса Когоута «Такая любовь» была опубликована в № 12 «Иностранной литературы» за 1957 год. В 1960 году Когоут написал пьесу «Третья сестра» («Třetí sestra»).

Публикуемое стихотворение взято из сборника «Чешская и словацкая поэзия, 1945—1960 гг.» («Česká a slovenská poézia, 1945—1960»). ■

ТАДЕУШ РУЖЕВИЧ
TADEUSZ RÓŻEWICZ
(род. в 1921 г.)

Польский поэт. В 1946 году была издана его первая книга стихов «В ложке воды» («W łyżce wody», 1946), затем вышли стихотворные сборники «Тревога» («Niepokój», 1947), «Красная перчатка» («Czerwona rękawiczka», 1960), «Пять поэм», («Pięć poematów», 1950), «Равнина» («Równina», 1954), «Разговор с князем» («Rozmowy z księciem», 1960) и другие.

Публикуемое стихотворение взято из сборника «Избранные стихи» («Poezja wybrana», 1957). ■

МУХАММАД АРСАЛАН САЛИМИ
(род. в 1914 г.)

Афганский поэт, публицист, критик и общественный деятель.

Помещенное в этом номере стихотворение взято из журнала «Кабул» № 2 за 1960 год. ■

АМИНУЛЛА ЗМАРИАЛАЙ
(род. в 1896 г.)

Афганский поэт. Печатается главным образом в афганских периодических изданиях. Стихотворение «Слово к колонизаторам» взято из журнала «Кабул» № 64 за 1958 год. ■

ГУЛЬ ПАЧА УЛЬФАТ
(род. в 1911 г.)

Афганский поэт, прозаик, общественный деятель. Президент Общества афгано-советской дружбы. Ему принадлежат поэтические сборники «Весенние мелодии» (1941) и «Избранные стихи» (1955), откуда и взяты напечатанные в этом номере стихотворения. ■

ЦВЕТАН СТОЯНОВ
(род. в 1930 г.)

Болгарский писатель, критик и переводчик. Повесть «Мы и Арчи» («Арчи и ние») была напечатана в журнала «Септември» № 7 за 1961 год. ■

ТЕОДОР МАЗИЛУ
TEODOR MAZILU
(род. в 1926 г.)

Румынский прозаик, автор сатирических сборников «Карманная коллекция насекомых» («Insector de buzunar», 1956), «Галерея болтунов» («Galeria palavrajiilor», 1957) и романа «Застава» («Bariera», 1959).

Публикуемые рассказы взяты из двух первых сборников. ■

ИВАН РУЖ
(род. в 1909 г.)

Болгарский критик, автор книг «Рассказы кооператора» («Разкази на кооператора», 1944), «Искусство и критика» («Изкуство и критика», 1947).

Статья, напечатанная в этом номере, получена редакцией в рукописи. ■

КАРЛО САЛИНАРИ
CARLO SALINARI

Итальянский критик и литературовед, редактор журнала «Контемпоранео», автор многочисленных статей о современной итальянской литературе и книги «Мифы и сущность итальянского декадентсіва» («Mifi e coscienza del decadentismo italiano», 1960).

Статья «На путях к реализму» перепечатана из журнала «Контемпоранео» № 38—39 за 1961 год. ■

ВИКТОР ПЕРЛО
VICTOR PERLO

Американский экономист, автор переведенных на русский язык книг «Американский империализм» («American Imperialism», 1951), «Империя финансовых магнатов» («The Empire of High Finance», 1957), «Негры в сельском хозяйстве юга США» («The Negro in Southern Agriculture», 1953).

Публикуемая статья прислана автором в рукописи. ■

ИВАН КРЖИЖ
IVAN KŘÍŽ
(род. в 1922 г.)

Чешский писатель, автор сборника рассказов «Городок удивляется» («Městečko se diví», 1949), романов «Девичье поле» («Dívčí pole», 1955), «Большое одиночество» («Velká samota», 1960). Очерк «История двух писем» прислан в редакцию в рукописи. ■

ЯРОМИР ТОМЕЧЕК
JAROMÍR TOMEČEK
(род. в 1906 г.)

Чешский писатель и фельетонист, автор ряда романов и книг о природе и жизни животных: «Рыба и звезда» («Ryba a hvězda», 1945), «Удивительный» («Divni», 1946), «На солнечной тропе» («Na slunné stezce», 1953), «Вечный лес» («Věčný hvozd», 1956) и др.

Главный редактор **А. Б. Чаковский.**

Редакционная коллегия:

И. И. Анисимов, М. Я. Аплетин, В. И. Верховский (отв. секретарь), **Б. Г. Гафуров, С. А. Герасимов, С. А. Дангулов** (зам. главного редактора), **Е. А. Долматовский, Т. Л. Мотылева, Л. В. Никулин, М. И. Рудомино, В. П. Терешкин, Е. Ф. Трущенко, М. А. Шолохов.**

Обложка и макет оформления художника
С. Б. Телингатера
Художеств. редактор *М. М. Милославский*
Технический редактор *В. Л. Шачнев*
Адрес редакции: Москва, Пятницкая ул., д. 41.
Телефон: В 3-51-47.

А 01514. Сдано в производство 9/XII 1961 г.
Подписано к печати 12/II 1962 г.
Бумага 70×108 1/16 = 9 бум. л.; печ. л. 24,66.
Зак 2134.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова, Москва, Пушкинская пл., 5.

Цена 80 коп.